

ISSN 0206-8680

3

КИНОСЦЕНАРИИ

1991

ИЗДАЕТСЯ
С 1973 ГОДА

3
1991

ГОСКИНО СССР
СОЮЗ
КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
СССР
МОСКВА 1991

КИНОСЦЕНАРИИ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

Сценарии

- 3 *Е. Оноприенко*
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ЕЖИК
- 31 *Д. Воронков*
ШУРЕНОК
- 53 *В. Акимов, А. Леонтьев*
ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
- 76 *Е. Козловский*
КАК ЖУЕТЕ, КАРАСИ?..
- 102 *А. Потапов*
НОЧЬ РАЗУМА
- 136 *Р. Мухамеджанов, З. Мусаков*
**АБДУЛЛАДЖАН, ИЛИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ СТИВЕНУ СПИЛ-
БЕРГУ**
- 165 *С. Параджанов*
INTERMEZZO
- ## Точка зрения
- 24 *В. Филатов*
**Тоталитаризм
и «великое преобразование природы»**
- 133 *С. Малахов*
Неслышимая поступь сознания
- 176 *В. Подорога*
Знаки власти
- 190 **Наши авторы**

Главный редактор Е. ГРИГОРЬЕВ

Редакционная коллегия:
О. АГИШЕВ, Ю. АРАБОВ, Е. ГАБРИЛОВИЧ,
В. ГОЛОВАНОВ, О. ГОРБАЧЕВА, А. ЛОКТЕВ (зам. главного редактора),
Б. МЕТАЛЬНИКОВ, В. СОЛОВЬЕВ,
В. ТРУНИН, В. ЧЕРНЫХ

Ответственный секретарь Н. РЮРИКОВА

Технический редактор Л. МАРКОВА

Корректор Е. ПЫЛАЕВА

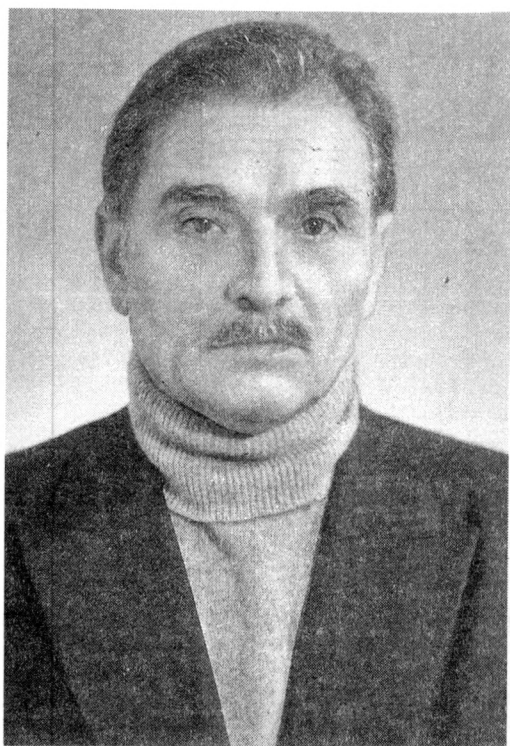
Рукописи не рецензируются и не возвращаются

© «Киносценарии»

По всем вопросам подписки и доставки журнала обращаться в местные отделения «Союзпечати». О типографском браке сообщать в Чеховский полиграфический комбинат.

Сдано в набор 26.02.91. Подписано к печати 03.04.91.
Формат 70×100¹/₁₆. Усл. печ. л. 15,6+0,32. Уч.-изд. л. 24,2.
Усл. кр.-отт. 16,24. Печать офсетная. Бумага типогр. «Сыктывкар».
Гарн. таймс. Тираж 29 760 экз. Заказ 355. Цена 2 р. 00 к.
Всесоюзное творческо-производственное объединение «Киноцентр».
123376, Москва, Дружинниковская ул., 15. Тел. 205-30-01.
Адрес редакции: 103006, Москва, Воротниковский пер., 12.
Телефон 299-47-74.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат
Государственного комитета СССР по печати.
142300, г. Чехов Московской области.



Евгений
ОНОПРИЕНКО

ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ЕЖИК

По нескошенным диким травам, по кустам Пи буеракам мчится-мечется гнедой конь. Пена падает с губ, красный глаз косит ужасом, развевается грива.

А загонщики все ближе, сжимают круг, перебегают между кустами, готовят веревки.

Вырывается конь к нескончаемому высокому забору из колючей проволоки, уходит она в обе стороны по холмам и долинам, по полям и кустам. Непонятные приборы темнеют на проволоке — датчики. Изредка под козырьком — телевизионное око. Заросшая дорога упирается в проволоку. И упирается в колючую проволоку конь. Кидается из стороны в сторону, ржет — вот она, воля, там, за проволокой, да как достаться туда?..

С веревками в руках приближаются люди. Это — кадры для титров.

Под огромным куполом вокзала — кипение дорожной толпы. И, вклиниваясь в нее, раздвигая пиджаки, плащи и накидки, гимнастерки и блузы, несвежие платья и надушенные жакетки, перебираясь через чемоданы, мешки, узлы, свертки, коробки, провожаемая гневными репликами, а то и толчками, нелестными замечаниями, спешит молодая женщина с тощим рюкзаком. Иногда затравленно оглядываясь назад. Спотыкается, чуть не роняет мороженое.

А там, с другой стороны, два милиционера мощно рассекают толпу, и она расступается, а потом смыкается за ними.

Мелькнул у двери тощий рюкзак.

Заторопились милиционеры, выбегая на привокзальную площадь.

Но уже не увидели беглянку. Звенели трамваи, подкатывали такси, на повороте просигналил экскурсионный автобус, и одному из них почудился там рюкзачок. На всякий случай он поднес ко рту рацию и доложил номер автобуса.

Возле агентства Аэрофлота автобус сделал остановку, и экскурсовод стала рассказывать о Золотой Звезде города — пирамида с такой звездой высилась на площади. Женщина с рюкзаком собралась сойти, и водитель уже открыл ей дверь. Все у нее как-то неловко, опрокинула чужой чемодан, виновато оглянулась, извиняется. И тут увидела сквозь стеклянные стены — внутри, в здании агентства пробирается через толпу к выходу милиционер. Она решительно шагнула назад. Водитель удивленно посмотрел на нее. Уже отъезжая, приметил в зеркальце милиционера, вышедшего из здания. Вновь перевел взгляд на женщину.

Черные сверкающие машины пронеслись по улице, впереди — милицейская «Волга».

Автобус стоял на площади в ряду других. От них тянулись цепочки туристов. Пошла и женщина с рюкзаком, водитель проводил ее взглядом.

Старинный собор, София. Лики святых высоко вверх. Негромкий голос экскурсовода гулко отдается под прохладными сводами. Смотрит женщина.

И смотрит на нее Божья Матерь со стены. Тихо. Покойно. Все понимающие глаза богов. Измученные глаза человека. Засмотрелась женщина, и впервые ей стало спокойно.

Экскурсия в Софии закончилась, люди потянулись к автобусу, женщина по привычке шагнула в сторону, хоронясь за спины людей. Наметанный глаз сразу отметил мужчину, с деланным равнодушием скучавшего у киоска,— как раз возле раскрытой двери автобуса. Второй беседовал с водителем, высунувшимся из окна.

Обойдя площадь, она заторопилась к парку. Оглянулась — те двое выскочили из автобуса и заспешили за ней. Она скользнула под свод белого строения, прячась в толпе увешанных медалями ветеранов. С ними и вошла в вагон фуникулера. Выглядывала из-за спин, видела, как медленно плывут, разворачиваются синие заречные дали и река, и суда, и баржи, и огромное светлое небо. Она засмотрелась, тут и приехали, потянулись из вагона.

По улице текла людская река, колыхались разноцветные знамена, толпа шла с лозунгами, гневно выкрикивала, выбрасывая вверх кулаки.

Женщина оглянулась назад, но там, у фуникулера, все было спокойно. Ее уже увлекли лозунги, транспаранты; с детским любопытством она шагала в толпе, разглядывая их, прислушиваясь к выкрикам. И тоже кричала, выбрасывая вверх руку. И вдруг осеклась, запаниковала, стала выбираться из толпы: увидела впереди милицейские кордоны.

Юркнула в боковую улочку.

Сразу за шумными улицами у свежесобеленной кирпичной ограды древней церкви находилась автобусная станция пригородных линий. Мужики, дети, бабки и тетки с мешками, корзинками стояли, сидели в ожидании; кто-то жевал хлеб, заедавая мороженым, другие толкались у бочки с квасом. Публика самая трудовая, неприятельная. Как и автобусы — дребезжащие, старые, разболтанные.

Здесь она почувствовала себя в безопасности. Побродила возле касс... Засмотрелась на девочек, игравших в классы... Со всех

сторон с недоумением оглядела афишу и фотографии эротического театра.

И вдруг как будто присохший бинт рванули с раны: обожгло тревогой. «Их разыскивает милиция» — большие выцветшие буквы на стенде, а под ними — серые фотографии: звероватые лица, тупые исподлобья взгляды. И среди тех невзрачных тусклых портретов — вот и она, Зинаида, челка над глазами и улыбка нехорошая, злая. И хотя фотография плохая, увеличенная с паспортной, и узнать Зину трудно, она с похолодевшей душой отодвинулась за стенд, искоса оглядела площадь. Чувство опасности стало уже привычным за эти два года, заставляло держаться настороже, и всегда она готова была, как зверек, отпрыгнуть, бежать, спастись.

Через площадь вышагивал к ней лоснящийся от пота милиционер. Она в ужасе закрыла глаза. Милиционер встал и топтался за ее спиной, тяжело сопя от жары.

— Ну что, заснула, девушка? — резкий голос продавщицы прозвенел над ухом, и Зина не сразу поняла, что это — к ней.

— Большую или маленькую? — продавщица держала в руках кружку с квасом.

Зина сорвалась с местам и помчалась к автобусу — он как раз останавливался, скрипуче складывались двери, и уже полезли, оттискивая друг друга, мужики, тетки с клунками, кошелками и сумками.

И тут в двери ее рюкзак зацепился за что-то, затрещал. Она дернула его. И вошла, не заметив, как на асфальт вывалился небольшой сверток в полиэтиленовом несвежем пакете.

Еще не веря в спасение, ожидая, как выстрела, окрика, Зина втиснулась, прижимая к себе свой тощий рюкзак. И сидя где-то в середине, среди мешков и узлов, затихла, сдерживая дыхание.

Автобус качнуло, и краем глаза она увидела уплывающую площадь, милиционера, пьющего квас, стенд с портретами разыскиваемых под белой церковной стеной. Незаметно для других послала стенду кукиш.

Она уже не видела, как там, зади, милиционер подобрал ее сверток, покричал, протягивая его вслед автобусу. А потом пошел и отдал в кассу.

Зина облегченно вздохнула и как-то вся сникла, напряжение оставляло ее. И пока автобус шел среди заросших лесом разложистых холмов, через деревни и поселки, пока гудели под ним мосты и открывались заречные синие дали и неумоимо ложился под колеса серый транспортер дороги, страх отпустил Зину, и она с любопытством разглядывала соседей, дорогу.

— Куда едем? — спросила у тетки.

— До зоны автобус! — ответили ей сзади.
— Какой зоны? — всполошилась она.
— Тю на тебе, — сказала тетка. — Зоны не знаешь?
— Знаю, — не солгала Зина.
— Ну що ж пытаєшь?..

Зина напряженно думала. Полезла в рюкзак, обнаружила дыру, огорчилась. Встревожено ругнулась про себя, но паспорт был на месте. Попалось старое письмо, глянула на конверт. Адресовано Марте Кулик в Удмуртию, а обратный адрес — село Клетня Чернышевского района Киевской области.

— Клетня, — вслух сказала она. — Мне в Клетню! — добавила решительно.

— Ну то вже в самой зоне!

Зина повеселела: решение принято. Укладывая документы, наткнулась на старую засаленную колоду карт. Разложила их.

— Гадаєшь?

— Угу...

Сразу много любопытных.

— А ну мени погадай!

— Про дочку... третий раз разводится, зараза! И вже новый кобель объявился!

— Какая она? — профессионально спросила Зина.

— Та отакая... фиолетовая!

— От роду какая?

— Черная...

— Пиковая, — Зина привычно и ловко раскладывала карты на чужом чемодане.

— А то приснилось, вона в саду, а кругом яблука так и падают, так и падают!

— То к урожаю, — сказали из-за спин.

— К чютере, — строго поправила Зина.

— Та як ой там потере? — дедок вознамерился возражать.

— И не спорьте! — приказала Зина. — Что-что, а в этом я профессор! И если мужчине приснится, яблоки падают, то... — она зашептала теткам, и те враз грохнули, показывая на деда.

А в то время, как она беззаботно гадала, на площади, о которой уже и позабыла Зина, происходило следующее. Розыскник, мужчина в годах, с усталым выражением лица, в поношенном костюме, стоял возле замызганного милицейского «газика» и молча слушал рассказ милиционера, разглядывая одновременно содержимое пакета; извлек потертую записную книжку. Сомнений не было, на заглавной страничке написано: «Иголкина Зинаида Варфоломеевна». Спросил о чем-то кассиршу, глянул на схему маршрута автобуса и, тяжело вздохнув, полез в «газик». Коротко приказал шоферу, тот бурно возразил, тыча в приборы. Потом смирился и, тихо ругаясь, стал вырывать.

А автобус все шел да шел, а дорога становилась все пустынее, все глуше. Все больше зелени, перелесков, кустов; все синее небо и распахнутее дали. Полесье.

Зина очнулась от дремы. Голоса в автобусе тихо, уютно журчали. Она огляделась по сторонам.

Неуловимо менялось что-то на этой дороге. Безлюдье и пустота, да знаки через каждые сто метров, запрещающие съезжать на обочину. Проплыл щит: «Дорога особого режима»...

Автобус качнуло. За окном мелькали деревья. Запретительные знаки — с дороги ни шагу — и стенд «Берегите родную природу!», и такой добрый, славный такой олень нарисован среди зеленых елочек. И тут же за ним щит: «Граждане! Вы въезжаете в зону особого режима. Строго соблюдайте инструкции!»

За поворотом открылся КПП — контрольно-пропускной пункт. Стандартный серого кирпича домик милиции, дозиметристов. Шлагбаум капитальный, на годы, дорожные тумбы-дозиметры, закрытые пленкой. Санитарно-помывочные службы...

У шлагбаума люди, тоже в сером. Военные, милиция. Лица усталые, привычные. Ждут.

Пассажиры доставали пропуска.

Зина прыгнула на дорогу, огляделась. Прямо перед нею были стенды со множеством инструкций. У будочки дежурного толкались приехавшие тетки. Дорога была резко перечеркнута шлагбаумом, и там, за ним, было тревожно и пусто. Только высоко в синем небе белые облака плыли и плыли в зону. И в обе стороны от полосатого шлагбаума уходил и терялся в кустах среди холмов высокий проволочный забор с датчиками-сигнализаторами.

Ветер дунул, бесстыже рванул юбку. Зина присела, удерживая ее, и почувствовала чей-то взгляд. Возле конторки со стеклянной стеной стоял мотоцикл, и милицейский сержант Голубенко возился у коляски, нахально подмигнул Зине и показал большой палец. На всякий случай отодвинулась к автобусу. А там милиция привычно спрашивает у теток:

— Горилка есть?

— Та яка там у баби горилка? Куды вже баби?

— А это что?

— Та то ж молоко... молочко, сынок, зубин же нема, а баби поисты ж надо?

Сержанты просматривали пропуска. Зина медленно отступала за автобус. Деваться некуда — сейчас у нее спросят документы. Оглянулась — позади только пустынная дорога. Автобус да грузовик; молоденький парень копался в моторе, то и дело давая газ. И нахальный сержант — вот он подходит,

вытирая тряпкой руки. Длинный, тощий. Опасный для женщин тип, сразу определила Зина.

— Тоже на могилку?— спросил. Зина не поняла.

— Какую могилку?

— Ну бабки на могилки родных едут. Проведать, обиходить...

— Ага... Ну да, на могилку!

— Пропуск получила?

— Нету...

— Что ж так? Ну давай паспорт, помогу...

— Нету...

— Как это — нету?— посерьезнел он.— Паспорта нету?

— Забыла!..

— Ну-ну...— он посмотрел на нее внимательно.— Как, говоришь, твоя фамилия?

— Кулик... Марта Кулик!

— Жди!— и он направился к будочке-дежурке.

И вновь Зина затравленно оглянулась. Всё, бежать было некуда. Ровно заурчал мотор грузовика. Паренек хлопнул дверкой кабины. К нему и бросилась Зина.

— Возьми с собой!

И такой у нее голос и вид такой, что паренек внимательно посмотрел. Сначала на нее, потом на сержанта, заходящего в дежурку.

— Садись!

Тяжелый грузовик рывком тронулся с места. Зина напряженно следила в боковое зеркальце, как стремительно удаляется пропускной пункт, как на повороте кусты и деревья скрыли его.

Зина в кабине грузовика передохнула. Пустынная дорога, и леса по сторонам.

— Перестройка — мать родная, хозрасчет — отец родной! На хрена мне эти двое, лучше жил бы сиротой! — пропел шофер и спросил:— Тебе куда?

— Вообще-то... мне в эту...— полезла в рюкзак, достала конверт.— В Клетню!

— Чудачка. То ей в Клетню... то милиционера боится... а?

— Наблюдательный! — зло процедила она.— Вези, пятерку свою получишь!

— В Клетню попасть — это весь четвертак! — сказал он.

— Ну да! А сможешь?— рывком повернулась к нему.

— Советский человек все может!— назидательно сказал он.— Все! Особенно за пузырек...

— Будет четвертак, будет!

— Ладно!— воскликнул он и крутанул руль. Грузовик метнулся в сторону, на грунтовку, так что Зину бросило на парня.

— В истребителях служил что ли?— недовольно спросила.

А он скалился.

— Сама в руки падаешь!

— Я тебе упаду, я тебе так упаду!— быстро пригрозила Зина.

У дороги мелькнул указатель: «Дородичи»... На окраине местечка виднелись длинные сараи колхозных ферм, скотный двор. Шофер завернул туда. И когда заворачивал, постоял, пропуская кавалькаду стремительных и плавных машин.

— Черные тараканы,— выругался им вслед и въехал в раскрытые ворота.

Возле трактора кучка людей стояла перед трактористом.

— Так что, Иван,— спрашивал управляющий,— достанешь генератор?

Иван, плотный крепыш, волосы ежиком, клялся:

— Так оно как... оно где ж? Это опять туда лезть!.. А нельзя ж!

— А мне можно?— закричал управляющий.— Машине все сроки вышли! Чем корма возить? Добудешь?

— Не за так!— предупредил Иван.

— Ну!— управляющий укоризненно развел руками.— Ты ж меня знаешь!

— Иван!— позвал его шофер. Он стоял у машины рядом с Зиной. Подошел Иван, поздоровался.

— Вот это хороший человек,— сказал шофер про Зину.— Ей в Клетню надо...

— А где видно, что хороший?— спросил Иван.

Шофер подмигнул Зине, и она достала деньги.

— Ты дывы!— изумился Иван.— Умнеет на глазах! Взятка! Чтоб меня гром убил — взятка! Кидай ее скорей в карман!

Она вложила деньги в кармашек его замасленной ковбойки.

— Утром, — сказал Иван. И шоферу:— Завези ее ко мне домой. Та жинке скажи, что по делу. А то загудит, зараза, что кралю везу!— и подмигнул Зине.

А на КПП в дежурке розыскник, уже добравшийся сюда на своем потрепанном «газике», говорил по телефону с управлением.

— Нету ее здесь. И не было. Что она, смурная, в зону лезть? Зачем? Опять же ни крыши, ни пропитания... не говоря о рентгенах.

— Что предлагаешь?— спросили из трубки.

— А не много ли ей чести? Ее ловлю, а у меня два грабежа нераскрытых да...

— Это ты брось! Сам же знаешь, почему на ней сошлось... Сам проворонил, сам и лови. Иначе... Тебе сколько до пенсии? То-то...

— Хоть машину оставьте!

— А мы тут с чем? Сам же говоришь,

грабежи, рэкет... Выкручивайся местными ресурсами... Все! — и слышались частые гудки.

— Тьфу, — сказал он трубке.

Давно за полночь. В хате Ивана Зина ужинает, сидя за столом; на другой половине стола рассыпаны карты.

Тоня, хозяйка, стоя помешивает на огромной сковородке яичницу и куски мяса.

— Куда ты столько? — ужаснулась Зина.

— Та моему черту. Раз доси нема, то пьяный прийде.

Она энергично схватила карты:

— Какой там у нас счет?

— Двадцать два — двадцать...

— Ну давай еще разок...

Они играют в дурака.

— И всю сковородку съест? — спросила Зина.

— Хе! Еще й за салом полезет! Он когда пьяный, ему слона дай — слона зъисть! А тоди до мене, хоч з хати тикай!

— А ты и не рада, — скептически сказала Зина.

— Та я что... где уже наша не пропадала, — сказала Тоня. — Я женщина тихая, скромная... О!.. Шестерки на погоны! — захопала от радости и вдруг прислушалась: — Все, идет! Ложимся, а то с разговорами полезет!

Она выключила свет. Зина улеглась на диване, Тоня ушла в другую комнату. Дверь на террасу открыта, луна светит. Бурча и спотыкаясь, вошел Иван. Стараясь ступать тихо, опрокинул стул. Взял сковородку и понес на террасу. Поставив ее там, вернулся, звенел в буфете ножами и вилками; захватив хлеб, вернулся на террасу. Два толстых кота доедали остатки на сковородке.

Иван, пошатываясь, стоял над ними. Развел руками с ножом и вилкой.

— Звыняйте, хлопци, — сказал он котам. — Горилки вже нема...

Светает, хотя солнце еще не встало. В автобусном парке водители готовятся к рейсам. Возле старенького автобуса — знакомый нам розыскник; водитель внимательно разглядывал фотографию Зины. Пожал плечами.

— Может, и она... В рейсе я не особенно пассажиров-то разглядываю.

— Ну так эта сошла на КПП? Или ехала до конца?..

— Нет, не до конца, это точно. После КПП трое оставалось, знаю их... та-ак... и по дороге никто не сходил... выходит, что на КПП!..

— Ничего не понимаю, — поделился розыскник с местным милиционером. — Прокрутили по всему маршруту. Куда ж ее черти дели?

— В зону она не пойдет, — сказал милиционер. — Там строго. Да и что ей там делать?

— Но где-то же она есть?..

Милиционер развернул карту.

— Надо вот что... Обзвонить эти села вдоль зоны... Там любой новый человек засветится. А я сейчас начну с Дородичей, — сказал розыскник.

— На всякий случай дайте радио в зону...

Ранним утром только алел край неба и белые полосы тумана тянулись в низинах; странно и таинственно торчали из тумана верхушки кустов. Двое шли по пустынной заросшей дороге; кусты разрослись на обочинах, травы давно взорвали незаезженный асфальт, пробивались сквозь него молодые деревца. Была полная, покойная тишина, только звучали их шаги.

— Ой, цветочек! — крикнула Зина и бросилась в густую траву. Он едва успел схватить ее за руку и удержать.

— Какой цветочек? — страдая от похмелья, буркнул он. — В этом цветочке знаешь сколько бэр?

Неужная дорога привела их в никуда — проволочный забор с датчиками выше человеческого роста жестко и намертво перегородил дорогу. Иван пошел по ему одному известной тропке среди густой высохшей травы.

— За мной, след в след, — сказал. — В траву не лезь. А вон там черта, видишь? Туда ни ногой, там трубки...

— Какие трубки?

— Телевизионные, темнота...

Он подошел к изгороди, повозился там возле датчиков, развел проволоку в стороны.

— Пошли...

Зина пролезла за ним.

— А эти... сигналы? — показала она на датчики.

Ох хмыкнул.

— Они думают, кибернетика... думают, электроника... а у нас на них своя алхимия имеется!

Закрыв за собой проход и поднял сумку.

Зина посмотрела назад, за проволоку, которая надежно отгородила ее от всего мира.

— Так мы уже в зоне? — она счастливо и свободно засмеялась, раскинув руки.

— Чему радуешься? Постешим, а то скоро архангелы прилетят...

— А что это?

— Патруль. Вертолеты...

И снова озабоченность на лице Зины.

— Тогда поспешим...

И они ускорили шаг. Пустота и безлюдье вокруг. Проволока вдоль дорог. Странные приборчики на проволоке. Где густые некошенные травы в человеческий рост, а где и скошено, жестко торчит стерня. И сверкает

чистотой мир, умытый росой, в сияющих блестях. Восходит солнце. Непуганые птицы подают голос, вон они — на проволоке, на дороге. Вот и лес показался. Ближе подошли — не лес, а село. Улицы, дворы заросли, видно, как давно не касалась тут человеческая рука, — запустение. Окна и двери торопливо крест-накрест забиты досками. Кое-где зияют чернотой выбитые окна, и оттуда, из темного нутра, торчат ветки боярышника. Распахнутые сараи. Брошенные лопаты, грабли. Почерневшая собачья будка.

Зина брела за Иваном оробевшая, втянула голову в плечи, зрелище было невиданное и жуткое. А Иван шел не оглядываясь, привычный.

— Ну чего ты там? — торопил ее.

Бывший магазин. Серые коробки, ржавые банки, тряпье. Детские игрушки на полках.

Над воротами брошенной фермы на обшарпанных непогодой стенах еще висели выцветшие жалкие лоскуты материи: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Ленин».

Ей захотелось пить, и она подошла к колодцу. Он был заколочен досками, они отваливались, она заглянула в сырую глубину.

— Ты что? — Иван оттолкнул ее.

Внезапно раздался, стремительно приближаясь, гул. Иван схватил ее за руку и потащил под навес. Вертолет все кружил над мертвым селом. Вдруг что-то закричало, и они в ужасе обернулись. В дверях стояла лиса и смотрела на них.

— Вон они что увидели! — догадался Иван. — А ну кыш отсюда, развелось вас тут! Кыш, вертолетчиков наведешь!..

Лиса спокойно ушла. Шум мотора затих, вдаль, они выбрались из-под навеса на мертвую заросшую улицу.

Тяжелые яблоки из-за плетней гнули до земли, ломали ветки. Ковром устилали землю. Выцветшие лохмотья вместо флага болтались над сельсоветом.

И вновь они шли по пустынной дороге меж заросших кустами песчаных холмов.

А потом пошел лес, и на большой поляне увидели обнесенный тонкой проволокой с флажками загон. Стоят ржавеющие вертолеты; повилка затянула иллюминаторы. Гигантские лопухи и бодьяль проросли между траков гусениц военных тягачей и бронетранспортеров. Облущилась краска, разбиты стекла, распахнуты двери машин. Вспоротые сиденья с лохмами поролона. Смешная почерневшая кукла раскачивалась на резинке за ветровым стеклом легковушки. Могучий кран. Исхлестанные дождем и ветром вращались в землю самосвалы, бетономешалки, водовозы. Табличка с черепом и костями на проволоке, надпись: «Могильник зараженной техники».

Здесь тракторист сбросил на землю сумку, сказал:

— Ну я пришел. А тебе дальше, во-он туда...

И стал натягивать ватные брюки. Зина не спешила уходить — страшновато было.

— А... вы?..

— А у меня тут дело, — он подмигнул. Стоял уже в ватнике, натягивал респиратор.

Раскрыл коробку дозиметра, поводит палкой и показал головой.

— Трещит, — сказал.

— Что трещит?

— Радиация.

— А зачем вы туда?

Он пожал плечами и шагнул за проволоку к ближайшему тягачу. И стал ключами отвинчивать какие-то части в моторе.

— А, черт, — бормотал. — Я тут керосином на той неделе залил... ага, подалось!

— Что вы делаете?

— Генератор снимаю...

— Так он же трещит!

— А в колхозе без генератора трактор стоит и план трещит! Иди, иди отсюда! Во-он на Клетню дорога!

Она рассматривала могучие машины, ставшие добычей ветра и дождя. Не уходила.

— Это ж какие миллионы пропали! — ужасалась. — На сколько ж тут?..

— Говорят, миллиардов на десять зона потянула! — сказал он, снимая генератор.

Она зажмурилась.

— Ё-мое! — сказала. — Сколько ж это будет по две тыщи восемьсот рэ?

Он внимательно посмотрел на нее.

— Почему по две восемьсот?

— Так... Ну прощайте. Спасибо! — и легко зашагала прочь. Шла одна, и свободно ей было.

— Привет, птица! — крикнула.

Закружилась на дороге от радости: ничто ей тут не грозит!

— Здравствуй, куст!

Так она прошагала долго и присела отдохнуть у заброшенной лесной сторожки. Все было призрачно и нереально. Вдруг огромное красное яблоко глухо ударилось перед нею о землю, страшно напугав ее. Она протянула руку и тут же отдернула. И притаилась. Ей послышался голос. Она осторожно выглянула из-за дерева. Блестящие фантастические фигуры неловко двигались в густоте трав. Отблескивали стекла скафандров.

— Ого! Зашкаливает!.. — донесся крик.

— Прибавь темп! — крикнули от бронетранспортера, стоящего на дороге.

Зина поняла, что еще немного — и она будет обнаружена. Стараясь не шуметь, тихонько убралась по тропинке, уходящей в кусты.

Было уже давно за полдень, когда она, изрядно притомившись, спустилась в лесную балку, по дну которой журчал холодный прозрачный ручей. Ей хотелось пить, но она боялась, и все же спускалась к воде, хватаясь за ветки деревьев. И тут увидела человека. Это был тот самый милиционер, сержант Голубенко с пропускного пункта. И его мотоцикл с коляской стоял рядом; а в нем — транзисторный телевизор, экран светился. Милиционер, сидя на корточках, возился с колесом.

Зина, оступившись, схватилась за ветку, камень покотился из-под ног, плеснула вода, и он вскочил. Зина, не раздумывая, ударилась в бег.

— Стой! — кричал он, заводя мотоцикл. — Стой, говорю!

Мелькали кусты, она оцарапала руку, но мчалась не останавливаясь.

— Стой, дура!

Грохот мотора настигал ее, она поняла, что не добежит до леса. И запыхавшись, встала. — А! — узнал он ее, перегородив путь мотоциклом. — Ты как сюда попала?..

Она пожалала плечами.

— Мне в Клетню...

— Та-ак! — он оглядел ее с головы до ног, и его шальной недвусмысленный взгляд не мог обмануть ее.

— В отделение поедем. Садись!

— Пустите меня, я...

— А то, может, в Клетню свезти? — ухмыльнулся он.

Она молчала, и он пояснил:

— От тебя зависит!

— Сколько? — с готовностью спросила она. — Только у меня денег немного!

— Дура, за кого меня принимаешь? Не о деньгах речи!

Она это уже поняла, в отчаянии замотала головой, оглянулась, словно ища спасения.

— А тут смотри — не смотри — никого, — неумолимо сказал он и шагнул к ней.

Яростно сопротивляясь, резко оттолкнула его, локтем задев по лицу.

— Ах, ты ж! — рассвирепел он и рванул ее за руку. — Марш в коляску! Ну?..

— Пожалей меня, — жалобно попросила она.

— Да и я же об этом! — обрадованно сказал он и вновь по-хозяйски обнял ее.

— Пусти-и... пусти!..

В коляске мотоцикла маленький переносной телевизор включен, и мордатый функционер говорит о том, что все наши беды оттого, что нет социалистического соревнования.

Растрепанная Зина плакала зло и отчаянно,

безутешно. Он лежал, покусывая травинку, поглядывая на нее. Тронул за руку, она отшвырнула ее, вскочила, оправляя измятое платье, и пошла.

Он повел мотоцикл за ней.

— Садись, — предложил. Она не обернулась, плечи вздрагивали.

Ему стало жалко ее. Решительно схватил, усадил в коляску. Поглядывая на ее опущенную голову, говорил, распляясь все больше:

— Ну так вышло... чего там, не умерла... А я что, виноват? Не надо было сверкать коленками! А то эти мини! Да разрезики! А ты потом виноват!

Она молчала.

Мотоцикл пересек мостик, и показалась деревня — темные хаты под могучими зелеными деревьями.

— Вот она, Клетня, — сказал он. — Вон там, где церковка, там дед твой...

Она выбралась из коляски и пошла не оглядываясь.

— Ладно, — сказал он. — Я приеду!

Обернулась и обожгла взглядом:

— Н-нена-ви-жу! Убью, мусор...

И быстро пошла по улицам.

— Однако! — озабоченно сказал он, глядя ей вслед.

Еще из-за деревьев и кустов она услышала шум и удивленно подняла брови. Это был необычный для этих мест шум. Звучала безалаберная музыка, неслась пьяная песня:

— АЭС на крыше, АЭС на крыше, йод на земле!

А за кустами возле чистенькой, свежепобеленной церковки с маленьким двором, покрытым, как газон, ровной невысокой травой с цветником, подле приземистой потемневшей хаты, крытой очеретом, чуть не уткнувшись в нее, стояли яркие бульдозеры, скрепер да два могучих самосвала. Из раскрытых окошек вросшей в землю хаты неслась разудалая частушка:

— Обнищали украинцы, що в кармане, що в ширинци, пють горилку, крють матом, вот что значит мирный атом!..

Зина заколебалась оглядываясь — туда ли попала? Но ничего живого не было кругом, кроме этой хатки. Сверкал на церковке крест, солнце играло в стеклах. Вековые деревья могучим шатром покрывали хатку; в канаве чернела прозрачная вода, просвечивало желтое песчаное дно и покойно лежали на воде плоские листья. А за хаткой улицы почти и не видно — темные, заросшие лебедой и терном изгороди, замшелые хаты с заколоченными окнами едва проглядывали сквозь могучие бурьяны; деревья проросли через крыши черных сараев; дорога едва угадывалась сквозь заросли крапивы и дикой малины.

Но долго разглядывать все это Зине не

пришлось. Баба Олеся, которая возилась возле корыта для гусят, приложила ладошку к глазам, с удивлением разглядывая Зину.

— Здравствуйте, — робея, сказала Зина.

— Здравствуйте вам... а я дыплюсь, что то за вольная людына ходит?

— Я... Марта, бабушка, — неуверенно сказала Зина.

— Яка Марта?..

— Ну Марта... Петина... жена...

— Ой, боже ж мой, — баба Олеся схватилась за сердце. — Доню!.. — и она обняла Зину, заплакала. — Та откуда ж ты тут? Ой, а дед же... Диду, диду! — бросилась к раскрытому окошку. — Скорей сюда, тут же такое!.. Кто приехал!.. Скорей, Павло!.. Та дай же я на тебя посмотрю... и Петя... Петечка наш!.. — горько заплакала и тут же вытерла хусточкой глаза.

Слышно, как в хате дружно захохотали здоровые мужские глотки. Баба Олеся придвинулась к Зине:

— Ото ж партизаны пьяные!.. Эти... из запаса, резервисты, по шесть месяцев тут, кто на реакторе, кто деревни хоронит, траву косят, землю срезают, дороги... Ну они ж не пацаны, ими не покомандуешь, нет! Что хотят, то и делают... одно слово — партизаны... Теперь-то их вроде и вывели, а все одно — и вольные, как партизаны... Чуть выпить, сразу бульдозер гонят — давай пузырь, а то церкву несем! А куда денешься? Хорошо, дед Митько первача гонит... А то откуда?

Тут и дед Павло в старенькой выцветшей рясе спешит.

— Ты знаешь, кто это? — встречает его баба Олеся. — То ж наша Марта, Петина!

— Доню! — руки у деда трясутся, когда он обнимает Зину. — От же радость... какая ж ты молодец, что приехала! А мы так про Петечку ничего... Пришла казенная бумага — и негу человека! Несчастный, мол, случай... А пришло уже после аварии...

Помолчали. Ждали ее рассказа. Шумели в хате «партизаны».

— Что было, — сказала она. — Привезли... и гроб не разрешили открыть. А потом шепнули... убили его. Эти стройбаты — сплошной бандитизм, хуже тюрьмы. А Петя... он же все за правду... ну там какие-то махиначии с лесом, цементом, он и заявил... ну... словом, замяли, куда ни писали — и командующему, и в Москву...

— Ну а ты?

— И меня выжили... помотало по свету...

— От бедная... Ну идем, идем сюда, нико-го... — баба Олеся повела Зину за угол, но тут на крыльцо вывалились два «партизана». В форме без погон, тельняшка видна, лица красные.

— У-ух ты, какая лучистая!

— Кто такая?

— Приходите к нам в Припять, вы будете

поражены!.. — зашлись в местном юморе.

— Пр-рошу!.. Мирный атом в каждый дом!

— Нехорошо этакую красавицу прятать... ваше святейшество...

От них не отделаться.

— Ходим уже, доню... заодно и покушаешь! — говорит баба Олеся.

В хате ее появление вызвало бурный восторг. Человек пять ликвидаторов были в отличном настроении — попили, поели. Еда была их, армейская, в котелках и консервных банках. Сулея зеленого стекла почти пустая, тем не менее Зине налили и поднесли. — Сыночка покойного жена, — пояснила баба Олеся.

— И что же вы тут делаете? — пытаюсь освоиться, начала разговор Зина, обратясь к самому хмурому.

— Пишем, — сказал он. — На стене саркофага... во-от такие литеры! Чроб из космоса пришельцы видели.

— И что ж вы им пишете? — спросил дед Павло.

— Пушкина. «Отсель грозить мы будем шведу»... — сказал старший.

Он подвинул Зине стакан, чокнулся.

— И не бойтесь? — спросила про самогон.

— Украинцы — горда нация. Им до фиги радиация.

— До... чего? — не поняла она.

— Мы — пофигисты. Нам все — до фиги! — сказал он, и пошатнувшись, встал с тостом: — За страну победившего пофигизма!

— Не бойся, доню, — сказал дед Павло. — То виноградный, в нем радиация в косточках, дед Митько косточки выкидает...

— Батя, — сказал «партизан», обнимая его за плечи. — А как там насчет змия? — ткнул вверх пальцем и продемонстрировал «змия», выпив шкалик.

— Оную и монасе прие́млют, — сказал дед Павло.

— Ты, отче, молоток! — похлопал по плечу пофигист. — Только вот... Зачем торчишь тут? Бэры хватаешь?

— А как же? — искренне удивился дед Павло. — Тут же мой храм!

— Ну и что?

— Как «что»? Люди придут — а меня нет!.. Нельзя...

— Придут! — скептически сказали ему. — Сюда теперь ско-оле́чки не придут...

— Бог поможет, все образуется. Придут! — убежденно сказал дед Павло.

— Бог, — усмехнулся спорящий. — Вот ты, дед Павло, богов замполит. Ну а я — генсеков, коллег, можно сказать...

— Нет! — перебил дед. — Не colega. Я богов — это точно.

— А ты — чертов, — смеются «партизаны»

над замполитом. Дед промолчал.

— Не в том суть!— с досадой сказал старший.— А в том, как же бог допустил это все? Он же у тебя всемогущий! Зачем же все эти беды, грехи, трагедии эти?

— А тебе разум зачем дан?— возразил дед.— Чтобы ты сам выбирал. Сам! Прощел и грехи и соблазны...

— А кто не сможет? Выходит как, что это селекция? Выбрать лучших. А худшие? Вот мы, грешные...

— Опять пойдут на испытание...

— Ин-те-ресная картина получается! А вот...

— Отстань от него, старшой!..

— Много себе позволяешь,— повысил голос замполит.

— Что ты хочешь — мутации,— со смехом сказали ему.— Ты лучше ответь, старшой: Вот дед свой пост не бросил, бьется за него, да? А вот ты бы, к примеру, свой ну там кабинет политпросвещения! Ведь бросил бы не колеблясь, что, нет?

— Видел я в Припяти этот кабинет!— сказал шофер.— Ужас и смехота! Драпали так, даже выпивку в кабинете на столе забыли!

Снова встал пофигист, постучал по стакану.

— Есть мнение!— сказал важно.— Присвоить барышне звание «Мисс Клетня»... А споры твои, замполит, мне до...

Дружно поддержали.

— Цветы отменяются, они, гады, здорово накопляют... а вот чарку!..— крикнул шофер. Вошел шофер Игнат, неся консервы.

— Где тебя носит?— спросил его.

— На рации сидел... срочное...

— Что там?

— А-а! Милиция... ловят какую-то чувиху... по фамилии Иголкина. Подумаешь — «всем постам!».

Зина слышала это, помертвела.

— Ну!

Она опомнилась. С ней чокнулся старший.

— За мисс Клетню!..

Баба Олеся слышала разговор. И заметила испуг Зины.

— Что, баба Олеся? — лез к ней «партизан».— З чоловіком щось не тэ? Обратитесь в МАГАТЭ!

Баба Олеся испуганно отодвинулась и перекрестила его как нечистую силу.

Было уже темно, луны не видно. Темные кусты, темный сад. Яркие крупные звезды.

Очень тихо, только слышно, как бурчали уходящие «партизаны».

— Не упади...

— Никакой... миллирентген... не согнет советский член!

— Чего-чего? Идем!

Загрохотало ведро, и стало тихо. В церкви зажегся огонек. Дед Павло тихо молился, а Зина смотрела на него со двора.

— Песок морей и капли дождя и дни вечности кто исчислит? Высоту неба и широту земли и бездну и премудрость кто исследует? Прежде всего произошла Премудрость и разумение мудрости — от века... Если желаешь премудрости — соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе, ибо премудрость и знание есть страх перед Господом, и благоугождение ему — вера и кротость...

Зина отошла от темной церкви и присела на завалинке, откинулась в стене. Было тепло. Темные кусты, сад. Яркие крупные звезды отражались в невидимой черной воде. Абсолютная, полная тишина и покой стояли над землей; неправдоподобная тишина.

Зина не заметила, как задремала.

Она резко проснулась, сердце тревожно билось. Что-то темное, мохнатое надвигалось на нее, шумно дышало, она от страха не могла шевельнуться. И тут из темноты — голос деда Павла:

— О, коник в гости пришел!.. Гнедашка!.. Пришла за лакомством!

— Та каким там лакомством!.. Она рожать, бедная, пришла!— суетилась в темноте баба Олеся.— Что-то у нее не так! Неси скорей фонарь, дед!

Под навесом неярко горел фонарь «летучая мышь». Дед Павло успокаивал, гладил дрожащую лошадь.

— Ну все, все, Гнедашка... не бойся...

Вскрикнула баба Олеся.

— Ой, горенько!.. А ну посвети!.. Марта!

Зина не сразу поняла, что это — к ней.

— Марта!— окликнул дед.

Она опомнилась, поднесла фонарь.

Перед ними на мокрой соломе лежало нечто страшное.

— Свят, свят, свят,— сказала баба Олеся шепотом.

— Что это?..

В кружок света просунулась голова Гнедашки, она попыталась лизнуть жеребенка.

— Уведи ее, дед! — приказала баба Олеся и стала считать:— Семь... восемь ножек... урод...

Дед тихо увел Гнедашку, она всхрапывала, рвалась к жеребенку.

— Что же с ним делать?..— спросила Зина.

Закапывали его тут же, неподалеку. Фонарь висел на ветке, дед Павло и Зина забросали яму. Дед снял фонарь, и, неся лопаты на плечах, они пошли к хате. Баба Олеся шла следом, молча вытирала глаза концом платка.

— Тяжело тебе там... в миру?— спросил он.

— Тяжело...

— А главное, доню, не давай ходу злобе. В мире все сохраняется — и доброе и злое, все! Вот и нельзя множить зло... а чем больше добра в сердце и в мыслях... тем и мир лучше...

— Добра, — невесело и тяжело усмехнулась она. — Где оно? Как дым...

— Нет, нет, доню!.. Одна слезинка — и та ой много! Тут что ж было? Ну там, эта авария, паника, ужас. Люди бегут, жарища, пыль. А сказали ж, всего на три дня. Ну и животных побросали. Собаки эти... и на цепи... Кошки... А дни идут, есть-пить надо. И главное — без людей. Страшно! И тут приказ вышел военным: истребить животных... они ж все зараженные! Ну идут солдатики по мертвому селу, а к ним кошки! А к ним собаки, радуются, прыгают, сквачат! И в ответ — огонь, огонь, пули, гром. Они, бедные... — дед не может говорить, крутит головой. — Они ж человеку верят, он им хозяин, он спаситель, друг — и он же в морду пулей... Да... Не дай бог... А я к чему... солдатик один... стоит перед конурой... а там песик на цепи, уже весь облез от радиации, рвется, ластится, тоже радуется человеку! А солдатик автомат поднимает и — опускает, руки трясутся и слезы по щекам... Ну-ка, живое убить? Жизнь убить, понимаешь? То бог за эти слезы много простит... да...

— Как Юлия расстроится, бедная! — сказала баба Олеся. И объяснила Зине: — Это внучка наша... твоя, значит, племянка. Это ее Гнедашка... она ее нашла в зоне... других половили и в колхоз... А Гнедашку Юлия убежала, спрятала. Волю любит, а к людям все одно тянется...

— Баба Олеся, — спросила Зина, — а почему вы не уехали?.. Все уехали, а вы...

— А куда нам? Тут наше все... тут вот и Петечка бегал... и храм тут, без него деду Павлу нельзя. Тут и помрем...

Помолчали. Но долго грустить Зина не умела. Тряхнула головой, словно отгоняя мрачные мысли, и сказала деду:

— А что, дедушка Павло... не сыграть ли нам с вами в дурачка?

— В карты? — опешил он. — Та то ж грех!

— Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься, — засмеялась она.

Дородичи, районный центр рядом с зоной. Зеленые одноэтажные домики, школа, исполком. Людей негусто; армейская зеленая машина стоит, и дозиметристы привычно проводят дежурный осмотр, водят длинными датчиками по траве и кустам. Голубенко вел в милицию молоденькую, совсем худую и болезненную девушку лет шестнадцати. Это Юлия Кулик, и она взволнована, часто вытирает со лба пот. Это для нее привычно, у нее

даже и платочки про запас в кармашках платья.

— А зачем меня в милицию, дядя Голубенко? — допытывается она.

— Грамотные все стали, — не оборачиваясь, бормочет он. — Писатели!

— Плохо?

— Что?

— Что грамотные?

— Разумные! — гаркнул он. Но на нее его тон не действует.

— Дядя Голубенко, ты когда в зону едешь, завтра? Возьми с собой, мне к дедушке, там Гнедашка жеребеночка должна принести...

— Ты помолчи о Гнедашке, почему ее в колхоз не сдали?

— А она не колхозная, она ничья! Вольная! Перебьетесь! Так возьми, а?

— Нечего по зоне шастать... проходи!..

Поднялись по ступенькам и вошли в здание милиции.

В кабинете майора кроме него восседал еще и главный врач районной поликлиники, средних лет плотный лысый мужчина. Юлия только увидела его — и все поняла.

— Та-ак! — сказала. — Уже и милиция с медициной спелась?

— Но, ты! — одернул майор. — «Спелась». Ты писала? — показал письмо.

— Она, она! — подтвердил врач. — Киева ей мало! Министерства мало! Так она в ООН вздумала!

— И за это, значит, в милицию? Ну об этом я уже на весь мир! — пообещала она. — А за перехват письма...

— Не за это! — поспешил прервать майор. — Это ваше дело разбираться. А мы вызвали по факту оскорбления главного врача. В письменном виде! — потрясает письмом. — «Бездушные... бюрократизм... перестраховка... слуги системы...» Слова какие, а?

— А я сколько у них прошусь: отправьте в Москву! В шестую больницу, там наших пожарников лечили! Сколько прошусь — и что же? — наступала Юлия, то и дело вытирая платочком лоб. Майору мутрно на душе от всего этого дела, зол на врача...

— Но как же тебя туда отправлять, зачем, ведь твое заболевание не связано с аварией! — кричит врач.

— Не нервничайте, — строго сказал майор. — Не волнуйтесь...

— И вы? Тоже с ними? — накинулась на него Юлия. — Ладно, я и вас ославлю!

И, хлопнув дверью, ушла. Майор перебирал бумаги.

— Люди собрались, — напомнил ему Голубенко, заглянув в комнату.

— М-да, — только и вымолвил он.

— И это все? — сказал врач. — Вот так вот

вы воздействовали на хулиганку?

— Все! — жажнул по столу майор. — Я за деполитизацию, понял? Вы свободны! И чтоб я вас не видел тут с такими заявлениями!

Вновь появился Голубенко.

— Товарищ майор, люди...

— А ты! — зашелся майор. — Марш сюда! Это что? А это? Это? Это?... — потрясал письмами. — Жалобы на сержанта Голубенко! Там вдову бросил! Там у тракториста жену уговорил! Там две бабы из-за него подрались! Кобель! На тебя что, радиация так действует? Я сколько предупреждал? Все! Терпение лопнуло! Работаешь последнюю неделю! Заходите!..

Входят и рассказываются офицеры, сержанты, участковые. И вошел розыскник.

Врач, взъерошенный и злой, вышел на крыльцо. А там его ждала Юлия, шагнула навстречу, он опасливо остановился. Но она только сказала:

— Сколько мне обещали... а время идет... а мне все хуже... — В глазах у него мелькнула жалость.

— Да что тебе та Москва? — сказал. — Ну не имею я права, это ж если всех туда! А нас тут вон десятки тысяч...

— Я до аварии знаете какая была? Чемпион! Да что там... Меня и в больнице обследовали, там же карточка есть...

— Какой больнице? Ты что, в больнице до аварии лежала? Вот видишь, я и говорю: не связано у тебя с радиацией!

— Да мне там гланды удаляли! А все анализы в норме, врачи хвалили. А в самый день аварии я во дворе больничном все утро сидела, а это же, считай, прямо под реактором! Пошлите в Москву!

— Не могу, — развел он руками. — Нет оснований...

Дородичи. В отделении милиции, у майора. Розыскник уже рассказал все и теперь заканчивал:

— Значит, она скрывается где-то здесь... в селах возле зоны... Командование доводит до сведения личного состава, что отличившиеся при розыске и задержании этой... Иголкиной будут поощрены... возможно, и офицерскими погонами...

— Ну-ка, ну-ка! — Голубенко потянулся за фотографиями. Сомнений не было, на них — его недавняя знакомая.

— Ну тебе ни к чему, — майор забрал у него карточки. — Ты место подыскивай...

— Вопросы есть? — спросил розыскник. Вопросов не было.

— Тогда все, — сказал майор, и люди стали расходиться. В толчее возле стола Голубенко проговорил, все глядя на снимок:

— Пятнадцать миллиардов в трубу — и виноватых нет, одни стрелочники. А тут из-за

трех тысяч все МВД на ушах стоит из-за какой-то...

— От-ставить! — прикрикнул майор. — Что за разговорчики? Тебя это вообще не касается. Все, все!..

А когда все вышли, сказал, перекладывая на столе бумаги:

— Вообще-то...

— Вообще-то да, — понял розыскник. — Да тут такое дело. Из-за языка все. К ней там конвойный шился... она его матом... а ее в карцер. Тут генерал с проверкой... а она и его... Ну тот гордый, мстительный: как это так, при людях! Кто такая? А она тут же и слиняла... Мой недогляд. Ну мне сказано: или доставишь, или... а у меня семья... — Весь мир бардак, — сказал майор.

Голубенко спустился с крыльца. Подошел к стенду «Их разыскивает милиция».

— Та-ак! — сказал, сдвигая фуражку на затылок. Оглянулся с одним рывком отхватил кусок плаката с фотографией Зины; сложил и сунул в планшет. И тут увидел удаляющуюся Юлю, быстро догнал.

— Ты-то мне и нужна! Ты скажи... свою тетку... Марту, знаешь?

— Ездил к ним, знаю...

— Ага! Знаешь. Это хорошо. Ты в зону хотела? Едем! Там как раз твоя тетка!

— Марта? — поразилась Юлия. — Откуда?

— Встретишься, узнаешь, — сказал с намеком. — Ну так ты готова? Я за мотоциклом...

— Дядя Голубенко, — спросила она. — А вы в Припяти дежурите?

— Бывает...

— А что больница... говорят, все так и осталось?

— Туфли, тапки валяются. На окне банка с кофе. Кефир высохший. Халаты... А у главврача настольный календарь так и раскрыт на двадцать шестом апреля... Пожелтело все...

— И регистратура целая?

— Ну как целая. Перевернуто все, лекарства рассыпаны!..

— А бумаги?

— Все валяется...

— Едем! — решительно сказала она.

Мелькали безлюдные дороги, пустые хутора. Но исправно стоят указатели: «Киев — 117 км», «Припять — 21 км». На этом, припятском, Юлия задержала взгляд.

Было уже к вечеру, солнце наколосило на острые верхушки сосен и тонуло в них, косые лучи били сбоку, и легли длинные тени, когда мотоцикл въехал в Клетню.

Дед Павло и баба Олеся трудились в огороде. Зина возилась тут же, помогала окучивать грядки.

— О! Едет кто-то! — выпрямилась баба Олеся.

Зина забеспокоилась — и вновь это не открылось от бабы Олеси.

— Схожу к Гнедашке, — сказала Зина, бросив мотыгу на грядку. Но тут же — улика, третий работник! — подобрала и поставила к плетню.

— Та подожди, гостей встретим! — сказал дед Павло.

— Я приду... скоро, — торопясь, сказала Зина.

— Пусть идет, — проводила ее взглядом баба Олеся.

Отойдя за хату, Зина припустила бегом к кустам. И спряталась в их гуще за церковкой, но так, что ей хорошо были видны двор, хата, дорога. Видела, как из оставившегося мотоцикла вылезла Юля и пошла к деду, повисла у него на шее. Как широко шагал длинными ногами Голубенко. Остановился перед стариками, кивнул, здороваясь.

— Где она? — спросил.

— Кто? — недоуменно пожала плечами баба Олеся.

— Ну эта!... Марта!

Баба Олеся переглянула с дедом.

— А-а! Так негу ее!.. Ушла! К деду Митьку подалась! — сказала баба Олеся.

— Угу, — Голубенко пристально смотрел на бабу Олеся. Присел на тын.

— А скажите мне, милые вы мои! Это ваша невестка?

— Оттуды до биса, — сказала она. — А кто же еще?

Дед Павло ничего не понимал.

— А может, еще чья? — продолжал Голубенко уверенно и напористо. — Ой, не упорствуйте! Ой, хуже будет! За укрывательство, за пособничество. Пальчики там, отпечатки, то, се...

— Какие пальчики? Какие то-се? — спросил дед. — Непонятно говоришь, служивый чин...

— А вот это понятно? — сказал он, доставая кусок бумажной афиши и предъявляя его Юле.

— Отвечай, она это? — показал портрет. — Тетка твоя... Марта?

— Н-нет, — сказала Юля.

— Отвечай, ты эту особу знаешь?

— Впервые вижу...

Торжествующий Голубенко уличающе соствил стариков.

— Э-эх, вы!... Старые люди... а туда же. Это ж рецидивистку вы пригрили! Как можно? Ну где она? Иголкина? Зинаида?

Дед Павло посмотрел на жену. Баба Олеся вздохнула:

— Подалась к деду Митьку... а може, еще куды...

Укоризненно покачал головой Голубенко.

— Учтите! — поднял вверх палец. — Еду к деду Митьку. Но за укрывательство!.. Ой-ой-ой... Объясни им, — сказал Юле.

Они смотрели, как он журавлиными шагами топал к мотоциклу, как еще раз погрозил пальцем и уехал.

— Какая Иголкина? — спросила Юля. — Какая Зинаида, что тут происходит?

— Прибилась тут одна несчастная, — сказала баба Олеся. — Дед, ты понял, что то не Марта?

— Понял, — сказал дед Павло. — И то понял, что закрутило несчастную... вы ее не пытайте. Надо будет — скажет сама... А не скажет...

— А где ж она? — спросила Юля и крикнула: — Э-эй! Иголкина! Зинаида-а!.. Иди сюда!

Ответа не было.

Сумерки сгущались, когда Зина подошла к раскрытой двери церкви. Оттуда падал рассеянный свет, длинные тени протянулись до порога. В полумраке светились лики богов. Тихий голос Юли, читающей толстую старую книгу; дед Павло и бабка Олеся стоят позади.

— Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезды — польнь и третья часть сделалась польнью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки...

Они заметили Зину, но ничего не сказали ей, дали место рядом; но она не подошла, не решилась.

— Я хочу вам сказать... — нерешительно начала и замолчала.

— Исповедаться хочешь? — спросила баба Олеся.

Зина молчала.

— А ты крещеная? — снова спросила баба Олеся.

— Н-нет...

— Дед Павло, соверши обряд.

Дед Павло надевает облачение. Баба Олеся приносит лохань с водой.

И происходит обряд крещения, она получает свое имя — Зинаида.

Юля поцеловала ее.

— Идем до хаты, — сказала баба Олеся.

Зина отрицательно покачала головой.

— Хочу, чтоб знали все обо мне...

Дед Павло принимает ее исповедь.

— Мы с Мартой... женой Пети, работали

в одном гарнизоне... в столовой. Дружили... А как Петю убили, давай мы правды искать. Ну а нас, чтоб не высывались, и подставили под недостачу. Марта испугалась, а я в Сибирь дунула... Оттуда снова пришлось бежать, в санитарки, а там опять недостача, почти на три тысячи... Вот так и стала рецидивисткой... Нет, я не оправдываюсь! Брала, как все! А потом обложили, убежать некуда... а у меня письмо от Марты и адрес ваш.

— И помыслами, и делами... грешна?

— Жила, как все...

Дед Павло положил руку на ее голову.

— Только б ты сердце сберегла от злобы и ненависти,— тихо сказал он.

— Вы... не прогоните меня? Можно, я тут поживу?

— Это же зона... тут все трещит, куда ни кинь... не боишься?

Она смотрела куда-то в открытую дверь церкви, в ночь.

— Там страшнее...

Ночь. Луна светит, черные резкие тени перечеркнули поляну, кусты, деревья угадываются в слабом свете, не дрогнет ни один листок.

У кормушки, оборудованной в кустах, хрумкает Гнедашка. Юля принесла ей корочки хлеба, лошадь аккуратно берет их большими теплыми губами с девичьей ладони. Юля обняла лошадь за шею, гладит. Зина стоит рядом.

— Бедная ты моя,— шепчет Юля.— И у тебя беда...

Лошадь положила ей голову на плечо. Юля стала скребницей чистить ей бока.

— Обе мы с тобой ежики,— сказала Юля Гнедашке.

— Какие ежики? — удивилась Зина.

— А вот бежит волк, видит, колобок. «Колобок-колобок, я тебя съем!» — «Не ешь меня, волк, пожалуйста, нельзя меня кушать!» — «Это еще почему, Колобок?» — «А я не Колобок вовсе!» — «А кто же ты?» — «Я ежик из Чернобыля!»

Она присела возле Зины.

— Что я хотела спросить,— прошептала смущаясь.— У тебя ведь было это... было, ну с мужчиной...

— Этого-то добра... да при моем характере! — беспечно ответила Зина.

— А у меня не было,— сказала Юля.— Парень был... так добивался! А я дура... А как заболела, так и все, отстал... А... это больно?

— Стерпеть можно,— хмыкнула Зина.— Зато потом!.. Ладно. У тебя еще все впереди, тут уж никуда не денешься, как в том анекдоте. Что ты наденешь длинную рубашку, что короткую...

— Дурье такое, я им докажу, я им справку достану, тогда и увидят! Мне б эту справку, тогда меня в Москву бы взяли, там лечат! — убежденно сказала Юля.

— Какую справку?

— Да карточку медицинскую! Из больницы в Припяти!

Но Зину заботило свое, и она спросила:

— Слышь ты, а чего этот-то приезжал?

— Голубенко? Тебя ищет. У него и плакат имеет...

— Во-он, значит, как,— протянула Зина.

— Да ты не бойся, не выдали тебя. Сказали, к деду Митьку ушла...

Тревога охватила Зину и не оставляла. Они лежали в одной комнате, в разных концах. Зина заложила руки за голову, не спала. Монотонно трещал сверчок. У открытого окна фыркнула Гнедашка. Зина прислушалась, встала и подошла к Юле. Та тихо плакала, уткнувшись лицом в подушку.

— Ну что ты, глупенькая,— ласково сказала Зина.— Все наладится, все пройдет, как с белых яблонь дым... И все тревоги откладывай на утро!

— Мне б только эту справку,— шептала Юля.— Я знаю, мне говорили, там больница рядом и документы там, мне Голубенко говорил!.. Слушай! — схватила за руку Зину.— Давай сходим вдвоем, а? Я знаю как, со стороны речки, за мостиком!

— Спи,— обняла ее Зина и, раскачиваясь, запела тихо колыбельную без слов. Юля притихла.

— Утром все и решим,— напевно говорила Зина.— Значит, говоришь, по мою душу приезжал этот?

Юля спала.

Луна ушла, стало темно...

Утром Голубенко на мотоцикле катил в Клетню, злой и решительный. Перескочив почерневший мостик, за кустами лозняка, уже наступавшего на улицу, выехал к хате возле церкви и сразу понял, что происходит нечто. Металась и плакала баба Олеся, недалеко стоял колхозный грузовичок, возле него колхозники крепко держали на веревках дрожащих, испуганных лошадей.

Голубенко слез с седла, тяжело зашагал к старухе и встал перед нею, переваливаясь с пятки на носок.

— Ну? — спросил тихо и грозно.— Что скажете? Гонять меня до деда Митька? Где она, спрашиваю?..

— Кто?

— Ха! Баба еще и спрашивает! Невесточка ваша где?..

— Та йды ты,— сказала баба.— Тут от Юля пропала. С утра глядь, а их нету, обеих!

— Ага, значит, тут была? Статья за укры-
вательство налицо. А теперь, значит, Юль-
ка ее прячет?

— Тю на тебя,— сказала баба.— Кого там
прятать...

За хатой — шум и крики, отчаянное ржа-
ние Гнедашки, голос деда Павла. Показа-
лась Гнедашка, захлестнутая веревками; кру-
гом толкались мужики, она в ужасе косила
глазом, приседала на задние ноги, пытаюсь
вырваться,— да куда там! Рядом шел дед
Павло, успокаивал Гнедашку, рвал веревки
из рук мужиков.

— Не дам! — заявил категорично.— Вот
хоть убейте — не дам! Баба, режь веревки!

— А Юля ж где? Не с Гнедашкой? —
кинулась баба Олеся.

— Нету ее тут... Не подходите...— кричал
он.— Коня не отдам!

— Эй, Голубенко! — обратились мужи-
ки.— Посодействуй! Хватит на дармовщину
жрать, пусть в колхозе потянет! У нас па-
хать нечем, а дед тут чудит!

— Дед,— плакала баба.— Где ж Юля?..

— Та куда ей деться,— дед гладил Гне-
дашку. Голубенко отстранил его, отобрал
веревки, бросил мужикам.

— Не усугубляй, дед Павло,— сказал.—
Не нарывайся.

Голубенко передал по рации:

— Тут Голубенко. Семен, ты? Сообщи там
на пропускные пункты... всем постамам... ра-
зыскиваемая Иголкина Зинаида находится
в зоне! Предположительно, будет пытаться
уйти. Я преследую. Все!..

Он сел на мотоцикл.

— А как же Юля? — бросилась к нему
баба Олеся.

Он умчался не ответив, пылью обдало ста-
риков. Тронулась машина, повели лошадей.
Гнедашка ржала и тянулась к деду Павлу,
он шел следом. Жалобное ржание неслось
в воздухе.

Зина шла по заросшей полевой дороге.
Солнце поднялось, настало утро, а потом
день, а она все шла, голодная, опустошен-
ная, не зная, куда и зачем.

На лесной опушке обнаружила у дороги
знак: «Село Вербы». А села не было — по-
дозрительно ровная площадка вместо села,
а вдалеке яркий японский бульдозер дви-
гает последнюю хату к огромной яме, а
другой туда же отправляет деревья сада.
И уже коток заравнивает то место.

Услышала голоса. Рядом — кладбище ста-
рое. Женское тихое пение. Бабки и тетки —
похожие на тех, что ехали с нею в автобусе...

Ровняли могилки, красили ограду, сажали
цветы. А три старушки сидели возле мо-
гилы, закусывали.

— О доню! — обрадовались Зине.— Си-

дай, помянем мово мужа!..— И протягивает
Зине стакан молока.

В летней тишине далеко слышен стрекот
мотоцикла. Едет Голубенко. Солнце высоко
поднялось в небе.

На кладбище тетки окружили Зину, она
склонилась над картами.

— И куда ваш зять не денется... вот,
видите карту? Эта дама — то дочка ваша,
а это — зять, трефовый король, ну тут, прав-
да, ему встречается пиковая дама...

— Вот видишь!

— Но это ненадолго! Что это? — Зина
подняла голову, заслышав треск мотоцикла.

— О, архангел,— забеспокоились бабки,
хватая бутылки.— Ховайте все! Голубенко!..

— Ой! — Зина заметалась, схватила кар-
ты.— Это за мной! Я ж тут без пропуска!..
Он за мной гонится, не выдавайте меня!

— Тикай вон туда, в кусты! А там до-
рожка — и ищи ветра в поле! — советуют
ей. Кинулась в кусты.

А вот и Голубенко подошел.

— Тут из чужих никого не было? —
спросил.

— Та мы одни!.. Не, не было!..— друж-
но закивали бабки.

— Молодая такая! — сказал он.— Симпа-
тичная. Преступница!.. Ее ищем...

— Та куды вже нам с преступницей! —
хихикают бабки. Он подозрительно оглядел
их. Протянул руку к стакану с молоком,
бабуля опередила, залпом выпила, поперхну-
лась и закашлялась, нюхала корочку. А он
понюхал стакан.

— Спиртное? — спросил грозно.— А вас
же предупреждали: в зоне нельзя. Мысли-
мое дело, молоком самогон маскировать!

— Про что это он? — спросила одна баб-
ка другую, а третья удивилась:

— Та ты что, сынок? Может, тебя солн-
цем напекло? Такое бывает!

— Вы из меня дурака не шейте! — сви-
репел он.— Я все знаю!

— А докажи! Улики нету? — наивно спро-
сила бабка.— Выпили улику... хи-хи...

— Узнаете что о чужих, я буду на КП!..
Сообщите!..— сказал он, поняв, что их не
переспоришь.

Зина тихонько скользнула в кустах и скры-
лась в овраге.

Зина сидела на обочине у кустов. Отсюда
виден был контрольно-пропускной пункт, но
ей туда нельзя, там ловушка. Наверняка
о ней уже сообщили. Что делать? Остава-
лось полагаться на случай. Она сидела, по-
ложив голову на колени, и дремала.

Со стороны дороги послышался шум. Медленно катился колхозный грузовик, а следом мужики вели лошадей, каждую на веревках держало двое; кроме того, третьей веревкой лошади для надежности были привязаны к грузовику. Не поняв, зачем она это делает, Зина вышла на дорогу.

— О! — приветствовали ее. — Еще одну кобылку поймали!..

— Ей же больно! — Зина подошла и похозяйски поправила на лошади веревку.

— Ты кто такая? — спросили ее.

— Да я ж тебя знаю! — радостно крикнул тракторист Иван. — Хороший человек!

— Выведи меня из зоны, — тихо попросила она. Он понял.

— Мигом, — сказал ей. — Лезь в кабину...

Зина вдруг остановилась как вкопанная.

— Гнедашка, — растерянно сказала она, увидев лошадь. — Это же Гнедашка, куда вы ее?

— А нам хоть и каурка, все к одному — в колхоз! — смеются мужики.

— Как же ее Юлия отдала? — спросила она. — Она ее с жеребеночка растила!

— Нету там Юли! — сказал Иван. — Дед и баба руки ломают — пропала дытына!..

— Как же так, — растерялась Зина. — Ой, кажись, я знаю, где она...

— Ну чего, — кричит шофер, — садисься?

Зина сказала решительно:

— Она же больная, она там пропадет!.. —

И кинулась к Ивану: — Сержант Голубенко... передайте на КП, что Юлия... словом, пусть немедленно выезжает! Она пошла в Припять, ее надо найти! Пусть едет по этой дороге! Скорей надо, она больная, она там пропадет!

Голубенко дал газ своему металлическому коню, благо тут, в зоне, было пусто и дороги свободны. За поворотом его ждали. На дорогу вышла Зина. Он затормозил, молча смотрел на нее.

— Скорей, — шагнула к нему. — Она в больницу подалась, в Припять, я знаю, вчера мне сказала...

— Садись! — приказал он и стал разворачивать мотоцикл.

— Ты что? — отступила она.

— Хватит! — рывкнул он. — Надоело мне за тобой гоняться!

— Девчонку выручать надо!

— Вот сдам тебя на КП, позвоню, ее найдут...

— Да ты что, Голубенко? Ну, миленький, ты в уме? Едем за ней, потом арестуешь! Клянусь тебе! Никуда! Ну прошу тебя, умоляю!..

— Садись, — неумолимо повторил он.

Юля шла одна по лесной дороге. Глухо шумели сосны, небо затягивали тучи. Гроыхнул далекий гром. Солнце уходило вниз, в багровую мглу.

Она прошла мимо памятной потемневшей плиты, извещавшей о том, что в сорок третьем году именно здесь, на этих кровавых плацдармах шли жесточайшие бои и тут проходила линия обороны десантных батальонов. Старые разрушенные бетонные укрепления. Братская могила десантников.

В сухих высоченных бурьянах — тихое стрекотание. Блестящие цилиндры с конической головкой поворачивались под ветром, бешено вращались маленькие пропеллеры. Приборы бесстрастно работали.

Дикие кабаны неторопливо переходили дорогу. Мелькнул в зарослях то ли волк, то ли собака. На пустой дороге белел указатель: «Киев — 126 км».

Она пробиралась сквозь густую нехоженую сухую траву выше человеческого роста. А впереди был высокий проволочный забор. На проволоке — датчики. И там, за забором, высились мрачные безмолвные глыбы зданий.

На старой насыпи ржавые рельсы и между занесенными песком шпалами буйно разрослись кусты. Юлия настороженно оглядывалась, прислушивалась. И наконец за кустами и бурьянами мелькнули силуэты высотных домов, стройные башни-многоэтажки. Город Припять.

Она подошла к забору из колючей проволоки, долго вглядывалась, прислушивалась. А потом стала продельвать проход. Оцарапала руку. Ругалась шепотом. Палкой раздвигала проволоку, приподняла ее над землей и поползла под ней. Зацепилась, поврала платье, но наконец пролезла, встала.

Перед ней лежал мертвый город. Что-то неестественное было в полной, абсолютной тишине и неподвижности.

И Юлия вошла в этот мертвый город.

Был тот вечерний час, когда заходящее солнце висит над самым лесом и лучи его, бьющие сбоку, из-под наплывающих туч, окрашивают все в мертвый желтый цвет. И над этим — неправдоподобная, какая-то неземная тишина. Другая планета.

Современный советский город с высотными коробками, широкими асфальтированными улицами и площадями. Пробив асфальт, лезли к свету травы, кусты. Все дома и дворы также были обнесены колючей проволокой. А во дворах, на газонах и на бульварах поднялись в человеческий рост дикие бурьяны. Окна домов были чисты — город дезактивировали. На большом портрете Ленин в распахнутом пальто стремительно шагал — куда? И портрет и лозунги, зовущие выполнить, воплотить и внедрить, и

плакаты, призывающие к миру, — все было на удивление чистым и ярким! Только флаг на современном здании райкома являл собой рваную тряпку неопределенного цвета.

И все так же привлекательно высилась удобная гостиница; монумент, изображающий Прометея, несущего миру огонь (видимо, символ покоренного атома?), украшал площадь.

Гробовая тишина и одиночество подавляли, и Юлия спешила, стараясь держаться поближе к домам. Шла мимо школы. Невольно замедлила шаг, свернула ко входу.

Пустые коридоры. Пожухлые фотографии отличников. И ее снимок. Она вошла в свой класс. Разбитые стекла. На подоконнике проросло тоненькое деревце. Юлия подошла к своей парте. Постояла. Подошла к доске, где светлело выцветшее недописанное уравнение. Взяла мел и дописала его. И быстро вышла.

Зеркальные витрины магазинов отражали ее — и странным казалось движение среди мертвых манекенов, застывших в нелепых позах.

За окнами кафе она видела столики и эстраду с роялем...

В парке детские площадки и песочницы, заросшие травой и кустами. Гигантские колеса обозрения... горки... качели-карусели... Здесь она росла, играла.

Пустой стадион, где бурьян уже властно захватывал трибуны и скамьи.

Какое-то движение почудилось ей, мелькнула тень — и исчезла. Волк, лиса? Юлия испуганно оглянулась и шагнула в распахнутую дверь... поднялась по лестнице.

Роскошный ресторан с расписными стенами, тяжелыми портьерами. Окно разбито. Снег и ветер похозяйничали за эти годы. Перевернутая битая посуда... упавшие стулья... потемневшие ножи и вилки... динамики на эстраде. Меню в выцветшей корочке повисло на стуле.

Невольно вжав голову в плечи, Юлия шла по коридорам.

Разгромленная библиотека, тысячи книг на полу, Брежнев на обложках... Кто вывалил эти книги со стеллажей? Зачем?.. Они лежали, устилая пол, слипшиеся желтые страницы, которые уже никому не прочесть. В этой библиотеке брала она книги.

Юлия спустилась по лестнице. За открытой дверью был спортивный зал. Турники. Кучи матов. Она попятилась — возле матов ползла змея.

Юлия быстро шла по улице, спеша, уже не обращая внимания на огромные портреты членов политбюро... на афиши кинотеатра...

Завернула за угол. Перед ней была пристань на реке — касса и кафе с мозаикой, росписью. И все это — за высоченной сухой травой, в которой чуть слышно звене-

ли, вращаясь, пропеллеры — на блестящих цилиндрах — датчики, а дальше — вот они, огромные корпуса и гигантские буквы на крыше: «Здоровье народа — забота партии».

Она вошла во двор. Двери в корпусе были раскрыты. Возле дверей валялись тапочки, берет, носок, слезавшиеся желтые бумаги застряли в кустах. Кое-где на этажах стекла были выбиты. Она вошла в здание, и ей стало жутко. Коридоры уходили вдаль, и на всем лежала печать разгрома и бегства. С запада в окнах было еще светло, а с другой стороны сумрак уже заполнял углы. Весь пол усеян бумагами, папками, рассыпанными лекарствами; валялись стулья, лежали испорченные почему-то матрасы.

Стремительно, подпрыгивая на выбоинах, несется мотоцикл Голубенко; в коляске Зина вцепилась в поручень. Пахнул холодный ветер, засверкали молнии.

— Она сказала, за мостом, от речки? — прокричал Голубенко.

— Так сказала!..

— Здесь!

Высоченный забор из колючей проволоки возник перед ними. Датчики на проволоке. Все заросло бурьяном и чертополохом.

Голубенко и Зина шли вдоль забора.

— Сюда! — крикнула Зина.

В зарослях — высоких, в человеческий рост — был след. Кто-то прошел здесь к забору, обломав стебли, видны смятые бурьяны. И когда подошли, увидели — проволока над самой землей раздвинута, приподнята и подперта толстой веткой.

— Ну что? — торопила Зина. — Пошли?

— Надо известить пост...

— Какой пост? — презрительно сказала она. — Девчонка в беде! Она же там с ума сойдет, смотри, что там!

Как раз в аспидной черноте туч полыхнула долгая молния, над головой рванули и раскатились громы, и из сумрака на мгновение проявились и мертвый город, и улицы, и кусты.

— Боишься — сама пойду. Где тут больница, покажь, куда? — вызывающе спросила она. И он невольно задержал взгляд на ее гордом чистом лице, уже мокрым от дождя.

Засопев, он полез в проход, цепляясь за колючки и ругаясь.

— Ну уж теперь-то я тебя не выпущу, — бормотал он. Зина помогла ему пролезть.

В неверном угасающем свете дня все жутко и мрачно.

Больница. В палатах ящики у тумбочек выдвинуты, на окне — банка растворимого кофе, бутылка из-под кефира, стакан, черный от времени. Окаменевший кусок бул-

ки. Развернутая книга. Забытые чулки. И все перевернуто, все разгромлено. Кем и зачем? Этого Юля не знала. Она шла по этажам, инстинктивно сдерживая дыхание, стараясь не шуметь. Замерла. Что это? Резкий скрип открываемой двери в дальней комнате. И тишина. Ветер открыл окно. Передохнув, шагнула дальше.

И вот наконец! Кабинет главврача. Здесь тот же хаос, разгром. Перекидной календарь на столе раскрыт на 26 апреля 1986 года. Молнии высвечивают все в кабинете.

Юля палкой расшвыривала, разгребала эти завалы, переходя из комнаты в комнату.

Журнал.. И здесь последняя запись — 26 апреля. А вот и регистратура. Десятки, сотни историй болезни. Юля стала лихорадочно искать нужную, перебирала, отбрасывала, отодвигала кучи ненужных бумаг.

Что-то послышалось ей, звук неясный. Замерла. Как будто мотор заурчал? Нет, ветер. Опять схватила карточку. И — вот она, нашла! Чуть выцветшие буквы на истории болезни: «Юлия Игоревна Кулик, 14 лет...» Торопливо пролистала, поднесла к окну, ожидая вспышки молнии. Но нет, тревожные звуки повторились! Скрипел паркет. Что-то упало. И наконец шаги, тяжелые, грубые, или ветер? Юля в ужасе заметалась. На цыпочках выбежала из регистратуры. Темный коридор — и где-то далеко светило окно. Крадучись, Юля уходила, отодвигалась, а шаги неумолимо близились, как рок, надвигались.

Она сбежала по лестнице. И перевернула какое-то ведро. Звон оглушил ее — и в ответ где-то затопали, загрохотали в тяжелом беге.

— Стой! — донеслось, гулко раскатилось в коридорах.

Сбегая по этажам, металась из комнаты в комнату, рвала запертую дверь. Увидела распахнутое окно, вскочила на подоконник — и вниз, на заросшую старую клумбу. А потом подхватила и — к забору, через калитку — на улицу.

Ей показалось, что кто-то бежал следом и настигал ее. Метнулась через улицу. Знакомый переулок, родной дом. Она полезла под проволоку и, едва живая, побежала к дому.

— Стой! — гремело сзади, в больнице, в глухих коридорах. Слепящие молнии били над самой головой.

Она рванула дверь в подъезд, отлетели старые запоры. Ворвалась в вестибюль, прижалась к стене. Здесь темно и жутко, дрожат стекла от раскатов грома. В ярких вспышках мелькает лестница, на ней брошенная выцветшая кукла. Детская коляска на площадке. Почтовые ящики, в иных торчат невынутые газеты. Коврик у приоткрытой двери. Брошенная шапочка.

Юля изнемогает, пот заливает лицо. Чтобы не упасть, оперлась о стену. Машинально вынула из своего ящика торчащую пожелтевшую газету. Держась за стену, стала подниматься по лестнице. Дверь в ее квартиру. Наклонилась, взяла под ковриком ключ. С трудом, со скрипом повернулся замок. Скрипуче открылась дверь — и Юля шагнула в родные стены. Темно. Мрачно. В высверках молний серебрится кружево паутины. Следы поспешного бегства. Распахнутые двери шкафов. Юля достала из ящика свечу. Поискала, нашла на привычном месте спички. С трудом зажгла. На стене — ее фотографии, спортивные дипломы.

На окне высохшие, с окаменевшей землей цветочные горшки. В кухне на столе — бутылка из-под молока, стаканы. Разбросанные книги.

Юле плохо, лицо ее покрыто каплями пота, глаза блестят. Она с трудом опустила в кресло. Включила мертвый телевизор. Взяла мертвую трубку телефона. Все поплыло перед глазами. Она увидела...

Мертвый стадион — и в то же время камера металась по полю, словно следя за игроками и мячом, взрывались восторженным ревом трибуны...

...гремела музыка в пустом ресторане, звенела посуда, смеялись люди, гудели голоса, и пела артистка...

...вертелись гигантские колеса обозрения, карусели, визжали в восторге дети...

...перед портретами членов политбюро шли шумные колонны демонстрантов, и диктор выкрикивал лозунги, и гремело многоголосое «ура»... «Товарищи атомщики! Сдадим досрочно пятый и шестой реакторы ЧАЭС имени Ленина!» «Ура-а-а!!!»

...в кинотеатре с пустого мертвого экрана неслись звуки погони и выстрелы, и музыка, и в зале смеялись и вскрикивали...

...в разгромленной парикмахерской жужжали фены и смеялись женщины...

...марш Мендельсона и крики, поздравления возле загса...

...и на улицах, на площадях, на набережной — люди, люди, люди...

В больнице Голубенко и Зина шли, свет фонарика плясал на разбитых шкафах, полу, устланном бумагами, таблетками, раздавленными ампулами, пузырьками, упаковками лекарств. Все это хрустело, шелестело под ногами.

— Кто-то убежал, — сказала Зина с досадой.

— Ветер окном хлопнул, — возразил Голубенко.

— Ага! Посвети! Вот она, регистратура, здесь ее карточка!

В круглом пятне света — развороченные

карточки. И ясно, что тут кто-то недавно был.

— Видишь, она была тут, — сказала Зина. — Карточку искала! Опоздали мы!..

— Юля! — позвал Голубенко, — Юлька, ты где, не бойся!

Только гулкое эхо прогромыhalo.

На улице они остановились.

— Где же ее искать? — волновалась Зина.

— Ушла, успела, — сказал он. Огляделся, посветил фонариком вокруг.

— Смотри! — Зина испуганно схватила его за рукав. — Огонек!.. Там, в окне!

— Молния в стекле отразилась, — сказал он.

— Нет же, нет!.. Вон, вон, смотри!..

Теперь и он увидел тусклый свет в темном окне второго этажа. И направился туда. Приподнял проволоку, помог Зине.

Они вошли в черный зев подъезда. Мимо коляски, мимо куклы.

Дверь в квартиру была раскрыта.

— Ой, страшно, — прошептала Зина, прячась за Голубенко, а ему было приятно ощущать себя защитником.

Светя фонариком, вошел в комнату. Свет скользнул по стенам.

— Да это же ее квартира! — воскликнул он, увидев ее фотографии.

— Свети сюда! — приказала она.

В низком кресле лежала Юля, прижимая к себе историю болезни. Она была без сознания. Телефонная трубка в руках.

— Надо к врачу, — сказал он. — Придется вызвать охрану!

— Пока их вызовешь, пока они вызовут... — возразила Зина. — У тебя мотоцикл, доставим скорее!.. Бери ее!

Голубенко взял Юлю на руки; Зина подняла упавшую историю болезни.

Так и пошли к изгороди, где оставили мотоцикл.

С трудом вытащили ее за проволочную ограду, Голубенко оцарапался и ругался вслух.

— Послушаешь бабу — а сам дурак. Говорил же, надо звать охрану!

— Не бурчи! — командовала Зина, устроявая Юлю в коляске. — «Бабу!» Сам баба! Подумал, что тебе будет за незаконное проникновение? Да за путешествия эти со мной, разыскиваемой?

— А чего с тобой? Ты арестованная, ничего и не мысли! А проникновение — что ж... человека спасал! Укрой ее и держи!

Зина поддерживала Юлю, укрывала ее от дождя.

Мотоцикл стремительно летел по ночной пустой дороге.

Проезжали черные мертвые деревни. Ни единого проблеска света вокруг. Глухая, мрачная и враждебная тьма. Черный дождь

усиливался, хлесткими порывами бросался в лицо; в свете фары стремительно летели тугие сверкающие струи.

— Далеко еще? — прокричала Зина.

— Далеко... часа полтора!

— Нельзя! — кричала она. — Надо ее укрыть от дождя, ее всю трясет!..

Голубенко резко свернул в сторону, и скоро в косом луче мелькнул указатель «Чернобыль» и пошли улочки-аллеи, одноэтажные домики, кое-где с заколоченными окнами и дверями. Небольшая площадь, двухэтажное кафе с надписью «Сталкер» промелькнуло. В переулке мотоцикл встал. Луч уперся в домик, на стене которого написано: «Здесь живет хозяин». Голубенко соскочил на землю, открыл ворота, закатил мотоцикл во двор.

— Помогите, — поднял Юлю, понес к дому. — По земле не ходи, там фонит, — бросил через плечо Зине. — Вон по доске шагай.

В доме они уложили Юлю на кровать.

— Раздевай ее! — приказал Голубенко.

Принес и сунул Зине бутылку водки.

— Растирай ее... хорошенько!

Взяв стакан, налил добрую порцию, хотел выпить. Поколебавшись, отдал Зине.

— Ну-ка... давай-давай, а то простынешь!

Зина посмотрела на него, улыбнулась. Выпила. Он с осуждением сказал:

— Умеешь!..

— Зона научит!

— Закутай ее, — он бросил одеяло. — Переждем дождь...

Зина села за стол. С интересом огляделась. Добротный дом, хорошие комнаты. Холодильник. Приемник.

— Что за дом? — спросила.

— Моей сестры дом... — сказал он.

— Так кто — «хозяин»?

— А-а... Ну это чтоб хату не потрошили... хозяин, мол, тут, в зоне...

— А потрошат?

— Люди, — неопределенно сказал он и посмотрел в окно. — Кажись, стихает.

Помолчали. И вдруг она тихонько запела:

— Черный ворон... что ж ты вьешься над моею головой?

Неожиданно Голубенко подтянул:

— Ты добы-ычи не добьешься, черный ворон, я не твой!..

Застонала Юля. Зина встала.

— Поехали. Ей врач нужен срочно...

Ночь. В Дородичах дождь кончился, редкие фонари качались под ветром и рябили лужи.

В больнице Юлю положили в приемном покое. Суетились сестры, готовили шприцы.

Врач мерял давление, другой смотрел градусник. Всем распорядилась Зина.

— Мокрое сюда! — командовала она, забирая платье Юли. — Я высушу! — и взглянув на Голубенко, поправилась: — Ты потом высушишь...

— Зина, — слабо позвала Юля. — Не уходи!..

— Дайте ей халат, — сказал врач, и сестра набросила на плечи Зины белый узенький халатик.

— А вы идите, идите, — сказал он Голубенко, и тот забеспокоился.

— Мне надо быть здесь! — сказал твердо.

— Оставьте его, — насмешливо сказала Зина. — Он с ума сойдет... от беспокойства! Что я его брошу! — блеснула глазами.

— Гм, — врач кивнул сестре. Голубенко тоже облачили в куцый халат.

Врач шепнул Зине:

— Вы ее отвлеките... рассказывайте что-нибудь смешное!..

Зина села у изголовья.

— А знаешь, как я в семье одной служила, у профессора! Ну... С утра и до ночи... и ночью!.. Вся семья, все очкарики такие... серьезные, как мышата! И читают, читают! В книжку уткнутся и — ничего кругом! А едят — боже ты мой! Чаек да хлеб с той бумажной колбасой, им ее по спецпайку давали. Но читают. Я им раз омет приговорила. Сбежались со всех комнат, очки блестят... «Это волшебная еда!» Кругом пылища, махра висит, паутины навалам. А они все читают!..

Голубенко слушал и, не замечая того, улыбался.

Юле тем временем сделали укол, и она утихла, прикрыв глаза. Зина ласково, чтобы не потревожить, поправила ей волосы.

Быстро вошел главный врач, тот, что жаловался на Юлю в милицию. Был недоволен, что подняли среди ночи.

— Ну что тут стряслось?

— Вот! — Юля, торжествуя, протянула ему историю болезни.

— Что это?

— Смотрите! Моя карточка, там все ясно. Я совсем здоровая была! Значит, надо меня в Москву! Держите!

— Это откуда?

— Из Припяти, из больницы, — сказала Зина.

Врач отскочил от книжки и даже руки спрятал за спину.

— Уберите это! Немедленно! Она же излучает!

Зина взяла книжку и пошла на врача.

— Ее убеждали, что болезнь не связана с аварией! Вот свидетельство! Берите, берите!

— Сержант! Останови ее! Что тут творится! Кто разрешил в Припять?

Юля засыпала, успокаиваемая сестрой. Зина положила книжку на стол — и все испуганно обходят ее.

— Веди, — сказала она Голубенко и заложила руки за спину.

У двери их настиг крик Юли:

— Зина! Не уходи, Зина... не бросай меня!.. Зина! — голос Юли слабел. — А все-таки я им принесла!.. Теперь пошлете в Москву? — бормочет она, засыпая.

Зина подошла, поцеловала ее. И сдерживаясь, чтобы не расплакаться, быстро вышла. Голубенко следовал сзади. Невольно не отводил взгляда от ее стройных ног.

Так они шли по ночному городу. Дождь стих, с деревьев сыпалась влага. Он шел чуть сзади. Молчали.

Впереди показалось освещенное крыльцо. Отделение милиции, «газик» у подъезда.

Когда подошли ближе, Голубенко остановился. Не слыша его шагов, она обернулась. Он стоял и странно смотрел на нее.

Она ухмыльнулась.

— Что?.. Вспомнил знакомство? Опять потеряно?..

Он взял ее под руку и повлек в сторону.

— Я подумал... надо договориться насчет Припяти... как да что... да где Юльку отыскали. Чтоб не вразной, поняла?

— Я все поняла! — сказала она. — Договариваться будем, конечно, у тебя где-нибудь? — Я в Припяти не был, понятно?

Он ведет ее в дом. Поднимаются по лестнице.

Однокомнатная квартира, обстановка простейшая. Кушетка, стол. Маленький телевизор. Картинки на стенах — из «Советского экрана», красавицы. Шкаф.

— Переночуешь тут... на свободе лишняя ночь. Успеешь на нарах!

— Ну какой заботливый! Сразу и раздеваться?

Он вышел из кухни с бутылкой вина и стаканами.

— Раздеваться? — переспросил. — А это как хочешь. Я насильно лезть не буду... Она удивилась.

— Ну да, — сказала. — Я же арестованная. Настучу — хлопоты будут.

— Будут, — подтвердил он.

— А я и так настучу. Насильничал? Насильничал!.. Вот и будьте любезны...

— С тебя станется, — сказал он. — Выпьешь?

— Думаешь, выпью и растаю? — тем не менее стакан взяла. — Не бойся, — сказала. — А за то, что сюда, а не на нары, — спасибо. И не слушай ты меня, дуру, делай свое! Я такая!

— Какая?

— Неожиданная... Так пусть хоть послед-

няя ночь, да моя! — онахватила стаканом об пол и шагнула к Голубенко.

Уже светало, когда Юлия открыла глаза. Соседи в большой палате спали. Юлия поворочалась, не спалось. Встала, подошла к столику, повертела в руках пустой графин и, прихватив его с собой, тихонько выскользнула за дверь. В темном пустом коридоре — стол, скупо освещенный ночной лампой, и две сестрички готовили по спискам лекарства. Слышались их негромкие голоса.

— Не забудь еще в пятую палату.

— Знаю...

— Да, и вот еще! Ночью девочку привезли, ей обязательно вот это и это... а дистангила нет.

— Как же быть?

— А-а, ей уже все равно.

— Почему?

— Бедняжка все на Москву надеется...

— А может, теперь и отправят...

— Да что ты! Ей жить-то осталось... Рак у нее в самой острой форме, какая уж там Москва...

Юлия, помертвевшая, долго стояла неподвижно, с удивлением глядя на графин в руках. Потом, сгорбившись, побрела в палату. Присела на кровать, долго сидела неподвижно. И решила. Движения ее были быстры и четки. Свернула простыню, остерегаясь разбудить соседок, разорвала ее, связала, перекрутила, попробовала на прочность. Сунула под халат и, прихватив графин, пошла к двери. А уже там, у самой двери, с недоумением посмотрела на графин, поставила его в раковину и вышла.

Сестер не было на посту. В сером расветном сумраке лампочка на столе светила неярко. На тумбочке лежал армейский дозиметр в кожаном футляре. Юлия потянулась и взяла его. Надела наушники, провела по себе трубкой. Услышала нечастые щелчки.

Все было тихо перед восходом солнца, и уже просыпались птицы, яркие цветы на клумбе клонились под тяжестью обильной росы.

Юлия протянула к ним трубку. Невыносимый треск ударил в уши.

Яблоня за изгородью, яркие солнечные плоды. Поднесла трубку — бешеный треск.

Куда бы она ни приблизила трубку, тотчас мощно усиливался равнодушный и частый металлический треск.

— Ложь, — сказала она с невыразимой болью. — Все ложь. И цветы. И ты, дерево... И ты, солнце, и небо, ложь, ложь, все ложь!..

Стала хлестать трубкой цветы и кусты. Но спасения в наушниках не было.

За кустами был сарай, и дверь там стояла открытой. Уже входя в сарай, Юлия вздрог-

нула, услышав лошадиное ржание. Выглянула за угол. За сараем была колхозная контора, и там у дерева были привязаны пугливые кони, пойманные в зоне.

— Гнедашка, — прошептала Юлия и бросилась к ней. Измученная Гнедашка узнала ее, радостно потянулась, всхрипывая.

Юлия обняла ее. И вновь невыносимый треск ударил в уши! Не веря себе, Юлия провела трубкой по шерсти Гнедашки — дозиметр словно взбесился.

— И ты, Гнедашка, — с отчаянием прошептала Юлия. Срывая ногти, помогая зубами, стала распутывать узлы, отвязывать лошадь.

— Беги, Гнедашка! — сказала. — Умри свободной!..

И спотыкаясь, побрела к сараю.

В то же утро, чуть позже, Зина в ванной комнате в холостяцкой квартире Голубенко наводила марафет. Тщательно причесалась, из старого потертого рюкзака извлечены были помада, тени, пузырек с духами, пудра.

Он заканчивал бриться, услышал, как она вошла в комнату, сказал:

— Сейчас оформим явку с повинной, все хоть немного скостят. Теперь это дело с Юлькой надо подать умело...

— Нет! — сказала она. — Этим не торгую...

— Дура, да ты... — он обернулся и застыл, пораженный. Такой он ее еще не видел. Свежая, чистая, в самой силе и цвету молодая женщина. Подмигнула ему. Мгновение — и у нее в руках карты.

— Напоследок, — сказала. — Погадаю на тебя...

— Слушай, — с изумлением спросил он. — А ты... не того? — покрутил у виска.

— Ага! — смеется она. — Неожиданная! Он отобрал карты, сунул в карман.

— Пора. Посидим на дорогу, — сказал.

— Э-э, милый! Насчет посидеть, это уж будь уверен! — сказала она. Но села, сложив на коленях руки.

Во дворе он вывел из сарайчика мотоцикл. Усаживаясь, дождал, пока она устроится в коляске, в который раз произнес:

— Значит, я тебя когда забрал, вчера?

— Да не забрал, — с досадой говорит она. — Куда уж тебе. Сама сдалась. Из-за девчонки.

— Правильно. А потом?

— В больнице.

— А вот где намарафетиться успела? А?

— Там же, — сказала она. — Не суетись ты. Главное, я на месте, кто станет в подробностях копать?

Показалось отделение милиции. Еще мгновение — и мотоцикл встал.

— Б-болван, дурак набитый,— в сердцах ругался Голубенко сквозь стиснутые зубы. Она заглянула в его лицо, спросила с интересом:

— Кто?

— Я! — рывкнул он и круто, чуть не завалившись, развернул машину и дал газу. Со свистом, стремительно пронеслись по улочкам городка. И уже там, когда последние дома остались далеко позади, все продолжал ругаться. Пока не выехал на магистральную дорогу. Там резко затормозил и категорично сказал:

— Сходи. И сгинь, чтоб и глаза мои тебя не видели...

— А как же ты...

— Иди! — заорал он.

— Иду! Уже иду! — успокаивающе и испуганно сказала она.

Он развернул мотоцикл.

— Эй! — крикнула она. — Стирки отдай!

— Чего?

— Ну карты, карты!

Подошла, он достал из кармана колоду карт, сунул ей.

— Не сердись, если обидел,— буркнул.

Она улыбнулась, дразняще потянулась:

— Жалко, что мало!

— Вон! Пока не передумал!

— Все, все! Иду, миленький, уже меня нет!

И легким шагом, почти бегом, уходит.

Больница. В коридоре дед Павло и баба Олеся, родители Юли, родственники. Напряженность, тревога. Пробегают сестры, спешат врачи.

— Ой, доню, доню, что ж ты наделала,— тихо плачет Юлина мать.

Пробегает сестра с кислородной подушкой — в палату. А оттуда другая несет капельницу, к ней и бросилась баба Олеся.

— Что, как она?

Сестра пожалала плечами.

— Какую-то Зину зовет... лошадь гонит...

— Ну да, Гнедашку,— подтвердила баба Олеся.

— Если б не та Гнедашка, все бы, крышка! — стал рассказывать колхозник. — Кинулись лошадь ловить, а она все к сараю, все к сараю! И ржет!.. Глядь, а там... Ну сняли, давай откачивать... А лошадь ушла!..

Из палаты вышла женщина, стала просить всех:

— Товарищи, товарищи! Шумно, прошу всех выйти во двор! Погода хорошая, там и ожидайте!

С крыльца спустился главный врач. Присел рядом с бабой Олесей, закурил. На него смотрели с надеждой, ожиданием. Ему сказать нечего, голову опустил.

Мелькнули мимо больницы черные лимузины.

— А что,— спросила баба Олеся,— вот то все начальство?

— Начальство, наверное,— ответил он, не поднимая головы.

— А кто секретность навел? Строил это... людей сгубил... они?

— Ну,— сказал он.

— А ты сам?

— Мне каяться не в чем! — твердо сказал он.

— А что молчал? И руку тянул «за»? Что твоим молчанием, а значит, и согласием — вот все это?.. — сказала баба Олеся.

Он не ответил.

— Бедные вы, бедные,— вздохнула она. — Что ж вы натворили?

Он молчал. Дед шептал тихо молитву.

— Прокляни их, дед,— твердо сказала она.

Дед Павло посмотрел на нее и покачал головой.

— Ибо не ведают, что творят,— сказал.

— Та все они ведают! — махнула рукой баба Олеся.

— Не прокляну,— сказал дед. — А как Бог сказал: помолюсь за них...

Зина шла посредине гладкой и блестящей пустынной дороги. Щит у обочины, олененок нарисован и надпись: «Берегите родную природу!». А под ним слова: «Дорога особого режима».

Услышав шум мотора, оглянулась. Из-за поворота показался военный грузовик.

— А-а, мисс Клетня! — знакомый «партизан» притормозил.

— Подвези,— попросила Зина. И полезла в кабину. Поплыли мимо кусты, потянулась под колеса серая лента дороги.

— А ты чего ж это не там?

— Где?

— Да у девчонки. В больнице!

— Я вчера была.

— Вчера! То ты ничего и не знаешь! Я только что попа с бабой отвез! Там такое! Девчонка-то повесилась! Правда, успели, вынули... но плохая, бредит...

— Стой! — приказала она. И спрыгнула на дорогу. Не оглядываясь, побежала назад. Спешила. Задыхалась. Торопливо шла и опять бежала.

За поворотом резко остановилась. Навстречу катил мотоцикл Голубенко. Затормозил перед нею. Она не могла отдышаться, а он смотрел на нее.

— Ну? — спросил угрюмо. — Куда тебя несет? Тебя ж заметут сразу!

— Заметут,— согласилась она. — С Юлей беда, понимаешь? Но ты не бойся, я о тебе не скажу, что отпустил!

— А ты понимаешь, что тебя ждет?

— Нельзя иначе,— сказала она.— Никак нельзя иначе! И про эту Юлину карточку из больницы... всем сказать! Пусть все знают!

— Кто тебя слушать станет?

— Судить станут — послушают...

— Ты ж битая баба, на какой такой справедливый суд ты надеешься? Где? Когда?

— И все равно,— упрямо сказала она.— Здоровая была девчонка, это АЭС ее убила!.. И пусть все знают про этого чернобыльского ежика!

— Глупость! — в сердцах плюнул он.— Немыслимая, ненужная глупость, тебя эта машина переедет и не заметит.

— И что? Слушай, это такая роскошь, такое счастье — никого не бояться! Сказать, что думаешь!

— Богом прошу, вернись!

Она участливо посмотрела на него, погладила по щеке.

— Будь мужчиной... Сколько ж можно терпеть? «Государство, партия, долг»... какая чепуха! А есть Юля, есть я и есть ты... Разве так много надо человеку? И пусть решетка, пусть! Но я ткну им Юлину карточку, и пусть знают, что мы все видим, все понимаем и что терпение наше не бесконечно! Ну пусть тут реактор рвануло. А что же за радиация у всех там, за зоной?

Он шел за ней, ведя мотоцикл. Бросил его, схватил Зину за руки.

— Я не затем вернулся... правда. Поедем, я тебя спрячу у деда Павла. Все пройдет, добуду тебе новый паспорт, и мы уедем отсюда... совсем уедем!

Он гладил ее по голове, и счастливая улыбка появилась на ее лице, она прижалась к нему.

— Ну садись скорее! — говорил он.

Покачала головой.

— Нет, в Дородичи. А если правда, что ты сейчас сказал... что ж! Будешь ждать, а я тебе обещаю... И не проси меня больше, я не могу больше молчать и не буду. Не буду!

Показался пропускной пункт. Тянулась колючая изгородь, перегородившая весь свет. Их дорога вела мимо, в сторону.

И летела к изгороди, стлалась над землей, плыла в некошенных травах Гнедашка. Пена падает с губ, и глаз косит ужасом, хриплое ржание слышно. А загонщики сзади и с боков, со всех сторон. Прижимают лошадь к ограде.

Неотвратно ступают сапоги. Веревки в руках.

Мечется у изгороди лошадь. Высоко — перепрыгнуть не может. А там, за проволокой,— тишина и покой, но нет туда хода Гнедашке.

И звучит голос деда Павла:

— Род проходит, и род приходит, а земля пребывает веками. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь... Что было, то будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем... Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после...

Лошадь подымается на дыбы. И застывает.

1990 г.

Владимир Филатов

ТОТАЛИТАРИЗМ И «ВЕЛИКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРИРОДЫ»

То, что граница между социальным и природным мирами изменчива, что общество в своей истории по-разному относится к природе, факты достаточно установленные, ставшие общим местом в философских рассуждениях. Однако такого рода положение трудно применять к собственной культуре и к исторически близкому прошлому. Сложившееся в собственном обществе отношение к природе всегда предстает естест-

венным, само собой разумеющимся, даже если какие-то его черты кажутся неприглядными. В целом же это отношение вообще с трудом рефлексивируется изнутри и как стиль жизнедеятельности может быть осознано и оценено лишь со стороны.

Сейчас окончательно, надо надеяться, уходит в прошлое тоталитаризм — большой и целостный тип жизни, породивший свои формы сознания, свой язык, свой стиль в

искусстве и даже в науке. Своеобразно и отношение тоталитарного общества к природе. Эпоха «великих планов» и «великих строек», как представляется, и здесь выступала прежде всего как насилие, как «строй» и «режим». Тоталитаризм по существу своему, видимо, не способен оставлять в стороне что-либо естественное, бытующее само по себе. Природное, естественное как в человеке, так и вне его должно войти в некий единый, тотальный план и режим бытия, должно быть преобразовано для блага и счастья людей.

В собственном языке эпохи подобные установки концентрировались вокруг известной в свое время идеологемы «великого преобразования природы», которая была связана с тоталитаризмом на глубинном, интимном уровне, была составной частью тех «органов», которыми этот режим был обращен к природе. Могут возникнуть идеологема «великого преобразования природы» появилась поздно, в конце 40-х годов. Знаменитый плакат, на котором великий вождь в белом кителе и с трубкой в руках нависает над разрисованной картой страны, связывает эту идеологему с планом создания гигантских лесополос, призванных покончить с засухами в степях и в Поволжье и даже изменить климат обширных регионов страны. Однако эта идеологема, а вместе с ней и реальные дела появились значительно раньше. Уже И. В. Мичурин перед его кончиной (1935) называли «великим преобразователем природы». Об обновлении земли, покорении и преобразовании природы говорили в связи с великими стройками пятилеток, огромными плотинами и водохранилищами, каналами и бескрайними полями совхозов-гигантов. Р. Роллан в своем дневнике в 1935 г. отмечал разительные перемены, которые он застал в СССР. В это время страна была уже не прежней лихорадочной Россией 20-х годов, охваченной классово-борьбой: «Это была Россия фараонов. И народ пел, строя для них пирамиды».

Об образе народа, сплоченного в единую могучую силу, способную изменять географию страны, писали идеологи и литераторы, слагали песни поэты и композиторы. Преобразование природы объявлялось главной целью «советской науки». Как позднее отмечал президент АН СССР С. И. Вавилов, «в величественных планах покорения сил природы, изменения климата многих районов страны с поразительной силой проявился гений творца и вдохновителя наших побед — великого Сталина. В этих планах мы видим преобразующую роль сталинской науки... Человечество получило в руки могущественное средство овладения природой, переделки природы по своему

желанию, для своих целей. Это средство — наука». Читаешь все это, и невольно приходит мысль, будто бы люди как-то иначе взглянули на мир и увидели, что для жизни им досталась не вполне приличная и богатая часть земного шара, а какая-то нелепая земля, где дожди идут не там и не тогда, когда надо, где реки текут не туда, а ветры дуют не оттуда, где моря неудачно расположились далеко от портов, где в тундре почему-то не растут груши и виноград, а в южных степях — картофель. Все это напоминало бы абсурд, если бы не принималось за чистую монету многими и многими людьми, естественно, за вычетом тех, кому своими руками приходилось создавать моря и каналы.

Если допустимо говорить (а такой феномен, несомненно, существует) о психологической привлекательности тоталитарного строя, то нужно признать, что мифология «великого преобразования природы» — одно из наиболее удачных в этом плане созданий 30—40-х годов. Эта мифология, а также тесно связанный эпический ряд дальних перелетов, плаваний на льдинах, покорений высот и глубин входили важной составляющей в веру, энтузиазм, какое-то радостное возбуждение, которые не отнимешь от массового сознания той эпохи. Причем все это благодаря психологической привлекательности надолго пережило свое время. Лишь сейчас в обществе постепенно укрепляется убеждение в том, что любое крупное антропогенное воздействие на природу ведет к негативным последствиям, что повороты рек и подобные им вещи являются огромным злом. Десятилетиями же плановое преобразование природы на благо народа воспринималось как естественная и необходимая сторона социализма, в этом виделось его несомненное преимущество над другими общественными системами, не способными вмешиваться в жизнь природы и пускающими ее на самотек.

Где искать истоки и как понять значение идеологемы «великого преобразования природы» в период сталинизма? Чтобы разобраться в этих вопросах, полезно, на мой взгляд, обозначить различие между «большой идеологией» и «малой идеологией». «Большая идеология» обычно связана с какими-то философскими представлениями и оформляется в весьма общих, допускающих массу интерпретаций высказываниях, таких, например, как: «человек — хозяин истории», «все люди равны», «земля принадлежит народу». В подобном виде идеология существует на уровне предельных ориентиров общества и используется в основном в неких визионерских конструкциях. Между тем, спускаясь на землю, в сферу политических реалий, конкретных

социальных проектов и действий, большая идеология рассыпается на множество малых идеологов, придающих политический смысл этим действиям и событиям. В этой конкретизации идеологии, происходящей в условиях жесткой иерархии власти, исходные идеологи могут претерпевать самые фантастические изменения. Например, представление о том, что новое общество должны строить новые люди, может трансформироваться в идеологическое оправдание лагерей и трудовых армий как инструментов перевоспитания старого человека в нового. Идеологема «все люди равны» на уровне политического реализма может превратиться в утверждение о том, что «советская школа не нуждается в педологии как вредительской буржуазной науке».

Как представляется, на рубеже 20—30-х годов, одновременно с формированием основных идейно-политических и экономических структур тоталитаризма, произошел переход от «большой идеологии» и теоретических дискуссий к «малым идеологиям» и политическому «реализму», которые отражали новые формы власти и одновременно способствовали их укреплению. Точнее сказать, «большая идеология» зафиксировалась в виде ограниченного и неизменного набора «незыблемых истин марксизма», тогда как в реальной жизни в ходу была причудливая смесь из этих «истин» и «малых идеологов» с их привязкой к текущим социальным практикам. Так становится более понятным, почему, например, такие «природопреобразующие» практики, как мичуринское движение, рытье каналов, кампания яровизации, оказывались соответствующими духу и букве марксизма, а забота о заповедниках расценивалась как вредительство (так, в деле о заповедниках на Украине в начале 30-х годов «вредители» обвинялись в том, что они препятствуют использованию земли на благо трудового народа и хотят сохранить ее нетронутой в надежде на реставрацию старого строя).

Хотя очевидно, что между элементами «большой» и «малой» идеологии нет какой-либо непосредственной логической связи, что это чистой воды «творческое развитие учения», все же интересен вопрос: насколько идеология «великого преобразования природы» лежит в горизонте реальной философии Маркса. При соответствующем препарировании у Маркса нетрудно найти подходящие идеи. Так, идеологи «великого преобразования» обычно апеллировали к знаменитому одиннадцатому Марксову тезису о Фейербахе («Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его»), к его и Ленина высказываниям

о превосходстве практической деятельности над теоретической. Этого вполне хватало для «большой идеологии». Однако, если поместить эти высказывания в их реальный контекст и, более того, попытаться оценить общую позицию Маркса на этот счет, то нельзя не признать, что ему был в целом чужд природопреобразующий, космократический настрой. Скорее Маркс в этом отношении критик капитализма и урбанизации, нарушивших естественные, гармоничные отношения между человеком и природой. У него же есть и весьма абстрактные, идущие, видимо, от ранних социалистов идеи о грядущей децентрализации и агрогородах, всплывавшие позднее и у Ленина, и даже в некоторых проектах Хрущева. Правда, при этом Маркс отмечал, что сам он предпочитает жить в больших городах, где вершится мировая политика. В его философии интерес к социальному, несомненно, доминировал над интересом к природному, последнее выступало всего лишь инертным материалом или фоном для самодостаточных социально-исторических процессов. Есть доля истины в критических высказываниях Бердяева в адрес марксизма, трактующего, по его мнению, человека как исключительно социальное существо: «Человек оторван от природы в старом смысле слова и погружен в замкнутый социальный мир, какой мы видим в марксизме... Марксистский оптимизм не ставит в глубине ни вопроса об отношении человека к космосу, ни вопроса о внутренней жизни человека, которая просто отрицается».

Что действительно характерно для марксизма — это идея преобразования человека, формирования «нового человека» из старого человеческого материала предшествующей цивилизации. Мыслимое изначально как процесс, осуществляемый социальными средствами, это преобразование в радикально-революционной среде 20-х годов в нашей стране начало обретать более широкий смысл, обрести своей «малой идеологией». В это пестрое и чрезвычайно радикализованное в идейном отношении время были популярны довольно-таки фантастические проекты биологического преображения человека, в том числе и такие, которые находили поддержку или выдвигались в среде радикально настроенных биологов, физиологов, психологов. В каком-то смысле нам теперь даже ближе и понятнее спокойные, монументальные планы сталинской «народной науки», чем горячие, пронизанные революционной мистикой и визионерством поиски в области пролетарской геронтологии, омолаживания, учение об «органическом перерождении» людей в «новой биологии»

Э. Енчмена, социально-классовая евгеника, которой отдавали дань даже крупные генетики в ту пору. Идеи «переналадки» человека, создания нового массового человека («живой и социально вышколенной машины»), как об этом говорилось на первом Психологическом съезде в связи с идеями о физиологическом уровне культурной революции), классовое преобразование сексуальной сферы и многое аналогичное этому ставилось в качестве задач «новых наук» о человеке — психотехники, педологии, марксистского психоанализа и др. Эти поиски поддерживались видными государственными и партийными деятелями — Семашко, Луначарским, Бухариним. Последний, например, в своей полемике с физиологом Павловым, сомневающимся в возможности переделать человека, заявлял, что можно переделать и человека и общество так, как нужно, только не с помощью старой «лилипутской» науки Павлова, а на основе новой науки, «науки Гулливера».

Пафос преобразования, радикального разрыва со старой культурой, с прежними формами жизни, с «ветхим» человеком был особенно силен в период так называемой «культурной революции», развернувшейся в конце 20-х — начале 30-х годов. В ходе нее быстро исчезал идейный плюрализм, характерный для 20-х годов, базировавшийся на остатках старой культуры («попутчики», «буржуазные специалисты»), на существовании больших пластов христианской и традиционной крестьянской культуры. Начатая как классовая война на культурном фронте, культурная революция закончилась установлением жесткого идеологического и бюрократического контроля над духовной жизнью. Собственно говоря, именно в это время были созданы предпосылки тоталитаризации общества, объединения в монолитное целое политической, экономической и идеологической власти. Вместе с тем было бы, видимо, упрощением видеть в дальнейших событиях лишь простое продолжение и расширение этого периода. Как известно, в 1932—1933 гг. культурная революция с ее парадигмой «нового человека» была свернута. В идеологическом плане это выразилось в нескольких существенных сдвигах. Прежде всего в отходе от марксистского радикализма и риторики классовой войны. В большинстве своем те воинствующие марксисты, которые начинали культурную революцию, были репрессированы или отстранены от дел. Радикализм культурного авангарда и пролетарской культуры быстро уступил место «советской народной культуре» консервативно-националистического характера, видевшей своего ге-

роя уже не в некоем «новом», «преображенном», а в «простом советском человеке». Представляется, что этим социальным контекстом был обусловлен и переход от установки «преобразования человека» к новой идеологеме «великого преобразования природы», осуществляемого не какими-то невидимыми людьми и не в духе социально замкнутых, рационалистически-манистских утопий 20-х годов, а миллионами «простых советских людей», спянных единой волей в массовые народные движения — ударников, мичуринцев и т. п.

Литературный критик В. Турбин в одном из выступлений образно охарактеризовал этот переход как смену стилистик культуры — от романа к эпосу. В несколько ином плане, видимо, можно говорить о существенном сдвиге политического сознания или «политического воображаемого» эпохи. Политическое воображаемое 20-х годов и периода культурной революции конституируется в исторической, временной перспективе — это политическое воображаемое классовой войны, с ее образом классового врага (под который подпадали представители всех старых, уходящих классов и прослоек), действующего на собственной территории. Пространство тут не имело особого значения, его, например, можно было уступать, чтобы выиграть время. Также и в идеях классового братания на фронте, революционного пораженчества, перманентной революции было нечто парадоксальное для людей, сформировавшихся в парадигме обычного политического воображаемого, конституируемого в пространственном измерении — вокруг образов внешнего врага, национального государства и незыблемости границ. По очень многим признакам, прежде всего по используемому в идеологических дискурсах языку, заметно, как к концу культурной революции и более очевидно — к середине 30-х годов происходит поворот от политического воображаемого историко-временного типа к типу, разворачивающемуся в пространственном (геополитическом) измерении. Это проявляется и в отношении к отечественному культурному наследию (взять хотя бы историю с «богатырями» Д. Бедного), и в смене врага (от классового врага, специалиста-вредителя к шпиону и диверсанту), и в переходе от революционного интернационализма 20-х годов к великодержавному патриотизму, и в массе аналогичных феноменов.

Именно в этом контексте на смену мечтаньям о новом человеке пришли лозунги обновления и великого преобразования природы, которые были быстро подхвачены идеологической машиной и начали внедряться в массовое сознание. В этом плане

весьма показательная эволюция взглядов И. И. Презента (будущего соратника Т. Д. Лысенко), основным дарованием которого было, видимо, чутье на малейшие колебания политической атмосферы. Окончивший в середине 20-х годов факультет общественных наук Ленинградского университета, он был одним из активнейших «хунвейбинов» культурной революции на научном фронте, испортившим немало крови старой, «буржуазной» профессуре. Однако конец культурной революции не застал его врасплох, он чутко уловил новый дух надвигающейся сталинской мифологии. В 1932 г. была опубликована показательная в этом смысле брошюра Презента «Теория Дарвина в свете диалектического материализма». В ней он заявлял, что основная цель науки — преобразование природы. В условиях социализма эта задача конкретизируется как плановая переделка живой и неживой природы на благо советский людей. Здесь же он набрасывает грандиозную картину возможных преобразований: управление дождями, изменение климата Сибири в сторону потепления, получение ранее не виданных сортов растений и видов животных. Примерами подобного преобразования Презент объявляет деятельность Мичурина и Лысенко. В это время Презент еще не был лично знаком с Лысенко, только что появившимся со своей идеей яровизации. Чуть позже пути их пересеклись, и Презент, ориентировавшийся до этого на генетику, решительно изменил свои позиции. В одном из писем после встречи с будущим «народным академиком — преобразователем природы» Презент писал, что встретил такого парня, с которым можно сделать большие дела.

В это же время вновь разворачивается другая любимая тема преобразователей природы — грандиозные плотины, рукотворные моря, повороты рек. Так, на Всесоюзной конференции по борьбе с засухой (конец 1931 г.) началось обсуждение планов покорения Волги, впервые заговорили о повороте сибирских рек. Для борьбы с пустынями, засухами и суховеями инженер В. Авдеев предложил гигантский проект «каптажа» (захвата) великой реки. По его подсчетам, нужно было построить у Камышина огромную плотину, и поднявшаяся на двадцать с лишним метров вода самотеком, по естественным низменностям (шириною до 30 км) потекла бы в заволжские степи и пустыни вплоть до Уральска и Аральского моря, орошая все окрест. Лишенный большей части волжской воды, Каспий обнажил бы огромные пространства, которые после мелиорации также можно было бы пустить в хозяйственный оборот.

Вся эта тематика была подхвачена сталинской паралитературой, два последующих десятилетия дружно восхвалявшей обновление земли, строительство различного рода пирамид, осуществляемое сплоченными в единые человеческие мегамашины ударниками колхозных полей и великихстроек и перековывающимися каналармейцами. Трудно, видимо, найти в истории литературы какие-то аналогии, когда художественное слово опускалось столь низко, с таким цинизмом и пафосом описывало и оправдывало сумасшествие власти. Мы понимаем, составляя себе образ тоталитарного общества по антиутопиям Е. Замятина, О. Хаксли, Дж. Оруэлла, что такое общество должно разрушать некоторые сферы жизнедеятельности и мысли — историю, любовь, науку, литературу. Но вместе с тем мы видим, что в случае сталинского тоталитаризма дело обстояло несколько сложнее. Место обычных литературы и науки было быстро замещено достаточно мощным и жизнеспособным пластом паралитературы и паранауки, зачастую сливающимися в единый идеологический симбиоз.

Так, если вернуться к нашей теме, печально знаменитый опус «Беломорско-балтийский канал имени Сталина» (1934), воспевающая великое покорение природы и используемые при этом новаторские строительные методы, выказывает полное соответствие новому советскому учению о праве, заложенному Крыленко и Пашуканисом и развитому Вышинским. Обширная паралитература (Сафонов, Елагин, Фиш, В. Лебедев, Михалевич) описывала деяния таких «преобразователей природы», как Мичурин и Лысенко. О них пели песни, снимали кинофильмы. И здесь паракультура и паранаука шли рука об руку. Если же художник нарушал эту гармонию, ему помогала «партийная и общественная критика» или более крутые меры. Например, первый вариант известного в свое время фильма А. Довженко «Мичурин» был признан неудачным, замкнувшим «великого преобразователя» в бытовых неурядицах. Поэтому фильм был полностью переснят. «Я бесконечно благодарен партии, — писал А. Довженко, — у меня навсегда запечатлелась в памяти встреча с товарищем Ждановым, его советы и указания, весь стиль беседы, его благожелательность и чуткость. После этой встречи передо мной, перед нашим творческим коллективом встал вопрос о расширении образа Мичурина, о показе его исторической роли, борьбы и торжества материализма над идеализмом».

Несмотря на все сказанное может возникнуть вопрос: а что, собственно, нового было в идее «великого преобразования природы»? Разве ее не было еще у Бэкона,

разве капиталистическому обществу не свойственно инструменталистское отношение к природе, и не говорил ли тургеневский Базаров, что «природа — не храм, а мастерская»? Все это, конечно, так. Однако в рассматриваемом контексте эта действительно старая идея была освобождена от узкого рационалистически-утилитаристского, позитивистского контекста, в котором она возникла и существовала. Идея эта приобрела космократический масштаб, соединившись с идеей народности, которая для тоталитаризма сталинского типа была одной из ключевых.

На первый взгляд это соединение кажется парадоксальным. В самом деле, если посмотреть на понимание народности в отечественной традиции, то оно никак не укладывается в какие-либо космократические проекты. К тому же известно, что вплоть до великого перелома конца 20-х годов Россия была по преимуществу аграрной страной, производство в которой было рассредоточено, основывалось на выработанных веками народных (в прямом смысле) технологиях, сосредоточенных вокруг основной хозяйственной единицы — крестьянского двора. Как и всякий тип традиционной экономики, это производство было экологичным, оно точно вписывалось в ритмы природной жизни, не нарушая, а тем более не «преобразовывая» их. Таковой же была и традиционная энергетика, мелкая, находящаяся за околицей деревень. Миллионы лошадей, сотни тысяч ветряков и водяных мельниц составляли как бы часть природы, хотя использовались и были сделаны человеком. М. Хайдеггер образно и точно заметил, что река оказывается встроенной в современную гидроэлектростанцию в отличие от старых, традиционных сооружений, встроенных в реку и веками не изменяющих ее жизнь. Собственно говоря, и подавляющая часть городского производства представляла собой то, что можно назвать «неформальной» экономикой (мелкие мастерские, артели, кооперативы), мало отличавшейся по своим природопреобразующим масштабам от крестьянского двора. Таким образом, доминирующие формы «народного» производства по существу своему блокировали космократические притязания, природа выступала в них не как материал для преобразования, а как «кормилица» или как «мать сыра земля».

И все же буквально через несколько лет все встало с ног на голову, «сыра земля» превратилась в грунт, в котлован, а язык народности был узурпирован властью и стал одним из ее основных языков. Великие народные стройки, советская народная наука, народная интеллигенция, народная литература — для нас это почти ничего не го-

ворящие эпитеты, а между тем в 30-е годы они имели вполне определенный смысл, отличный от старого значения этого слова. Когда под народом прямо не понималось государство (что было весьма характерно для языка тоталитарного режима), тогда подразумевались определенные слои людей, говоря уже современным языком, выбитые из традиционных форм жизни, деклассированные и организованные в массовидные социальные тела с помощью насилия и тотальной идеологизации сознания. Это уже не народ в западном понимании — как нация или средний класс, это и не народность в смысле традиционной общности русских идеологов народничества. Эвфемизм «народность» прикрывает здесь неклассические, неизвестные в XIX веке общности людей. У нас они сформировались в результате форсированной коллективизации, индустриализации и культурной революции, вызывавших разрушение традиционной крестьянской культуры, невиданные в истории темпы урбанизации, которые буквально смели и без того неустойчивые формы русской городской цивилизации.

Возникший в результате этих процессов «простой советский человек» как некое коллективное и предположительно рационально мыслящее и управляемое тело и обозначался как «народ», в частности, как тот субъект, который призван осуществить «великое преобразование природы». «В лице колхозника, — писал, например, Мичурин в послании второму Всесоюзному съезду колхозников-ударников, — история земледелия всех времен и народов имеет совершенно новую фигуру земледельца, вступившего в борьбу со стихиями с чудесным техническим вооружением, воздействующего на природу со взглядом преобразователя».

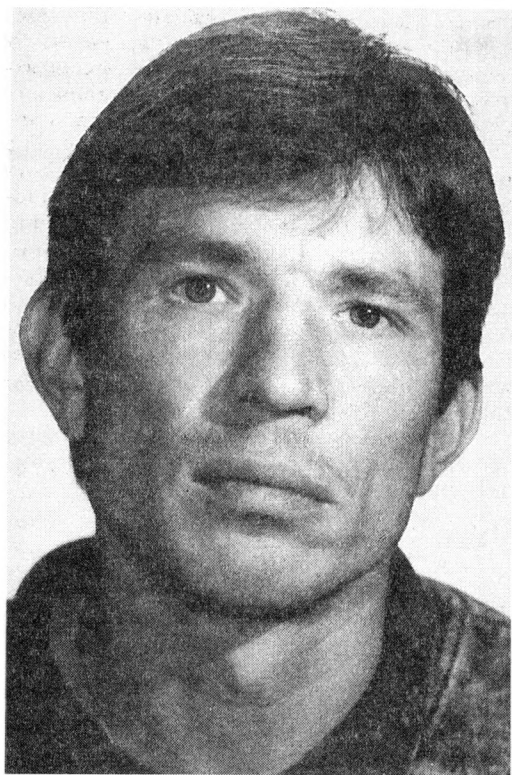
Нужно отметить, что в тогдашней идейной атмосфере, видимо, был большой искус видеть в ситуации, возникшей в результате деструкции традиционных народных технологий и мелкотоварной экономики, некие не виданные ранее возможности для воплощения научного знания и рациональных проектов глобального типа в реальность. Не только престарелый и явно ошалевший от хлынувших на него почестей Мичурин считал, что «великое будущее всего нашего естествознания — в колхозах и совхозах». Коллективизацию, например, приветствовали сначала и настоящие ученые — Н. И. Вавилов, Н. М. Тулайков, даже числившийся в «буржуазных профессорах» Н. К. Кольцов. Они видели в ней возможность в широких масштабах внедрить достижения генетики и селекции в земледелие, что не получалось в 20-е годы в индивидуальных крестьянских хозяйствах. Об

искренности этой позиции свидетельствует тот факт, что во время поездки в США в начале 30-х годов Вавилов убеждал эмигрировавшего туда известного генетика Ф. Добжанского вернуться на родину, чтобы принять участие в «грандиозном эксперименте», который открывает коллективизация. Правда, через некоторое время Вавилов написал Добжанскому, что возвращаться не следует. Вероятнее всего, он просто осознал, какая участь может ожидать вернувшегося ученого. Но мог здесь быть и дополнительный смысл. В это время уже становилось ясно, что «грандиозные эксперименты» все менее нуждаются в настоящей науке, что для них больше подходят такие люди, как Лысенко и Презент, способные делать «большие дела». В этом была своя логика, поскольку «народ», которому было предназначено осуществлять преобразование лика земли, был поставлен в такие условия, в которых он был не в силах воспринять какие-либо рациональные способы деятельности. Подобно лопате и тачке — универсальным орудиям строительства великих пирамид, яровизация и сев по команде уполномоченного стали универсальными приемами «нового земледельца».

Известно, что отечественной философско-научной мысли был свойствен космолизм. Связь этой глубокой традиции с космократизмом сталинской эпохи — тема особого разговора. Однако нельзя не заметить, что тоталитарные системы как бы чреваты инверсиями культуры и мысли, в реальности своей даже более зловещими, чем известные оруэлловские министерства правды и любви. Культ отцов Н. Ф. Федорова, его имевший космические измерения

проект общего дела, направленного на воскрешение умерших поколений, каким-то чудовищным эхом отзываются в беспамятстве тоталитарного режима, в сталинских стройках, в фундаменте которых безымянные останки миллионов отцов и дедов. Это помогает осознать схождение в одно время и в одной стране размышлений выдающегося космиста В. И. Вернадского о сфере разума, ноосфере, постепенно возникающей в результате планетарного воздействия единой, интернациональной науки, и сфере исковеркавших землю экологических монстров, созданных под эгидой «неконвертируемой» сталинской народной науки.

Проходят десятилетия, однако с удивительным постоянством наши «великие стройки» воспроизводят сложившийся в сталинскую эпоху набор средств, коверкающих природу во имя ее «покорения» и «преобразования». Будь то дамбы и плотины, БАМ или сеть АЭС (расставленных в ключевых для жизни людей местах: верховьях крупнейших рек, вблизи огромных городов — в самом деле, разве можно «покорять атом» где-то на отшибе?!) — везде одно и то же: заменяющая здравый смысл и экономический расчет идеология «стройки века»; сомнительного качества проекты, подсовываемые услужливой ведомственной наукой; человеческие мегамашины, сооружаемые из лимитчиков и стройбатовцев... Понадобился Чернобыль, чтобы общество наконец задумалось над этим циничным и бездумным отношением к природе и человеку.



**Дмитрий
ВОРОНКОВ**

ШУРЕНОК

Шурочка родилась в сибирском селе, которое называлось Бычье. Она была наполовину казашка, наполовину русская, настоящее ее имя было Шолпан, но все в селе ее звали Шурочка, Шурка, Шуренок. Этим летом ей исполнилось шесть лет, брату Пете было четыре, а еще была сестренка Маруся, совсем маленькая.

Утром Петенька начинал плакать, и Шуре приходилось ставить его к окну. В окно Петя мог смотреть целыми днями, вода пальцем по стеклу или отковыривая прошлогоднюю замазку, а чтобы он поскорее успокоился, Шура показывала пальцем вдаль и говорила:

— Не плачь. Вон, видишь, мама идет?

Маму Петя не видел, а видел в просвете между домами блестящий пруд, вокруг которого была отстроена деревня, видел гусей, кур и уток, видел старуху с коромыслом. В углу окна свил свою сеть паук-крестовик, билась в стекло случайно залетевшая оса. Все это, живое и обыкновенное, успокаивало Петю, он шмыгал носом и прислонялся к стеклу лбом.

Шурочка взяла тряпку.

— Сморкай,— строго сказала она.

Петя сморкнул торопливо и небрежно, но Шура не отступилась, пока большая часть соплей не оказалась в тряпке.

С Марусей было легче. Она никогда не плакала и вообще не издавала никаких лишних

звуков. Сидела себе, серьезно глядя вперед, положив надутый живот на кривые коленки. Шура сунула ей обгрызанный вчерашний сухарь, разыскав его под одеялом, и Маруся стала его грызть, задумчиво глядя на худые Петины лопатки.

А Шурка с трудом наклонила огромный зеленый чайник, налила себе в грязноватый стакан мутного, с большими чаинками чаю.

Ночью облака раздуло наконец, выглянуло солнце. Шура взяла Марусю с сухарем под мышку и вытащила во двор, посадила на землю.

Петька сплющил о стекло нос до самых щек, уперся в стекло ладонками. Нос и ладонки стали белыми, и Шурка погрозила ему с улицы:

— Сломаешь стекло!

Но он не слышал, пришлось вернуться и надавать ему по заднице. Петька не понял, за что бьют, и плакать не стал.

А Шурочка надела свою любимую розовую кофту, закатала рукава, взяла ведро и неприлично голую куклу без рук, вышла во двор. Она сунула куклу Маруське, но та на куклу не посмотрела, а встала и потащилась, переваливаясь, за Шуркой.

— Не ходи за мной,— сказала Шурка.

По мотивам неопубликованного рассказа Айгуль Назаровой.

Маруся молча грызла сухарь.

Шурка посадила ее в ямку, засыпала ноги землей, сунула куклу и, подхватив ведро, пошла к колодцу.

Маруся жевала сухарь и смотрела вслед Шурке.

С большим колодезным журавлем и взрослому-то было справиться нелегко.

Шурка поставила ведро, встала на приступку, заглянула вниз.

Сырые темные бревна уходили далеко к воде, блестящей черным квадратом. Отражение Шурки тоже было черным и страшноватым: длинные спутанные волосы торчали по сторонам. В зеркале колодца Шурка была похожа на маленькую ведьму.

— Ха! — кто-то схватил ее за бока и толкнул вниз. У Шурочки чуть сердце не выскочило и не утонуло в темной глубине. Она отпрыгнула изо всех сил, свалилась с приступки.

— Ха-ха-ха! — хохотал сзади, держась за живот, Миша Понтрягин. — Что, малая, испугалась?

Мише было лет шестьдесят, но он был веселый.

— Дурак ты, Миша, — сказала Шурочка, нахмурившись. — Помоги лучше воды достать.

Миша, все еще улыбаясь своей шутке, ловко опустил журавль, достал воды. Вода оказалась вовсе не черной, а светлой, светлее, чем в пруду. Миша перелил воду, взял ведро:

— Пойдем, Шурка, донесу...

Шурка пошла за ним.

— Что мать-то? — спросил Миша, оглядываясь.

— А что мать? — Шура все еще сердилась на старика, смотрела хмуро.

— Работает? — Миша нес ведро легко, так же легко, с улыбкой говорил.

— Не знаю, — сказала Шурочка.

Старик весело вздохнул:

— А что вы, извините, кушаете?

— Чего кушаем? — пробурчала Шурка. —

Хорошо кушаем, чай, сухари, конфеты...

— Конфеты?! — Миша опять захохотал. — Скажи маме, что завтра приду, дров нарублю.

Шура посмотрела на Мишу недоверчиво.

— Чаем напоите, — спросил он, — с конфетами? — и снова засмеялся, ускорил шаг.

Шура отстала. В палисаднике у Гаврилиных цвели георгины. Их было так много и такие они были красивые, что Шурка остановилась, открыв рот. Посмотрела на цветы, увидела под навесом во дворе поленницу, пролезла сквозь щель во двор, взяла полено и вылезла обратно.

Мишу Понтрягина она догнала у ворот.

— Какие у Гаврилиных цветки красивые! — затараторила она. — Вот бы нам такие

у дома развести!

Старик хмурился.

— Вам бы картошки вокруг дома развести. Ты зачем полено взяла?

Шурка удивилась:

— А печку растапливать. У нас-то дрова мокрые, а у Гаврилиных сухие...

Вечером пили чай. Мать сидела довольная, веселая, посредине стола стояла пол-литровая банка молока, лежал хлеб. Молоко доливали в чай понемногу, Петька сосал конфету. Маруся сидела без штанов на коленях у Шурки и дремала. В конце концов Шурка положила ее на топчан, где они с Маруськой спали.

Без стука вошел старик Гаврилин. Строго, брезгливо даже осмотрел грязноватую комнату, не поздоровался.

— Слышь, Нюр, — сказал он.

Мать задвигала стулом, обернулась:

— А, Михаил, садись, чайку с нами...

Гаврилин как будто не слышал:

— Слышь, Нюр, если твоя девчонка еще у нас дрова воровать будет, я ж ее пришибу.

— Ах, господи, — растерялась мать и поглядела на Шурку.

Та втянула голову в плечи, почувствовала, что будут бить.

— Ах, господи, — повторила мать. — Зачем нам дрова-то твои, Михаил? У нас свои есть, Алистаров два куба привез...

— Это я не знаю, — брезгливо сказал Гаврилин, — а только если еще раз увижу, что она, — он кивнул на Шурку, — полено у нас потацит, тем поленом и прибью.

Мать отвесила Шурке тяжелую оплеуху, но Шурка давно ждала и со стула не свалилась.

— Кто тебя воровать учил?! — Мать влепила еще раз, правда, полегче. — А?! Своих мало?!

— Они у нас мокрые, — промямлила Шура. — И ненаколотые...

Гаврилин молча вышел.

Мать для порядка дернула Шурку еще пару раз за волосы и снова принялась за чай.

Шурка приободрилась.

— Завтра Миша Понтрягин обещался. — Она заглянула матери в глаза. — Дрова наколоть. За чай с конфетами.

Мать поперхнулась, кашляя, побежала к ведру.

— За чего? — спросила она из угла, откашлявшись.

— За чай с конфетами.

Мать ничего не сказала, легла на кровать, выставив кверху огромный живот, стала глядеть в потолок, как будто высчитывая что-то.

Шурка проснулась оттого, что Маруся была холодная.

— Ты чего холодная такая?— спросила Шура и подоткнула под Маруську одеяло. Маруська молчала.

Шура встала, сняла со стены пальто, накрыла Маруську поверх одеяла и легла рядом.

Мать тихонько похрапывала. За окном где-то подвывала собака. Шурка нашла под одеялом сухарь, принялась его грызть. Во рту стало сухо, захотелось воды.

Она встала, взяла со стола чайник, оступилась в темноте, чайник с грохотом упал на пол.

Мать закричала со сна. Шурка испугалась, притихла, присела на корточки.

— Ты, что ли, Шурка? — спросила мать.— Что шумишь?

— Пить захотелось,— сказала Шурка.

— Напугала, черт.— Мать повернулась и снова засопела.

Шурка тоже легла, потрогала Маруську.

— Мама,— тихонько позвала она.

Та не отозвалась.

— Мама!— сказала Шурка громче.

— Чего тебе?— сказала мать, едва успевшая заснуть.

— Маруся замерзла.

— Ну накрой ее чем-нибудь.

— Я накрыла, она все равно холодная.

Мать, охая, встала, подошла, потрогала. Зажгла лампу, снова поглядела.

— Померла Маруська.

Она взяла ее на руки вместе с одеялом, отнесла в сени.

Вернулась, выкрутила лампу, легла.

— Спи, Шурка. Завтра похороним.

Она снова засопела.

Спустя день заболел Петя.

Когда Шура проснулась, матери не было, а Петенька сидел на кровати и царапал стену, сдирая кожу на пальцах, как будто хотел залезть выше, смотрел прямо перед собой, а перед ним была стена.

Шура поставила его к окошку, он весь был горячий и слабый.

— Вон мама идет,— сказала Шурка, но Петенька не видел ни мамы, ни улицы, ни домов, ни уток, а царапал по стеклу, как по стене, и вздрагивал.

Шура положила его на кровать, накрыла одеялом и легла рядом.

В дом вошла мать и рыжая акушерка Юля.

— Это еще что такое?!— в ужасе закричала Юля.— А ну марш в другую койку!

Шурка перебралась на свой топчан.

Юля подсела к Пете, положила прохладную руку ему на голову. Может быть, от этого прикосновения Петенька успокоился, глаза его посветлели.

— Мама,— сказал он.

Мать стояла рядом, держала руки на животе.

— Это ничего,— весело сказала Юля.— Это пройдет,— она стала доставать из кармана какие-то таблетки.

— Вот эти, Нюра, будешь давать три раза в день после еды. А эти две дашь на ночь. Хорошо бы его водкой протереть... Есть водка?

— Сроду не бывало,— сказала мать.

— Ну ладно, тогда не надо, просто укроешь хорошенько, а завтра бульон ему свари, дай попить горяченького.— Она оглядела комнату.

Мать поджала губы.

— Я принесу бульон,— решила Юля и снова положила руку Петеньке на лоб.— Выздоровливай.

Она улыбнулась.

— Выздоровеешь, вырастешь, я замуж за тебя пойду.

Юля вышла.

— Он помрет?— спросила Шура.

— Не должен,— сказала мать и недоверчиво посмотрела на таблетки.

Вечером пришел мужик с мешком и бутылкой водки в кармане. Мешок отдал матери, сказал:

— Анна, спрячь. Сгодится ребятишкам,— а бутылку поставил на стол.

Мешок мать спустила в погреб.

— Огурчиков достань или капустки,— крикнул из-за стола мужик.

Петенька от крика заворочался, и Шурка перебралась к нему, забыв про Юлин запрет.

— Ты что босиком бегаешь?!— шуганул ее мужик.— Спать давно пора!

Ни капустки, ни огурчиков мать из погреба, конечно, не достала, а взяла с полки хлеб и два стакана.

— Ты что же, Анна,— удивился мужик,— пьешь теперь?

— А хоть бы и пью,— огрызнулась мать.— Нельзя разве?

— Нет, почему,— хохотнул мужик.— Пей, пожалуйста.

Он налил ей полстакана и себе стакан. Анна пригубила и отставила водку в сторону, а мужик выпил, и они заговорили о непонятном. Говорили тихо и долго. Шурочка заснула.

Проснулась Шурка оттого, что мать трясла ее за плечо:

— А ну-ка встань...

Шурка встала. Мать раздевала сонного Петьку, а Шурка стояла в огромных материнских трусах с утянутой резинкой, грела ла-

доньями плечи, переступая босыми ногами.

Мать растерла Петю водкой, тяжело легла рядом с ним. Шурка попыталась пристроиться рядом, но мать прогнала ее:

— Не видишь, тесно? Иди на топчан, спи.

А на топчане храпел страшный дядька в телогрейке.

Шурочка сняла со стены пальто, завернулась в него, как могла, легла на полу.

Оттого, что было холодно, жестко и не было подушки, Шурка спала плохо. Когда утром ушел мужик, она перелегла на топчан, под одеяло. Мать все ходила, ходила и не уходила никуда. Шурка ждала, ждала да и заснула в тепле.

А когда проснулась, матери не было, а Петька сидел, свесив ноги с кровати, и ныл:

— Шурка, дай чаю...

Шурка вскочила.

— Потерпи, тебе тетя бульон принесет.

Она быстро оделась и полезла в погреб за мешком.

Потом села на кровать и стала выбирать. Чего там только не было! Даже Петька открыл рот от удивления и замолчал, забыв про чай. Шурка выбрала себе две кофточки и красивое платье, а Петеньке положила на постель матросский костюмчик.

— Вот как выздоровеешь,— сказала она,— пойдем к Совету. И все будут на нас смотреть.

Шурка натянула платье, стала мерить кофту, когда в сенях послышались шаги. Она заметалась, заталкивая одежду обратно в мешок. Когда вошел участковый, а за ним мать, Шурочка засовывала в мешок матросский костюмчик.

— Будем составлять акт.— Участковый строго посмотрел на мать, а та так поглядела на Шурку, что Шурка, стягивая кофту, чуть не оторвала рукава.

— А я откуда знаю,— сказала мать,— откуда все это?

Участковый ждал, когда Шурка снимет платье. Она осталась в трусах, а участковый посмотрел на нее и повторил:

— Будем составлять акт.

Шурка дрожала от холода и страха.

По двору шел участковый, сзади семенила мать, что-то ему объясняла.

— Шурка, дай чай,— попросил Петенька.

Шурка дала ему чаю и вчерашний кусок хлеба со стола.

Вошла мать.

— Будем съезжать,— сказала она.— Давай собираться.

Шурка думала, что ее будут бить, и даже обрадовалась, что все кончилось так хорошо.

— Ма, а почему тетя Петьке бульон не принесла?— почти весело спросила она.

— Какой бульон?— не поняла мать.— А...

Забыла, наверно.

В сторожку на ферму их привела знакомая матери доярка Тася. Шурка держала Петю за руку, в другой руке несла чайник.

Мать несла узел и свой огромный живот. Тася засветила лампу.

— Вот, Ньюра, здесь можешь жить.

Лампа осветила беленые серые стены, кучу тряпок в углу, топчан, сколоченный стол.

— Летом здесь жить можно,— сказала Тася.

Мать опустила на топчан.

Петька тут же приволок из угла ящик, встал на него и стал смотреть в окно. За окном стояла темнота, слышались сонные вздохи коров, глухое мычание.

— И дети рядом с молоком,— сказала Тася.

Шурка поставила чайник на стол.

— Шурка, дай чаю,— от этих слов Шурка проснулась наутро.

Она лежала в углу на старых телогрейках. Протерла глаза, села. Матери не было, а Петька сидел на топчане, свесив ноги.

— Шурка, дай чаю,— снова потребовал он.

Чайник так и стоял на столе. Шурка открыла печку. В ней лежали прошлогодние головки, нужно было идти за дровами.

Она открыла дверь, в лицо ударило солнце. Мычащие коровы разбрелись по двору. У коров были большие розовые соски.

Шурка схватила чайник и, выплеснув из него воду с чайными ошметками в кусты, понеслась к ближайшей корове. Корова шагнулась, замычала.

Шурка сбавила пыл, подошла к корове потихонечку. Корова стояла, скосив на Шурку глаз.

— Не бойся,— сказала Шурка,— я совсем немножечко молочка возьму.

Она поставила чайник под корову, потянулась к вымени.

Корова подумала и отошла в сторону.

Шурка разговаривала с ней, как с маленьким ребенком, и подкрадывалась снова.

— Петенька молочка хочет, я совсем немножечко тебя подою, это не больно совсем...

Шурка залезла под корову, а корова, помедлив, тяжело легла, придавив Шурке ноги.

Корова была тяжелая, и Шурка заплакала. Так и сидела с чайником в руках и плакала, пока ее не увидел хромой скотник.

Скотник пинком поднял корову, отогнал ее в сторону. Присел перед Шуркой, что-то промычал.

От испуга Шурка плакать перестала, вскочила, побежала к сторожке, вернулась с полдороги, схватила чайник и снова побежала, оглядываясь на удивленного скотника.

Скотник принес в сторожку банку с молоком, а за ним вошла заведующая. Халат на ней был белый и грязный, руки она держала в карманах.

— А мать где?

Скотник поставил банку на стол, отошел в угол.

Шурка налила молоко в стакан.

— Не знаю.

— Скажи матери, когда вернется, что здесь вам жить нельзя. Здесь помещение служебное. И опасно,— она обернулась к нему, ища поддержки.— Есть элементарные правила гигиены...

Немой молчал, а Шурка вообще не понимала, о чем говорит заведующая, она поила Петеньку молоком.

Заведующая смутилась:

— Придется вам возвращаться домой.— Она опять оглянулась:— Вот он вам поможет,— и вышла.

Петенька встал к окну, он улыбался, глядя на коров.

Шурка шла по улице с чайником и с Петькой.

Везде было занято, везде жили люди.

Так, потихоньку, они дошли до середины села, где стояло высокое здание старой пожарки, ворота были приоткрыты, и Шурка заглянула в пыльную темноту.

— Шура! — окликнула ее сзади акушерка Юля.— Ты маму ищешь?

Шура посмотрела на Юлю вопросительно.

— Скоро твоя мама придет,— весело продолжала Юля.— И принесет тебе сестренку.

— Марусю?— удивилась Шура.

— Может быть, и Марусю.— Юля улыбнулась и пошла, легко покачивая бедрами.

Шурка открыла створку ворот и вошла в пожарку.

За воротами был большой сарай, пронизанный сквозь щели солнцем. Свет проникал и через открытый люк в потолок, к которому вела крутая приставная лестница. За лестницей была дверь. Шурка открыла ее и увидела совсем маленькую комнату с железной печкой, под потолком было узкое оконце. Петька задрал голову, удивляясь, зачем делают окна, если в них нельзя смотреть.

Шурка вернулась в сарай, полезла по лестнице к люку. Посредине лестницы не было ступеньки, но Шурка легко преодолела препятствие.

Посреди колоколенки висел на балке рельс, пол был трухлявый. Шурка по половине прошла к окну, из которого было видно все Бычье, пруд был как на ладони, и дорога была видна за селом.

Она подобрала кусок арматуры и ударила тихонько по рельсу. Он загудел как камертон, и Шурка загудела голосом, подражая ему,

стукнула посильнее.

— Шурка!— Петька стоял на лестнице и не мог преодолеть провал.

— Куда полез?!— закричала Шурка.— Свалишься!

— Я к тебе хочу.

— Неча делать. Здесь гнилое все. Провалишься и убьешься.

Шурка стала спускаться вниз.

Теперь у Шурки появился уголок, куда, кроме нее и ее подружек, никто залезть не мог. Была среди подруг Галка Гаврилина.

Гаврилины оказались теперь в соседях, палисадник с георгинами был виден из окна. Галка была старше, но это не смущало обеих. На пожарке Шурка была хозяйкой. Здесь Галка рассказывала про Ленинград, учила всяким песням.

Шурка пела, а Галка, у которой было неважно со слухом, подпевала и постукивала по рельсу, отбивая ритм. Получалось здорово, когда пели «Бухенвальдский набат» или «Хотят ли русские войны».

— Над ширью пашен и полей,— пела Шурка,— и у берез и тополей...

Они с Галкой глядели в окно, и от вида их села, от простора в песне открывался волнующий смысл.

— Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат...— и Галка перестала подпевать, потому что Шурка пела замечательно.

— И вам ответят их сыны, хотят ли русские войны...

В глазах у девочек закипали слезы, а Галка стучала по рельсу громче, чем надо.

— Здорово. Здорово ты поешь,— сказала Галка.

— Я, когда вырасту,— сказала Шура,— буду певицей, буду жить в городе, в большом доме,— и показала руками, какой будет дом.

— В сколькиэтажном?— спросила Галка.

Шурка промолчала.

— Мы, когда жили в Ленинграде,— сказала Галка,— мы в пятиэтажном доме жили. У нас балкон был и цветы на балконе.

— Какие у вас в огороде?— спросила Шурка.

— Нет,— Галка махнула рукой.— Куда красивее. У нас даже гладиолусы были, а здесь они не растут.

— А я буду жить в десятиэтажном доме. На десятом этаже. А внизу будет жить мама, и Петька, и Катька. А еще внизу — Лизка с тетей Тасей и Бендриковы. И Миша Понтрягин.— Чтобы Галка не обиделась, Шурка добавила: — И вы там будете жить, вы опять на балконе цветы разведете.

— А ты приходи к нам играть,— сказала Галка растроганно.— Я тебе свои куклы покажу.

Шурка потупилась:

— Меня твой отец не пустит. Я у него полено украла.

— Подумаешь, полено,— Галка легкомысленно махнула рукой.— Ты не бойся, он вообще добрый, только строгий. Это он в блокаду такой стал. Знаешь, как в блокаду в Ленинграде совсем есть нечего было?..

— И сухарей?!— ужаснулась Шура.

— Ничего,— строго сказала Галка.— Давай споем «Бухенвальдский набат»? «Слушайте, слушайте, гудит со всех сторон, это раздаётся в Бухенвальде...»— Галка постукивала по рельсу.

Внизу хлопнула дверь, раздался отчаянный детский плач.

Шурка заглянула вниз.

В одной руке мать держала орущую Катюку, а в другой — старый кирзовый сапог. Рядом размазывал слезы Петька.

— Я тебе сколько раз говорила?!— орала мать.— Близко к рельсу не подходишь! Весь дом развалишь! Слазь оттуда!

Галка поглядела на балку над рельсом. Балка поскрипывала.

Шурка спускалась вниз, вжимая голову в плечи, а мать ждала, когда ее можно будет достать сапогом. Она огрела Шурку по заднице. Та едва не свалилась, но ступеньку нацупала.

— Здравствуйте, тетя Нюра,— поздоровалась сверху Галка.

Мать уронила сапог.

— Здравствуй, Галя. Вы бы лучше на улице играли. И Петеньку с собой взяли.

Шурка выскочила на улицу.

Галка вышла из пожарки, держа Петьку за руку.

— Пойдем к нам,— сказала она.

Впереди шла Галка, за ней Шурка, а сзади тащился Петька.

Шурка оглянулась:

— Ну ты куда пошел? Иди домой, понял! Тебе нельзя с нами...

Но Петька тащился за ними.

Шурка подобрала деревяшку, кинула в него, не попала, плюнула:

— Пускай идет.

— Подожди здесь,— сказала Галка около дома.

Шура с Петькой остались стоять у палисадника, глядеть на георгины.

— Правда, красиво?— сказала Шурочка.

На крыльцо вышел старик Гаврилин:

— А ну-ка, уходи отсюда!

— Я?— удивилась Шурка.

— Еще раз увижу,— кричал Гаврилин,— что ты здесь высматриваешь, ноги тебе вырву!

Шурка с Петькой пошли прочь.

На следующее утро Гаврилин вышел на крыльцо и увидел, что все цветочные головки оборваны, разбросаны по грядкам. Он задохнулся от гнева.

— Паскуды! Выродки!— хрипел он на бегу, размахивая палкой из черного дерева.

Петька играл у ворот деревянным грузовиком, проводил удивленным взглядом пролетевшего Гаврилина.

Гаврилин влетел в комнату, увидел в койке Катюку, которая грызла деревяшку и смотрела в потолок темным Шуркиным взглядом.

— Паскуды, выродки!— снова заругался Гаврилин и полез наверх.

Ему, хрому, лезть было трудно, палка мешала, он бросил ее, и она загремела вниз по перекладинам.

Шурка сжалась в комочек в углу, в тени.

— Я тебя, чума...— Гаврилин пошел к Шурке напрямик, там, где и Шурка-то ходила только по половине.

Доска под тяжелым Гаврилиным жутко треснула, и Гаврилина не стало, только пыль поднялась да чем-то задетый загудел рельс.

Акушерка Юля красила губы, когда вбежала Шурка.

— Чего тебе, Шуренок?— спросила Юля.— Заболел кто?

— Дядя Миша Гаврилин помер,— серьезно сказала Шурка,— С пожарки свалился.

Гаврилин сидел, подогнув одну ногу, и ругался сквозь зубы.

— Да кто же тебя, Михаил, наверх-то тянул?— запричитала мать.— Там же сгнило все, немудрено свалиться, как еще не убился совсем...

— Уйди,— промычал Гаврилин,— глядя на мать ненавидящим взглядом.

— Ничего,— сказала Юля, осмотрев ногу.— Ничего страшного,— она улыбнулась.— Закрытый перелом. До свадьбы заживет, дядя Миша. Выздоровеете, я за вас замуж пойду.

Когда Шурка тихо вошла в комнату Гаврилина, он лежал поверх покрывала и листал альбом с видами Ленинграда. Нога была загипсована и покоилась в петле, привязанной к спинке кровати.

Гаврилин повернул голову:

— Чего надо?

Шурка глядела на Гаврилина с жалостью. Забежала Галка, потянула Шурку за руку:

— Пойдем, пойдем...

— В сенях играйте,— сказал Гаврилин.— А то вшей мне в комнате... не хватало.

Уходя от Гаврилиных, Шурка выбрала в поленице полено и смело пошла домой.

В Бычем наступила зима. На пруду взрослые и дети расчищали каток, а на берегу строили горку.

Шурка стояла у обледеневшего колодца, смотрела на эту веселую суету, засунув руки в карманы пальто. Варешек у нее не было, и вытаскивать руки из карманов, а тем более брать за журавль Шурке не хотелось.

Она встала на приступку, выросшую от наледи, и с любопытством заглянула вниз: не замерзла ли там вода, как в пруду. Вода была такой же черной, как и летом.

Как назло никто из взрослых не подходил. Она попыталась всунуть красные ладошки в рукава, чтобы не прикасаться к холодному журавлю, но рукава были коротки и опускать ведро приходилось чуть ли не локтями. Она перегнулась через край сруба, поскользнулась и ухнула в черную пустоту.

Что было дальше, Шурка не помнила.

Она видела, как вокруг нее извиваются разноцветные шелковые ленты, какие она видела на венках украинских девчат в школьной художественной самодеятельности. Венки с лентами кружились вокруг ее головы, но на голову не садился. Он был не круглый, а продолговатый, весь в искусственных цветочках, и ленты, как живые, изгибались и кружились вокруг нее, не касаясь. От этого было весело и страшно, в венке было что-то зловещее, только ленты были не черные, а разные — красные, и желтые, и голубые, может, была и черная, но Шурка все равно смеялась и хлопала в ладоши, ленты слушались ее, танцевали под ее музыку, и она им пела песню «Хорошо живется прямо у колодца», которой ее недавно научила Галка.

Потом она видела мокрого и холодного, с льдинками в бороде Мишу Понтрягина, который нес ее на руках. С него на Шурку текла ледяная вода, было очень холодно. Шурка хотела вырваться из ледяных рук Миши, но почему-то не могла.

Потом она увидела веселое лицо Юли, которая сказала голосом Миши Понтрягина:

— Это пройдет, это не страшно, я за тебя замуж пойду, — испугалась почему-то и снова увидела танцующие ленты, совсем живые. Шурка хлопала в ладоши и пела.

Потом она сидела на топчане в комнате, смеялась, хрипела. В комнате никого не было, но чей-то гулкий голос сказал:

— Пойдем.

Она слезла с топчана, этот кто-то, похожий со спины на Мишу, вывел ее на улицу в одном платье и исчез.

Село было засыпано белым-белым снегом,

светило яркое солнце, и навстречу ей шла большая, с Шурочку ростом, красивая рыжая кошка.

Грохнул выстрел, Шурка обхватила голову руками, а кошка упала и вытянулась.

Мужик с усами взял Шурку на руки, а другие мужики галдели вокруг:

— Рысь! Рысь!

Шурка заплакала от жалости к кошке и ударила мужика прямо по усам, вырвалась, подбежала к кошке, стала тащить ее в сторону. Кошка была тяжелая, но Шурке удалось оттащить ее. Она присела на корточки, стала ее гладить и плакать.

А сзади галдели мужики:

— Больная, наверно, из лесу вышла...

Когда Шурка выздоровела, зима набрала силу. На расчищенном пруду школьники катились на коньках, а горка на берегу была такая длинная, что некоторые лихачи выезжали на санках прямо на пруд и заваливались с хохотом в сугроб.

Шурка, осторожно вдыхая морозный воздух, смотрела на веселье со своего крыльца. Сзади сопел Петька.

По заснеженной дороге перед пожаркой медленно полз автомобиль с гробом, шла маленькая процессия, несли венки с надписью «Михаилу Афанасьевичу от односельчан» и портрет веселого Миши Понтрягина. Шла в процессии и мать с Катькой на руках.

— Пойдем на горку? — сказала Шурка.

— Все равно санок нет, — сказал Петька.

— Пойдем.

Они подошли, и чуть в стороне от горки Шурка увидела отличные санки с цветными дощечками.

— Петька! — радостно заорала Шурка, схватила санки и понеслась к горке, но тут же свалилась от резкого толчка.

Здоровый рыжий парень отобрал санки:

— Чего хватаешь? Твое что ли? Не твое — не хапай. Рвань.

Шурка отошла в сторону. Радости не было, но уходить не хотелось.

Она взяла Петьку за руку, и они пошли на горку.

Шурка неловко села, посадила Петьку на колени, и они поехали вниз. Ехали медленно и, проехав едва половину ледяного пути, остановились.

— С дороги! — заорали сверху, и рыжий полетел мимо, ударив Шурку. Петька слетел с Шуркиных коленей и заревел в сугробе. Рыжий, правда, тоже не удержался.

Не успел он встать, как Шурка подлетела к нему и зло ткнула в лицо холодной ладошкой, вцепилась в волосы и заорала:

— А ты чего обзываешься?!

Петька сидел на снегу и выл, распутив соплю.

Рыжий опомнился, отодрал от себя Шурку и, повалив ее в сугроб, стал методично кормить снегом:

— Чурка ты нерусская, тварь ты...

— Ей нельзя снег!— заорал Петька.— Она кашляет!— и кинулся на рыжего сзади.

Тот отпихнул Петьку, взял свои санки и пошел прочь.

Был поздний вечер, но в окнах еще горел свет. Через три дома во дворе Бендриковых стояли красивые санки с витой спинкой.

— Зайдешь во двор,— сказала Шурка,— и возьмешь. А если увидят, скажешь, заблудился.— Она подтолкнула Петьку к калитке.

Огромная луна освещала пруд и горку. На горке стояли запыхавшиеся Шурка и Петька.

— Ну еще разик...— канючил Петька.

— Нет,— твердо сказала Шурка.— Утро скоро.

— Ну Шурка, разочек всего...

Шурка вздохнула:

— Ладно. Только в последний раз.

Они слетели с горки на санях и докатились почти до середины пруда.

На другой день Мария Павловна Бендрикова, учительница химии, остановила Шурку на улице.

— Шура, постой.

Шурка встала, переминаясь с ноги на ногу.

Мария Павловна взглянула ей в глаза:

— Шура, ты ночью брала санки?

Шурка опустила голову.

— Мы больше не будем,— прошептала она.— Только матери не говорите...

— Ты, Шура,— сказала учительница,— бери санки, когда тебе захочется. Только днем. А потихоньку, ночью, не надо. А то получится, что ты украла. Ты зайди и попроси, это всегда лучше, чем красть.

— Мы больше не будем,— снова сказала Шурка.

— Вот и договорились,— учительница кивнула и улыбнулась ей.

В ту зиму жилось им совсем плохо, так плохо, что мать стала искать работу.

Завернув Катьку в пальто, она пошла к бригадиру Алистарову, взяла с собой Шурку с Петькой. Лицо у матери было озабоченное и злое.

Алистаров жил на краю села в доме под шифером, с расписанными голубыми наличниками. У них двор большой двор, и чего только в этом дворе не было!

Во-первых, здесь была своя, построенная из снега горка, крепко залитая, с аккуратно вылепленными бортиками. Во-вторых, снежная крепость со стеной и башенками по углам. И в-третьих, были слеплены из снега фигурки двух зайцев, а также медведя и слона.

Снежных баб Шура умела лепить сама, но такого раньше никогда не видела. Она вертела головой, отставала от матери.

За горкой, опершись на злополучные санки, стоял рыжий — старший сын Алистарова Петька, а рядом таращила глаза его младшая сестренка Нюрка, ровесница Шуры.

Рыжий смотрел на Шурку хмуро, вспоминая, видно, происшествие на горке.

Шурка спохватилась и побежала догонять мать.

Шурка с Петькой стояли в сенях и сквозь щель глядели в комнату.

Алистаров читал газету, глаза сквозь очки были большими и строгими.

— Мне бы работенку какую,— говорила мать.— Детей накормить нечем, и дров нет.

Алистаров снял очки, отложил газету в сторону.

— Детей, говоришь, нечем накормить? Анна опустила голову.

Алистаров сочувственно покачал головой.

— Плохо. Когда детей нечем накормить — это последнее дело. Да? — Он поднял голову, и глаза его начали светлеть от ярости. Вдруг изо всех сил он хлопнул ладонью по столу:—

А что же ты ко мне летом не пришла?! Когда работы было... рук не хватало?! А? Зачем сейчас пришла? Думала, пожалею?!

От алистаровского удара звякнул в сенях поднос с сушеными яблоками. Шурка увидела, что Петька уже жует одно и запустил руку за вторым.

— Милостыню тебе никто подавать не будет!— гремел Алистаров.

Рука Шурки сама собой потянулась к подносу.

— Не бери,— сказала Шурка Петьке,— это чужое,— и взяла сушенку сама.

Петька как будто не слышал, продолжал жевать.

Шурка насовала полный рот кислых сушеных яблок, отдающих плесенью.

— Без разрешения брать нехорошо,— сказала она с набитым ртом.— Надо спросить сначала.

— Нет, голубушка,— продолжал Алистаров.— Ничего у тебя не выйдет. Нет у меня работы.— Алистаров замолчал, как бы прислушиваясь, как дети шуршат в сенях яблоками.— И веры тебе нет.

Шурка услышала за спиной шум, оглянулась и с ужасом увидела рыжего Петьку.

Петька глядел хмуро, а Нюрка чистым, ничего не понимающим взглядом.

В испуге Шурка принялась класть сушенки обратно на поднос.

Рыжий смутился, поглядел в пол.

— Ладно уж, ешьте. Они все равно портятся. На то мать их и выложила... сушиться.

— И не стой здесь передо мной, не реви,— говорил Алистаров.— Иди домой, завтра приходишь в правление, а ко мне нечего ходить.

Алистаров встал, подошел к двери и распахнул ее перед Анной.

От света из комнаты Шурка зажмурилась. Петька равнодушно жевал. Алистаров взглянул на Шурку с грязным от сушенок ртом, на жующего Петьку, отвернулся.

Смотреть на плачущую Анну сил у него не было.

Он накинул тулуп и вышел из дома.

Алистаров широко махал деревянной лопатой, строил неизвестно зачем вторую горку рядом с первой, когда к нему подошел сын.

— Па,— сказал Петька солидно,— я им сушенки все отдал. Все равно пропадают. Алистаров опустил лопату.

— Пойдем,— потянул его Петька,— тем-но у же.

Шурка сидела за столом у Бендриковых и ела лапшу. Суп она ела редко, почти никогда, поэтому ела увлеченно, рассматривая каждую лапшинку. Рядом сидела Людка Бендрикова с кислой физиономией, а напротив — ее отец, шофер дядя Толя.

— Ма, я не хочу больше,— сказала Людка и отодвинула от себя тарелку.

Мария Павловна за столом не сидела, бегала из кухни в комнату, кормила мужа, в соседней комнате то и дело пищал маленький Олежка.

— Что еще придумала?— сказала она.— Доедай. Вон, погляди, как Шура хорошо ест. Добавить тебе, Шура?

Шурка благодарно кивнула и подала пустую тарелку.

— Сегодня можешь взять санки, Шура,— сказала Мария Павловна.— Людка покашливает, на горку не пойдет.

— Спасибо,— сказала Шурка, отчего-то смутившись.

— Ничего я не покашливаю,— возмутилась Людка.

Отец поднял на нее глаза, и она замолчала.

— Тогда я тоже не пойду,— сказала Шурка.

— Как хочешь,— сказала Мария Павловна.— Тогда можете Людмилиными игруш-

ками поиграть. Но, если хочешь, можешь взять санки. Только обязательно попроси вначале.— Она выразительно посмотрела на мужа.

Анатолий был мужик солидный, хозяйственный, серьезный.

— Да,— сказал он,— я вот в жизни чужой копейки не взял.

Шурка покраснела, хотя тоже не брала чужих копеек.

— Я так считаю,— продолжал Анатолий,— что на жизнь человек всегда может себе заработать. Я еще в армии решил, что мне чужого не надо. Я ведь в армии специальность приобрел,— объяснил он Шурке.

Шурка не поняла, что такое он приобрел в армии, и уткнулась носом в тарелку.

— А был у нас один,— вспоминал Анатолий,— вор. Магазины грабил. Сейчас сидит, наверное. Ну а так парень как парень. Рассказывал интересно. И песни пел. А я решил: от греха подальше. И пить тоже в меру. Шоферу много пить нельзя.

— Па,— сказала Людка,— а покажи Шура какую тебе в армии татуировку сделали...

Анатолий стал расстегивать ворот рубашки.

— Толя!— укоризненно сказала Мария Павловна.— Идите, девочки, поиграйте. Налась, Шура?

— Спасибо,— сказала Шурка.

Людка прямо-таки прыгнула со стула и потянула Шурку в другую комнату:

— Пойдем, я тебе что-то покажу...

...В соседней комнате были Людкины игрушки, здесь же в ящике лежали разные шоферские запчасти Анатолия и стояла какая-то стеклянная штука со спиральными трубочками.

Людка взяла огромную куклу.

— Вот, гляди. Она может глаза закрывать и говорить «мама». И ходить может. Здорово?

— Здорово.— Шурка хотела погладить куклу по белоснежным кудрям, но Людка сказала:

— Только ее за волосы трогать нельзя, они пачкаются, а вымыть трудно. Одежду постирать можно, а волосы — нет.

— А это что?— Шурка показала на стеклянную штучковину.

— Это? Это мама принесла, она же хмик,— с гордостью сказала Людка.— Это чтоб делать разные опыты. Вот сюда что-нибудь наливаешь, например, нефть, а отсюда льется бензин.

— Для дяди Толиной машины?

— Ну да.

— А что это — нефть?— спросила Шурка.

— Это такая черная, ее в земле добывают.

— А где вы берете эту нефть?

— Ну я же например сказала,— с доса-

дой посмотрела Людка,— сюда можно чего угодно наливать.

— А какая у дяди Толи татуировка?— спросила Шурка.

— Жаль, что ты не видела,— посоветовала Людка.— У него на груди такой тигр, вот с такой пастью. Страшный.

— А я живую рысь видела,— похвасталась Шурка.

— Рысь — это не то. Рысь — это просто как большая кошка. А тигр — это тигр, совсем другое дело. Ты тигра видела?

— Нет,— призналась Шурка.

— Страшный,— заключила Людка.

Потом они играли с куклами, было весело, пока не вошла Мария Павловна.

— Шурочке пора домой, ее, наверно, мама потеряла...

Мать Шурку наверняка не потеряла, но было ясно: нужно расходиться.

— Жаль,— вздохнула Людка.— А то бы еще поиграли...

— Да,— согласилась Шурка.

— А хочешь какую-нибудь куклу с собой взять?

У Шурки загорелись глаза:

— Хочу...

— Выбирай,— важно сказала Людка.

— Вот эту,— Шурка показала на большую куклу.

Людка смутилась:

— Эту... мама рассердится.

— Почему?— удивилась Шурка.— Это же твоя?

— Моя,— не очень уверенно сказала Людка.

— Ну вот. А я же у тебя попросила.

Людка оглянулась.

— Вот если в плащ завернуть...

На вешалке висел старый плащ Марии Павловны.

У себя наверху, на пожарке, Шурка развернула плащ.

— Вот здесь я живу. А ты пришла ко мне в гости. Здесь очень хорошо петь, а по рельсу можно стучать, только тихонько, чтобы мама не ругалась...

Она стала постукивать по рельсу и напевать:

— Я живу на границе, где туманная мгла, ветер в окна стучится, путь метель замела. Нежной, ласковой самой письмецо свое шлю: мама, милая мама, как тебя я люблю.— Она вздохнула:— А лучше я буду твоей мамой. Я буду шить тебе платья, а по праздникам печь пироги...

Внизу хлопнула дверь, и снова стало тихо.

— Мама,— спросила Шурка,— это ты?

Снизу послышался голос Марии Павловны:

— Это я, Шура. Слезь, пожалуйста.

Шурка поглядела вниз, увидела Марию Павловну, а рядом бледную Людку и стала спускаться вниз.

— И куклу с собой захвати,— сказала Мария Павловна.

— Какую куклу?— прикинулась Шурка.

— Ты знаешь, какую. И плащ тоже.

Шурка похолодела. Она засунула под мышку куклу и плащ и стала спускаться вниз.

— А теперь скажи,— сказала Мария Павловна ледяным тоном,— почему ты своровала куклу и плащ?

— Я не воровала,— сказала Шурка.

— А сейчас ты еще и лжешь.— Мария Павловна укоризненно покачала головой.— Людя мне все рассказала.

Шурка опустила глаза:

— Она сама мне дала. Поиграть.

— А плащ? Плащ она тоже дала тебе поиграть?

Шурка молчала.

— Зачем ты спрятала куклу в плащ, если Людя разрешила тебе ее взять? Почему не несла ее открыто? Да и не могла тебе Людя разрешить взять такую дорогую вещь. Так ведь, Людя?

— Да,— пролепетала Людка.

— Я вижу, тебе нечего сказать. Людя, забери у нее все это.

Людка забрала из Шуркиных онемевших рук куклу и плащ.

— Самое страшное даже не то, что ты украли,— напоследок сказала Мария Павловна.— Ведь тебе поверили, хотя знали, что ты можешь своровать, тебя пригласили в дом, не побоялись, что ты занесешь грязь, вшей, инфекцию. Тебя накормили, обогрели, разрешили поиграть, а ты всех обманула. Своровала,— горестным голосом закончила Мария Павловна.— Это хуже предательства. Пойдем, Людя.

Они вышли.

Мать пришла необычно веселая, стала разворачивать Катюку.

— Шурка, ставь чайник, чай будем пить!

— Шурка, ставь чай!— повторил за ней Петька. Он поставил на стол банку варенья, положил две пачки печенья, сухари и стал дуть на застывшие руки.— Шурка, ты чего плачешь?— удивился он.

Шурка так и стояла после ухода Бендриковых со слезами на глазах.

— Бендрикова говорит, что я у них куклу украла...

Петька оглянулся:

— А где кукла?

— Да я не крала!— Шурка заплакала.— Мне Людка сама ее играть давала!

— Ну и зря,— сказала мать.— Надо было взять, чтобы было из-за чего говорить. По-

думаешь, телегенты. Нужны нам их куклы. Чайник ставь, тебе говорят.

Подвывая, Шурка пошла ставить чайник.

— Да не реви ты!— прикрикнула мать.— Я сейчас работать буду, накупим тебе кукол, каких Бендриковы не видали и девчонка их поганая. Телегенты,— снова ругнулась мать.

Людка на помине в пожарку ворвалась рас-трепанная, вся в слезах Людка и с порога закричала:

— Шурка, я рассказала все! Мать меня била, вот видишь, видишь?— Она показала Шурке синяки, которых, правда, не видно было.— Она меня сучкой обозвала,— хвасталась Людка,— и паскудой. А я ей все равно сказала, что это я тебе куклу дала, и насчет плаща.— Людка вся сияла.

— Ладно орать-то,— успокоила ее мать.— Сказала, и слава Богу. Садись лучше чай пить.

Людка не могла успокоиться:

— Она говорит: да как ты посмела! Сучка ты, говорит! Почему сразу не сказала?! И как даст мне вот сюда!

— Телегенты,— сказала мать, и они сели пить чай.

Мать стала работать ночным сторожем в магазине. А поскольку магазин стоял как раз напротив пожарки, то в ее жизни ничего не изменилось, просто вечером она иногда выглядывала в окно и лицо ее делалось значительным.

Зато у Шурочки с Петькой появилось еще одно укромное место — под магазином, где были свалены старые ящики, битые банки с вареньем, подмокшее когда-то и высохшее печенье. Бывала здесь и Людка.

Они стояли у стены, и Людка никак не могла решиться залезть в темную дыру, куда проскользнул уже Петька.

— Залезай, не бойся,— сказала Шурка.— Я посмотрю, чтобы никто не увидел.

— Там же грязно, наверно,— сомневалась Людка и глядела на свое новенькое красное пальто, на варежки.

— Подумаешь, грязно,— сказала Шурка.— Зато там много всякого. Не хочешь — как хочешь. Я полезла.

Они залезли в дыру. Шурка подползла к ящику, у которого сидел Петька.

— Вот, гляди,— она взяла из разбитой банки черный кусочек и засунула в рот.

На лице ее было наслаждение.

— Чего это? Стекло?— поморщилась Людка.

— Ты чего? Это же варенье!— возмутилась Шурка.— Только оно застыло. Попробуй,— она протянула Людке кусок варенья.

Людка сунула его в рот и тут же выплюнула.

— Ты чего?— удивилась Шурка.— Не вкусно?

— Это все заразное,— сказала Людка.— Здесь на всем, знаешь, сколько микробов?

— Чего?— не поняла Шурка.

— Микробов. Это маленькие такие и ползают,— пояснила Людка.— От них живот болит.

Петька внимательно рассмотрел кусок варенья у дырки на свету.

— Нет здесь никаких микробов,— и отправил варенье в рот.

— Это ты просто не видишь,— обиделась Людка.

— А ты видишь?— ехидно прищурился Петька.

— И я не вижу,— согласилась Людка.— Они очень маленькие.

— Ну и вот, а сказал Петька солидно.— Не видишь, а говоришь.

Он подполз к ящику, где лежало старое печенье, и поднял крышку.

— А-а-а!..— заорала Людка.— Мышь!

Из ящика действительно выскользнула полвка и побежала вдоль стены, а Людка уже лезла в дырку, только ноги торчали.

Они стояли у стены. Людка чуть не плакала: когда она со страху вылезала, зацепилась за что-то и порвала подол нового пальто. Варежки были грязные.

— Все из-за тебя,— сквозь слезы сказала Людка.— Зачем ты меня в эту дыру потащила? Мне мама и так может сколько хочешь варенья купить. И печенье.— Она поглядела на свои варежки и совсем скуксилась.— И варежки вон какие! Как я теперь в них ходить буду?

— Ладно, не реви,— нахмурилась Шурка.— У меня вообще варежек нет, я и то не плачу.

— То ты,— не унималась Людка.— Ты привыкла без варежек ходить, а я без варежек не могу, у меня руки мерзнут.

Вдруг Людку осенило:

— Шурочка, миленькая, пойдем со мной домой, а то меня мать, знаешь, как ругать будет! Пожалуйста!— взмолилась она.

— Нет,— сказала Шурка,— я к вам не пойду. А руки у меня тоже мерзнут. Не меньше твоего.

— Ну пожалуйста, Шурка!— Людка потянула Шурку за рукав.

Мария Павловна встретила Шуру улыбкой.

— А, Шурочка к нам в гости пришла. Сейчас суп будет готов. Раздевайтесь, поиграйте пока.

Она взглянула на Людку:

— Это что такое?! А грязная-то!

— Мамочка, — затараторила Людка, — это мы случайно с Шурой под магазин лазили и случайно порвали. А еще мы варежки испачкали! — Людка сунула под нос матери грязные варежки.

Мария Павловна нахмурилась.

— Ладно, повесь пальто, я зашью, а варежки здесь оставь, постирать надо.

Довольная таким поворотом, Людка потащила Шурку в комнату:

— Пойдем играть!

Людка достала куклы, но Шурка была несвеселая, ей не хотелось играть, ей было обидно от чего-то, чего Шурка не понимала, и не хотелось больше брать Людкины куклы в дочки.

На комодке она заметила маленькую пухлую сумочку, и пока Людка возилась с куклами, она приоткрыла ее и увидела деньги.

— Вот эту я назвала Шурой, как тебя. — Людка подняла голову.

— Ага, — сказала Шурка. Она едва успела спрятать сумочку за спину, а когда Людка снова наклонилась, быстро перепрятала ее за пазуху.

— А вот с этой, — продолжала Людка, — хорошо играть в больницу. Видишь, ей Олечка руку погрыз, и я ее лечу.

— Я домой пойду, — сказала Шурка.

Людка, обиженная тем, что Шурка не смотрит на ее куклы, пожалала плечами:

— Ну и иди, пожалуйста.

— Шура, куда же ты? — удивилась Мария Павловна. — А суп?

— Спасибо, я не хочу, — сказала Шурка и сглотнула слюну. — Мне домой надо.

Она вышла в сени, быстро оделась, а когда надевала валенки, увидела варежки на табуретке. Она засунула их в валенок и быстро вышла.

— Нам килограмм халвы и конфет килограмм, — сказала Шурка в магазине и протянула пятерку. — И еще вон ту железную машину.

Петька стоял рядом. Глаза его горели.

Продавщица очень удивилась:

— Мать, что ли, денег дала?

— Мать, — сказала Шурка. — А еще приников.

Продавщица взвесила халву и конфеты.

— Ты же не донесешь...

— Донесу, — уверенно сказала Шурка.

Петька обнял голубую самосвал, поглядел на Шурку как на волшебницу, и они пошли по селу медленно и гордо — Петька с машиной, а Шурка с тремя большими кулками.

Ночью, когда мать и Петька заснули, Шурка достала из-под подушки варежки, надела их, положила руки на одеяло и стала

любоваться варежками в тусклом свете фонаря из окна.

В дверь настойчиво застучали. Шурка вздохнула, сняла варежки, спрятала их под матрас, повернулась на бок и притворилась спящей.

Охая и чертыхаясь, встала мать, открыла дверь.

...Шура стояла перед Анатолием, Марией Павловной и участковым, как перед судом. Она была в одних трусах, а рядом стояла мать.

Мария Павловна держала в руках сумочку с деньгами.

— И что ты покупала? — спросил участковый.

— Конфеты, — сказала Шурка, — халву. Только мы это все уже съели. А пряники остались. Сейчас я принесу...

— Стой пока, — остановил ее участковый. — Что еще покупала?

Шурка молчала.

Мать отвесила ей затрепину:

— Кого спрашивают?

Шурка втянула голову в плечи.

— Ты, Анна, того, — сказал участковый, — потише. Значит, все, больше ничего не покупала?

— Машину, — пролепетала Шурка.

Участковый вскинул густые брови:

— Какую машину?

— Голубую, — Шурка еще ниже опустила голову.

Петька в углу заплакал:

— Это моя машина! Моя! Я ее не отдам!

— Смотри ты, — усмехнулся участковый, — механиком, видно, будет. Еще и не отдаст он! Все?

— Все, — прошептала Шурка.

— Мария, ты деньги пересчитала? — спросил участковый. — Так выходит?

— Хорошо хоть, я хватилась вовремя, — сказала Мария Павловна. — А то бы не видать мне полочки. Анатолий, главное, спрашивает, где портмоне? А я хватать — не могу найти...

— Протокол составлять будем? — спросил участковый.

— Я не знаю, — сказала Мария Павловна. — Дело не в деньгах, конечно, но нельзя же так оставить. Она ведь это назло сделала...

— Господи, Мария! Там убытку-то пять рублей, — сказал Анатолий. — Пойдем!

Бендрикова поджала губы.

— Не надо никаких протоколов, старшина, — продолжал Анатолий. — Пойдем, пойдем.

Он вывел жену.

— Ну что, Анна? — сказал участковый.

— Что? — не поняла мать.

— Что-что! — возмущился участковый. — Следить за детьми надо! Воспитывать! А не так! — он сделал характерный жест

рукой.

Мать треснула Шурку по затылку.

Участковый плюнул в сердцах и вышел.

Шурка ждала, что мать будет ее лупить, так и стояла. Но мать легла в постель.

— Не умеешь воровать — не берись, — сказала она.

Шурка еще постояла, потом затушила лампу, залезла под одеяло, снова надела варежки и стала ими любоваться.

Как-то вечером опять пришел мужик, принесивший мешок с одеждой. На этот раз он пришел без мешка и без водки, по-хозяйски сел.

— Ты, говорят, при делах сейчас, Анна? В магазине, говорят, работаешь?

— Сторожу, — осторожно сказала мать и тоже присела. — Зачем пришел?

— Что я, — возмутился мужик, — к ребенку своему прийти не могу? Петя, Петенька! — вдруг заорал он.

Видно было, что он пьян.

— Тихо ты, — сказала мать, — спит он давно.

— Ладно, пускай спит, — сказал мужик, — сыночек мой. А ты, Анна, пойдика мне водки принеси, — он протянул матери деньги.

— Да ты что, Иван! Магазин закрыт давно.

— Знаем, знаем. У вас, торгашей, всегда есть. — Он сунул деньги матери в карман.

Шурка проснулась от крика мужика:

— Марусю мою уморила, а эту с кем нагуляла?! А?!

На столе стояла пустая бутылка, а мужик был красный как рак.

— Задавлю ее! — орал он и рвался к постели, где спала Катка.

— Иван, Иван, опомнись! — причитала мать.

А мужик вдруг обнял мать и повалил на пол, громко дыша.

Шурка подумала, что мужик убивает мать, забегала вокруг них.

— Нет! — кричала мать. — Нет! Шурка, зови соседей!

Шурка с перепугу полезла к себе на пожарку, а когда залезла, поняла, что надо делать. Она схватила железную арматуру, и впервые за много лет рельс загрел в полную силу частым пожарным набатом, балка закричала. Казалось, что шатается весь дом.

— Шурка, Шурка! — заорала нечеловеческим голосом перепуганная мать.

А тут вбежали полуодетые мужики, оторвали Ивана от матери, связали его полотенцами и выкинули на мороз.

...Мать и Шурка сидели на топчане

обнявшись, а с улицы слышались крики Ивана:

— Анна, развяжи меня, убью!

Они плотнее прижимались друг к другу, дрожали.

— Шурка, Шуренок! — взмолился Иван. — Выйди ко мне, замерзну же я!

Шурка поглядела на мать, хотела встать.

— Сиди, — сказала мать. — Ты чего наверх полезла трезвонить? — Она привычно стукнула Шурку по голове. — Сколько раз говорила: не подходи к рельсу! Я думала, дом упадет.

— Анна! — дико заорал с улицы Иван.

Мать замолчала, обняла Шурку.

Так и просидели они вдвоем до самого утра.

Было еще темно, когда мать растолкала прикорнувшую Шурку:

— Пойди-ка, погляди...

Поеживаясь со сна, Шурка подошла к окну. Ивана под окном не было, зато напротив разгорался с угла магазин.

— Мама, пожар! — закричала Шурка.

Мать подбежала к окну:

— О господи! Под суд пойду! Не усторожила, засудят, засудят меня!

Шурка полезла на пожарку.

— Слазь оттуда! — заорала мать. — Ох, засудят...

Она выскочила из дома.

Утро 12 апреля 1961 года ознаменовалось для Бычьего двумя событиями: во-первых, сгорел магазин, а во-вторых...

— Говорят все радиостанции Советского Союза, — гремел репродуктор посреди села. — Человек в космосе!

Народ стоял у сгоревшего магазина и обсуждал оба события. Шурка крутилась промеж народа.

Говорили:

— Это точно Иван, кому же еще...

— Пьяный он был, — оправдывал виновника кто-то.

— Теперь точно сядет, сколь веревочке ни виться...

— Если и была какая недостача, пожар все спишет...

По радио передавали биографию Гагарина.

Шурка подошла к дому Бендриковых. Из дома выскочила Мария Павловна с веселым лицом.

— Шура! — закричала она. — Человек в космосе! Ура! — И снова скрылась в доме.

Потом вышла Людка.

— Слыхала? Гагарин в космос полетел.

— А это куда, на небо? Где самолеты?

— Выше!

— Где... Бог?

— Бога нет, — сказала Людка. — К звездам! А говорят, наши скоро на Луну полетят...

— Я пойду,— сказала Шурка.— У нас магазин сгорел.

Мать то и дело подбегала к окну:

— Ох, засудят меня, ох, засудят...

Когда к крыльцу подошел председатель селькоопы Николай Иванович, она и вовсе засуетилась.

— Мама,— спросила Шурка,— а если на небе Бог, то куда же Гагарин полетел?

— Накажет его еще Бог-то, накажет, ох, засудит меня...

Николай Иванович отряхнул бурки и вошел в дом.

— Здравствуй, Анна,— сказал он.— Поздравляю тебя, человек в космосе.

— Спасибо,— растерялась мать.— Да вы проходите...

— Пройду, пройду.— Николай Иванович снял полушубок, сел, поглядел в окно.— Как видишь, Анна, сторожить тебе нечего стало. Ивана твоего поймали, правда. Участковый прямо дома взял. Я, говорит, магазин поджег, забирай меня, пьяный был. Посидит теперь.— Николай Иванович хохотнул.

Мать тоже улыбнулась, села.

— А тебе, Анна,— Николай Иванович посерьезнел, положил матери руку на колено,— придется полы в конторе мыть, пока другое здание под магазин не приспособим, если, конечно, хочешь,— он улыбнулся,— зарплату получать.

Анна повеселела.

— Иди-ка, Шура, погуляй.

На улице Шурка встретила Галку Гаврилину.

— Слышала? — спросила Шурка.— Человечек в космосе!

— Слышала,— Галка махнула рукой.— А говорят, магазин сгорел.

— Сгорел,— сказала Шурка.— Наши скоро на Луну полетят.

Самый большой праздник в Бычьем — выборы, потому что выборы в июне, когда лето в Сибири вступает в полные свои права.

Над сельсоветом вместо «Да здравствует 1 Мая!» повесили плакат «Все на выборы!», совсем новенький, и от этого лозунг «Труженики села! Выполним семилетку досрочно!» кажется старым и выцветшим.

С утра по селу играет музыка, и народ, веселый и одетый нарядно, тянется кучками к сельсовету. А мужики, из тех, что уже проголосовали за блок коммунистов и беспартийных, выпивают на лавочках соседских домов под огурчик и просто так.

Мать сегодня удивительно красивая. На ней платье, не как всегда грязное да не по размеру, а новое, ладно сидящее, из хрустящего материала. Она торопится, достает из печки чугунок с кашей, спешит на выборы.

— Шурка! — кричит она из дверей.— Я пошла на выборы, там после обед будет!

— Я тоже с тобой! — кричит Шурка.

— Рано тебе еще,— говорит мать.— Не досрочно еще. Ты погоды приходи, когда обед будет. Катьку возьми и Петьку.— И мать убегает.

Но Шурке неохота брать с собой Катьку. Пока та возится с кашей, они с Петькой выходят потихоньку и идут к Морозовым.

У Морозовых сегодня двойной праздник: пришел из армии старший сын Валентин. Стол у Морозовых накрыт прямо во дворе, а Валя, красавец парень с кудрявым чубом из-под солдатской фуражки, а сам в штатском уже, играет на гармонии и смотрит на дочь агронома Ергалиева. И она на него смотрит. А народ пляшет и поет частушки.

Шурке тоже весело, она аж подпрыгивает, так ей плясать охота.

— Да это Шуренок! — кричит Валя.— Шурка, ты шоколад ела?

Шурка мотает головой от счастья и что, мол, не ела.

— Зарабатывай! — кричит Валя, и Шурка выходит в круг.

Взяв Петьку за руки, они топчутся в кругу до упада.

А Валя сам дает ей за это шоколадку, и Шурка сжимает ее в кулаке. Петька смотрит на нее жалобно, но Шурка говорит:

— Катьке отнесем.

— Шура! Шура! Александра!

Шурка вздрогнула и отвернулась, потому что так ее еще никогда не называли.

В стороне от людей стояла страшная женщина с железными зубами и звала ее:

— Шура, тебе надо домой, твоей маме плохо,— и смотрела на нее черными впадинами вместо глаз.

Шурка подошла, посмотрела на женщину ближе. Та была ей незнакома, с дряблой кожей и прожилками на носу.

— Пойдем,— женщина взяла ее за руку и повела домой.

— А ты кто? — спросила Шурка.

— Еле дотаскала мать-то твою,— сказала женщина.— Тяжелая. Веселая такая на обеде сидела, с Николаем разговаривала. В платье. Семка немой подошел и давай ее бить. Еле оттащили. Отец-то твой. Без платья дак не нужна была. Да и выпил.— Она рассказывала Шурке как взрослой.— Анну-то я давно знаю. Когда еще тебя не было. Я ведь здешняя. Меня Октябрьной звать. Слышала?

Шурка замотала головой.

— Дах ты не родилась еще,— вспомнила женщина.

Они вошли в дом. Мать лежала на кровати

как мертвая, сложив руки на животе, вся побитая, в грязном платье, а Катька орала посреди комнаты.

Шурка протянула ей шоколадку, но в ладошке была только противная коричневая жижа.

Мать теперь все время лежала, изредка только подавая голос с кровати, да вставала выпить чаю, который кипятила Октябрина.

Октябрина теперь жила с ними, натащила в пожарку проволоки и цветной бумаги и делала искусственные цветы для венков.

— Цветы-то, они живым нужны, а не мертвым,— говорила она, наматывая бумагу на проволоку.— Мертвым-то ничего уж не надо.

Октябрина налила себе в кружку мутной жидкости из бутылки, поморщилась, подошла к ведру, выпила, черпнула из ведра, запила.

— Все кружки твоей гадостью воняют! — визгливо крикнула с кровати мать.

Октябрина не обратила на нее внимания.

— С кладбища взять,— говорила она Шурке,— греха нет. Мертвый не обидится. Вот живого обделить — это грешно. Отец твой — даром что немой, а ведь работает — скотник, при молоке, а видела ты молоко-то?

Шурка тоже делала цветы, как умела, даправляла старые, с кладбища.

— Давал он мне молоко. И корову прогнал.

— То-то,— вздохнула Октябрина.— А помрет она, с кем останетесь? В приют? Ни родных, никого...

— Врешь ты, пьяница! — закричала мать.— У меня брат есть, шофером работает в Песчаном Борке! Богатый!

— Я ведь Анну давно знаю, ты не родилась еще,— продолжала Октябрина.— Помрет, вам и податься некуда.

— Есть у меня брат! — завизжала мать.— Василием зовут!

— А где это, Песчаный Борок? — спросила Шурка.

Октябрина махнула рукой.

— Через район ехать надо. Там автобус ходит...

Шурка поправила очередной цветок и отложила в сторону.

Шурка подъезжала к Песчаному Борку, когда уже темнело. Автобус трясло на проселке, пассажиров было мало, да и те были усталые, большинство дремали, на Шурку не обращали внимания.

Шурка подошла к кабине водителя:

— Дяденька, далеко еще Песчаный Борок?

Шофер обернулся:

— Ты что, одна, что ли?

— Я к дяде еду,— сказала Шурка.— К дяде Васе. Он тоже шофером.

Уставший за день шофер оборвал ее:

— А билет у тебя есть?

Шурка разжала кулак и показала десять копеек.

— Заразы,— выругался шофер.— Вечно на детях экономят. Знают, что посреди дороги не высажу. Вон, видишь лесок?

Шурка промолчала.

— За тем леском дорога, километра два до поселка. Дойдешь?

— Дойду.

Водитель открыл двери.

Когда она дошла до поселка, было совсем темно, и она вошла, постучав, в первую же калитку. И тут же на нее налетел и свалил с ног огромный черно-белый пес, он встал над ней, обдавая лицо горячим дыханием.

Собака была раза в три больше Шурки, от неожиданности она не осмелилась даже закричать, а собака тоже не лаяла, а стояла над ней и глядела почти человеческими добрыми глазами.

— Кутя, ко мне! — донеслось с крыльца.

На крыльце стояла женщина.

— Кто там?

— Это я, Шурка,— сказала Шурка и подошла к крыльцу. Только сейчас она испугалась и стала дрожать.

Женщина, всматриваясь в темноту двора, едва рассмотрела наконец маленького человека.

— Ну-ка, зайди сюда,— строго сказала женщина.— Да ты не бойся, Кутя еще в жизни никого не укусила.

Вид у Кути был все же устрашающий, и Шурка пролезла в сени бочком.

— Ты что по ночам гуляешь? — так же строго спросила женщина.— Ты вообще чья? Что-то я тебя не помню.

— Я из Бычьего,— сказала Шурка.— К дяде приехала.

— Из Бычьего? — удивилась женщина.— А где это такое?

— Из Бычьего,— подтвердила Шурка.— Это на автобусе нужно ехать,— она махнула рукой в темноту,— а потом на попутке еще. Я к дяде приехала. Его Василий зовут, только не знаю, где живет.

— Одна приехала? — снова удивилась женщина.— А ну-ка, зайди в комнату.

В комнате за столом спиной к ним сидел мужчина и что-то читал.

— Василий,— сказала женщина.— Погляди-ка, не к тебе гости?

Мужчина обернулся и поглядел на Шурку. У него было хорошее русское лицо, и смотрел он на Шурку внимательно, с интересом.

— Говорит,— продолжала женщина,— к дяде Василию приехала, из Бычкова. У нас в поселке ты один Василий,— женщина улыбнулась.

— Не из Бычкова, а из Бычьего,— серьезно поправила Шурка, изо всех сил вглядываясь в Василия и уже находя в его лице родные черты.

— Была у тебя такая племянница? — строго спросила женщина и снова улыбнулась. — Говорит, одна приехала.

Мужчина помолчал, поглядел еще, а потом сказал:

— А Бог его знает. У меня сестренки полдетдома было.

Шурка медленно подошла к дяде, поглядела на его жилистую руку, поросшую рыжеватыми волосами, положила на нее свою грязную ладошку и снова поглядела в лицо.

— Дядя Вася,— сказала она.

Ей было так радостно, что хотелось плакать.

Утром Шурка проснулась в той же комнате, на сундуке.

На стене тикали ходики, сквозь занавески пробивалось солнце.

В комнату забежала девочка, такая же примерно, как Шурка, худенькая, но светло-волосая.

— А я о тебе уже знаю,— сказала она.— Ты Шура. Мне мама сказала тебя не обижать, а я и не хотела вовсе. Меня Тая зовут. Мне мама велела тебя разбудить и чтоб мы шли умываться.

Шурка опустила ноги. Пол был теплый от солнца.

Она впервые, наверное, застеснялась своих огромных материнских трусов, сжалась вся.

Но Тайка на трусы вроде и не смотрела.

— Пойдем? — сказала она.

...Они умывались теплой водой из рукомойника, которую принесла с летней кухни Нина, мать Тайки.

Она посмотрела на Шурку и сказала:

— Сегодня баню истоплю. Ромашкой голову тебе помою. Такие волосы красивые!

Шурка смутилась:

— Я не люблю, когда голову моют. Дергают больно.

Нина улыбнулась:

— А мы их распарим да потихоньку расчесем, будешь у нас принцесса.

Тайка с завистью посмотрела на ее свалывшуюся шевелюру.

...Девчонки выскочили в предбанник.

— Уф, уф, как жарко! — придурилась Тайка.

Она стала надевать свои трусики, а Шурка не знала, что ей надевать, вместо материнских трусов лежали чистые, такие же, как у Тайки.

В предбанник в широкой рубашке вышла Нина, поглядела на Шуркину голову.

— Да, ромашкой, пожалуй, рано, надо сна-

чала керосинчиком.

— Зачем?! — испугалась Шурка.

— Чтобы животных твоих вывести,— сказала Нина.— А ты что не одеваешься?

— Трусов нету,— сказала Шурка.

— А эти,— удивилась Нина.— Не нравятся?

— Нравятся,— сказала Шурка и стала надевать трусы.— А мои где?

— Твои случайно в печку попали,— сказала Тайка.— Как лягушачья кожа,— и Тайка засмеялась удачной выдумке.

— Ладно,— решила Шурка.— Пускай керосином. Я знаю, из чего керосин делают, из нефти. Это черная такая, ее в земле добывают.

...Они сидели за столом всей семьей, и Василий говорил:

— Тут мама твоя напутала. Родных сестер у меня нет, а если и есть, то я их не знаю. И работаю я не шофером, а ветеринаром. Коровий доктор. Ты что, Таисья, нос морщишь?

Тайка показала на замотанную Шуркину голову:

— Воняет очень...

— Ну что поделаешь,— сказала Нина.— Придется тебе, Шуренок, потерпеть до утра. А утром помоем еще раз — ромашечкой. И поедешь домой. Это точно, что мама знает, где ты?

— Угу,— пробурчала Шурка.— А ветеринаром даже лучше, чем шофером. Всегда при молоке, и бензином не пахнет.

— Я тоже так думаю,— усмехнулся Василий.— Нет, ты посмотри, Нина, какая Шурка красавица. Прямо королева в этой чалме!

Шурка от смущения покраснела до корней волос, намазанных керосином.

А на другой день Шурка действительно была красавицей. Ее длинные волосы были расчесаны и блестели, лежали кудрями. На ней был красный Тайкин сарафан и новые сандалии, да в руке еще был узелок.

Провожали ее все, Василий убеждал водителя новенького «КраЗа»:

— Ты уж, Боря, до места ее довези, пожалуйста.

— Да что ты, Василь Дмитрич,— отпирался Боря.— Это ж крюк какой! До города — пожалуйста.

— А как она от города добираться будет? Нет, Боря, я тебя прошу, сколько уж ты там времени потеряешь?

Боря в нерешительности мотал головой.

— Да ты погляди на нее! — мягко настаивал Василий.— Девчонка какая. Маленькая, хорошенькая. У тебя ж дочка такая будет.

Боря поглядел на Шурку, и она тарасила на него чистые глаза.

— У меня, Василь Дмитрич, сын будет. Ладно, садись,— скомандовал он Шурке.— В Бычье, говоришь?

В Бычьем Шурка королевой вышла из машины на глаза Галки Гаврилиной, которая не сразу узнала Шурку.

— Шурка, это ты, что ли?

Шурка подождала, когда осядет пыль от уехавшего «КраЗа», отставила в сторону ногу.

— Да,— сказала она небрежно,— я к миному брату в Песчаный Борок ездила.

И они пошли с Галкой по улице, и все выглядывали из окон.

А мать сидела на кровати и глядела пустым взглядом.

— Шурка приехала! — закричал Петька и бросился к ней. За ним заковыляла и Катька, а мать даже не повернула головы.

— Мама,— сказала Шурка,— а я в Песчаном Борке была у твоего брата. Он тебе одежду прислал и еды.

— Нет у меня никакого брата,— сказала мать.

— Ну как же,— Шурка стала доставать из узла вещи.— Вот и вот...

Мать посмотрела:

— Мне все это мало будет. А денег дал?

— Пять рублей,— сказала Шурка.— Это чтобы Петьке. У них мальчукового нет ничего...

Мать взяла деньги, достала из-под подушки кошелек, положила деньги и снова легла.

Мать вставала редко, и денег в доме совсем не стало.

Шурка с Петькой ходили на ток воровать зерно, которое после продавали, тем и пробились.

Ходили с мешком, Шурка оставалась у забора, а Петька лез в дырку, нагребал зерно, волоком тащил мешок обратно, а Шурка несла его до дому.

Они пришли домой, и мать встала, чтобы пересыпать зерно в большой мешок в углу.

— Опять мешок извозили! — заорала она.— Безрукая!

Она отвесила Шурке подзатыльник:

— Держи давай!

На глазах у Шурки выступили слезы, а вытереть их она не могла, потому что держала края большого мешка, в который мать пересыпала зерно.

Она попыталась вытереть глаза локтем, край мешка загнулся, и зерно просыпалось на пол.

— Да что же это такое! — орала мать.— Рук у тебя нет, что ли? — Она хлестнула Шурку мешком по лицу и сунула его Шурке в

руки: — Иди, еще сходи!

Шурка постояла еще с мешком в руках, со слезами, накапливающимися на глазах, и бросила мешок матери в спину:

— Сама сходи! — и выбежала на улицу.

На улице она постояла, глотая слезы и отдыхая от незаслуженной обиды.

С трудом открыв дверь, на улицу вылезла Катька.

— Куда пошла! — закричала Шурка.— Домой иди! — и пошла по улице.

Катька потащилась за ней.

Навстречу шла Людка Бендрикова.

— Шурка, пошли новую школу посмотреть! И они пошли посмотреть новую школу.

Школа была почти достроена, подведена под крышу, и даже были вставлены стропила.

— Вот будет первое сентября,— говорила Людка,— все наденут новую форму с белыми фартуками и пойдут с цветами в школу. И ты пойдешь. И я. И нас учителя будут учить всяким урокам.

— Твоя мама? — спросила Шурка.

— Нет,— Людка махнула рукой.— Химию только в седьмом классе учат, а мы пойдем в первый.

Они сидели на штабеле бревен, когда Шурка увидела Катьку. Катька все-таки выследила Шурку и уже лезла к ним.

— Я тебе чего сказала?! — заорала Шурка.— Домой иди, к матери!

И она пнула бревно на влезавшую на штабель Катьку.

Людка в ужасе открыла глаза и охнула: — Ты что?! Ей же руки раздавило!

Катька заорала в полную силу.

Девчонок сдуло со штабеля, Людка убрала бревно, а Шурка схватила Катькины руки с тала дуть на них.

— Ну все, все. Прошло уже.

С руками, к счастью, ничего страшного не случилось, но Людка все же смотрела на Шурку странно, а та дула на руки и успокаивала Катьку изо всех сил:

— Ты моя хорошая девочка, все, прошли ручки, не плачь! — она целовала Катькины руки.

— Ты это специально сделала? — спросила Людка.

— Что? — удивилась Шурка.

— Бревно на нее двинула.

— Да оно само свалилось! — возмутилась Шурка.

— Врешь,— сказала Людка жестко,— ты специально.— Она сдвинула брови: — И с бутылкой тот раз специально.

— С какой бутылкой? — запритворялась Шурка.

— С такой. Когда Петька ногу порезал, ты нарочно вокруг бутылки бегала, чтобы он напоролся, а потом купаться пошла!

Шурка молчала.

— Ты плохая, злая! — закричала Людка. — Я с тобой играть не буду! Такие, как ты, фашисты бывают!

— Ну и пожалуйста, — обиделась Шурка. — Не очень-то и надо было.

Она взяла Катьку на руки и пошла домой, глотая слезы обиды и успокаивая всхлипывающую Катьку.

Первого сентября Шурка пошла в школу. На всех, кто шел в школу в этот день, были белые фартуки, а у Шурки белого фартука не было, форму ей отдала Галка Гаврилина, той она была мала.

Шурка подоткнула рукава, но подол все равно висел безобразно низко, и фартук был черный.

Шурка подошла к школе с утра.

Нарядные девчонки разговаривали, но самая красивая была Танька Мочалова. Мать ей сшила особенный фартук, с оборками, и завязала огромные банты.

— А ты чего пришла? — сказала Танька. — Ты еще маленькая, иди домой.

Шурка обиделась:

— Это я ростом маленькая. Я в первый класс иду.

— А, — махнула рукой Танька, — первоклашки во вторую смену учатся. Тебе к двум часам приходиться надо.

Сама Танька училась во втором и ростом была не намного выше Шурки.

После первой смены Шурка встретила Таньку на улице.

— Тань, а пойдем ко мне? — сказала она.

— Зачем? — удивилась Танька. Раньше Шурка в гости ее не приглашала.

— Я тебе свою пожарку покажу, — зашептала почему-то Шурка. — Оттуда все-все во-круг видно.

Танька задумалась:

— Давай, я пообедаю, а потом приду к тебе?

— Нет, — сказала Шурка. — Потом я в школу пойду. А я бы тебе по рельсу дала постучать...

— Ладно, — решила Танька. — Пойдем.

— Фу, — сказала Танька, когда они залезли на пожарку, — и вовсе здесь ничего интересного нет. Пыльно очень. А у нас с крыши не хуже видно.

— Зато в рельс стучать можно, — обиделась Шурка.

— А зачем? — удивилась Танька. — Он ржавый весь. — И оглядела себя, не испачкалась ли.

— Тань, — несмело попросила Шурка, — а дай мне свою форму померить?

Танька нахмурилась:

— Нет, ты мне фартук испачкаешь.

— Не испачкаю, я осторожно, я руки вымою! — убеждала Шурка.

— Сказала нет, значит, нет. — Танька пошла к лестнице.

Доски под ней заскрипели.

— Стой! — закричала Шурка. — Провалишься! Иди сюда!

Танька испуганно оглянулась и на цыпочках, задним ходом вернулась к Шурке.

— Раздевайся, — приказала Шурка.

Танька смотрела на нее испуганно и молчала.

— Раздевайся, тебе говорят! — заорала на нее Шурка и дернула за бант.

Танька ойкнула, а бант остался у Шурки в руках.

— Больно же, — заныла Танька, и в глазах у нее появились слезы.

Шурка коротко ударила ее острым кулаком в живот, и Танька торопливо стала раздеваться, роняя слезы.

Она осталась в одной комбинешке, а Шурка надела ее форму.

— Ну-ка, завяжи банты, — приказала она.

Танька дрожащими руками стала завязывать банты.

— Расчесать нужно вначале, — услужливым тоном сказала она.

— Завязывай так, а то я в школу опоздаю, — важно сказала Шурка.

Когда она пошла к лестнице, Танька окликнула ее:

— Шурка!

— Чего? — Шурка оглянулась.

— Приходи быстрее, — жалобно сказала Танька. — А то холодно.

— Ладно, — сказал Шурка, — а ты сиди там. Шаг ступишь — провалишься.

Шурка прибежала в школу, когда первоклассники уже построились на линейку. Когда она подходила, все усталились на нее.

— А вот и Шурочка, — сказала Анна Митрофановна, классная руководительница. — Какой у тебя фартук красивый! — улыбнулась она. — Вставай скорее в строй.

Шурка покраснела от удовольствия, поправила бант, сползший на грязных нечесаных волосах, и встала в первую шеренгу.

— Сегодня, ребята, — говорила Анна Митрофановна, — у вас начинается новая жизнь. С сегодняшнего дня у вас появилось дело, за которое вы отвечаете сами, как взрослые за свою работу. Это дело — учеба. Вы должны хорошо учиться, чтобы стать настоящими людьми. Ведь вам предстоит жить при коммунизме, вы должны быть достойны своего будущего...

Шурка стояла, и ее распирало от гордости за свой красивый фаргук. Вдруг на лице ее появился испуг, и она быстро перестроилась во вторую шеренгу, присела на корточки.

Рядом с Анной Митрофановной стояла мать Таньки и шептала учительнице на ухо.

— А где Шура? — Анна Митрофановна удивленно поглядела на то место, где только что стояла Шурка.

— Здесь она, здесь! — закричали из строя, расступились.

Шурка сидела на корточках.

Мочалова поглядела сверху с отвращением. Шурка была жалкая, в съехавших бантах.

— Пойдем, — сказала Мочалова сквозь зубы.

На ходу она оборвала банты, а перво-классники и учительница глядели им вслед.

Учительницу Шурка увидела из окна пожарки вдалеке. Анна Митрофановна, как будто почувствовала Шуркин взгляд, поглядела вверх. Шурка отпрянула в угол, затаилась.

Учительница вошла, подошла к лестнице, крикнула вверх:

— Шура!

Шурка молчала.

Анна Митрофановна вздохнула и вошла в комнату.

— Здравствуйте, — она оглядела убогую обстановку.

Петька с Катькой играли в углу с машиной. Мать лежала. Увидев учительницу, она села.

— Я по поводу Шурочки, — сказала Анна Митрофановна. — Она уже больше недели не ходит в школу.

— Ходит, — сказала мать, — каждый день ходит.

— Нет, не ходит. И вы это прекрасно знаете. Приезжал инспектор района, она числится в нашем классе.

— Ничего я не знаю и знать не хочу. Вашего района. Она с утра уходит и вечером приходит.

— А где она сейчас? — спросила учительница.

— В школе, — сказала мать.

— Да нет ее в школе, — разозлилась учительница, — и не было! Вы не можете об этом не знать!

Мать равнодушно пожала плечами.

Анна Митрофановна поджала губы, встала.

— В общем, я вас предупредила. Если она не будет посещать школу, я буду вынуждена поставить вопрос о лишении вас родительских прав.

Не глядя на мать, учительница вышла.

Шурка смотрела на нее из окна пожарки. Потом спустилась, вошла в комнату, встала на пороге. Мать не лежала, а соби-

ралась куда-то идти.

— Где ты шатаешься? — спросила она. — Собирайся, поедем.

— Куда? — удивилась Шурка.

— На кудыкину гору, — сказала мать. — К Кулянде поедем.

Вошел Анатолий Бендриков:

— Ну что, собрались?

Он взял мешок пшеницы из угла, вышел.

Из Бычьего они выезжали на машине Анатолия. Шурка стояли в кузове, и ей было грустно. Казалось, что она этих мест больше не увидит. Машину дернуло, и она села.

Мать с Петькой сидели в кабине.

— А помнит тебя свекровь-то? Сколько лет прошло? — спросил Анатолий.

— Много, — сказала мать.

Кулянда, старая казашка, встретила их на пороге. Они обнялись с матерью. Строгим взглядом Кулянда посмотрела на детей.

Прошли в дом, где сидел за столом мужчина лет сорока, тоже казах. На стенах были ковры. Видно было, что живут в доме богато. Говорили по-казахски, Шурка ничего не понимала. Кулянда и мужчина поглядывали иногда на Шурку. Понятно было, что говорят о ней. Дочь Кулянды подавала на стол горячее мясо. Его ели торжественно, снова разговаривали, глядели на Шурку. Шурка смущалась.

После обеда мать стала собираться. Шурка тоже встала.

— Сиди, — сказала мать. — Здесь останешься пока.

Мать попрощалась, взяла Петьку с Катькой и вышла.

Шурка осталась сидеть. Подошла Кулянда, поглядела на нее сверху, сказала что-то по-казахски.

Шурка не поняла, испуганным взглядом посмотрела на нее.

Кулянда потрепала ее по голове, сказала:

— Теперь будешь жить с нами, Шолпан.

Шурка закивала согласно головой, встала, вышла потихоньку в сени, потом на улицу и побежала по дороге.

Мать она догнала уже за селом.

Анна оглянулась:

— Ты что?

— Я домой хочу, — Шурка прижалась к матери.

Анна опустила Катьку и толкнула Шурку в плечо. Шурка не удержалась на ногах, села на дорогу.

— Тебе что сказали! — закричала мать. — Иди обратно! — Она снова подхватила Катьку.

Но Шурка снова догнала их, мать ударила ее.

Так они и шли по дороге: мать опускала и снова брала Катюку, била Шурку, а Шурка снова догоняла их и плакала, а вместе с ней ревел Петька.

— Еще раз повторим первый куплет,— сказала Анна Митрофановна.— Давай, Шура,— она кивнула Шурке и ударила по клавишам.

То березка, то рябина,
Куст ракиты над рекой,
Край родной, навек любимый,
Где найдешь еще такой? —

запела Шурка. Она стояла впереди хора в длинной Галкиной форме, но не думала об этом. Она пела о своем красивом Бычьем, где знала всех и ее знали все.

Хор не очень стройно, но громко, с воодушевлением пропел припев.

— Сразу второй куплет! — перекрикивая музыку, выкрикнула Анна Митрофановна.

Солнцем залиты долины,
И, куда ни бросишь взгляд,
Край родной, навек любимый,
Весь цветет, как вешний сад.

Хор спел припев.

— Сейчас пой тише, душевнее,— сказала Анна Митрофановна.

Шурка сбавила, но звонкость в голосе осталась, и порой он взлетал, непослушный Шурке:

Детство наше золотое
Все светлее с каждым днем,
Под счастливою звездою
Мы живем в краю родном...

— Хорошо,— сказала довольная Анна Митрофановна.— А сейчас,— она загадочно улыбнулась,— у меня для вас сюрприз.

Дети зашумели.

— Тихо, тихо! — успокоила их учительница.— В это воскресенье мы поедем в город на смотр художественной самодеятельности...

Дети снова загалдели, едва их успокоила Анна Митрофановна.

— Всем прийти к школе к восьми часам — выглаженными, в белых фартуках. Всем.

Теперь уже бурную радость хора нельзя сдерживать ничем.

— Да, чуть не забыла! — выкрикнула учительница.— Возьмите с собой по рублю на обед!

...Детство наше золотое
Все светлее с каждым днем...—

пела Шурка последний куплет.

Хор стоял на сцене городского Дворца культуры. Зал был пуст, сидели только члены жюри. Шло предварительное прослушивание.

Председатель жюри, лысоватый человек в очках, только сейчас вошел в зал и дослушивал песню, стоя в проходе.

— Стоп! Стоп! — закричал он и вышел на сцену, подошел к Шурке.— Что это за внешний вид?

Анна Митрофановна покраснела.

— И вы хотите,— продолжал председатель,— чтобы, глядя на нее, зрители поверили в счастливое детство наших детей?

— У нее нет формы,— смущенно сказала Анна Митрофановна.

Председатель снова поглядел на Шурку.

— Я допускаю,— подумав, сказал он,— что в отдельных семьях... Да. Но ведь вы выпячиваете... Зачем вы, к примеру, поставили ее вперед?

— Она запевала,— голос Анны Митрофановны окреп.— Она поет.

— Я не знаю,— сказал председатель,— как уж там она поет, а вперед можно было бы поставить более аккуратную девочку.— Он поискал глазами.— Вот хотя бы. Подойди, девочка. Красивый фартучек. Причесана. Как тебя зовут?

— Таня Мочалова,— покраснев, сказала Танька Мочалова.

— Вот и хорошо,— улыбнулся председатель.— Ты, Таня, будешь запевалой.

— Нет,— сказала Анна Митрофановна.— Так нельзя. У нее нет слуха.

— У меня тоже нет слуха,— сказал председатель и замолчал, выжидаяще глядя на учительницу.— И что? Разве я от этого хуже других?

— Шура должна петь,— сказала Анна Митрофановна.

— Ну тогда,— насутился председатель,— я буду вынужден отстранить ваш хор...

На сцену вышла женщина, член жюри.

— Я не понимаю, голубушка, что за споры. Шура прекрасно поет, но можно же ее поставить назад, где ее внешний вид не будет так бросаться в глаза. И путь они вдвоем запевают. Девочка,— спросила она Таньку,— ты ведь умеешь петь не очень громко?

— Да,— призналась Танька и со страхом посмотрела на Шурку.

Шурка смотрела на нее взглядом, не обещающим ничего хорошего.

В столовой Шурка купила себе пирожок и жевала его в углу, когда к ней подошла женщина из жюри.

— Шура,— спросила она,— ты почему не обедаешь? Тебе денег дома не дали?

— Дали,— сказала Шурка с набитым ртом,— десять копеек.

Женщина порылась в кошельке, протянула Шурке рубль:

— На, пообедай.

Шурка взяла рубль.

— Спасибо,— сказала она и отвернулась к окну.

— Шурка!

Шурка обернулась. Перед ней стояла Людка Бендрикова.

— Я, знаешь, чего придумала? Пойдем Ихтиандра спасать? Хорошо, что ты рубль не проела! — она глядела на Шуркин рубль.— Он нам понадобится для спасения... Давай сюда.

Шурка зажала рубль в кулаке.

— Нет, я домой отвезу...

— А Ихтиандр задохнется?! — возмутилась Людка.

Шурка разжала кулак, и рубль переключал к Людке.

В кинотеатре показывали «Человек-амфибия». На освещенной афише был нарисован красивый Ихтиандр, народ спешил на вечерний сеанс, спрашивали лишний билетик, а Людка с Шуркой стояли в тени за углом.

— Смотри лучше,— заговорщицки шептала Людка.— Его зовут Дон Педро Зурита. У него такие усики и глаза!

Усики были у многих, а глаза у всех, но Шурка все-таки вглядывалась в лица прохожих, и на другой стороне улицы увидела вдруг проваленные глаза Октябрины.

— Гляди, страшная какая! — сказала Людка и спряталась за Шуркину спину.— И смотрит прямо на нас.— Это, наверно, она Ихтиандра...

— Октябрина! — закричала Шурка и бросилась через дорогу.

Заскрипели тормоза, завопил милицкий свисток.

Домой Шурку привел участковый.

Мать стонала на кровати.

— Анна, что с тобой? Заболела? — спросил участковый.— Может, фельдшера позвать?

Мать махнула рукой:

— А... само пройдет.

— Ну смотри,— сказал участковый и сел.— Вот, полюбуйся. Доставили твою дочь из города на казенном транспорте. С Бендриковой дочкой по городу шатались. Говорят, какого-то Педро искали. Предупреждал я тебя. В городе всяких педр... От них все безобразие. Еще раз тебя предупреждаю, свяжется с нехорошей компанией. И вот еще.— Он достал из кармана и положил на стол вещественное доказательство — рубль.— Го-

ворит, что ее,— он поглядел на Шурку.— Давала ты ей?

— Что у меня, рубли растут, что ли? — простонала мать.

Участковый поднял палец:

— Вот то-то и оно. Откуда у тебя деньги?

— Это Ихтиандра деньги,— сказала Шурка.

— Ты слышишь, Анна? — сказал участковый. Он повернулся к Шурке: — Что за Ихтиандр?

Шурка молчала.

— Сегодня она по рублю у этих городских ихтиандров берет, а завтра... Ох, смотри, Анна!

Анна стонала.

В комнату вошел Анатолий Бендриков.

— Ты что, Анатолий? — спросил участковый.— Твою я отвел уже.

— Да нет,— смутился почему-то Анатолий.— Я так... Анну навестить.— Он пошел было к двери.

— Пстой-ка,— остановил его участковый.— Ты Анне деньги-то принес?

— Какие деньги? — удивился Анатолий.

— Вот тебе и раз! — сказал участковый.— За пшеницу, за ворованную, которая вон, в углу стоит.— Он глядел на Анатолия.

— Да ты что, старшина! — возмутился Анатолий.— Да я в жизни...

— А я-то думаю,— оборвал его участковый,— из чего твоя Марья самогона варит? Сам-то ты не воруеть вроде...

— Да чтоб я...— Анатолий ударил себя кулаком в грудь.

Старшина встал.

— В общем, еще раз увижу — привлеку. А прибор пусть Марья обратно в школу снесет.

Он подошел к мешку:

— Мешок я беру, Анна.

Анна в ответ только застонала. Участковый с мешком вышел, но тут же вернулся:

— А деньги-то ты, Анатолий, отдай. За пшеницу-то.

— Я ведь ничего,— сказал Анатолий и положил деньги на стол.

— Да и пойдём,— закончил участковый.— Видишь, человеку нездоровится.

Шурка налила себе чаю, стала пить.

Мать, охая, достала из-под подушки кошелек.

— Деньги подай.

Шурка отдала матери свой рубль и деньги, оставленные Анатолием.

Была перемена, девчонки из класса не выходили.

— Я точно видела,— говорила Людка.— И усики такие же, и глаза. Точно он. Поедем после уроков?

— Нет,— сказала Шурка.— Я не поеду.

— Ну и пожалуйста,— обиделась Люд-ка.— Я тогда найду с кем поехать. Мы и без тебя Ихтиандра спасем.

Прозвенел звонок, вошла Анна Митрофановна.

— Здравствуйте, садитесь. Шура,— сказала она,— тебя просил зайти директор.

Все посмотрели на Шуру, она медленно встала.

— Если из-за Ихтиандра,— прошептала Люд-ка. Она показала под партой кулак и сделала страшные глаза.

Анна Митрофановна смотрела на Шурку печально, чуть ли не со слезами на глазах.

Со страхом вошла Шурка в кабинет директора, но и директор смотрел на Шурку не строго.

— Здравствуйте,— чуть слышно пролепетала Шурка.

— Здравствуйте, Шура,— сказал директор, и Шурка совсем смутилась: ее впервые в жизни назвали на «вы».

— Вы уже взрослая девочка, Шура,— продолжал директор,— и должны правильно понять то, что я вам сейчас скажу. Да вы садитесь.

Шурка села на краешек стула.

— Дело в том, что ваша мама...— Шурка напряглась,— очень заболела.— Директор прятал глаза.— Родственников у вас нет, и, видимо, вас и вашего брата Петю придется пока отправить в город, в интернат. Только на время, на время! — повторял он.— Пока мама не выздоровеет.— Директор вздохнул: — Ну вот, собственно, и все. Дома вас уже ждет машина...

— Что с мамой? — спросила Шурка.

— Да вы не волнуйтесь...

— Где мама?! — сорвалась Шурка.

— Успокойтесь,— заторопился директор,— выпейте воды.— Он налил ей из графина.— Вашу маму увезли в город, в больницу, там ей сделают операцию, и все будет хорошо...

Он еще что-то говорил, но Шурка уже выскочила из кабинета.

женно глядел вперед, как будто уже ехал.

Шурка влетела в комнату.

Мать сидела на кровати одетая и держала на руках Катюку.

— Мама...— сказала Шурка, и мать подняла голову.— Мама, я уезжаю.

— Куда? — спросила мать.

— В город,— сказала Шурка.— В интернат.

— Да,— сказала мать,— да,— и стерла слезу тыльной стороной ладони.

Шурка постояла еще немного и пошла к двери.

— Шурка,— позвала мать.

Шурка обернулась.

— Ты вернешься? — спросила мать тихо, каким-то не своим голосом.

Шурка постояла, подумала.

— Не знаю,— сказала она.

Шурка ехала в кузове и глядела вокруг. Листва давно облетела, а снег еще не выпал, но Бычье было уже готово к приходу зимы.

Они отъехали от пожарки, проехали мимо дома Гаврилиных, где желтели на грядках стебли георгинов, мимо вновь отстроенного магазина, мимо потемневшего пруда, мимо колодца с огромным журавлем, мимо фермы, где работал скотником немой Шуркин отец, мимо кладбища, где был похоронен Миша Понтрягин, и выехали в сибирскую степь с подстриженной стерней и высохшими травами.

От ветра на глаза Шурке навернулись слезы, воздух наполнял легкие, ровно гудел мотор, и Шурке захотелось петь вместе с мотором.

— Я люблю...— Она откашлялась и начала снова, выше.

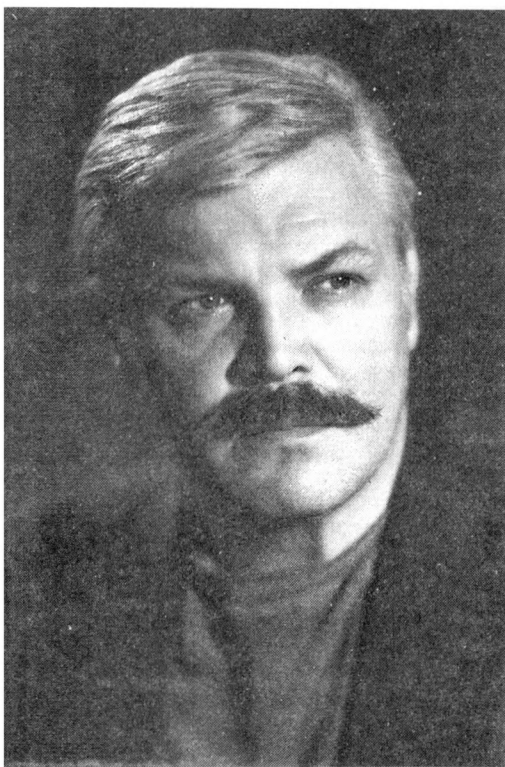
— Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова...

Она допела песню, когда Бычье уже скрылось из виду, виднелась только колокольня старой пожарки, на которой гудел от осеннего ветра ржавый пожарный рельс.

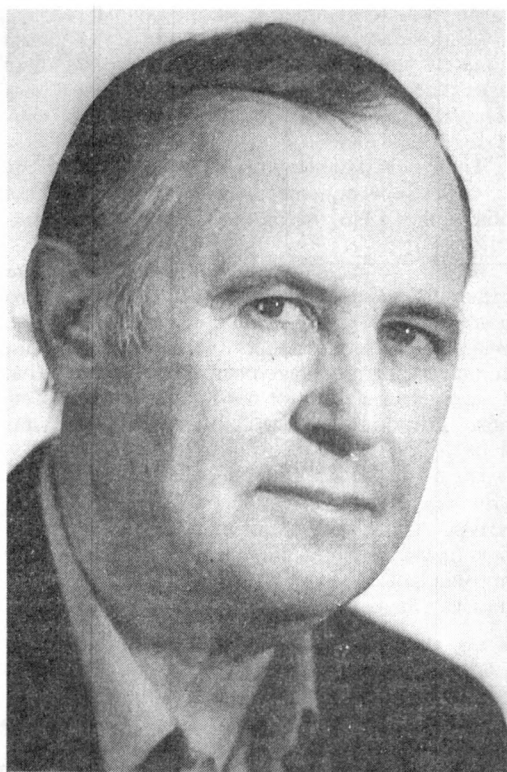
1989 г.

У пожарки уже стояла грузовая машина и «скорая». В кабине сидел Петька и напря-





**Владимир
АКИМОВ**



**Алексей
ЛЕОНТЬЕВ**

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ

... Человек лет сорока — худое с нездоровой бледностью лицо — резко отвернулся от камеры:

— Мой ультиматум — никаких съемок!

Приморский город.

Плавился вечер, брел с пляжа разомлевшими отдыхающими, звенел бутылками прохладительного, жужжал осами над сладким разноцветьем базара, истекая тающим мороженым...

Как кнутом полоснула сирена!

Шарахнулась к тротуарам, к стенам домов полуодетая толпа. Посреди улицы мчалась милицейская «канарейка», следом две тяжелые красные пожарные машины, грузовик, полный «спецназов»...

«...Неизвестные преступники, — ворвался голос, — предъявили ультиматум: освободить из следственного изолятора бывшего прокурора Кудинова и предоставить ему возмож-

ность выехать из города...»

«Спецназы» — в черных беретах, с короткими автоматами, бронежилеты на коленях — мчались на экране телевизора в кафе на набережной. Посетители, забыв о кофе и пепси, облепили его.

«...Преступники угрожают взрывами. В первую очередь водно-спортивной станции и универмага. В городе создан штаб операции во главе с новым прокурором — Павлом Сергеевичем Ершовым...»

На экранах телевизоров наряды милиции теснили людей у прилавка универмага. Пустели этажи... Вываливалась толпа в пекло улицы...

Телевизор в маленьком фотоателье среди штативов, приборов, фотографий. Двое в синих халатах и застигнутые событием клиенты: юная пара, аксакал из Средней Азии в тубетейке.

На экране человек с микрофоном:

«Напомню: через три дня над Кудиновым должен начаться суд. Год назад он был взят с поличным при получении взятки в размере десяти тысяч рублей облигациями «золотого» займа...»

Титр: «Комментатор Юрий Полунин».

«...Все время следствия Кудинов отрицал обвинение. Но сегодня получен ультиматум...»

Ветер гонит, переворачивая, бумажные стаканчики, целлофановые пакеты. Никого под парусиновыми грибками. Пустой пляж. Вдали у строения водно-спортивной станции солдаты с миноискателями. Голос Полунина: «...Здесь с утра работают саперы, но взрывного устройства пока обнаружить не удалось...»

На пляж через кордон оцепления влетела «Волга». Выскочил человек. Упруго ударил ветер, задрал легкий пиджак — сзади за брючным ремнем пистолет. У ног ошалело промчалась в море половинка газеты и поплыла, шевелясь, как большая медуза...

Портативный телевизор в больничной палате. Лежат, сидят на кроватях женщины. Узкое, точно обтянутое кожей, красивое лицо одной — «лежачей». В глазах смятение, страх. Прижалась к ней посетительница — девушка, почти девочка...

«...И вы, и я, — говорит Полунин, — мы все — отлично понимаем, что невиновный не пойдет на авантюру — на побег! — да еще накануне суда. К тому же юрист такого класса, как Кудинов... Час назад нам удалось побывать в следственном изоляторе...»

...Кудинов резко отвернулся от камеры:

— Мой ультиматум — никаких съемонок!..

...Гулкий удар поднял огненный вихрь в паловое вечернее небо. Из окон водно-спортивной станции вылетели рамы, повалил черный дым. Рухнули парусиновые грибки. Удар взрывной волны перевернул, отбросил вытасценную на песок лодку. Клубы дыма — к небу...

С экрана человек, которого мы видели на пляже, тяжело ронял слова:

«Во избежание человеческих жертв штаб принял решение: пойти на условия ультиматума...»

«Павел Сергеевич, но ведь это условия преступников!»

«К сожалению... — трудно это давалось Ершову. — К сожалению, в данный момент они сильнее, чем мы».

Окаменело лицо женщины в больничной палате. Под тонкой кожей — желваки. От-54

чаяние в глазах дочери... Шумел за окном обильный жужный дождь...

Дождь заливал вечернюю улицу и на экране. Под дождем комментатор:

— Власти вынуждены были принять ультиматум, обязаны. Оберегая жизнь людей, нашу с вами жизнь... Но наша съемочная группа не приняла ультиматума Кудинова. Камеры у следственного изолятора. Мы ведем прямой репортаж...

Прожектор с вышки высвечивал сквозь дождь колючую проволоку поверх высокой каменной ограды. Стальные ворота. Плотное полукаре оцепления «спецназов» и милиции. У тротуара черная «Волга», в ней — никого...

Полунин с микрофоном в руке прошагал от ворот следственного изолятора до машины.

— ...Шесть... семь... восемь... Всего восемь шагов. Но они решат сейчас судьбу человека. Бывший прокурор отказался от адвоката, он заявил, что будет сам защищать себя в суде... Сейчас мы увидим, говоря языком шахматистов, защиту Кудинова... Сделает он эти восемь шагов?.. Думаю, никто, кроме него, не может ответить на этот вопрос... И все же: да?.. нет?..

Дождь заливал лицо, слиплись мокрые волосы, но комментатор не замечал этого. Он требовал ответа:

— ...Да — или нет?!

Внезапно распахнулся черный прямоугольник калитки в стальных воротах. Возникла фигура. Трансфокатор телекамеры рванул на лицо...

Кудинов!

Его глаза на добром десятке мониторов в аппаратной телецентра.

На десяти экранах Кудинов, пригнувшись, бросился к машине. Взревел мотор.

...Рванула с места «Волга». Исчезла во тьме, за дождем...

— Да... — устало произнес Полунин, текла по лицу вода. — Все-таки «да»!

...Тьма мчалась навстречу. Была густа, непроницаема... Подобный молнии всплеск разорвал плотную пелену дождя... Беззвучно взметнувшийся столб пламени позади...

Мокрое шоссе масляно блестело под фарами. В сумерках утра деревья по обе стороны угадывались неверными, бесформенными тенями. Впереди в клубящемся тумане обозначились двое гаишников в белых шлемах и ремнях. Жезлами приказали остановиться. Водитель плавно притормозил. Тяжело проклацав подковами сапог по асфальту, подошел гаишник, заглянул в окошко, узнал Ершова. Козырнул и показал жезлом вперед.

Ершов вышел, прошел до поворота и увидел: похожий в тумане на доисторическое

животное кран, отфыркиваясь клубами солярки, поднимал из-под откоса то, что осталось от черной «Волги». Груда искореженного металла закачалась над шоссе, поплыла было к КамАЗу, в кузове которого уже тянули руки, чтобы принять, четверо в блестящих от влаги плащах... Но на полпути дрогнула, заколебалась, и часть ее с задним мостом оторвалась, грохнулась и, рассыпаясь, покапала вниз...

Ершов вынул сигарету. Милиционеры рядом достали кто спички, кто зажигалку. Ершов прикурил, стараясь не смотреть вниз, под откос, в черное пятно гари...

...Кудинов вел машину по набережной вдоль пляжа, набитого, заваленного загорающими, купающимися, играющими в волейбол, смеющимися, бегущими, стоящими, несущими мороженое в воду, слоняющимися в поисках объекта для знакомства. Стариками и молодыми. Толстыми и поджарыми. Красивыми и не очень. Загорелыми до черноты и только что прибывшими бледнокожими...

— ...Не скучно живете! Не то что мы в столицах... Поверишь, Павел Сергеевич, за все лето ни разу за городом не был.

— Ну вот, заодно и отдохнете у нас, товарищ старший следователь по особо важным...

— Теперь не важных нет. И не ерничай, Павел Сергеевич, тебе это не идет.

Старший следователь по особо важным делам республиканской прокуратуры Дзикун и Ершов смотрели видеозапись оперативно-го наблюдения за Кудиновым.

...Три девушки, чей наряд составляли едва читаемые «бикини», стояли, прикрыв глаза и заведя руки за головы. Кудинов проехал несколько метров и остановился. Вышел не спеша, подошел к ларьку с прохладительными...

— Любопытная остановка,— сказал Дзикун.

— Теперь, Григорий Филиппович, так ноят,— пожал плечами Ершов.

— Медицина одобряет,— согласился Дзикун.— Они ведь сиськами детей кормят.

Тем временем одна из граций, накинув сарафан на тонких бретельках, перелезла через парапет набережной и подбежала к машине Кудинова. Кудинов сначала слушал со строгим лицом, потом улыбнулся и открыл перед ней дверцу. Девушка стояла так, что лица ее практически не было видно — прикрывала прядь волос.

— Что за персонаж? — поинтересовался Дзикун.

— Не знаю. Подвозил, наверное.

— Любитель был?

— В молодые годы я бы сказал — профессионал.

— Картинка живописная... Ну-ка, пропусти на скорости все до того места, как презент нашли...

И замелькали на экране улицы, лица, машины, бумаги... Некий потный лысый старик у здания прокуратуры...

— Это и есть взяточователь пенсионер Петраков,— вставил Ершов.

— Ага... Петраков Василий Васильевич, от ответственности освобожденный как добровольно заявивший...

Стоп! Облигации новенькие — пачка огромным веером, каждая сто рублей. Все одной серии: 327611...

— Да,— вздохнул Дзикун.— Картинка маслом... Хитрая. Даже очень... — перехватил взгляд Ершова.— Взятка, говорю, хитрая была. Если бы не с поличным — неловленная. Хоть сейчас, хоть через год... Что по автограм ультиматума?

Ершов неохотно ответил:

— Пока по-прежнему, Григорий Филиппович. Ищем.

— Да,— повторил Дзикун.— Картинка... — На экране стоп-кадр: облигации.— Как же так, Павел Сергеевич, не брал, не брал — и вдруг...

Ершов зло сказал:

— Ю!

— Но вот ты, тоже не в деревне Расхлюбино работаешь. Скажи, ведь ты его давно знаешь... вернее, знал?

— Двадцать лет без малого. С института... И жену его столько же. Сегодня в больнице навещал. Дочь...

— Он тебе доверял?

Ершов пожал плечами:

— Наверное.

— А точнее?

— Доверял. Он же мой начальник был.

— А ты ему?

— И я. До факта.

— Значит, друг и начальник... И ты теперь в его кресло.

— Что же мне уволиться надо было?

— При чем тут уволиться?.. Просто, выходит, ты его совсем не знал. А что касается факта — факт суровый, против него не попрешь.

Поселок был у самого моря. И улица называлась Приморской. Дом 26. Он, видимо, принадлежал двум владельцам: забор разгораживал участок, а сам дом был резко поделен по вертикали на две части — большую, ярко окрашенную, праздничную, и меньшую, давно требующую ремонта, в щербинах и подтеках. К ней и вела калитка с табличкой «Петраков В. В.». Молоденькая девушка — она промелькнула в больнице перед экраном телевизора — толкнула ее:

— Хозяева!

Никто не отозвался. Она прошла дорожкой среди разросшихся кустов, поднялась по шатким ступенькам, постучала:

— Эй!.. Есть кто-нибудь?.. Хозяин!

За забором забрехала собака, появилась женщина:

— Нет его. Уехал.

— Как уехал?

— Как уезжают. Собрался и уехал.

Это была неожиданность.

— Далеко?

— Нам не докладывал. Василий Васильевич вообще распространяться не любит.

— А... а что же мне теперь делать?! — Девушка, по видимости, растерялась вконец.

— Ты что, знакомая ему?

— Да... то есть... Мои знакомые жили у него прошлым летом... мать с дочкой... Беленькая такая, Света... Помните?

— Разве всех упомнишь?

— Они мне адрес дали. Я списалась... И вот... — она чуть не плакала. — Может, у вас комната есть?

— Комната! — засмеялась женщина. — Сейчас и коечки не найдешь.

— Но он написал... приезжай...

— Не реви. Я сейчас.

Даже в знойный день от нее полыхало кухонным жаром.

— Ты одна?

— Одна, — шмыгнула носом.

— Говорю, не реви. Василий Васильевич мне ключи оставил. Но велел пускать с разбором. С детьми ни-ни... Мужиков не водить.

— Честное пионерское!

— Все равно будешь... Как зовут?

— Ира, Ирина...

Петракову в доме принадлежала терраса, кухонька и довольно просторная комната. Обшарпанная мебель, пружинные кровати, каких она и не видела... Пыль, запустение.

— Господи! Да как тут только люди жили!

— Не тужили, — отрезала соседка. За коечку пять рублей в день, деньги вперед. Потому еще кого-нибудь подселю... Ты на сколько?

— А... Василий Васильевич надолго уехал?

— Вдруг собрался на той неделе, в среду... Нет, в четверг. Утречком... Да! Чуть не забыла: кухней не пользуйся, не велел. Ну а все прочее — во дворе.

Взгромоздились на тяжелый комод табуретки и стулья, посреди комнаты ведро, полное воды. Но Ирина мыть пол не спешила. Все свидетельствовало о крайней бедности хозяина: рассохшийся шкаф, общепитовская посуда, телевизор — и тот старый, черно-белый «Рекорд».

Петраков был педантом. Он хранил кви-

танции об оплате коммунальных услуг, на гарантийный ремонт будильника и даже электроутюга...

В дверь постучали. Ирина, вздрогнув, задвинула ящик комода. Стучали настойчиво. Подбежала, повернула ключ. Женщина с большим перевязанным шпагатом пакетом.

— Петраковы?

Она неопределенно кивнула.

— Что ж вас никогда дома нет?.. Из прачечной. — Сунула квитанцию. — Распишись.

Расписалась, приняла пакет. Закрыла за женщиной дверь, вновь повернула ключ. Подергала — заперта.

...Пачечка карманных календариков за прошлые годы. Отдельно претянута аптечной резиной стопочка корешков переводов на двадцать, двадцать пять, иногда пятнадцать рублей. Все они были из Иркутска от Петраковой Е. В. ... В одном из ящиков хранились пожелтевшие грамоты: «Ударнику коммунистического труда Петракову В. В.», «Отличнику соцсоревнования Петракову В. В.», «Ветерану труда Петракову В. В.»...

Прошумел на улице мотоцикл. В отдельной папке «адрес»: «Дорогой Василий Васильевич! Коллектив городского загса, провозая вас на заслуженный отдых...»

Звякнуло у двери. На полу лежал вытолкнутый ключ. Кто-то открывал дверь своим ключом.

Она едва успела опрокинуть ведро, бросить в лужу тряпку. Вошел рослый парень в яркой красно-белой куртке с мотоциклетным шлемом в руке.

— Куда? — замахнулась тряпкой. — На-средишь!

Он остановился.

— Ты кто?

— Племянник.

— Своего дяди?

— Хозяина. А ты?

— Племянница!

— Двоюродная мне, значит?

Не ответила, подхватила ведро, выскочила на крыльцо. Отсюда было видно море, там шумел пляж... У калитки стоял мотоцикл. Парень вышел следом:

— Ключ тебе дяденька дал?

— Соседка дала, братец Вася, — подставила ведро под колонку, ударила тугая струя.

— Гена у тебя братец... Соседку как зовут?

— Она мне не представилась.

— Вот как... Таких племянниц не бывает.

— Шуток не понимаешь?

— Шуток... — голос вдруг прозвучал странно. — Шуток понимаю... — двинулся к ней, неотрывно глядя на бьющую струю воды. — Анекдот знаешь?.. Пили... коньяк, водку, пиво... — Он был рядом, тяжелый, опасный, вином не пахло. Вода била через край, по

ногам.— А потом голова...— провел по лицу, точно стирая что-то.— Голова, говорит, болит...

Уносились по сторонам, оставались позади листья, дома, небо, выгоревшая, блеклая морская голубизна в мутной дали. Тугой теплый ветер бил ей в лицо, рвал из-под шлема волосы. Она вцепилась обеими руками в яркую куртку. Мотоцикл вонзился в пространство, словно пытаясь вырваться из него, там, за взлетающим на косогор шоссе...

Впереди что-то ремонтировали. Ярко белела щбенка, дымила прямоугольник иссиня-черного асфальта, полз оранжевым жужком дорожный каток. Идущие впереди машины притормаживали, объезжали.

Но Генка помчался напрямик по дымящемуся, мягкому асфальту. Отскочили в стороны рабочие в оранжевых грязных жилетах.

— Лунатик! — с ненавистью крикнула баба.— Глаза разуй, обкуренный!

Они уже вылетели на твердое покрытие. Ирина, привстав, заглянула через плечо в Генкино лицо. Глаза его были странные, белые, без зрачков, как у слепого... Она не успела испугаться — Генка уверенно ввел мотоцикл в поворот, ведущий к городу...

В фотоателье капризничала девочка лет пяти в объятиях огромного мишки, никак не хотела улыбаться, как того требовала мать, вероятно, боялась оранжевого дружка. Ирина разглядывала фотографии на стенах: курортники в море, в набежавшей волне, грациозно оседлав скалы.

Наконец мать уволокла ревущего уже навзрыд ребенка. Фотограф в синем халате перевернул на двери табличку «Закрыто по тех. причинам». Принялся промывать в раковине проявленные пленки клиентов. Смотрели со стены кокетливые женские головки, местные собственные отдыхающие...

Прокурор Кудинов смотрел ей прямо в глаза и смеялся.

— Узнаешь?

Подошли Генка и бородатый в халате. Пожала плечами.

— Артист какой-то? Не помню...

— Хм... Артист... Какой еще! Я на нем столик выиграл. А ты играл?

Генка качнул головой:

— Нет...

— Зря. У нас все играли. Как Юра Полунин завел: сбежит, не сбежит? Да — нет!.. Вот, — бородатый кивнул на компаньона. — Проиграл, долбак.

— Я тоже сначала: побежит.

— Сначала не в счет... Ты мне еще два

коньяка должен, — бородатый снова повернулся к Генке. — Откуда ты такую привез, Пандшер?

Генка молчал, словно не слыша, смотрел на второго фотографа, промывавшего пленку.

— Я только сегодня... Я из Воронежа.

— О! Воронеж! — весело округлил глаза бородатый. — Это же мощнейший центр цивилизации. Маленький Париж!

— Это Париж — маленький Воронеж, — второй, оставив под струей пленки, сложил из ладоней рамку и, сквозь нее глядя на Ирину, заприседал, закачался, прикидывая ракурс.

А Генка стоял рядом, совсем к происходящему безучастный. Смотрел, как тяжело била струя в раковину, где промывались пленки... Вдруг он рассмеялся. Захотел до лающего грудного кашля.

— Слушай... вчера... — говорил он, захлебываясь смехом, — анекдот... Два кента утром... Один и говорит: «Зачем я вчера водку, пиво там, портвешок, сухаря...» Мешал, понял?

Он просто умирал от смеха, валился на бородатого, облапив за плечи, тянул на себя.

— Ты, лох, кого окучиваешь... — бормотал фотограф, пытаясь высвободиться.

Ирина смотрела, гоня прочь вновь подступивший страх, пытаясь понять...

— «Голова-а болит!» — продолжал свое Генка. — А другой кент ему: «Как голова болеть может? Это же кость...» Понял?

Бородатый резким движением плеча отбросил Генку к стене. Тот оборвал смех. Опять смотрел странно белыми без зрачков глазами, словно и не смотрел вовсе. Второй фотограф со скрипом вырвал ящик стола, выхватил кусок толстого кабеля в свинцовой оболочке. Подходил, опустив дубинку, накачивая руку для удара.

— Не бейте! — Ирина кинулась между ними. — Не бейте. Что хотите!..

— Павел Сергеевич! — по селекторной связи женский голос. — Баллистическая экспертиза проведена. Послушаете или подождете? Через полчаса подошлем.

— Много слушать?

— Нет. И смотреть почти нечего.

— Тогда слушаем.

— Пуля калибр девять миллиметров.

Предположительно выпущена из пистолета типа «Макаров».

— А если не предположительно?

— Сильная деформация при выходе. О стальную пластину оконного шпингалета. Поэтому предположительно.

— Ну спасибо, баллистика. Помогли.

— Чем богаты... — селектор отключился.

— Нет, надо же, какую сталь на шпингалеты пускают! — озлился Дзикун. — Я тут

мышеловку купил: раньше, помнишь, маленькая такая там проволочка была, на нее корочку наколешь — и порядок. А теперь вместо проволочки той — пластина железная. Это мышка на нее должна встать, башку подставить, и вот только тогда-а...

— Предположительно,— серьезно сказал Ершов.

Дзикун засмеялся.

— Тогда сильный ветер был,— сказал Ершов.— Окно на водной станции хлопало.

— Очевидно, первая пуля попала в раму, вторая в цель. В баллон для зарядки аквалангов... Куда же все-таки в тот вечер Кудинов ехал? А, Павел Сергеевич?

— Про это пока один Господь Бог знает. Женья ему уже доложился.

— Выходит, Кудинов своим побегом...

— Да. Приговорил себя. Безусловно.

Она стояла нагая.

— Повернись спиной... Теперь на колени.

— Не буду...— сквозь слезы.— Не надо...

Портрет Кудинова! Глаза в глаза!

— На колени, мисс Воронеж!.. Нагнись... Ниже... Спинку прогни... О!.. И на что тебе Пандшер сдался?.. Он же импотент...

Жарко горели приборы на высоких стальных штативах. На лице бородатого пот. Он расстегнул рубашку.

В духоте темной кладовки тяжело хрипел Генка.

...Он видел свое отражение в маленькой прозрачной лужице в каменной выбоине. Жадно тянулся к воде губами, а она отдалялась... И никак не дотянуться, не догнать... Внезапно воду выбросило струей. Генка закричал, но голоса не услышал. Увидел свои ладони, медленно закрывающие глаза. Тьма...

— На меня больше! Чтоб полюбоваться!.. Спинку, мисс Воронеж... Вот так...

Все это слышала Ирина, как сквозь сон, сквозь вату. Расширенные глаза сухо блестя. Автоматически выполняла команды. Щелкал затвор фотоаппарата...

— Ай, мисс Воронеж, что ж ты все голяком да голяком? Или уж так понравилось?

Не сразу поняла, что все кончилось... Метнулась за ширму. Сверху просунулась рука бородатого, в ней фотография Кудинова.

— А артиста возьми на память.

Столб поднявшегося пламени высветил белейшую полосу приборя, от которой поднималось закатное небо. Ирина подбросила в костер большую охапку спутанных водо-

рослей.

Генка подцепил почерневшей палкой дужку ведра, повесил на две рогульки над костром. Поодаль потрепанное взрывом строение водно-спортивной станции. Там валялись еще куски штукатурки, скрюченные взрывом стальные прутья...

— Ты что же здесь и живешь?

— Работаю.

— Кем?

— Раньше начальником по общей физподготовке... Ну а теперь тоже. Сторожем.

Вода в ведре закипала ключом, маленькие речки всплывали, кружась, как живые, в перестуке. Генка улыбнулся:

— У вас в Воронеже суп из мидий едят?

— Расскажу — не поверят.

— Тогда загадывай желание.

— Уже... Дай покурить!

— Немного,— Генка достал пачку «Примы».

— Нет, не это... То, что ты куришь!

— Других не держу.

— Не жадничай.

Генка обозлился:

— «Мальборо», детка, не по цене.

— А травка?..— она придвинулась.— Травку дай!

— Я тебе по шее дам,— пообещал Генка.— Не проси, чего не понимаешь.

— Дай!.. Что у тебя? План?..— она трясла его.— Я не могу больше!.. Хоть колеса... Дай!

— Откуда? — попытлся Генка.— И не было никогда!

— Ты кого, лох, окучиваешь?! А что с тобой в фотографии было?

— Ничего не было.

— А как в кладовке очутился хоть помнишь?

— И помнить нечего. Заглянул... и все.

Послышался шум машины. С шоссе съехала «Волга». Остановилась в отдалении. Из нее вышли двое. Ирина вдруг рванулась за костер, за Генку...

Вышедшие из машины приостановились. Дзикун, опершись о плечо Ершова, вытряхивал из тупель песок.

Вокруг была тьма. Больно стукнулась о табурет. Притихла. За стеной шумело накатом море. С другой стороны трещали цикады. Потом послышались голоса. Дзикун спрашивал:

— Вы предупреждение о взрыве станции получили?

— Само собой,— это Генка.

— Я все-таки, Павел Сергеевич, не понимаю: почему со станции не были вывезены кислородные баллоны?

Ответил не Ершов — Генка:

— А вы понимаете, что у них собаки не было?

— У кого?

— У саперов. Миннорозыскойной... А если бы взрывное устройство под баллоны заложили? Сдвинь — и привет родителям! Самоделка самая сволочная вещь. У нас из взвода семеро на таких подорвались. Под Гератом... И собака была — Альма. Ласковая такая, сука. Ее в военном городке похоронили. С надписью, честь по чести: год рождения — год смерти...

— Да... — вздохнул первый. — Хитрая штука...

— Миноискатели здесь, Григорий Филиппович, — слышался голос Ершова, — словно взбесились. Железо кругом... Стреляли по баллонам из-за прибрежных камней. И не видать их, и защита от взрывной волны...

— Ну что ж, прогуляемся бережком еще раз... Закат-то какой... Говорят, Павел Сергеевич, в такой вечер зеленый луч можно увидеть...

Голоса, шаги затихли. Шумел накат моря. Трещали невидимые цикады... Потом заработал мотор машины. Удалился... Уехали!

Что она нажала, отыскивая на ощупь выход?! Не знала... Только ярчайший свет фар ударил вдруг по глазам. Взревел басовито гудок... Грузовик! Огромный! На нее!.. Не понимая, закричала, упала, закрыв голову руками. Хлопнула тяжелая дверь.

— Ты что?! — взорвался Генка.

Разом смолк гудок. Погасли фары. Зажглась лампочка под потолком, осветила уцелевшую подсобку станции. Генка беззвучно хохотал, держа в руках конструкцию из двух широко расставленных крупных автомобильных фар на металлической раме.

— Лунатик! Предупреждать надо... Я думала — грузовик...

— Откуда же ему здесь взяться?

— Не знаю... — провела по лицу его жестом, точно отряхивая что-то. — От тебя всего ожидать можно... Суп готов?

Из подъезда многоэтажного дома выехала девушка на инвалидной коляске. Ее везла другая, постарше, в голубой форме Аэрофлота. Коляска проехала по неширокой площадке и... остановилась у ступеней, ведущих вниз, к тротуару.

— Всего четыре ступени!..

Коляска отъезжала обратно к дверям... — Соне Завьяловой двадцать лет. Она инвалид детства... Ее сестра Лариса — кассир Аэрофлота. Она отправляет вас, пассажиров серебристых лайнеров, за тысячи километров...

Снова вперед — до ступенек...

— ...Но Соня не может преодолеть их! Плотное полукольцо любопытствующих

наблюдало за ведущей съемку телегруппой. Среди них Ирина и Генка. У подъезда — настороженные обитатели дома. Проскакал по ступенькам мальчишка лет шести: «А я так могу!»

— Как же помочь Соне увидеть море? — в руке комментатора Полунина микрофон. — Просто! Нужна машина бетона, пара часов работы... И будет готов пандус — съезд метра полтора!.. Вы готовы помочь сделать для Сони пандус? — вопрос к жильцу дома.

— Где?.. Здесь, что ли?! — жилец ткнул под ноги в разбитый у дома цветник. — Так я это своими руками... — он протянул жилистые ладони. — Третий год возделываю!

— Но Соня эти три года не видит моря...

— А я здесь каждый камушек перебрал... Одной земли на себе перетаскал! — возмущение было искренним.

— Тогда, быть может, вы...

С другой стороны лестницы глыбой вросла в клумбу женщина.

— У меня муж ветеран! — отрезала она. — Во, Федор Макарович... — В окне первого этажа маячила чья-то голова. — Ему э-ко-ло-ги-я нужна!

Лихо, на одной ноге, скакал вверх и вниз по ступенькам мальчишка.

— Мишка! — одернула женщина в форме Аэрофлота. — Домой!

— Погодите, Лариса! — запротестовал Полунин.

— Хватит! — отрезала женщина. — Поехали, Соня! — и коляску в двери подъезда.

— Стоп! — скомандовал Полунин. — Снято. Сворачивайтесь побыстрее... — жадно припал к бутылочке пепси. Грузили в автобус аппаратуру.

— Поезжай за мной! — быстрым шепотом сказала Ирина Генке.

— Куда?

— Молчи. Нет времени. Если что случится — действуй...

— Кто меня спрашивал? — поднял голову Полунин. — Какая девушка?

— Я! — протиснулась сквозь толпу Ирина. — Это я!

— Я в Ростов-на-Дону подала...

Мчался микроавтобус с надписью «Телевидение» по улицам города.

— ...на журналистику. Там открывают телеотделение. Шесть человек на место... — глаза Ирины умоляли. — Нужна вступительная работа. Можно, конечно, просто на бумаге... Я понимаю, вы так заняты... — В руках у нее была папка. — Я немного пишу. Вот... — Это прекрасно. Поговорим потом... — Полунин перегнулся к водителю. — Эдик, давай в морг.

В зеркальце заднего обзора в потоке машин мотоциклист в красно-белой куртке...

Читал что-то Жванецкий, за смехом аудитории не разобрать. Генка скучал возле мотоцикла. На противоположной стороне улицы киоск, каких много в южных городах, торгующий звукозаписями. Оттуда — Жванецкий.

На журнальном столике немудреная закуска, коньяк, кофе. Горела толстая свеча. Полуниин, надев очки, перелистывал папку Ирины.

— «Принято говорить: религия — опиум для народа. Но ведь это не так. Правильно: опий. Опий — лекарство, облегчение безнадежных болезней. Так и религия лечит самые тяжелые болезни души...» Это кто говорит?

Теребила в смущении тонкий крестик на груди:

— Мое интервью. С отцом Леонидом. Он настоятель в Кресто-Воздвиженской.

— Ага... И свеча, значит, отсюда?.. — перелистнул пару страничек. — Постараюсь тебе помочь. Снимешь сюжет.

— Правда?! — загорелась. — Это как называется? Гвоздь?

— Разве гвоздик, — засмеялся он. — Гвоздь на дороге не валяется.

— Его находят? Да? Вот недавно... — говорила, все более увлекаясь. — Весь город ждал: да? Или нет? Играли даже... этот... прокурор? Кутков?..

— Кудинов.

— Может быть... Вот это был гвоздь?

— Пожалуй, — скромно согласился хозяин. — И я играл.

— На человека?.. Но ведь это, говорят, только бандиты играют. Беспредел называется...

— Это профессия называется. «Даже падая в пропасть, не падай духом, как заметил однажды Маклай-Миклуха!»... Я же без проигрыша играл.

Генка бросил смятую пачку «Примы», направился к киоску. «...Самолет заходит на посадку, тяжело моторами гудя...» — пел молодой голос.

— Закурить не найдется? — спросил Генка сидящего в киоске парня. Тот протянул сигареты. «...Он привез гранаты и взрывчатку. Это для тебя и для меня...»

Генка, разминая сигарету, сел на бровку тротуара. «...Вспомни, товарищ, как мы шли в ночи...»

Киоскер покосился на Генку и прибавил звук. «...Вспомни, как бежали в горы басмачи...»

— Помогите!..

Генка, вздрогнув, задрал голову.

На балконе пятого этажа — Ирина в разод-

ранном сверху донизу сарафане. Генка рванул в подъезд.

— Мне, наверное, на рентген надо... — проговорил Полуниин, осторожно трогая челюсть. — По-моему, сломана.

— Направим, — сидевший напротив милиционер составлял протокол. — Фамилия?

— Полуниин. Вы же знаете.

— Знаем... Фамилия потерпевшей?

— Она не потерпевшая! Я протестую. Я взрослый человек... Я не коснулся... О, черт... — вновь схватился за челюсть. — И фамилии ее не знаю!

— Интересное кино! — вскинул глаза милиционер. — В постель, значит, волочишь и фамилии не спрашиваешь?! Рентген ему... Выходит, просветил тебя тот паренек недостаточно...

Ночью пал туман. Дзикун, позевывая, ехал не спеша. Редко возникали огни встречных; увеличивалось и, обдав стекла мелкой водяной пылью, мимо проносилось размытое туманом тело машины.

Так из-за спуска появились и яркие, ярче других, огни тяжелого, мощного грузовика. Дзикун обратил на них внимания не больше, чем на остальные, но через мгновение понял, что гигант, выскочив на встречную полосу, несется прямо на него.

— Пьяный, черт!.. — только и успел пробормотать, выворачивая руль.

Его машина двумя колесами влетела в неглубокий, на удачу, ковет. Дзикун сорвало с места, он с силой ударился головой о дверь. Зажмурился, застонал... Выкарабкался к рулю. Выровнять, поставить на шоссе машину не смог. Мотор не заглох, и Дзикун так и поехал косо-боко — два колеса на шоссе, два месили кюветную грязь. На лоб из-под седеющих волос закапал, потек тоненький кровавый ручеек.

Мчалась, летела Ирина в этой ночи, в тумане. Волосы рвал и путал ветер — руки распяты на руле, из гримасы рта визг, вопль. Над ее головой две широко, как у КамАЗа, расставленные автомобильные фары. Сзади хохотал Генка, накрыв своими ладонями ее пальцы, вцепившиеся в руль.

— Не посылали нас, гады? — орала Ирина. — Теперь мы вас! На колени, псы! По постелям девчонок таскали... По кюветам разложим! Всех! За всех! Дрожи, суки! За Пандшер! За Герат! За Хост!

Впереди возникли бледные желтяки встречной машины. Ирина включала фары и, хохоча, наслаждалась судорожными мета-

ниями перепуганного водителя...

Два милиционера, засовывая в кобуры оружие, выбежали из стекла поста ГАИ, вскочили в «жигуль». Через запотелые стекла было видно, как внутри поста бинтуют голову Дзикуну.

Пожилой толстый старшина мыл из шланга его машину.

...Первым опасность почувал Генка — встречные фары не метались, как те, что встречались до этого, а прямо неслись на них.

— Разворот! — заорал Генка Ирине в ухо. — Менты! Скорость сбрось. Занесет!

Ирина развернула мотоцикл и снова выжала скорость. Но секунды были потеряны, и погоня читалась теперь все увеличивающимися в тумане пятнами огня.

— Фары гаси! — закричал Генка. — Пересаживайся! Вперед! На бак!

Ирина сползла с седла на бак. Генка перепрыгнул на ее место:

— Руль держи! Крепче!

Ирина, раскинув руки, вцепилась в руль, легла грудью на приборы... Генка, перегнувшись через нее, отвинчивал барашки креплений... Наконец ему удалось снять и сложить трубчатую конструкцию. Сзади показался темный силуэт машины преследователей.

— Руль прямо! — скомандовал Генка. Схватил ее за талию. — Ничего не бойся!.. Не вертись!

Круто отклонился — почти лег на спину — и перенес на вытянутых руках над собой. Ирина ухватилась за резиновую подкову ручки и выскользнула из его рук на заднее сиденье... Мотоцикл резко повело влево, они непременно бы рухнули, разбились, если бы Генке не удалось, схватив руль, послать вперед, резко увеличив до предела скорость и тут же сбросив ее...

«Жигуль» ГАИ настиг их, поравнялся. Гаишники скользнули взглядом по тесно прижавшейся друг к другу парочке на мотоцикле. Ехала парочка не спеша.

Рева сирены, помчались за ускользнувшим в тумане грузовиком. Удалялась синяя мигалка.

Соня, с любопытством глядя по сторонам, ехала в коляске по Приморскому парку. Коляску везла Ирина в строгом платье, белой косынке с нашитым красным крестом.

Парк вывел их на улицу. У перехода светофор сменил зеленый на предупреждающий желтый. Машины уже напряглись к прыжку через белый пункт, но Ирина помахала постовому в «стакане». Тот, улыбнувшись, притронулся к козырьку и вернул зеленый. Ирина, победно кося

на физиономии водителей, везла коляску мимо дышащих смрадом радиаторов.

— А с цветами что?! — кричал из окна возделыватель цветника.

Рядом со ступеньками у подъезда дома, где жила Соня, был свежий пологий дощатый настил. Стучал топор.

— Что с цвета...

Генка вогнал обухом топора гвоздь. Распрямился. «Цветовод» осекся на полуслове и счел за лучшее закрыть окно.

Генка перевел взгляд на жену ветерана Федора, что тяжелым дредноутом выплыла в лоджию. Но, встретившись с его глазами, решила боевых действий не открывать, густо сплюнула и, прокричав: «И морда твоя бандитская!», уплыла обратно.

Показались Соня с Ириной. Соня улыбалась... и плакала. Ирина уперлась в спинку коляски, намереваясь вкатить на крыльцо, но Соня запротестовала:

— Нет, нет!..

Крутя руками колеса, поехала сама. Уже с середины пандуса давалось ей это с видимым трудом, она покраснела от напряжения, но не сдалась и все-таки въехала на площадку перед дверями.

Вокруг рожков люстры кружились мотыльки. Падали на стол, за которым Генка, Ирина, Соня и Лариса пили чай с тортом и вареньем. Мишка между тем, высунувшись в окно, кричал:

— Сашка! Уходи со своим велосипедом! Это для тети Сони дядя Гена построил! Он у нас чай пьет и твой велосипед отымет!

— Ты зачем мной пугаешь! — возмутился Генка и стащил мальчишку с подоконника.

— А чтобы знал!

— Рыбу ловить умеешь?

— Чего там уметь? Закинул и тащи!

— А костер разжигать?

— А чего там разжигать. — Мишка был явно заражен нигилизмом. — Зажег и горит!..

— Лариса, — спрашивала Ирина, — в день отлета человек может купить билет?

— Смеешься? Какой билет? Мы со смертными телеграммами и то на посадку направляем.

— А он улетел. Третьего числа.

— Третьего?.. Третьего... — задумалась на мгновение. — Третьего вообще исключено. Мы перед этим трое суток закрыты были. — И, косясь на Генку, шепотом: — А что за человек?

— Старичок один.

— Простой старичок? Третьего числа? Не смеши! У меня тогда майор плакал, глаза мокрые, хоть выжимай — генерала отправить не мог.

В зарешеченное окошко доносился собачий брех. На плацу шел развод на работы — лай голосов.

Перед Дзикуном на привинченном к полу табурете сидел плотный краснолицый человек в аккуратной, хорошо подогнанной телогрейке.

— Я ознакомился с делом, гражданин Федоренко.— Дзикун не снимал шляпу, прикрывшую повязку.— На следствии вы категорически отрицали свое участие, а на суде вдруг не только признали все, но и объявили себя главным, что называется, закоперщиком.

— Что было, то и объявил.— Федоренко был настроен, не понимал, куда клонит приезжий.

— Несмотря на то что за хищение в особо крупных — до высшей меры?

— Не те времена, гражданин старший следователь.

— Это правда, Федоренко. Времена не те... Но также правда, что ваш родственник Петраков дал следователю Кудину взятку...

— Ага! Да какую! Ходи да выигрыши получай. Над тобой не каплет... А он сгорел, гнида! И дыма не оставил.

— Федоренко, Федоренко... Я бы на вашем месте более уважительно к памяти Кудинова относился.

— А что? — укрылся в раковину Федоренко.— Я не в претензии. И здесь жить можно. В хлеборезке работаю. Так что — все путем.

— Что путем?

— Вам виднее.

Помолчав, Дзикун сказал:

— А я хочу, чтобы и тебе повиднее стало, Федоренко.

Раскрыл папку, нашел нужный документ.

— Чего это? — прищурился Федоренко.— Без очков я.

— Это обоснование Кудинова, почему он собрался на суде отказаться обвинить тебя по особо крупному, Федоренко. Я это обоснование внимательнейшим образом изучил. Прав был Кудинов. Судить тебя, Федоренко, если и есть за что, то только за халатность. На первый раз вполне мог и условно получить.

— Чего?.. — взял дрогнувшей рукой бумагу.— Чегой-то не пойму я вас...

— Того, Федоренко, того. Петраков твой мог взятку-то и не давать. А он дал да еще и донес.

— Донес?.. — Федоренко ошеломленно уставился на Дзикуна.— Кто донес?

— Петраков, Федоренко. Пе-тра-ков! Так что, выходит, зря ты в хлеборезке трудишься. Мог бы вполне и без этого обойтись.

— Не верю! — шлепнул бумагу об стол Федоренко.— Какой же ему смысл... Не верю я вам, гражданин следователь. На понт

берете!

— «На по-онт!» Ты же не блатной. Федоренко.

— Да при чем тут...— И, оборвав себя, ухватился за нечто мелькнувшее, ускользающее.— А записка? Я ж записку Кудину с воли передал!

Ох, как старался Дзикун — только бы не спугнуть. Даже не смотрел на заключенного и спросил ровно, словно он давным-давно знал про эту записку, только вот уточнить кое-что требовалось:

— Так от кого она, Федоренко?

— Как от кого!.. — Вскинулся Федоренко и вдруг спохватился, почувствовав, что сболтнул лишнего.— От дяди! Или от тети! — И что в ней было?

— Я, гражданин следователь, чужих писем не читаю.— И, вдруг поняв, что следствие запиской не располагает, усмехнулся.— А может, и не было никакой записки. Может, мне померещилось. А может, он ее с кашей съел. Докажите!

Вились, отставая, крошечные огненные мотыльки. Летела под колеса «Явы» полоса шоссе. Генка сидел сзади, курил в кулак.

— Поворот! — предупредил он.

— Знаю.

За поворотом вдали показалось море, бежала по нему дорожка лунного света. Темнел у обочины тяжелый дорожный каток, стояли бочки из-под солярки. Ярко выбеленный ряд восстановленных столбиков ограждения. Ирина притормозила. Одного не хватало — как выбитый зуб во рту... Слезла с мотоцикла.

— Ты чего? — спросил Генка.

Она не ответила, подошла к краю откоса. Щебеночный сор из-под ее ноги потек, запрыгал, засакал. В выжженную гарь, на изъеденную огнем, изорванную землю. Там сиротливо белел сброшенный с шоссе столбик... Мерцающей звездочкой полетел вниз окуроч. Не оборачиваясь, спросила:

— Авария была?

— Была.

— А как?

Пожал плечами:

— Кто знает. Ночь... Асфальт мокрый...

Утром «Волгу» подняли — в лепешку.

Ее била дрожь.

— Перекупалась? — Генка скинул красно-белую куртку, набросил ей на плечи.— Поехали?.. Ну?

Она медленно проговорила:

— Я все жду, когда ты спросишь, зачем я у того телевизионщика оказалась.

— А я жду, когда ты про это расскажешь.

— Ты репортаж его видел? Недавно, третьего... побег из тюрьмы?

Генка усмехнулся:

— У меня и телека-то нет. Ребята рассказывали, как играли: побежит, не побежит...

— Это был мой отец.

Генка, вздрогнув, с силой повернул ее к себе:

— Ты... ты... дочь Кудинова?!

— Не знал?

Он опустил руки, словно ожегшись. Упала куртка.

— Не нравится?

Он закуривал, не срабатывала зажигалка...

— Нет.

— Конечно...— вскинула лицо.— Ты — в Пандшере, я — на курорте! Мой отец взятки брал, а ты по минному полю... с сукой Альмой...

— Не шути,— хрипло произнес Генка.

— Пандшер! — она рассмеялась.— Ты же шутки понимаешь... Анекдот хочешь? Сидит доктор Ватсон, и входит Шерлок Холмс в цинковом гробу... Не слышал?.. Ну и спрашивает: «Как вы думаете, откуда я, доктор Ватсон?» — «Я полагаю, с того света, сэр».— «Вы правы. Я — из Афганистана!..»

Ее смех оборвала оплеуха. Ирина отлетела, споткнулась о надолб, упала.

Уносились «Ява».

...Ирина шла по шоссе, сплевывала кровь. Останавливались редкие машины, предлагали подвезти.

В поселок она вошла уже ночью. Близко шумело море, по нему шарил прожектор пограничников. Скрипнула калитка. Ирина шла по дорожке к темному дому.

Она даже не успела вскрикнуть. Твердая ладонь зажала рот. «Волга» стояла за разросшимися кустами. Ее втокнули в машину, тут же рванувшуюся с места. Распахнулось окно.

— Спать дадите, рокеры паршивые! — зазвенело брошенное вслед.

Машина спустилась к пляжу. Разрубал небо и темное море яркий меч прожектора. Человек, сидевший рядом, отнял ладонь, посмотрел: кровь.

— Кто это тебя?

— Сама. Ушиблась.

— А не плачешь... Прости, детка!

Повязка легла на глаза, больно прихватила волосы на затылке.

— Не дергайся! — клейкая лента залепила рот.

Больше никто не произнес ни звука. Куда везли ее? В город?.. Ни одной остановки у светофора...

Генка вел мотоцикл рядом с собой, чтобы не разбудить ревом мотора спящий поселок. У дома № 26 остановился, поглядел на темные окна. Завел мотоцикл на половину

Петракова, поднялся на крыльцо. Дверь была заперта. Он открыл ее своим ключом... Луч прожектора полоснул по окнам, осветил комнату. Никого.

Генка присел на «панцирную» сетку незастеленной кровати. Ждал.

Машина встала. Ирину вывели. Скрип двери: «Ступеньки!» Несколько шагов вверх. Подтолкнули: «Иди!» Длинный коридор, казалось, ему не будет конца... Поворот...

Вдруг почувствовала, что ее никто не держит. Сдернули с глаз повязку. Зажмурилась от яркого света... А когда открыла глаза — перед ней за столом сидел... Ершов! Она бы закричала от изумления, но не смогла. Ершов перебинтованными несвежим бинтом пальцами сорвал ленту с ее рта, поморщился:

— Перестарались, остолопы!

На письменном столе термос с чаем, бутерброды. Ирина рыдала.

— Ты ешь,— говорил Ершов.— Успокойся.

— С-сыта... Спасибо!

— Я был вынужден это сделать... Прекрати реветь! — сунул свой платок.— Доигралась? Мать в больнице, отец с ангелами беседует... А ты у меня в суточной сводке!

— Прокуратуру это тревожит? А общественность города?

— Остановись, Ирина... Тебе жить, девочка!

— Лучше «детка». Как эти... в машине...

Ершов, помолчав, спросил:

— Тебе сколько стукнуло?

— Не много.

— Родилась ты в мае... А мы с тобой знакомы на год дольше. Почти.

— Это как же?..

Ершов слабо улыбнулся:

— Ладно. Ты уже взрослая... Мать твоя — мне первому сказала, что ждет ребенка. Боялась, не знала, как среагирует Евгений. Ведь все мы были тогда очень молоды, и они... еще не расписаны...

Он поднялся:

— Я это сделал ради тебя. Ты не понимаешь, кто наши противники. Это не люди... Я преподавал тебе сегодня наглядный урок. Они возьмут тебя так же просто, как мои оперы. Но тогда ты испугом не отделаешься...

— Я должна знать, почему погиб мой отец.

Ершов вздохнул:

— Была экспертиза. Сначала думали на тормоза... Возможно, не справился с управлением, не вписался в поворот.

Ирина горько усмехнулась:

— Просто не вписался в поворот... А по-

чему исчез Петраков?

— Петраков?..

— Да. Взяткодатель Василий Васильевич Петраков... Он уехал вдруг, утром того... того самого дня...

— Вот как...

— А куда? У него облигаций было на десять тысяч.

— Серия 327611,— кивнул Ершов.— Вещественное доказательство. Ему вернули.

— А выигрыши? За год два: пять тысяч и тысяча. Я в сберкассе проверила.— Ирина выхватила из кармана джинсов мятую газету.— Шестнадцать тысяч!.. А в доме мыши не живут, такая нищета... Переводы по пятнадцать рублей получал. Видимо, от дочери...

Ершов засмеялся. Ирина осеклась.

— Батькина хватка!

Угрюмо спросила:

— Бутерброд можно? У меня от страха всегда аппетит... Как будто жил на пенсию! — продолжала с набитым ртом.— В восемьдесят два рубля...

— Ты что и пенсионную книжку его видела?

— Нет. Увез, наверное... Я в загс позвонила, где он прежде работал. Сказала: из собеса, проверка.

Хохотал Ершов:

— Тебя хоть сейчас в прокуратуру!

— Смотрите, дядя Паша! — сердито вытаскивала из кармана смятый листок.— Вот расписание. Поезда, автобусы, самолеты... Все! Он уехал третьего рано утром. В это время — смотрите! — отбытия поездов нет. Только прибытие... Междугородный автобус? Но старик забрал зимнюю одежду... Нет, он не на автобусе поехал! Остается самолет... Вот: в восемь сорок рейс на Иркутск. Там Петракова Е. В. ... Дядя Паша, надо узнать, каким образом он улетел. В этот день билет было взять невозможно.

— Все-то ты знаешь.

— У меня подруга... Кассир в аэропорту. Старшая смены. Сейчас Лариса на бюллетене. Но через два дня... Дядя Паша! А может, вы прямо сейчас...

— Прямо сейчас,— перебил Ершов,— я отправлю тебя в следственный изолятор. Она растерялась:

— За что?! Я ничего не сделала... Я свободный человек!.. Если это Полунин...

— Мешаешь ходу следствия. Этого достаточно. Пойми: я обязан уберечь тебя. Любой ценой... Там ты, по крайней мере, будешь в безопасности. О Полунине разговор особый... Ты ему хоть сказала, сколько тебе лет?

— Не помню.

— А ты помнишь, что в университет поступать собиралась?.. Помнишь? Так вот: поезжай в Ростов. Не прошу — приказываю.

64

Где жить, тебя устроят. А о матери я беспокоюсь.

Ирина проговорила с детской надеждой:

— Но... как я уеду? Билеты проданы на месяц вперед!

Усмехнулся:

— У тебя же знакомая кассирша...— Зазвонил телефон. Приподнял и положил, разъединив трубку.— Учти, третьего не дано. Или — или. Я не шучу.

— Вы... вы меня запугиваете? Зачем? Чего вы боитесь?.. Я должна знать, почему погиб мой отец!

Вздыхнул Ершов и точно переступил через что-то:

— Пошли.

...За письменным столом в том же кабинете сидел Кудинов в рубашке с короткими рукавами и галстук. Был он с виду спокоен, даже суров, но выдавали руки, которые то тянулись к бумагам — переложить, то, спохватившись, останавливались на полпути...

В кабинете шел обыск.

Один из оперов — худощавый, молодой — достает из нижнего отделения стенового шкафа кейс. Попробовал замки, обернулся...

...Ирина чуть не вскрикнула: узнала одного из тех, кто «брал» ее в поселке. Они сидели с Ершовым в полутьме крохотного зальчика для просмотра оперативных съемок...

...«Заперто», — обращаясь к кому-то, произнес оперативник на экране.

«Я не запирал», — хрипло говорит Кудинов.

Появился Ершов, сделал знак оперативнику, тот кладет кейс перед Кудиновым. «Открой, Евгений Михайлович», — просит Ершов.

«Я не запирал!» — срывается на крик Кудинов.

«Успокойся. Что там?»

«Работа. Брал вчера домой. Бутерброды...»

«Еще!»

«Пластинки... Иришке купил. Две пластинки... Средневековая музыка какая-то. Она просила...»

«Все?»

«Все... Да, еще газеты: «Известия», «Приморская правда»... Все перечислять?»

«Не надо. Открой».

«Но я не запирал!»

«Разберемся. А открыть надо, ты же понимаешь».

«Ни черта я не понимаю! И ключей у меня нет. Потерял...»

«Вскрывай», — кивает Ершов.

Оперативник — ему неловко под взглядом Кудинова — поддевает лезвием ножа замки, отпирает кейс. Ловко, почти не касаясь,

просматривает содержимое: газеты, пластинки, две папки с бумагами... Заглядывает в целлофановый пакет: там второй с бутербродами, кладет обратно. Развязывает тесемки на папках: одним движением — снизу вверх — пробегает пальцами, проверяя, нет ли каких-нибудь вложений между бумагами. Аккуратно завязывает...

«Значит, — медленно произносит Кудинов. — Значит, все просто: стоит какому-то мерзавцу... — Ему было трудно говорить. — Не ожидал, Павел... Никак не ожидал...»

«При чем тут я? — болезненно морщится Ершов. — Ты же видишь — ордер на обыск подписан областью.»

И в этот миг что-то останавливает опера, уже собравшегося закрыть крышку кейса. Он вновь поднимает ее, достает пакет, вынимает бутерброды, ныряет рукой внутрь и достает другой пакет — непрозрачный, небольшой, туго набитый.

«Это... что?!» — шепчет Кудинов.

«Сейчас узнаем...»

Оперативник раскрывает пакет, показывает Ершову содержимое... Тот отшатнулся.

«Что?!» — вскинулся Кудинов.

«Не все так просто, Женя...»

«Ты что?!» — Кудинов вскочил.

«Прошу сесть!» — твердо сказал Ершов.

Второй оперативник положил руку на плечо Кудинова и усадил на место.

«Товарищи понятия!» — позвал Ершов.

На экране толстая пачка облигаций.

«Товарищи понятия, сейчас вам будет предъявлен список зафиксированных номеров облигаций согласно заявлению потерпевшего Петракова, а также облигации, обнаруженные только что при вас в личных вещах гражданина Кудинова. В вашу задачу входит установить соответствие номеров...»

Огромный веер облигаций. Все одной серии: 327611.

...Зажегся свет.

— Он потерял ключи! — вырвалось у Ирины. Ершов только вздохнул. — Неделю искали!...

— Мы их в ящике стола нашли.

— Их ему подложили!.. Вы об этом не подумали?

— Мы о фактах думаем, Ира. — Они вновь сидели в кабинете. — Исключительно о них. А размышлял я много. Мне вся эта история тоже недешево досталась... Может, он там, на шоссе... сам свою судьбу решил? Вот и вся разгадка... Прости, не должен был тебе говорить.

Но она выдержала и это.

— И потому... он бежал?

— Бывает и такое... — Ершов перебинтованной рукой открыл ящик стола. — Вот здесь ключи лежали... Вынул желтый листок — железнодорожный билет. — Уедешь завтра.

...Вода убежала в каменной выбоине... И никак не догнать, не дотянуться до нее... Внезапно воду выбросило струей. Он закричал, но голоса не услышал. Увидел свои ладони, медленно закрывающие глаза. Тьма... внезапно яркий зигзаг света...

Взвигнула «молния» на дорожной сумке. Ирина настороженно обернулась. Генка спал одетый на голой кровати... Тихонько, на цыпочках, двинулась к выходу...

Купе было двухместным: столик-умывальник в углу под окном, спальные полки одна над другой. На верхней уже лежал кто-то в спортивном костюме, накрывшись простыней. Ирина положила на столик пакет с продуктами на дорогу.

За окном, на перроне, провожающие. Не ее...

Поезд неслышно тронулся. Ирина вынула из сумки журнал, откинулась к спинке дивана.

Человек на верхней полке заворочался, сбросил простыню. Мягко прыгнул. Ирина вздрогнула: перед ней Юрий Вячеславович Полунин собственной персоной.

— Не ожидала? — повернулся и закрыл дверь на защелку. — Я тоже кое-чего не ожидал.

Колеса, как положено, выстукивали бесконечно повторяющийся мотив.

На столике лежал лист бумаги с отпечатанным на машинке текстом: «В прокуратуру. Кудиновой И. Е. Заявление...» Подписи не было, но авторучка приготовлена тут же, на столике.

— Записку! — потребовала Ирина.

— О черт! Не обману же я тебя!

— Почему я должна вам верить? Подпишу заявление, закроют дело...

— Ты отняла у меня полжизни. Я посидел за эти дни.

— Восстановитель для волос еще не дефицит... И вообще: как вы очутились здесь?

— Ну милая! Меня ведь с работы все-таки не за профнепригодность вышибли.

— Откуда-то вдруг берется записка...

— Но я же тебе объяснил! В тюремной камере отец твой сунул мне записку, прошептал: «Передайте жене!» «Что это? — спросил я. — Я должен знать». «Не тревожьтесь. Я получил ее здесь, вчера. Жена должна понять, почему я так поступаю.»

— Вы точно знали, что он побежит... И играли!

Полунин глянул в окно.

— Мне сейчас выходить. По твоей милости у меня подписка о невыезде.

— Записку!

Полунин, страдая от унижения, расстегнул сумку-визитку, вынул сложенный вчетверо листок, протянул Ирине. Она развернула. И рассмеялась:

— Шутишь, дядя! Это в тюрьме-то записки на машинке печатают?

— Я перепечатал ее. А записка была на обрывке,— он показал на пакет с продуктами,— такого вот пакета.

Ирина медленно прочтала: «Доверься. Вспомни, как мы ждали Ванечку».

— Он просил передать это моей маме?

— Ну если у него другой жены нет,— не сдержался Полунин.

Ирина спрятала в сумку записку. Помедлив, взяла ручку...

— А где же та — настоящая?

— Где, где... Тут ультиматум, взрыв... Город в панике! И записка — на волю.

— Маме!

— Я не имел права ее брать. Просто не смог в тот момент ему отказать. И уничтожил. Скажи спасибо — не передал органам!

— Как же вы могли такой гвоздь передать! — поднялась, открыла защелку двери.

— Куда вы?! — Полунин невольно перешел на «вы». Листок лежал не подписанный.

— В туалет... Хотите проводить?

Она стояла в тамбуре. Вагон СВ был в поезде последним, его кидало из стороны в сторону. Полоснув желтым светом окон, промчался встречный. Ирина успела перечитать записку: «Доверься. Вспомни, как мы ждали Ванечку»... Открылась межвагонная дверь. Вошел человек в зимней шапке, на груди табличка: «Я — немой!» Замычал, протягивая маленькие, как игральные карты, календарики. В полумраке тамбура не разглядеть. Показывал пальцем: «Один рубль!» Чтобы отвязаться, Ирина протянула рубль, сунула календарик в карман куртки. Немой пошел дальше по вагону. Поезд замедлял ход. Огни станции...

В дверях купе бледный готовый к выходу Полунин. Ирина молча прошла к столику, подписала заявление.

— Квиты? — спросил Полунин, забирая листок.

— Ништяк! Вот и я сыграла.— Усмехнулась.— А говорили, что вы — без проигрыша! Как там про Миклуху-Маклая?

За окном маленькая станция. Одинокий пассажир, бегущий с билетом в руке...

Поезд вновь тронулся. Мигнув, вырубилось освещение в вагоне. Только синий плафон под потолком купе. Ирина устраивалась на ночь. Приготовила журнал, зажгла ночник у изголовья. Скинула куртку. Из кармана выпал календарик. Она подняла. Календарик упал не численником, а «рубашкой».

На ней цветная фотография. Та самая: «Ай, мисс Воронеж! Что ж ты все голяком да голяком!»

— Негативы!

Рассыпались по столу календарики.

— Живо! — сказал Генка.

— Сейчас... — бородатый фотограф просунул назад. И вдруг, крутанувшись на месте, по-каратистски, ногой в челюсть...

Но реакция у Генки была — дай бог, успел уклониться. Бородатый, не удержавшись, свалил штатив с приборами. Грохнула тысячеватка. Второй фотограф потянулся к ящику стола, где лежала свинцовая дубинка.

Генка поднял штатив. Оба в синих халатах попятнулись... Генка положил стальную трубу на колени и, ощерившись, согнул ее в дугу.

— Негативы! Ну?

— Не запрыг, — огрызнулся бородатый, но отошел к полочкам над раковиной, где хранились отснятые пленки.

Посмотрел на свет одну, другую. Неожиданно быстрым движением на всю мощь открыл кран. Ударил в раковину струя воды. Генка замер, качнулся...

И уже не мог отвести глаз от тугой струи... Вяло, бессильно прислонился к стене. Белый, без зрачков, взгляд.

Была вода, летели брызги...

В больничном саду на дорожках узорчатые тени листвы.

— Я не знала его жизни,— говорила мать.— Ничего... Ничего не знала... Как слепая... Зачем ему нужны были такие деньги? Я и не видела никогда столько.— Устало махнула рукой.— Почему ты вернулась? Я боюсь за тебя, Ира... Пойми: у меня больше никого. Только ты... Через неделю меня выпишут...

Ирина, едва узнаваемая, в «ситчике» умеренной длины, в косичках, чмокнула ее в щеку:

— Чудненко, мамуля! Мы сразу уедем отсюда, в Воронеж, к тете Вере... Я стану там мисс города... Мисс Воронеж! Звучит?

— Что? — встрепнулась мать.

— Мисс Воронеж, говорю, звучит?

— Что такое?! — мать отступила, опустилась на ближайшую лавочку.

— Тебе плохо? — обеспокоилась Ирина.

— Есть отчего. Постой! Я хочу на тебя посмотреть.

Смотрела долго — лицо как лицо. Родное. Ясное. Ветер шевелил правую косичку.

— Да что с тобой? — Ирина склонилась к ней.

— Постой, постой,— мать отстранила ее.— Ты чем там занимаешься?

— Чем... там? — насторожилась Ирина.

— Это я тебя хочу спросить.

— Я не понимаю.

— Зато я понимаю! Мисс-шмисс... Голые! Да еще на сцене!

— Что ты, мамочка... — Ирина облегченно рассмеялась. — Какие «шмисс», какая сцена? Ты мне веришь?

— Кому же мне верить, как не тебе... — помолчав, вздохнула мать, — ты всегда была скромная, хорошая девочка. Отец гордился тобой. Правда, иногда вздыхал, что ты слишком тихая.

— А в тихом омуте... — Ирина совсем расслабилась, — но это не про меня!

— Ты смеешься... А я боюсь, сейчас такое творится. Ночей не сплю: как ты там?

— Попроси снотворного, — обняла, прижалась кошечкой. — Скажи... у меня был... брат?

— Что-о?!

Она настаивала:

— Он умер?

— Ты с ума сошла!

— Ванечка...

— Ва...

И вдруг мать начала смеяться. Тихо, но неудержимо, до слез. Ирина с испугом смотрела на нее:

— Мама!

— Не пугайся... — давилась смехом мать. — Я еще в своем уме. Боже мой, откуда ты узнала?! Павел?.. Ну да кто же еще. Я уже совсем забыла... Ванечка — это ты...

— Я?!

— Да. Я была беременна тобой. А отец хотел мальчика... сына... Мечтал. Признаться, я тоже... Дело прошлое. Я счастлива, что у меня ты... Но ждали сына. Павел уже имя ему дал: Ваня, Ванечка... И белье ему голубое, как положено, приготовили. А родилась — Ирка... Но зарегистрировали мы тебя только через полтора месяца. Так все и звали: Ванечка. Дальше уже было невозможно... — Она снова тихо рассмеялась. — В загсе Павел все дурака валял, требовал, чтобы тебя записали Иваном... Такой скандал поднял!

Смеялась и Ирина. Мать действительно рассказывала смешно.

— Только... — прервав смех, мать вновь заглянула ей в глаза. — Пойми — это такая гадость... Голые, на потеху публике... На сцене...

— Я понимаю, мамочка, я понимаю... Конечно, гадость. Тем более на потеху...

Ирина встала, сладко потянулась, сощурив глаза, — платье ее поползло вверх, открывая стройные загорелые ноги.

— Зато какие им шубы дарят... Какие шубы, мамочка...

Мать заворожено смотрела на обнажаю-

щиеся ноги дочери.

— Не пугай меня... Умоляю, не пугай... Я представляю, что творится за кулисами!

Лариса полусидела, привалясь спиной к стене. Во лбу — круглая пулевая дырка. Черный запекшийся ручеек через бровь к подбородку. Открытые глаза смотрели строго...

— М-м-м!... — стонал Дзикун, как от нестерпимой боли. — Я же ее видел... И ты...

Смертное фото Ларисы лежало на столе. Рядом фотографии еще живой: на паспорте, на аэрофлотском удостоверении, любительские...

— ...Помнишь, на видео с Кудиновым? Ты еще сказал: «Подвозил...» Она... точно она!

— У Кудинова теперь не спросить, — сказал Ершов. Обнаружила сестра-инвалид. Ее счастье, с коляски в прихожей до выключателя не дотянулась. Все конфорки газа были открыты. Могло рвануть.

— Как на водной станции?

— Похоже.

— Что еще?

— Пропал сын Завьяловой, семи лет. Пока найти не можем.

— Был дома?

— Не установлено. Сестра отсутствовала примерно час... Может быть, что-нибудь и знает, да молчит. В шоке. Для нее сестры лишиться — жизни конец.

Ирина сидела на берегу. В тяжком оцепенении смотрела на море. И была далеко от него, далеко от криков резвящегося в воде Мишки, от песчаного берега, от белого здания водной станции с серыми заплатами цемента, от Генки, присевшего над закурившимся костерком.

Вдруг что-то холодное, мокрое припало к спине. Она вскопчила, закричав в ужасе, без голоса, как в кошмарном сне.

— Испугала-ась?! — вопил в полнейшем восторге Мишка, голый, из моря, неслышно подкравшийся к ней.

— Уйди! — не помня себя, кричала Ирина. — Уйди!.. Дебил!

Опешивший Мишка отскочил... В миг возник Генка, подхватил его, закинул на плечи, бегом к морю.

Через секунду они уже гонялись друг за другом, как два дельфина. Мишка плыл «саженками», уверяя, что нисколючки до дна не достает. Нырлял, кувыркался. В закатном солнце мелькала незагорелая попка.

— А так ты можешь?! — орал Мишка, уже забыв обиду. — Ира! Смотри!.. Я так могу!

А она с трудом доплелась до закутка за пристройкой. Рухнула лицом в песок.

Она слышала, как вернулись Генка с Мишкой, как гремели мисками, котелком у костра. Звали ее. Она не пошла, не могла.

— А ты всегда здесь жил? — спрашивал Мишка.

— Нет. После армии приехал, — серьезно отвечал Генка.

— А зачем?

— За зеленым лучом.

— Совсем-совсем зеленым?

— Совсем, Мишка... Я такой, как ты, был... Нет, постарше. Книжку прочел про зеленый луч. Он на закате над морем светит.

— А ты его видел?

— Это счастливым человеком, Мишка, надо стать, чтобы такой луч увидеть.

— А я увижу!

— Все может быть... Смотри хорошенько!

— Дядя Гена, а можно, я у тебя ночевать останусь?

— Можно, Мишка. Тебе все можно.

— А мама нас не заругает?

Что ответил Генка, Ирина не слышала — заткнула накрепко пальцами уши.

...Бесшумно вспухали и заворачивались синие в прозелень валы. И падали. От края до края. Словно кто-то гигантскую веревку со дна поддерживал... Прибой рождался совсем близко, за пунктиром оградительных буев из старых огнетушителей, красно-коричневых, поржавевших от морской соли. А за ними — тишь. Мелкая зыбь, как в речке. До черно-синего вечернего морского горизонта, где появлялись и исчезали игрушечные суденышки.

На ноги слегка плеснуло песком. Она подняла глаза — Генка. Отняла ладони от ушей. Гулкие шлепки прибоя, шорох убегающей воды, крики собирающихся ко сну чаек.

— Пошли, — сказал Генка. — Мишка хочешь тебе спокойной ночи сказать.

— Это чудо, что он у тебя оказался...

За буйами продолжали вспухать синие валы. Генка, присев рядом, щелчком подбрасывал и ловил спичечный коробок.

— Мне сказали: ты уехала.

— Вернулась... Гена... Я все думаю... Кто?.. Кто ее?

— Знал бы — убил, — Генка поймал коробок.

— Соня чуть жива, говорить не может... Еле добилась: вроде, видела кого-то с перевязанной рукой... Господи! Подхожу к подъезду. А там «скорая», милиция... И носилки... — ее передернуло. Вцепилась в его рукав. — Что б я делала... вдруг бы тебя не нашла! — она попробовала сама поймать коробок, но лишь зацепила кончиками пальцев, а Генка, прыгнув с места, в падении все-таки достал. Отряхнул песок.

— Пошли. Мишка ждет.

В центре подсобки, как всегда, стоял вычищенный, надраенный, посверкивающий никелем мотоцикл.

В углу на спортивном мате, прикрытый Генкиной красно-белой курткой, посапывал Мишка.

— Умаялся. Не дождался. — Генка поправил на мальчишке куртку, подоткнул ее по бокам. Указал на второй мат, рядом. — Ложись.

Принес зеленый солдатский бушлат с голубоватым цигейковым воротником. Бросил на мат.

— Я — на волю. Спи!

Он лежал в вытащенной на берег лодке. Сохли на корме постиранные Мишкины трусики, майка. В небе висели крупные южные звезды. Сильно бил в берег разыгравшийся прибой. Тень заслонила звездное небо — Ирина.

— Я искала тебя... — села на борт.

— Лезь, — сказал он, — коль нашла. Штормит, прохватит.

Теперь они лежали рядом. Устраиваясь поудобнее, придвинулась к нему. Ей нужно было ощущать его сильное, живое тело. Обогреться. Выгнать леденящий холод...

— Мишка не раскрылся?

— Нет... Ты как отец ему.

Он долго молчал. Наконец выдохнул:

— У меня такого не будет.

Она улыбнулась, глядя на звезды;

— Другие будут.

— Не у меня... — и отодвинулся резко. Она приподнялась в растерянности.

— Да ложись! — сказал глухо. — Не обижайся... Наверстаешь еще.

— Ты о чем?...

— О том, о чем ты подумала, — голос был ровен. — Братик я тебе... И всем другим.

Она осторожно легла, притихла. Генка щелкнул зажигалкой, заколебалось маленькое пламя.

— Ты такое, как сегодня, первый раз видела?

— Отца хоронила, — повернулась, больно вдавилась лицом в мокрый килевый брус.

— А я вообще похорон не видел... Просто был дружок, а смотришь — на его койке другой храпит. — Достал сигарету, но закуривать не стал, неожиданно улыбнулся: — Колюн — веселый парень. Тебе понравится...

Казалось, Колюн где-то рядом, во всяком случае, непременно заглянет сюда на днях.

— ...У него любимый анекдот знаешь какой? Двое утром встречаются... Ну вчера погуляли хорошо... Один говорит: «Голова болит...»

— Ты рассказывал...

— Когда? — Генка рассердился вдруг. —

Когда я тебе рассказывал? Никогда я про это не рассказывал!

— Извини... Прости, Гена, я ошиблась...

— Ну вот,— успокаиваясь, продолжал Генка.— Смешной такой у Колюна анекдот... Мы тогда в кишлаке водовозку охраняли. Водовозка — вот она, метров двенадцать, ее зеленая задница торчит!.. Сидим. Вечер уже, а мы с ночи не пивши, в глазах плывет... А «духи» подберутся к водовозке, мотор включают — он качает... Из пробойны струя бьет. Хорошая такая, чистая. У нас на дувале радуга от нее. «Духи» зовут: «Шурави, ходи вода! Вода ходи!..» Ну сидели, сидели... Колюн и говорит: «Прикрой!»

Генка замолчал и закончил устало:

— А к ночи нас отбили.

— А с Колюном что?

— Снайпер его. У самой водовозки. Разрывной... Голова действительно кость. Только мозгами набита. Их струей и вымыло, как из скорлупы... Я с тех пор воду видеть не могу...

— А море? — прошептала Ирина.

— Я сюда и приехал, чтоб эту дрянь из себя выбить. Привыкаю помаленьку. Море-то, оно соленое.. А нормальную воду... когда бьет струей... Не могу. Что-то находит...

— Господи!.. — простонала. — Идиотка. Глаза белые — подумала, наркоман...

— Что говорил, что делал — ничего не помню... Тьма какая-то...

Она сбросила прикрывавший их кусок брезента. Через голову, путаясь, содрала сарафан. Закрыв глаза, нашла губами закаменевший Генкин рот.

— Забудь... забудь... — шептала самозабвенно. — Забудь!

Лишь одно слово:

— Забудь...

Ветер раскачивал одинокую лампочку над водной станцией. По песку металась тень деревьев и кустов, словно кто-то бежал сквозь них, неслышный в грохоте прибора, к одиноко черневшей в языках пены лодке...

Горел свет в кабинете Ершова, Дзикун просматривал кипу дел, громоздившихся на столе. Вошел Ершов, положил на стол фотографию: след в уличной пыли возле отпечатка автомобильного протектора.

— Нашли метрах в пятидесяти от входа во двор, где живут Завьяловы. На третий раз собака привела. Эксперты работают. Сегодня получим анализ пыли следов на улице и на полу квартиры.

— Это хорошо, что собака... — проговорил Дзикун, перелистывая бумаги в папке.— Только где эта собака зарыта... Вот, понимаешь, и я анализирую... Вашу архивную пыль. Что же у вас получается: за пять лет слетело несколько ответственных работников органов. И все по каким-то странным, личным мотивам. То у кого-то две официальные жены оказались, то сын от первого брака в колонии... — обратил внимание на перевязанную руку Ершова.— В каком сражении пострадал?

— Пустое. Полку на кухне вешал.

— Мастер!.. Так вот, я говорю, кто-то хорошо их биографии знал: где родился, где женился, кто родился... Два года назад был снят и уволен начальник гормиллиции полковник Поремба...

— За дело.

— Допустим. Но он непосредственно руководил выявлением банды Труфанова... Полковник Поремба. Сорок восемь лет. Служить бы ему да служить. И вдруг его сын начинает шалить со шприцем... — Завонил телефон.— Дзикун... — Долго слушал. Потом сказал: — Так. Понятно.— Положил трубку.

На взгляд Ершова ответил:

— Из аэропорта. По рейсу за третье августа на Иркутск ни корешков билетов, ни регистрационного листа пассажиров.

— То есть как?

— А вот так. Исчезли, как сон, как утренний туман... — Протянул фотографию, принесенную Ершовым.

— Завьялова? — спросил тот.

— Может, поняла —кто... могла навести на след... — Сдернул очки, резко поднялся, сгреб папки дел.

Под утро с моря пришел дождь. Прибил песок пляжа, крепко барабанил по вытасченной на берег лодке...

В подсобке станции «абажур» из газеты прикрывал лампочку. Посыпывал у стены Мишка.

Генка лежал на мате, закинув руки за голову, смотрел на присевшую на седло мотоцикла Ирину.

— Где ты раньше была?

— Раньше когда? — говорила шепотом.

— Раньше всегда...

— Далеко была... — Похоже, и сейчас она была далеко, только Генка этого не замечал.— В городе я на проспекте Ленина живу, знаешь, белый дом такой...

— Где вся ментовка живет.

Что-то пока неясное тревожило ее, мешало.

— Скажи... ты правда Петракову племянник?

— Ерунда... Фотограф этот, Слон, ну большой с бородой... Смотри, говорит, узнай: есть ли там кто в квартире.

— Зачем?

— Я три червонца заработал. А зачем, почему — какое мое дело?.. Тебя вот встретил.

— Ты и до этого... у них так зарабатывал?

— Ну и что? Не воровал же.

— Я не говорю...— протерла рукавом какое-то невидимое пятнышко на никеле руля мотоцикла. Задержала дыхание и как в воду шагнула.— Скажи... третьего, в четверг...— в сумраке подсобки Генка не видел ее лица,— они тебя, случайно, куда не посылали?

— Третьего... третьего... При чем тут третьего?.. Погоди... Был я у них. Приехал вечером, позвали. А они, паразиты, при мне мотоцикл стали мыть. Из шланга...

Генка замолчал.

— Ну? — спросила, надвигаясь, Ирина.— Моют мотоцикл... из шланга...

— Да погоди ты...— Задымил «абажур». Генка встал, поправил.— Шланг здоровый. Таким раньше дворники поливали... Струя толстая, в руку. А чего мыть, скажи, когда дождь идет, как сейчас...— Генка провел по лицу, точно стряхивая что-то.— Ну я и поплыл...

— А дальше? — она наступала.— Дальше что?!

— Я ж тебе говорил — тьма. Очнулся на море... Да что с тобой?

Стоя на коленях, она била поклоны. Била неистово, крестилась...

Церковь была пуста. Под темным сводом в глубине свет — марево от множества горящих свечей. Неслышно подошел священник.

— Жарко ты молишься! — помог подняться.

— Есть отчего. Благословите, отец Леонид. Перекрестил:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

— Аминь.— Протянула две записочки.— Пожалуйста, огласите во время заутрени.

— «За упокой души раба Божьего невинно убиенного Евгения» и «рабы Божьей невинно убиенной Ларисы».— Вздыхнул.— У отца твоего — девятый день.

— Девять дней был бы на свободе... И был бы жив.

— Свобода,— священник помолчал.— Ты как ее понимаешь?

— Делать что хочу. И как хочу... А придется отвечать — ответу.

— Свобода — это не делать зла. Апостол Петр спросил: «Сколько раз прощать

согрешающему против меня? До семи ли раз?» И Иисус ответил: «Не говорю тебе «до семи», но до седмижды семидесяти раз». Семьдесят раз семь.

— Четыреста девяносто... Нет у меня столько времени, отец Леонид.

...Тишина в странно заполненной светом темноте храма. Ирина зажгла две свечи. Поставила к другим — направо, «за упокой».

Ершов вышел из своей квартиры. Лифт не среагировал на вызов.

На площадке маршем ниже слышалась музыка. Ершов задержался, подошел к двери с металлической табличкой «Е. М. Кудинов». Музыка доносилась оттуда: торжественная, церковная... Толкнул дверь наудачу. Оказалась открыта.

Пел хор. В комнате стоял накрытый стол. Горела свеча. Стопки чистых тарелок, бокалы. Один из них, возле свечи, наполнен, прикрыт ломтем хлеба.

На стене портрет смеющегося Кудинова. Рот перечеркнут траурной лентой.

— Маша! — позвал Ершов.

Никто не отозвался.

— Ирина!..

Заглянул во вторую комнату. Никого... Вперемежку книги, тетради, одежда. На проигрывателе пластинка. Звучала Литургия Рахманинова...

...Слепящий свет пробился между пальцами. С горы летел, мчался белый водопад. Но Генке уже не было страшно. Он вошел в него прямо в выгоревшей форме. Она тут же намочила, почернела. Он сорвал одежду и подставил всего себя под сверкающий, тяжелый, прохладный поток.

Играла в брызгах радуга. И будто из нее появилась Ирина. Под обрушивающимися струями стояли они — Адам и Ева. Единственная женщина и единственный мужчина на земле... Радуга света... И вдруг она померкла... Тьма... Вспыхнули два ярких луча. Разорвали темноту. Бьют вперед. Они ударяют в лобовое стекло мчащейся навстречу черной «Волги». За ним лицо ослепленного светом человека... В упор... Вырвалась в сторону «Волга»... Звук удара... И внезапный столб пламени позади... Голос из него звал: «Дядя Гена! Дядя Гена!»

Застонав, Генка проснулся. Над ним склонился Мишка, тряся за плечо:

— Дядя Гена! Ты что кричишь?!

Ох, как смотрел на него Генка... Мишка даже отшатнулся. А Генка встал. Водопроводный кран был вмонтирован в стену

над раковиной. Генка до отказа отвернул его... Ударила струя. Била, обливала лицо, грудь. Генка, припав к ней, жадно пил и никак не мог напиться...

...Ехала по набережной вдоль пляжа машина, за рулем которой был Кудинов. Три девушки в «бикини» стояли, закинув руки за голову, подставив лица солнцу... Кудинов вышел из машины...

Одна из граций, накинув сарафан, подбежала к Кудинову. Подброшенная ветром прядь волос перекрыла лицо...

— Григорий Филиппович!

В зал для просмотров заглянула секретарша, процокала каблучками.

— Из экспедиции! Просили срочно передать... — протягивала красивый «фирменный» конверт.

Дзикун зажег свет на пульте, нацепил очки, вынул из конверта календарик. На знакомой нам фотографии — обнаженная Ирина.

— Интересные штучки нам посылают!

— Вы переверните! — голос испуганный.

Мелко, четко, тушью, поверх численника: «Прокуратура, внимание! Нами взяты заложники...»

В сумраке вечера за завесой дождя мутно вспыхивали фары. Под проливным дождем бежал по шоссе Генка. Был он в одних плавках, перетянутая широким солдатским ремнем скатка с одеждой билась за спиной. Он поднял руку, голосовал. Но, увидев его в свете фар, машины прибавляли ход, проносились мимо. Обдавали веером грязи...

Комната освещалась лишь экраном телевизора в углу. Говорил Полунин:

«...Повторяем наше дневное сообщение. Сегодня получен новый ультиматум преступников. Взяты заложники, Ирина Кудинова и семилетний Миша Завьялов. За их жизнь требуют пять тысяч долларов плюс облигации трехпроцентного займа серии 327611 на сумму девять тысяч восемьсот рублей плюс выигрыши, павшие на эти облигации...»

Собравшихся у телевизора почти не видно: лишь темные силуэты, неверные отблески на лицах. Негромкие реплики: «Опять Полунин. Неделю не был!» — «Запил...» Смешок.

На экране фотографии Ирины и Миши. «...Всех, кто что-нибудь знает о похищенных, кто видел их вместе или порознь, просим позвонить по телефону 22-40-57. Или ноль два... — номера телефонов на

экране.— Тайна позвонившего гарантируется...»

По водопроводным трубам журчала вода. Быстрые, но осторожные шаги во тьме. Идущий ни разу не задел выступ, не споткнулся о ступеньку. Пауза. Легкий, почти не слышный перезвон... Мягкий поворот ключа в скважине. Впереди маленькая точка света. Из-за невидимой двери приглушенный голос.

«...Как видите, преступники нагледят... Итак, повторяю телефон...»

— Насчет наглости Юра прав на все сто! — борода Слона перекрыла экран. В сумраке ателье среди штативов и осветительных приборов — собравшиеся. — А потому мне приказано спросить, и я спрашиваю...

Громко застучали во входную дверь. Бросил кому-то:

— Погляди, кого несет... Так вот, я спрашиваю: кому эти дерьмовые облигации понадобились? Какая падла всю уголовку подняла?

Вспыхнул свет.

На пороге появилась... Соня в коляске, покрытая мокрым клеенчатым плащом. Ее вкатила Ирина. Второй фотограф, открывший дверь, изумленно смотрел на Слона. Тот не менее изумленно — на Ирину.

— Извините, — сказала она. — Я за фотографиями. Надеюсь, они готовы?

Озадаченные лица присутствующих. Мы их видели в городе. То там, то здесь: эта женщина выдавала «лежаки» на пляже, этот торговал прохладительными напитками, киоскер звукозаписей, вот постовой, что козырял в «стакане». Вот... Ирина смотрела на Сою. Ждала. А когда подняла глаза, то увидела, что все, привстав, смотрят в другую сторону. Она повернулась — возле раздернутой занавески стоял Ершов. За ним темный прямоугольник распахнутого черного хода. На левой ладони белел бинт.

Ирина, вздрогнув, рванула за спинку кресла, вылетела вместе с ним вон...

Ершов выбежал через черный ход. Возле него стояла «Волга». Боковое стекло было разбито... Взревел мотор мотоцикла. В сгущающейся темноте двора Ершов увидел мотоциклиста в яркой красно-белой куртке и шлеме. Мотоциклист газанул, и «Ява» с ревом вырвалась в створ ворот...

На забрызганном дождем сиденье «Волги» валялась газета. Ершов, включив зажигание, посмотрел: газета была сложена вверх таблицей «золотого» займа, выигравший номер серии 327611 обведен красным. Выругавшись, Ершов послал машину вперед

и, вылетев из ворот, увидел в конце улицы у поворота ухидившего на мотоциклете.

Рванулась вслед «Волга»...

Тормозили у фотоателье машины, устремились во двор. Выскакивали из них милиционеры с «калашниковыми».

...На противоположной стороне улицы коляска с Соней. Капюшон плаща упал с головы. Мокрые пряди прилипли к лицу, плечи передергивало неслышным плачем.

— Ищите! — кричал в трубку Дзикун. — Это же дети, понимать надо! У вас свои есть? Двое? Поздравляю... Ищите! Как своих! — швырнул трубку.

Достал из кармана стеклянную трубочку с таблетками, высыпал две, шагнул со стаканом к умывальнику за ширмой в углу кабинета. Вдруг швырнул таблетки в раковину. Открыл сейф. Вынул початую бутылку коньяку, налил в стакан, выпил, как воду.

— Разрешите?

Вошел знакомый нам молодой оперативник, на рукаве повязка дежурного. Дзикун едва успел захлопнуть сейф.

— Товарищ Дзикун, тут спецпочта Ершову...

Следом плотная девица в полувоенной одежде, на боку над тесноватой юбкой пистолет в кобуре. В руке портфельчик.

— ...А его нет.

— Давайте, — кивнул Дзикун.

Военизированная девица вынула из портфельчика объемистый сургуно опечатанный пакет и разносную книгу. Дзикун расписался: «принял».

— Должность проставьте, — велела девица и расписалась сама: «сдала». Прихватив портфельчик, вышла. Дзикун попросил оперативника:

— Вскрой.

Тот ловко ножичком, не повредив печатей, вскрыл пакет. Вынул толстую тетрадь в твердом переплете, похожую на бухгалтерский гроссбух, и листок с текстом на машинке — сопроводилковку. Дзикун зашарил в поисках очков — вот только были, расписывался...

— Из Иркутска, — сказал оперативник. Очки к черту запропалились!

— Читай!

— «На ваш запрос номер...»

— Дело читай! — нетерпеливо перебил Дзикун.

— М-м... «...Оперативной проверкой установлено: разыскиваемый гражданин Петраков В. В. у своей дочери Петраковой Е. В. не появлялся. Письма от отца последние два месяца Петракова Е. В. не

получала. Сведений о местонахождении его не имеет. Оперативными действиями задержана на почте пришедшая на имя Петраковой Е. В. бандероль, вложение в которую немедленно направляем вам срочной...»

Очки наконец нашлись, под рукой на столе лежали. Дзикун потянул к себе «гроссбух». Переплет был стар, потерт.

На страницах аккуратнейшим «писарским» почерком: фамилии, имена, даты рождения. И еще какие-то пометки, сведения...

Оперативник через плечо смотрел с любопытством. Дзикун перелистал страницы, увидел знакомые фамилии... «Поремба — лейтенант милиции. Дата бракосочетания... Дата рождения сына Виталия...»

Ершов выжимал из машины все, чтобы настичь уходящего по шоссе в темноту, за пелену дождя, мотоциклиста. Обгонял грузовики, частников, служебные «Волги». Отчаянно сигналил, вылетел на осевую.

И все-таки, кажется, мотоциклисту удалось оторваться...

Внезапно возникли фары гигантского грузовика. Он мчался навстречу тоже по осевой. Фары вспыхнули вдруг — лоб в лоб!

Ослепленный Ершов круто вывернул руль. Тормоза!.. Слишком велика была скорость... мокрый асфальт... «Волга» неудержимо пошла юзом. И, сметая ограждение, — вниз, под откос... В последний момент Ершов сумел выпрыгнуть из машины, распластался на обочине. Поднялся ошеломленный.

Как удар в лицо — свет фар! Он едва успел отскочить. Мощные фары светили с крестовины, укрепленной на передке мотоцикла... Никакого грузовика нет! Есть мотоциклист, который вновь мчится на него...

Ершов, волоча ногу, метался, как заяц. Слепящий свет фар преследовал его.

— Стой!.. — кричал он. — Стрелять буду! — рвал из-под пиджака, из кобуры пистолет.

Но мотоциклист не отступал.

В этот раз Ершову уже было не вернуться...

Откуда в последнюю долю секунды возник Генка? Из дождя, из мглы...

Отчаянным усилием заслонил собой Ершова... Вскрикнув, мотоциклист каким-то чудом успел отскочить. Пролетел, задев... Мотоцикл врезался в придорожный столб. Звон... Темнота.

Потрясенный стоял Ершов. У его ног на мокром асфальте навзничь — недвижный Генка. Дождь бил по телу, смывая грязь.

Полз от разбитого мотоцикла мотоциклист в бело-красной куртке. Девушка с залитым кровью лицом... Ирина...

Рвануло вниз, под откосом. Пламя

взметнулось, лизнув шоссе... Вой сирен. Синие мигалки.

Раннее утро. Солнце еще не встало, но небо уже просветлело над морем.

Милицейский сержант щедро поливал из толстого черного шланга замшелый булыжник, которым был вымощен двор фотоателье. Вода сбегала в каменный желоб грязно-красная, мутная.

Другой милиционер сметал в кучу, как осенние листья, стреляные гильзы. Двое подцепляли тросом остов сгоревшей машины.

На улице возле фотоателье стоял «пи-кап» с кипой оконного стекла в дощатой упаковке, возле разбитой витрины ателье — верстак. Алмаз с провизгом резал стекло: окна частью были выбиты полностью, в других чернели лучистые пулевые пробоины. Двое в спецовках заделывали цементом глубокие оспины в штукатурке.

Шелкал фотоаппарат — снимали меловой абрис фигуры на асфальте. Таких абрисов было несколько.

Дзикун допрашивал Ирину в больнице. Она лежала в бинтах, отвернувшись к стене. Глухо, через силу, звучали слова:

— ...Едва задела... я не могла... нет...

— Не выдержало сердце, — тихо произнес Дзикун. — В двадцать два года... Он уже мертвым упал на шоссе.

Казалось, она никогда не заговорит, но послышалось из-за подушки отчаянное:

— И спас убийцу...

— Он спас тебя.

Ирина с трудом повернулась. Из-под бинтов сухо блестели глаза:

— Зачем?

Не ответил на это Дзикун. Сказал:

— Ультиматум ты ловко придумала. Надо же: самой себя похитить!

— Чтобы до конца убедиться. Смутно давно чувствовала. А тут вдруг все сразу связалось. Лариса... Это я ему о ней сказала. Простить не могу... Запертый дипломат. Записка о Ванечке. Это главное. О ней знали лишь трое: отец, мать и... он. Он записку в тюрьму подослал, чтобы выманить. Боялся отца. Разоблачения.

Дзикун слушал, не перебивая.

— ...Я потребовала облигации. Он решил: кто-то из его шайки под него копает... И пришел... — попыталась подняться, пронзила боль, едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть. С ненавистью сказала: — Уцелел. Нет Божьего суда...

— Есть правосудие, — вздохнул Дзикун. — Отца Леонида знаешь?

— Что с ним?

— Просил передать. — Дзикун вынул из портфеля образок.

Ирина приняла левой рукой, правая была перебинтована.

— Скорбящая Божья Матерь... А я и перекреститься не могу.

— Скорбящая, — повторил Дзикун. — Сына отдала ради людей... Только впрок не пошло.

Снова полез в свой объемистый портфель. Вынул «гроссбух».

— Сидел человек. Много лет. Сидел, регистрировал, собирал... — Открыл на закладке.

— Десятое мая... мой день рождения... — глядела, не понимая.

— ...«Кудинов — юрист третьего класса. Дочь Ирина. Ждали сына: Ванечку. Скандаль».

— Погодите... Что это?.. Он... Ершов... В загсе скандал устроил. Мне мама...

— Да. И знал это еще один человек, — прихлопнул по «гроссбуху». — Ты шла по верному пути, а потом свернула.

Она наконец что-то сообразила:

— Петраков?.. Он работал в загсе...

— Всю жизнь. И все, что могло пригодиться когда-нибудь, сюда заносил... Вот твой отец уже советник юстиции, городской прокурор... А вот ты — уже паспорт получила... Все у него записано... Каждое лыко в строку... — Перелистнул страницу. Помолчал. — Последняя запись — третьего августа... Смертная.

— Он же улетел!

— Никуда не улетел. Инсценировал отъезд и лег на дно. Но ты его тряхнула ультиматумом. Собрал всех на разбор. Мы их прихлопнули... Кроме самого. Не оказалось его там. Ищем.

Она мучительно думала, пыталась осознать:

— И что же... записку отцу... «Доверься...»

— Он, — кивнул Дзикун. — Безусловно, он. Если б не Полунин, все могло по-другому повернуться... Мешал им прокурор Кудинов. Сильно мешал...

— А Ершов... — перебила она. — Что же Ершов?

Не сразу ответил Дзикун.

— Виновен. Поверил, что лучший друг — преступник.

— Невинно убиенный... — прошептала. — Папа...

— Доказать это сможем, когда Петракова возьмем.

— А Ершов? — Ирина резко поднялась.

— Ты лежи, лежи! — испугался Дзикун.

— Он в стороне? — Ее было уже не остановить. — Лжете!.. — пыталась отогнать то, что приоткрылось... — «Вспомни, как мы ждали Ванечку...» — Не забыл... Соня про руку... про бинт... Лжете! С ним заодно...

Вошла медсестра, спросила:

— Набеседовались? Пора на перевязку. Дзикун поднялся.

— Нет, погодите... Вы ответьте! Он же пришел!

Сестра, присев на постель, взяла ее забинтованную руку:

— Ну-ка, покажи.

Но Ирина вдруг отняла. Смотрела на бинт с темным пятном так словно видела впервые...

— Господи...— вырвалось у нее.

— Фотоателе у Павла Сергеевича Ершова уже под подозрением было,— сказал Дзикун.— Просчитал верно.

— Он...— поняла наконец.— Он... спасти меня кинулся?

Обессиленно упала на подушку. Дзикун, медсестра. Образок на тумбочке... Расплывалось в глазах темное пятно на бинте, заслоняло мир...

— А я все думаю... почему он не стрелял...

— Он узнал тебя.

Ирина смотрела куда-то мимо Дзикунa. Молчала, не понимая происходящее, пожилая медсестра.

— Скажите...— прошептал Дзикун.— Как же надо жить, чтобы они нам верили?

— Я верила,— отозвалась Ирина.— Отцу... Сколько мне дадут?

Окно в палате было зарешечено. Допрос шел в тюремной больнице. От тяжелого взрыва задрожали стекла. Скакнула вверх косяя трещина...

В широко распахнутых глазах колебались отблески огня. Глаза были стеклянными. В темной воде бассейна плавали девчончьи куклы. Много, десятка полтора... Сверху на асфальт рухнули две детские коляски. Пластиковый верх на них был изъеден жаром, отлетевшее колесо покатилося по дуге и, подскочив, ударило Ершова под колено. Он, поморщившись от боли, отшвырнул палкой, на которую опирался. Рядом хлопотали пожарные, развертывая дополнительные рукава.

Весь тротуар и проезжая часть возле универсама были завалены побитыми, раздавленными, обгорелыми игрушками, картонными упаковками. Выгорела половина верхнего этажа — детский отдел. Из прокопченных дыр окон валил густой бело-серый дым. Подъехала «Волга», в ней — Дзикун. Прихрамывая, подошел Ершов:

— Нам пока здесь нечего делать,— сел в машину.

— Привет от Петракова? — спросил Дзикун.

— Очень может быть... Хотя пожарники уверяют, что тут проводку лет десять назад надо было менять.

— Выходит, концов, в сущности, нет. Так... касание воздуха...

Вечерело. Катил по шоссе «жигуленок». За рулем примелькавшийся нам молодой оперативник. Ехал, насвистывал что-то, выставив локоть в окошко с опущенным стеклом — обдувало ветерком.

У поста ГАИ мотоцикл с коляской, патруль — двое с автоматами. Махнули жезлом: «Остановиться!» Подошел патрульный, второй чуть поодаль — автомат на изготовке.

— Документы!

Оперативник послушно полез за удостоверением, но патрульный уже узнал его.

— А! Здорово, гражданин начальник. Проезжай.

— Службу блюсти надо,— оперативник развернул удостоверение.

— Ладно. Не задерживай. Работки вы нам подбросили — каждую машину из города проверяй!

— Первую заповедь социализма слышал? Кто не работает, тот не ест,— молодому оперативнику явно хотелось поболтать.

— Это еще апостол Петр сказал... Давай! — махнул жезлом патрульный. Второй уже останавливал идущую из города машину — огромный рефрижератор.

...Ушло от шоссе, отодвинулось, скрылось в дымке море. Где-то впереди замаячило полотно железной дороги.

— Девки, где вы? — пропел оперативник.— А мы тут!

Что-то зашевелилось, зашевелилось за передним сиденьем. С пола машины, откинув нечто прикрывавшее его, с трудом поднялся лысый старик... Его мы видели на оперативной видеопленке. Василий Васильевич Петраков...

— Мент паршивый! — проговорил он.— Нарочно долго мучал? Не разогнуться...— ему «вступило» в спину.

— Три к носу,— отозвался оперативник. Впереди был полустанок, тот самый, первый за городом, где остановка — минута. Показался поезд. «Жигуль» рванул на предельной скорости. Охнул опять Петраков, заняв локоть перебинтованную по локоть руку.

— А с рукой что? — поинтересовался опер.

— Экзема привязалась, проклятая. Все от нервов, знаешь, один триппер от удовольствия.

— Теперь еще и СПИД,— усмехнулся опер.

— Все-то ты знаешь,— прищурился ему в затылок Петраков.— А вот когда встретимся, не спрашиваешь.

— Когда встретимся?

— Я тебя сам найду.

— Потому и не спрашиваю.

Поезд уже подходил к полустанку. «Жигуль» встал, не доезжая. Петраков, кряхтя, вылез. Обернулся:

— А за бандерольку ту, иркутскую... я еще с тебя спрошу...

И исчезла наигранная безмятежность на лице молодого. Ненавидя, по-волчьи смотрел в спину старику, с потертым чемоданчиком трусящему к поезду. Кончалась минутная стоянка...

— Ветер справа, примерно семь метров в секунду! — торжественно произнес Мишка. — Вариант номер три. Зажигается с одной спички!

Костерок был разложен в глубине пляжа в вырытой ямке — шалашик из сухих сучьев акаций, щепок, внутри смятые газеты, бумага. Сидел на песке Ершов. Поодаль стояла машина.

Мишка чиркнул спичкой. Закурился беловатый дымок, тут же снесенный песчаной пылью, гонимый легким ветерком. Когда казалось, что костер уже не загорится, огонь весело вспыхнул, заиграл внутри шалашика, поджигая ветки.

— Ловко! — похвалил Ершов.

— Служу Советскому Союзу!

Ершов улыбнулся.

— Только когда такие слова говоришь, вставать надо... — пошевелил палкой щепки. — Молодец... Кто же тебя так ловко научил?

— Товарищ младший сержант дядя Гена!

Ершов поднялся, опираясь на палку. Из-за облаков, серой крышей висевших над морем, вывалилось закатное солнце.

— Поехали, Миша.

— Не! — возразил Мишка. — Сейчас зеленый луч может быть.

Удивился Ершов, поглядел в море, где пылающее светило медленно тонуло в зубчатом, как мелкая пила, горизонте — там ветер гулял вовсю и ходили нешуточные волны.

— А про зеленый луч... Это тоже младший сержант?

— Ага. Он книжку читал. Когда маленький был...

Море и небо перед Мишкой колебались, расплываясь в радужной слезной мути. До боли в глазах таращился, ждал зеленый луч...

Присев на корточки, Ершов смотрел в огонь...

— Стоп, снято, — негромко произнес знакомый голос Полунина.

От стены полуразрушенной станции шел к микроавтобусу Полунин, за ним оператор с видеокамерой.

— Что сказал Маклай-Миклухо?

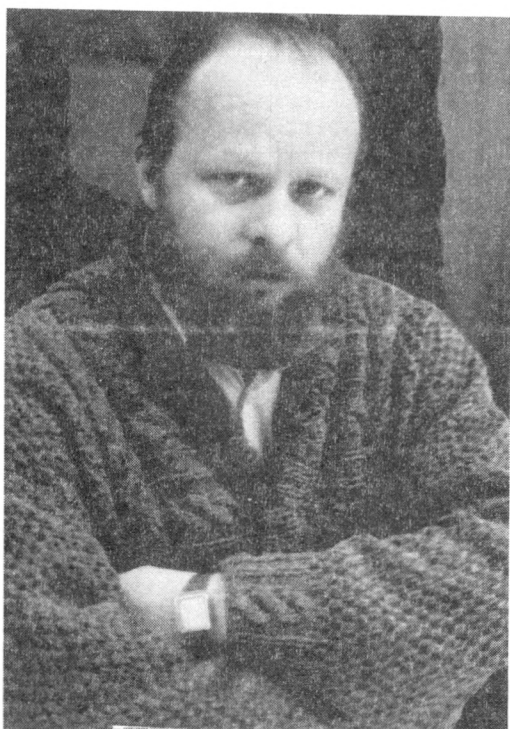
— Не промажет наш Полуха, — не задумываясь ответил оператор.

Полунин весело прихлопнул его по спине.

Ершов все смотрел в огонь, смотрел, как бьется пламя костра, как разваливаются, превращаясь в прах, уголья.

1990 г.





**Евгений
КОЗЛОВСКИЙ**

КАК ЖУЕТЕ, КАРАСИ?..

Титр сразу после марки студии:

АВТОРЫ НАСТОЯТЕЛЬНО ПРОСЯТ — ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ И ОБИД — ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ, ЧТО ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ ОНИ РАССКАЖУТ, ВЫМЫШЛЕНА ЦЕЛИКОМ, ОТ ПЕРВОГО КАДРА ДО ПОСЛЕДНЕГО, И НЕ ТОЛЬКО НЕ ПРОИСХОДИЛА В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, НО ПРОСТО И НЕ МОГЛА ПРОИЗОЙТИ.

Что, впрочем, очевидно и само по себе.

Из старенькой «Спидолы» почти лишенный электроникой обертонов, но отлично поставленный голос с театральными интонациями декламировал монолог пушкинского Скупого:

...Кажется, не много,
А скольких человеческих забот,
Обманов, слез, молений
и проклятий
Оно тяжеловесный
представитель!..

Полковник выпил коньяку, постоял, прислушиваясь не то ко вкусу спиртного, не то к голосу из приемника, аккуратно вымыл рюмку под ржавым умывальником, укрепленным в углу летней дачной кухоньки, и через тесный огороженный двор вошел в дом.

Открыл шкаф, снял с плечиков парадный китель, украшенный джентльменским набо-

ром правительственных наград, а также петлицами и кантом того небесно-голубого цвета, под знаком которого пекутся о гражданах нашей страны вот уже без малого две сотни лет. Отразившись в зеркале и после мелких коррективов отражение одобрив, Полковник, позвякивая медалями, вернулся во двор.

Участок круто сходил к реке, и дальний угол небольшого дачного дома поднимался над землей на кирпичном фундаменте на добрые полтора метра. В кладку фундамента, защищенная от непогоды и любопытных глаз дощатым тамбурком, была вмонтирована массивная стальная дверь с рычагами-запорами и сейфовыми маховичками. Полковник вошел с ним, а из кухни чуть слышно несло:

Когда я ключ в замок влагаю,
то же

Я чувствую, что чувствовать
должны

По идее и при участии Софьи Милькиной.

Они, вонзая в жертву нож:
приятно

И страшно вместе.

Дверь плавно, тяжело отошла. Полковник щелкнул выключателем, но свет не зажегся. Выругавшись под нос, принялся шарить в пыльной нише. Фонарик выскользнул из пальцев, упал на ступени, покотился. Звякнуло, осыпалось разбитое стекло. Брезгливо отряхивая с кителя пыль, Полковник резко направился к кухне, выдвинул ящик стола.

Я царствую!.. Какой волшебный
блеск!

Послушна мне, сильна моя
держава:

В ней счастье, в ней честь моя
и слава!

Голос из «Спидолы» раздражал, и пришлось его заткнуть. Тут же нашелся и огарок. Полковник вернулся к подземелью, запалил фитиль и в свете неровного, колышущегося пламени, прикрываемого ладошкой, спустился вниз.

Стеллажи каталогов и низкие тяжелые шкафы с основательностью порядка заполняли бетонированную подвальную комнату. Примостив огарок, Полковник нацелился взглядом и выдвинул узкий, длинный ящик. Пальцы перебирали карточки, губы беззвучно шевелились.

Неизвестно откуда возникший порыв ветра задул пламя, и на оставленной им черноте возник заглавный титр картины.

Китель висел на спинке стула. Полковник сидел уже наверху, в доме, у письменного стола и заполнял стандартные повестки, вызывающие на допрос: вписывал фамилии, сверяясь с карточками из каталожного ящика, проставлял время, тут же делая пометки на перекидном календаре 1990 года, а адрес «Ул. Дзержинского, 14» аккуратно зачеркивал, чтобы вписать вместо него: «Пос. Становец, ул. Садовая, 6».

Поверх этой неторопливой, долгой работы успели пройти все оставшиеся титры.

Исцарапанная, в неаккуратных склейках черно-белая восьмимиллиметровая пленка... Гуляет фокус, проявляли неравномерно, в некоторых углах помещения не хватало света, рука оператора, явно находившегося в подпитии, была не всегда верна. Скорость съемки нестабильна, и любительская же фонограмма то отстает от изображения, то обгоняет его... Фильм тем не менее дорог нам своей документальной уникальностью: на одной из дачных вечеринок конца шестидесятых — начала семидесятых поет Галич.

Стол уже разорен. Публика смешанная: тут и более чем преуспевающие либералы, и занюханные диссиденты, и молодежь, даже какой-то явно партийного вида чин, прибывший на солененькое, снисходительно развалился в плетеном кресле. Оператор неумел, ему кажется скучным слишком долго оставаться на одной и той же фигуре, пусть фигура — сам Галич, — это дает нам возможность не только рассмотреть лица слушающих — многих из них, постаревших, мы встретим в фильме его героями, — но даже ознакомиться с законным пейзажем.

А в пейзаж вписан тот самый дачный дом, с которого мы начали картину — только он еще строится: какие-то солдаты роют глубокую яму, там уже где-то стены, там — стропила, и расхаживает рядом совсем на вид молодой наш Полковник в штатском.

А поет Галич следующее:

Непричастный к искусству,
Не допущенный в храм,
Я пою под закуску
И две тысячи грамм.
Что мне пениться пеной
У беды на краю?!
Вы налейте по первой,
А уж я вам спою!
А уж я позабавлю,
Вспомню Мерю и Чудь.
И стыда ни на каплю.
Мне не стыдно ничуть!
Спину вялую сгорбя,
Я ж не просто хулу,
А гражданские скорби
Сервирую к столу!

— Как живете, караси?

— Хорошо живем, мерси!

Сребровласый английский джентльмен, чьего платья легко коснулась рука благой бедности, Полковник появился из подземелья метрополитена прямо возле Известного Здания, фасад которого и предстояло миновать. У главного подъезда ласково, почти неслышно урчал мотором лаково-серый «ЗИЛ», поджидая кого-то из Самого Высокого Начальства. И действительно: не дошел Полковник до «ЗИЛ» всего десяток шагов, как тяжелая дверь подъезда отворилась адъютантом, и Важный в Штатском проследовал к лимузину. Полковник замер, замер и Важный в Штатском: на мгновение или, во всяком случае, ровно на столько, сколько понадобилось обменяться весьма пронзительными взглядами. Часовые напряглись, адъютант сунул руку под мышку.

«ЗИЛ» мягко отплыл, часовые опали, Полковник пошел к Пушечной, на углу которой остановился. Извлек из внутреннего кармана пачку давешних повесток и аккуратно, одну

за другую, отправил в мрачное чрево почтового ящика с раскрашенным гербом державы на передней металлической стенке.

На углу Кузнецкого несколько человек разного пола и возраста, однако чем-то неуловимым для Полковника объединенных, торговали газетками ДС и каких-то еще Блоков, Союзов, Партий. Один из газетчиков особо привлекал взгляд. Точно: на приветливый полковников кивок как-то слишком уж независимо отвернулся, как-то чересчур. Полковник не счел для себя унижительным сделать к знакомцу шаг-другой, достал рубль и потянулся к газетке.

— Неужто не узнаете?

— Отчего же, — не вдруг отозвался Газетный Продавец. — Просто считаю ниже своего достоинства... — не нашелся как закончить гордую, однако несколько суетливую фразу.

— Эх, — посетовал Полковник, разворачивая газетку и пробегая взглядом жирный заголовок «Злодеяния КГБ» и подзаголовок помельче «Страшная приемная». — Всегда б вам столько независимости!

Дээсовец помрачнел, посуrowел, передвинул пачку товара куда-то за спину. Полковник нежно дотронулся до локотка Газетного Продавца. Продавец одеревянел и безропотно повлекся рядом. А Полковник, всего два-три шага-то и пройдя, остановился у ничем не примечательной двери и положил на нее ладонь, как бы впитывая идущую сквозь дерево радиацию.

— Вот здесь она и была, эта самая страшная приемная. Справочная...

Голосом Полковника владела глубокая печаль, и Газетный Продавец вышел из ступора, отстранился весьма агрессивно и, оглянувшись по сторонам, сказал-спросил подчеркнуто громко:

— Запугиваете?

— Вас запугаешь, как же! — едва не поклялся Полковник со смеху.

Ирония, однако, пропала даром: Дээсовец исчез, как бы растворился в воздухе. Полковник, впрочем, не слишком обескураженный этим обстоятельством, двинулся дальше в толпе Кузнецкого, отмечая взглядом то тут, то там расклеенные листовки.

Посреди бурлящего книжного рынка остановился на минутку, повертел в руках Набокова, Солженицына, поинтересовался ценой...

Друг среди жучков произошло шевеление, рынок в мгновение как-то сам собою рассосался. Полковник обернулся: приближался милицкий наряд.

— Старший лейтенант! — подчеркнуто громко окликнул Полковник возглавляющего наряд сержанта и неудержимо весело спросил: — Перешли в милицию? Да еще с таким

понижением?!

«Сержант» пробуравил Полковника серым взглядом и бросил через губу:

— Паец!

Как бы в рифму к тому, дачному, подвалу спустился Полковник по крутой щербатой лестнице флигеля Рождественского монастыря и оказался в столярной мастерской.

— Иннокентий Всеволодович! — вскочил с табурета навстречу вошедшему хозяин: пьяненький, но очень интеллигентный, в синем таком, застиранном, аккуратно выглаженном халатике.

— Николай Юрьевич, — здороваясь, склонил голову Полковник.

Дышащий на ладан черно-белый телевизор доносил сквозь сетку помех очередное заседание сессии Верховного Совета. Депутат — проявив пристальное внимание, мы узнали бы в нем одного из дачных, с галичева концерта, гостей — страстно защищал Свободу Печати.

Мужчины постояли минутку молча, внимая оратору. Потом Полковник, очевидно соскучившись, прервал паузу:

— Готово?

— А как же иначе, Иннокентий Всеволодович?! Мы ведь уславливались. А слово джентльмена... — засуетился столяр: надел очки из халатного кармашка, полез за верстак, извлекая стопку обструганных, проморенных, лакированных дощечек. — Вот так соберете, — принялся прилаживать одну дощечку к другой. — Вот так... И вот сюда — клеим...

— Спасибо, спасибо, Николай Юрьевич, — прервал Полковник. — Не первый, слава Богу. Знаю, — и открыл «дипломат», где дожидалась момента гонорарная бутылка.

— Шестой сундук, сундук еще не полный? — вопросительно-улыбчиво пошутил пьяненький хозяин.

Шутка явно не понравилась гостю: он мгновенно подобрался, взгляд сделался жестким, тяжелым. Поставив на верстак бутылку, собрав дощечки под мышку, Полковник сухо кивнул и направился к выходу. Но Столяр преградил дорогу: обида высвободила механизм нетрезвой храбрости.

— Нет уж, постойте, Иннокентий Всеволодович! Не надо со мною так обращаться, будто эта бутылка... Не за бутылку я на вас работаю! И раньше работал — не за бутылку. Когда вы меня в свои пакости втащили... «жучки» ставить... микрофоны в табуретные ножки монтировать. Тут, может... — повертел Столяр в воздухе ладошкой, — тут, может, обида... сладость падения... А вы! Вас ведь прежде моя сообразительность очень даже устраивала... умение с полна-мек... А сейчас — дурачок удобнее? Кото-

рый поверит, что вы решили на старости лет составить каталог для домашней библиотеки. Я из уважения трепещу вас, полковник, — возвысил Столяр голос до страстно-риторических интонаций. — А отнюдь не... Куда меня ниже этого подвала запрут? Может быть, честь? — расхохотался смешному словечку. — Это вон этого, — кивнул через плечо на парламентария с экрана. — А я уж все... с т а б и л и з и р о в а л с я.

Полковник выслушал монолог молча, но, судя по примирительному резюме, с пониманием:

— Найдется кое-что и на этого.

— Вы уж не сердитесь, Иннокентий Всеволодович, — услышав примирительную нотку, вернулся Столяр к привычной уважительности. — Только так тоже нельзя, — и, отойдя к верстаку, откупорил водку. — Тоже все-таки человек. А бутылка что? Бутылка — это...

Сейчас Полковнику уже неловко было уйти вот так просто, и он едва ли не с ужасом наблюдал, как разливает Столяр жидкость по двум весьма нечистым стаканам, как освобождает от станиолой плавленый сыр, разламывает его надвое.

— Прошу, Иннокентий Всеволодович.

Полковник подошел к верстаку, взял в руку стакан и с очевидной брезгливостью поднял.

— Сопьетесь вы, Николай Юрьевич. Вот ей-Богу — сопьетесь...

Возле гостиницы «Москва» волновалась толпа народа человек эдак на сто. Полковник остановился, с ироническим любопытством читая плакаты насчет турок-месхетинцев, насчет беженцев-армян, насчет какого-то провинциального начальства, и тут подкатила «Волга». Деловой, подтянутый, целеустремленный, с красным эмалевым флажком на лацкане, вышел Депутат в сопровождении двоих шестерок и смело направился в народ. Полковник по случаю оказался на пути Депутата.

— Здравствуйте, Иннокентий Всеволодович, — автоматически, машинально поздоровался как-то вдруг сникший, сдувшийся Депутат.

— Добрый день, Александр Александрович, — несколько брезгливо улыбнулся Полковник.

— Меня поджидаете? — ужас нарисовался в депутатских глазах.

— Сегодня — нет.

— А-а... — с явным облегчением выдохнул Александр Александрович. — Очень рад, оч-чень! Всего доброго, — и, снова весь подбравшись, обретя уверенность, вклинился в толпу, тут же обступившую его с надеждами.

Выйдя из лифта, Полковник неловко поместил под одну руку и «дипломат», и каталожные дощечки, а другою на ходу выкапывал из глубокого брючного кармана, из-под полы плаща связку ключей. Замок щелкнул, дверь подалась, но недалеко, удержанная цепочкою. Посыпавшиеся на пол дощечки усугубили раздражение Полковника, выразившееся в слишком уж настойчивом, нетерпеливо-прерывистом звуке звонка. Полковник давил на кнопку до тех пор, пока, раскрасневшаяся, возбужденная, смущенная, не появилась в дверной щели прелестная и юная девушка, одетая одним легким халатиком — и тем явно заброшенным только что, впопыхах.

— Ой! Полковник! А что, разве сегодня уже вторник? Господи!

— Так вот и будешь разговаривать, через цепочку? — мрачно осведомился Полковник, с колен собирая дощечки.

— Полковник, миленький! — Прелестная и Юная выскользнула на площадку и повисла на Полковнике, в результате чего дощечки снова оказались на полу. — Полковник, я совсем с ума съехала! Влюбилась как дура! Как полоумная! Ты не сердись, а... Он хороший, правда-правда! Он такой... хороший!

Снова собрав дощечки, размягченный поцелуями Внучки, однако изо всех сил стараясь сохранить видимость суровости, Полковник взялся за дверную ручку.

— Полковник, любименький! — повисла прелестница на Полковнике, — не обижайся, пожалуйста! Не заходи, а... Я обед тебе все равно не приготовила.

Полковник сделался мрачен по-настоящему, оцепенел на миг и, решительным движением плеча отстранив Внучку, зашагал к лифту. Прелестница бросилась вослед, и полы взлетели, распахнулись, подтвердив нашу догадку, что под халатом ничего на Внучке надето не было.

— Ты не прав, полковник, слышишь?! Просто такой момент. Неужели ты хочешь увидеть его... смущенным? Подавить, да? Чтоб он всегда при тебе?... Он ведь не виноват. Это я ошиблась. Я с ума съехала — и пропустила вторник. Я пообещала ему, что мы будем одни, совсем одни, что никто не придет. Мы завтра к тебе заявимся, правда-правда. Вы познакомьтесь. Он тебе обязательно понравится. Ну полковник, слышишь, а?!

Полковник стоял лицом к лифтовой дверце, ждал кабины и на внучкины горячие речи внешне не реагировал. Из-за двери квартиры робко, однако в полной готовности броситься на защиту подруги, выглядывал Юноша немногим старше прелестницы. Рука его нервно застегивала пуговицы на рубашке.

Лифт наконец явился. Полковник шагнул

в него и сразу же нажал кнопку, так и не обернувшись. Когда дверцы за спиною схлопнулись, Полковник выпустил из рук и дощечки, и «дипломат», закрыл глаза ладонью, словно от спазма головной боли, и буквально простонал:

— Господи.. Второго раза я не-пе-ре-жи-ву...

Вывески на дверях не было, окна-витрины плотно зашторены изнутри. Десятка полтора стариков и старух — так казалось в массе, на первый взгляд, возможно, из-за некоторого неуловимого стандарта в одежде; в действительности же встречались тут люди и вполне крепкие, никак не старше шестидесяти, да вот хоть бы и наш Полковник, — терпеливо ожидали времени, кто — группируясь по двое, по трое и тихо переговариваясь, кто, как Полковник, — стоял гордо и одиноко. Один из этих, сравнительно молодых, подошел к заведению нервный, порывистый, возбужденный, чем сразу и выделился из подчеркнуто смиренной толпы. Потрясая сложной вчетверо изнанкою наружу «Правдою», обратился к Полковнику:

— Посмотрите, нет, вы посмотрите, что делают! Уже читали?! На кого замахнулись! Не остановить их — все рухнет!.. Вот как пить дать!

Полковник стоял демонстративно индифферентно, как бы глухой, и Правдоносцу ничего не осталось, как с тем же монологом, только подбавив еще праведного возмущения в интонацию, перейти к кому-то следующему, потом — следующему за следующим... Неизвестно, сколько бы так продолжалось и чем закончилось, когда бы не отворилась таинственная дверь и не втянула в свой проем ожидающих.

Показав пропуск элегантной даме в белом халате — хранительнице этой закрытой столовой-музея для отставных аппаратчиков второго разряда, Полковник оставил на вешалке дощечки и плащ и устроился у стены, за угловым, на двоих, столиком, к залуцу спиною.

Он жевал поднесенный подавальщицею салат, когда стул напротив скрипнул под тяжестью некоего пришельца, столь же нестарого и столь же мрачного. Полковник нехотя приподнял лицо.

— Иннокентий Всеволодович? Вот уж не ожидал!

— Иван Алексеевич? — Полковник узнал визави, улыбнулся саркастически, но вместе и сочувственно. — Значит, тоже до генерала не дотянули? В штатском исчислении.

— Как видите, — развел руками Иван Алексеевич. — А вы-то как же в отставке оказались?

— Так же, как и вы, Иван Алексеевич,

так же, как и вы. Засвечен. Начальство кость бросило, — показал на себя. — Подопечные, знаете, расхрабрились да и тиснули статью в «Огонек». Свою, впрочем, роль обошли весьма искусно. А вы сами посудите: кто я без них? Чем занимался бы? За что жалование получаю?

— Ай-ай-ай, — покачал головою, поцокал сочувственно языком визави.

— Ну ничего, — улыбнулся Полковник. — Ничего. Шестой сундук, сундук еще неполный...

— Что? — переспросил состояльник.

— Я, — пояснил Полковник, — к такому повороту готов давно, — и отправил в рот очередную порцию салата.

Электричка подошла к «Стахановцу» уже на склоне дня. Полковник, пропыленный, усталый, расстроенный, с нелепыми дощечками под мышкою, брел по Садовой. Сквозь сиреневую дымку вечера за ним наблюдали двое из притаившихся между дачами «Жигулей».

— Во, во, видишь! — толкнул локтем молодого, налитого силою Джинсового Усача опустившийся Забуддыга лет под сорок. — Во, снова доски таранит! А для чего они ему, а? Скажи, для чего? Смекаешь? А подвал там знаешь какой солдаты вырыли?! Мальчишками были — лазили. Его если, скажем, картошкой загрузить — до коммунизма до самого хватает. Ха-ха. Шутка, конечно. И дверь, как в бомбоубежище. Видел, да? Видел? И вообще — генерал, а смотри, как одевается. Машины опять же нет — электричкой. Смекаешь, говорю? — и снова ткнул Усатого локтем.

— Я тебе сейчас потыкаю, свинья, — чуть слышно, сквозь зубы, оборвал Джинсовый.

— Да ты чего? — обиженный и испуганный, притих Забуддыга. — Я тебе, понимаешь... как договаривались... а ты...

— Заткнись, — так же спокойно возразил Джинсовый. — На вот, — протянул Забуддыге зелененькую, с Лениным, — и вали. И мы с тобой никогда в жизни не виделись, понял?

— Да понял я, чего ты, все путем, — ретировался довольный добычею Забуддыга. Усатый даже не взглянул на него.

Полковник повозился у калитки, скрылся за нею. Потом, спустя мгновения, загорелись окна его небольшого дачного дома.

Усатый запустил мотор.

И снова продолжилась та, восьмимиллиметровая, пленочка. Галич пел:

...Заходите, люди добрые,
(Боже правый, помоги!)

Будут песни, будут сдобные,
Будут с мясом пироги!
Сливы-ягоды соленые,
Выручайте во хмелю.
Вон у той — глаза зеленые,
Я зеленые люблю!
Я шаражну рюмку первую,
Про запас еще налью,
Песню новую, непетую
Для почина пропою:

«Справа койка у стены,
слева койка,
Ходим вместе через день
облучаться.
Вертухай и бывший
«номер такой-то»,
Вот где снова довелось
повстречаться!
Мы гуляем по больничному
садику,
Я курю, а он стоит
«на атасе»,
Заливаем врачу-волосатику,
Что здоровье — хоть
с горки катайся!
Погуляем полчаса с вертухаем,
Притомимся и стоим, отдыхаем.
Точно так же мы «гуляли»
с ним в Вятке,
И здоровье было тоже
в порядке!
Справа койка у стены,
слева койка...»

Галич поет хрипловатым своим голосом, крутясь белые звезды кассет на старомодной «Яузе-5», кто ест, кто пьет, кто тихо слушает, а за окном все расхаживает помолодевший на пару десятков лет Полковник да рюют солдаты глубокую ямищу...

Если не считать превосходно, с большой любовью оборудованного подвала, с которым мы уже имели случай свести знакомство, единственной роскошью скромной в остальном полковничьей дачи были великолепные розы — под них ушла вся свободная земля участка. В респираторе, в полиэтиленовом фартуке и специальных рукавицах Полковник и занимался ими в это счастливое погодою, не слишком, правда, уже раннее летнее утро: с помощью хитрого какого-то аппарата что-то опрыскивал, удобрял ли, защищал от вредителей, лечил от болезни... Шум подъехавшего автомобиля вывел Полковника из сосредоточенности, с которой он общался со своими любимцами. Дверца машины хлопнула за забором. Полковник бросил взгляд на часы, а с них — раздраженно-вопросительный — перевел на калитку и, отставив аппарат, замер в ожидании стука. Который тут же и последовал.

— Открыто! — крикнул Полковник и увидел элегантно одетого, самоуверенного по внешности Карася — того самого Парламентского Оратора, чья речь в защиту Свободы Печати привлекла ненадолго полковничий взгляд к подвальному телевизору в столарке.

— Сколько мне помнится, — продолжил Полковник, — я приглашал вас на одиннадцать. — И в сторону, почти себе под нос. — Поразительный зуд.

— У меня в десять заседание Верховного, буквально, Совета, а ваша... ваша... повестка... — Карась постарался вложить все доступное ему брезгливое презрение в это слово и даже подкрепил его не менее презрительно-брезгливым жестом сжимающей двумя пальцами повестку руки, — ваша п о в е с т к а, если я, буквально, не ошибаюсь, не является официальным документом, который... скорее дружеское приглашение, и я, буквально... — презрение Карася начало иссякать, обнаруживая под собою растерянность и страх.

— В смысле дружеского — разумеется, ошибаетесь, — ответил Полковник, сполна насладившись карасевой паузой, — мы с вами не дружили никогда, да оно, в сущности, и невозможно. — Карась молчал. — А что касается формальной, правовой, так сказать, необязательности... — Полковнику, кажется, вполне уже достало и факта появления Карася, и его поведения, так что теперь вместо очевидно скучной беседы хозяин явно предпочел бы продолжить занятия свои с розами, — вы и впрямь совершенно свободны, — и Полковник подошел к калитке, распахнул ее настежь, вернулся к цветам.

Карась стоял в нерешительности.

— Вам, очевидно, пришло в голову, — отвлекся Полковник от бутона «баккара», — что и я, сделавшись лицом частным, более чем когда-либо свободен в частных своих поступках? Которые мне особенно облегчаются вашими же стараниями в области неограниченной Свободы Печати, — так и выделил две начальные буквы.

— Это что же, шантаж? — проглотив информацию вместе со вставшим вдруг в горле комком, хрипло выдохнул Карась. — Буквально?

— Помилуйте! Какой шантаж?! Как вам и слово-то такое пришло в голову?! Разве я чего-нибудь от вас требую? Ну... кроме вот этих вот... легких... невинных... бесед. Которыми вы, кстати, вспомнить, никогда прежде не брезговали, ничего эдакого... не выказывали, даже инициативу проявляли. С чего мне было решить-то, будто ходите ко мне не в охотку? Сами посудите: по тем временам ни в тюрьму вас посадить, ни расстрелять невозможно у меня не было. А вы все ходили, ходили... Вот я, наивный, и поверил.

— Да нет, отчего же, — залепетал Ка-

расть. — Я с большим, буквально, удовольствием... с большим... с огромным, буквально, уважением...

— В таком случае — подождите до одиннадцати, — сухо бросил Полковник, снова натянул рукавицы и взялся за аппарат. — Там, за калиткою.

Розы были действительно великолепны. Крупная капля прозрачной влаги на лепестке одной из них слегка подрагивала, переливалась, преломляла солнечный луч. Карась, однако, все топтался на участке и ломал кайф.

— Но нельзя ли... — наконец решился таки подать голос, — нельзя ли... буквально, в порядке исключения?..

Полковник с искренним сожалением бросил прощальный взгляд на розовую клумбу, снял рукавицы окончательно и, развязав тесемки фартука, направился к уличному рукомынику.

— Ну Бог с вами. Только в другой раз я просил бы...

— А что, будет, буквально, и другой? — с робким ужасом возопиял Карась, исключительно усилием воли удерживаясь, чтобы не подать Полковнику полотенце.

— А как же! — широко, открыто улыбнулся Полковник и проводил гостя в дом. — Да вы проходите, проходите, — определил Карась на стул напротив своего следователяского стола, за который и уселся с выработанной годами привычной усталостью. — Как в старое доброе время. Станем встречаться, беседовать. Мне вас просто... недоставало бы.

— Но ведь так многое, буквально, переменялось! — попробовал возразить гость, на что хозяин позволил себе удивленно-ироническую гримасу. — И мы так давно...

— А-а-а!.. Понимаю! — догадался наконец Полковник и кивнул на депутатский значок. — Вы стали совестью нации, и теперь вам несколько неудобно...

— Ну уж, буквально, совестью... — замущался, закокетничал Карась. — Но все-таки. Верховный, буквально, Совет. Положение, если хотите, обязывает...

Неожиданно для нас — мы еще не видели Полковника таким, может, даже и не предполагали, что он таким быть способен, — Полковник стукнул ладонью по столешнице и очень жестко на Карася прикрикнул.

— А нечего было и лезть в совесть нации, козь вы знаете про себя, что доносчик! Избиратели ваши, правда, тоже могли б догадаться. Но они хоть догадаться, а вы-то знаете точно!!!

— Так ведь... все мы... — растерялся Карась. — Время было такое... Из кого ж тогда... С кем тогда и... Михаил Сергееч тоже ведь... не из диссидентов. Крайкомовский секретарь.

— Ну-те, ну-те, ну-те... — с едва ли не искренним, поощрительным любопытством затёкал Полковник. — Вы что, всерьез ощущаете на плечах бремя ответственности?! Вы всерьез верите в собственную власть?! Вы?!

— Но Иннокентий Всеволодович! — попытался возмутиться Карась.

— Гражданин полковник! — снова прикрикнул-пристукнул хозяин.

— Г-г-гражданин полковник...

Полковник не дал себе труда скрыть улыбку.

— Я... я, буквально... я слышал, что у вас там со службою... Так вот, по нынешнему своему положению... Я как раз, буквально, член комитета...

— Ваша информация обо мне интересует меня очень мало, — затруднил еще больше Полковник положение Карася. — Только о ваших друзьях, коллегах, любовницах... Как обычно.

— Я просто... вы не сердитесь, пожалуйста... — Карась собрал всю свою волю, чтобы держаться независимее. — Я хотел бы, буквально, предожить... выкупить все мои... буквально... сообщения.

— Если уж буквально — то доносы.

— Доносы, доносы, — согласился Карась. — У нас в комитете освобождается вакансия председателя... Цену, конечно, назначаете вы, но чтоб буквально... с распискою. То есть — гарантия...

Полковник взглянул на Карася довольно пронзительно и продержал свой взгляд, под которым Карась прямо-таки съежился, едва не минуту.

— Тысяч, скажем, пятнадцать, а? — спросил наконец.

— Да-да, конечно, буквально — с удовольствием, — рассвободился, разулыбался Карась. — Я даже буквально и до двадцати пяти рассчитывал.

— Какая вы все-таки мелкая, мерзкая дрянь, — констатировал Полковник. — Буквально. — И, как бы сам с собою размышляя, добавил. — Вроде бы и всего-то дел: ушел на покой, цветочки выращиваешь. Пенсия какая-никакая есть. А ведь как, падла, держится, как цепляется...

— При чем тут, буквально, пенсия? — посетовал Карась. — Позор-то, позор какой выйдет!

— Да бросьте, позор! Если б вы позора боялись, вы б тогда еще, двадцать лет назад, после первой нашей встречи руки на себя наложили... Ладно... Я и так потратил на вас времени больше, чем... вы того стоите. Вот бумага — пишите.

— Да я уж написал все. Вот, буквально, пожалуйста, — полез совершенно обессиленный, выжатый, уж не обмочившийся ли Карась во внутренний карман, откуда и

извлек пачку смятых бумажек.— Посмотрите. Достаточно подробно?

Полковник тоскливо сметнул рукавом, стараясь их не коснуться, бумаги в ящик стола и сказал:

— Свободны. И если еще раз попытаетесь предложить взятку...

Карась задом выпятился из дверей. Полковник вышел на крыльцо, брезгливым взглядом провожая подопечного до калитки: не обгадил бы, мол, чего,— а из нее уже припрыгивал навстречу очередной Карась, следующий: шумный, веселый, курчавый толстячок в очках с сильными линзами.

— Давненько мы с вами, Иннокентий Всеволодович!.. Давне-е-нько! Квартирку, стало быть, переменили. А и верно! Чем по гостиницам... Или в том, помните, клоповнике?.. Где лифт вечно ломался. А тут природа! Цветы! Благорастворение — ха-ха — воздухов!.. И глядите-ка: в открытую, повесточкой! Стало быть, и у вас эта... как ее... г л а с н о с т ь мощь набирает! Ха-ха-ха! А и то: чего вам стесняться?! А что, и этот на вас работает? — кивнул конфиденциально Второй Карась за забор, за которым хлопнула дверца и взревел обиженный автомобильный мотор.

— На нас, мой милый,— ответил Полковник, пропуская Второго Карася в дом,— работает практически вся страна. Именно в этом наша сила!

Продолжение беседы Полковника со Вторым Карасем мы увидим на маленьком переносном черно-белом мониторишке видеоманитофона, а содержание — впрочем, не в ущерб общему смыслу,— содержание так даже и не услышим, ибо эlegantный Молодой Человек, настраивающий с чердака соседнего дома камеру и специальный дальнобойный микрофон на съемку происходящего в полковничьем кабинете, заведет фонограмму на наушники. Когда Молодой Человек удовлетворится и картинкою, и звуком, и качеством записи, он снимет наушники, профессиональной укладкой спустится с чердака и минутою позже окажется в притаившейся в удобном закутке «Волге» в компании человека не менее эlegantного, хотя и несколько менее молодого. Окажется и доложит:

— Пишется, товарищ майор. Качество удовлетворительное.

На узкой Садовой, возле полковничьего дома, скопилось уже штук пять автомобилей: всё новенькие, блестящие, престижных моделей. Владельцы сидели за рулями, некоторые нервно покуривали, переглядыва-

лись, другие, напротив, старались вжаться в салон поглубже, чтобы не вдруг быть узанными.

Отворилась калиточка. Вышел Второй Карась — веселый, ехидный, улыбающийся, проинвентаризировал взглядом автомобилизированное общество и почапал к электричке.

Первый из очереди покинул машину, шагнул к калиточке, но из дальней «Волги» выскочил Некто в Штатском, чьи своеобразные шевелюра, борода и дородность наводили на мысль о рясе,— выскочил, перебежал дорогу Первому.

— У меня, понимаете...— шепотом пробасил.— У меня сегодня очень, понимаете, важная... служба... Сам, понимаете, Владыка обещал... Не могли б вы... чисто по-христиански...— Бормоча это, Бородач всем видом и поведением выказывал желание окантоваться у Полковника раньше остальных.

Первый стоял в нерешительности, как это, наверно, бывает, когда просят пропустить без очереди к зубному врачу, но тут оживились задние: загудели клаксонами, повысовывались из окон.

— У меня через час ученый совет!

— А у меня — репетиция!..

— Видите...— развел руками Первый и скрылся в калитке.

Бородач понуро поплелся к своей «Волге». Тот, у которого репетиция, высунулся из окна.

— А вы, батюшка, поезжайте. Чего ж на всякую дрянь внимание обращать? — и помахал повесткою.— Он, я слышал, вообще уже в отставке.

Бородач злобно покосился на советчика.

— Ты вот и поезжай. Такой умный. Меньше ждаться останется.

Из-за угла вынырнула блистающая «девятка», но, увидав автомобильное скопление, тут же и осеклась, остановилась, истерично попятилась назад да и села обоими колесами в канаву. Водитель загазовал, задергал туда-сюда рычаг передач, чем только усугубил положение «девяточки».

— Помочь? — крикнул, выходя из своего автомобиля, тот, у которого ученый совет, и двинулся к «девятке».

— Спасибо, спасибо, не надо, спасибо! — запричитал ее водитель, прикрывая лицо ладошкой.— Не надо!

Но обрадованные хоть таким развлечением ожидающие — кто пешком, кто и на машине — уже двинулись к потерпевшему.

Тогда он вытащил не слишком чистый платок, набросил на лицо и дал деру, словно нашкодивший мальчишка, оставив красавицу «девятку» на произвол судьбы.

— Стесняется,— пробасил в бороду Батюшка.

Как бы прогуливаясь, наблюдал за этой веселой катавасией давешний Джинсовый Усач и делал в блокнотик какие-то пометочки. Так же невзначай побрел прочь и, попетляв переулками, вышел к давешним же «Жигулям», на переднем сиденье которых поджидал его человек модно одетый и с жестким взглядом.

— Записал? — спросил у Джинсового, когда тот уселся за руль.

Джинсовый молча передал блокнотик.

Жестковзглядый склонился на записи, снял трубку радиотелефона, натянул кнопки номер.

— Рыжий? Из ГАИ еще не поперли? Ну-ну. В общем, слушай и пиши. Пишешь? Г 25-86 МК. Дальше. Н 18-19 МО. Михаил, Ольга. Дальше...

В центральной ГАИ у пульта большого компьютера девушка в форме вызывала на дисплей автомобильные номера, рядом с которыми высказывали фамилии владельцев...

В центральной адресной, на Петровке, молодежавый майор выстукивал на другом компьютере эти фамилии...

— Филин, слышишь? — диктовал из уличного автомата милицейский капитан. — Сергей Никодим Ильич, главный режиссер Академического театра имени... Але-але... Не слышно. Перезвоню...

В электричке еще не зажгли света, хотя, в общем-то, было пора. Внучка стояла в обнимку со своим Юношей возле тамбурного дверного окна. Толстая тетка с сумками и авоськами с трудом выдралась из межвагонного перехода и, пропихиваясь сквозь раздвижные остекленные двери, высказалась, взглянув на парочку:

— Совсем обесстыдели.

— Зверь рыгает ароматически, — сказал Юноша.

— Что? — не вдруг отозвалась Внучка. — Какой еще зверь?

— Вон, — кивнул Юноша на скорректированную досужими шутниками запретительную надпись на стекле двери. — И все-таки зря мы туда едем.

Внучка не ответила ни словом, однако плечо ее затвердело под рукою Юноши, демонстрируя характер владелицы.

— Я вот, честное слово, сознаю, что это чушь собачья... Дефект воспитания. И все-таки...

— Зверя боишься?

— Родители не поймут.

— Рано или поздно и им, и тебе все равно

придется смириться. К тому же полковник мне и папа, и мама вместе. Не просто дед.

— Да-да, я помню...

— Мама умерла, когда меня рожала. А отца не было вообще.

— Помню, — повторил Юноша и нежно поцеловал Внучку в висок, поглаживая ей голову.

— Не надо меня жалеть! — вырвалась Внучка. — Мне полковник их всех заменил! И я его не предаю.

Электричка остановилась. Открылись противоположные двери. Туда-сюда замелькал народ.

— Выходи! — крикнула Внучка и резко толкнула Юношу в сторону проема.

Юноша стоял, набычившись.

— Выходи!!

Двери захлопнулись, электричка двинулась дальше.

— Эх, — сказал Юноша. — Знала бы ты! Для них гэбэ — это... — и махнул рукой.

— Я ж говорила — выходи.

— Ладно, — сказал Юноша. — Поехали, — и положил руку на внучкино плечо.

— Следующая станция — «Стахановец», — неразборчиво пробурчало вагонное радио.

Застрявшая «девятка» так и белела вдали, а стыдливый ноль-одиннадцатый «Жигуль» стоял возле самой полковничьей дачи, когда Внучка с Юношей к ней подошли. В зажатом окне видно было, как Полковник б е с е д у е т с Очередным Карасем. Внучка взяла Юношу за руку, потащила к калитке.

— Неудобно, — шепнул он. — Видишь — разговаривают.

Внучка махнула рукою пренебрежительно, поднесла палец к губам и шутливо крадучись, на цыпочках, повлекла Юношу к дверям. Прежде чем те закрылись, голубоватый пронзительный свет галогенки подбезджающей машины успел на мгновение осветить пару.

— Да ни черта мне от вас не надо! — устало втолковывал Карасю Полковник. — Вызывают вас — приходите. Всё! А зачем — это уж мое дело...

— Извини, полковник... — прервала Внучка, выступая из полутьмы прихожей. — Мы потихонечку, помнишь, как Штирлиц? Ну полковник, чего надулся?! Мы вчера не могли, и позавчера тоже. Я потом объясню. Здравствуйте, — отнеслась к Карасю.

— Здравствуйте, — привстал тот.

— Вот, знакомься, — вытащила на свет Юношу.

— Никита, — представился Юноша и протянул руку кажется что с опаскою.

— Иннокентий Всеволодович, — вышел из-за стола, пожал руку Полковник.

— Рыгает ароматически,— шепнула Внучка с ехиддею.

— Сидоров-Казюкас,— привстал, поклонился Карась.— Очень приятно.

— Никита.

— Оторвали, да? — взглянула Внучка на деда, который исподтишка, но очень цепко рассматривал Юношу.— Ну ты занимайся, занимайся,— и потянула Юношу на крутую лесенку и по ней — в верхнюю мансарду.

«Жигули», осветившие парочку, подкатили к дому, погасили фары, умолкли и выпустили наконец спортивного вида мужчину лет пятидесяти в светлом костюме. Он осмотрелся, оценил уже стоящую у дома машину, вытащил кисет с табаком, трубку, неторопливо набил ее, запалил от спички и стушевался во мгле. Там и стоял, попыхивая, покуда гость не укатил. Тогда уже вошел в калиточку...

На низкой дачной тахте в крохотной мансардочке Внучка с Юношей целовались страстно и нецеломудренно, так что просто не могли обратить внимания на перемены внизу...

— Вы, Иннокентий Всеволодович,— считая своим долгом заметить — пользуетесь недозволёнными приемами. То, что связывало меня с покойной Мариной, не дает вам права.. скорее — наоборот... Я всегда, слава Богу, сознавал, что человек, пошедший на службу в чэкагэбз, не может быть порядочным человеком — но сколько же вы потратили сил, чтобы внушить мне иллюзию обратного! А теперь сами все и рушите? — разговор шел на участке, партнеры едва освещались бликом окна, так что трудно было понять с определенностью, почему Полковник молча терпит страстную эту филиппику.— Я приехал к вам исключительно как к отцу Марины. Уважая ваш возраст... одиночество... зная, что вас уволили в отставку. Так что не трудитесь больше переводить пустую повестки — играть в ваши паранояльные игры вы меня не заставите. А если вам понадобится моя помощь — вот, звоните, пожалуйста. Я не откажу,— спортивный мужчина протянул Полковнику визитную карточку и повернулся уходить.

— Ой ли, Дмитрий Никитович? — спросил Полковник.— Точно ли не заставлю?

— Безо всяких сомнений.

— А вы вообразите на минуточку, что я — ваша персонифицированная совесть. Ведь тогда и наши встречи можно будет расценить как дело пусть для вас неприятное,

но безусловно благое. Как... пока я не...

— Вы опять про Марину? Она рожала у лучших врачей. Ее ничто не могло бы спасти. Это судьба. И я тут ни при чем. А вот вы! вы! ни разу не допустили меня до моего собственного ребенка...

— Марина не допустила.

— Но я действительно собирался развестись!

— Ее не устраивало, что вы оставили бы своего сына сиротой.

— Я бы уж как-нибудь разобрался!

— Нисколько не сомневаюсь.

— Откуда ж столько презрения?

— Оттуда! — вспыхнул наконец Полковник.— Оттуда, что мое дело было — выполнить последнюю волю дочери. А ваше — пробиться к ребенку несмотря на мое сопротивление. Несмотря на все силы ада!

— И вы еще смеете упрекать?!

— Вы правы, оставим это. Тут мы с вами не сговоримся никогда. И слава Богу.

— Вот и отлично,— сказал Карась-Либерал и снова дернулся к калитке.

— А про покаяние,— произнес Полковник совсем тихо, так, что при желании можно было б его и не услышать,— про покаяние я сказал исключительно в связи с вашими... доносами.

— Что?! — возмущение Карася-Либерала было неподдельным.

— Простите: экспертизами.

— А-а-а...— протянул Карась-Либерал.— А что... мои экспертизы? Я всегда писал, что думал. И если даже иногда заблуждался в своих оценках...

— Дмитрий Никитович! — как-то даже обескуражился Полковник.— Да пойдемте почитаем. Коль уж все равно в такую даль прикатили...

— Они у вас... есть?

— Да неужели в противном случае я послал бы вам повестку?

— Ну и пускай! Не стану я!.. — возмутился было Карась-Либерал, но вдруг согласился, видимо, заинтересованный.— А впрочем...

— Сюда вот, пожалуйста... Осторожно, здесь круто... Так... вот сюда... — вел Полковник гостя к заветному тамбурку.— Постояйте минуточку... сейчас... — нащупывал кодовые колечки, поворачивал, прислушиваясь к треску, замковый маховичок.— Сейчас я и свет зажгу.

Шелкнул выключатель. Лестница в подземелье озарилась.

— Проходите, проходите, пожалуйста. Не бойтесь: не пыточная камера, не подземная тюрьма.

— Да с чего вы взяли?!

— Вот и чудненько.

Отворилась вторая дверь, нижняя, и мы вместе с Карасем-Либералом увидели во

всей красе полковничью сокровищницу. Хозяин, пропустив гостя вперед, остался на пороге, и в гордом взгляде его чудился едва ли не безумный блеск.

— Где вы тут у меня? — насладившись паузою вдвоём, пошел Полковник к одному из каталожных стеллажей, вытянул ящик. — Так... так... та-ак... — приговаривал, перебирая ловкими пальцами карточки. — Вот! — извлек нужную. — Шкаф номер восемь, папка четырнадцатая.

Подшел к шкафу номер восемь, извлек четырнадцатую папку. Открыл. Перелистал. Подманил Карася-Либерала.

— Ваша рука? Узнаете?

Карась-Либерал потянулся к папочке.

— Не надо! — профессионально остановил Полковник. — Не надо трогать. Я читаю. Вот, — листал он. — Где это? Ага. «...с достаточной уверенностью заключить, что в подвергнутых экспертизе текстах без з л о в н о... чувствуете, какое слово! — безусловно отсутствует даже след таланта, так что мысли, высказанные в них, можно считать вполне авторскими и публицистическими». Это не про Солженицына. Это про того мальчика, помните? Который на втором году погиб в лагере.

— Так ведь вы ж его туда засадили, вы! — закричал Карась.

— Положим, не мы, а суд. Но дело не в этом. Это, так сказать, наши проблемы. Наши... с Господом!

— Вы еще и верующий?! — истерически захотел Карась.

— Не в этом...

— Но я мог, в конце концов, ошибиться. И потом, там действительно с талантом было...

— Неужели же вы не понимали, что означает для него такая экспертиза? И писали-то — не в журнал...

Они не выдержали-таки, и получилась любовь. А сейчас, смущенные, приводили в порядок одежду.

— Я ж говорила — ты сумасшедший, — лепетала Внучка. — А ну как полковник услышал?

— Не услышал он ничего, — успокаивал Юноша.

— Ну да, не услышал... Он у меня знает какой?..

— Да вон же... — подошел Юноша к окну. — Его и в доме-то не было. Вон, видишь, с гостем прощается.

Внучка приблизилась, обняла Юношу сзади. Полковник действительно с кем-то прощался у калитки.

— Постой-постой, — сказал Юноша. — Это же...

Гость вышел, уселся в машину, заурчал

мотор, вспыхнули фары.

— Точно! Отец!

— Кто?

— Вон, — кивнул Юноша на удаляющиеся хвостовые огни.

Внучка замерла на мгновение — таким жутким голосом произнес Юноша последние слова, — а потом вдруг расхохоталась.

— Ты боялся! А они — дружат! Или даже по делу!

Юноша стоял совершенно оцепеневший.

— Но ведь этого же не может быть! Что-бы у моего отца!.. С твоим дедом!..

— Ты подумал, что говоришь? — обиделась Внучка.

— Не в том смысле! Просто это... невероятно.

— Однако же факт! — довольно жестко констатировала Внучка, и тут понятно вдруг стало с очевидностью, кто ее дед. — Полковник! — распахнула окно.

— Не надо! — испугался Юноша. — Слышишь, не надо! Не надо у него ничего выяснять!

Полковник, стоявший перед тем в некотором ступоре, поднял голову.

— Ну я тебе умоляю, — продолжал шептать Юноша.

— Ты про нас не забудь? — пропела Внучка голосом счастливо-беззаботным. — Ну-ка быстро — за коньяком!

Полковник молча направился на кухню.

— А мы пока стол накроем, — крикнула Внучка вдогонку.

— Сперва я поговорю с отцом, — пояснил Юноша.

— Поговори-поговори, — ответила Внучка не без злой иронии и, взяв Юношу за руку, потянула вниз. — Пошли знакомиться. Ароматически!

Из давешних «Жигулей» наблюдали за домом, только к Джинсовому и Жесткоглазому прибавились — на заднем сиденье — еще трое: молодых, уголовных по виду. Джинсовый сказал:

— А что если они там на ночь останутся?

— Значит, приедем завтра, — отозвался Жесткоглазый.

— За-автра-а... — с сожалением протянул Джинсовый. — На завтра у меня дельце одно намечено...

— Тогда — без тебя.

— Как без меня? — возмутился Джинсовый. — Как, понял, без меня?! Я, падла, нашел, а ты...

— А ну-ка!.. — убедительно, хоть и громко прикрикнул Жесткоглазый.

— О, смотри! — буркнул сзади один из уголовных.

И действительно: парочка, держась за руки, вышла из калитки, в проеме которой стоял, провая, Полковник, и направилась к электричке.

Выждав некоторое время, Жесткоглазый сказал:

— Пошли!

Полковник мыл посуду на кухоньке, как дверь вдруг распахнулась и обнаружила Джинсово-Усатого, за которым маячили тени.

— Ну вот, папаша,— сказал Джинсовый.— Ты погулял в своей жизни. Теперь дай и нам. Где там подвал с бриллиантами? Все по-тихому сдашь — не тронем. Понял? Вот и отлично. Пошли,— и отступил на полкорпуса, давая Полковнику дорогу.

Полковник медленно двинулся к выходу и, когда миновал Джинсового, сделал резкий выпад локтем, так что Джинсовый со стоном согнулся вдвое. Еще удар — тому, кто на улице! Еще! Еще...

Хоть и немолод, хоть и работа вроде бы кабинетная, а тренирован был Полковник неплохо, и случись противников не пятеро, а хотя бы трое...

Минуты спустя Полковник, скрученный бельевой веревкою, лежал на дорожке, а пришедший в себя Джинсовый пинал его ногами с бешеной злобою.

— П-падро! У! П-падро! Фраер вонючий! Парчушка! Ментяра! Пет-тух шоколадный!

— Хватит,— осадил Джинсового Жесткоглазый.— Кому сказал? Понесли,— и кивком показал на дом.

— Значит,— спросил, когда, привязанный к кушетке, оказался Полковник в собственном кабинете,— добром выдать ключи от подвала не желаете? Но вы ж поймите — мы без них все равно не уйдем.

Полковник презрительно молчал.

— Мы понимаем, что это штамп,— продолжал Жесткоглазый,— что так бывает только в «Вечерке» и в дурном кинематографе. Но честное слово, нам некогда тратить время на изыски,— и кивнул Джинсовому. Тот подскочил, рванул с удовольствием рубаху на Полковнике.— Как там? — обернулся Жесткоглазый к одному из угольных, в глубину комнаты.— Нашел розетку?

— Ага,— ответил угольный, только что включивший электротруюг.— Провода не хватает. Ташите его сюда.

Выступили двое других, подхватили кушетку с Полковником, понесли к утюгу.

— Слушай, можно, а? А? Можно? — обратился Джинсовый к Жесткоглазому.

Тот равнодушно пожал плечами, и Джинсовый завладел утюгом.

— Сами понимаете, сколько у вас вре-

мени одуматься,— обратился Жесткоглазый к Полковнику.— Пока нагреется. А время сейчас позднее, все свет повывключали. Так что напряжение хорошее.

Хоть время было действительно позднее, родители не спали, а вели на кухне какой-то важный и, судя по тому, что сразу прервали, секретный разговор: Юноша успел только услышать из прихожей последнюю отцовскую фразу.

— И ничего — понимаешь, ни-че-го! — нету в них особенного. Но сам факт.

— Где ты был сегодня вечером, папа? — Может, поздороваешься сначала? — испробовал отец воспитательный тон.

— Где ты был сегодня вечером?!

— Как где? — несколько замаялся Карась.— Где всегда. В журнале. А потом — на заседании «Мемориала». Ты прекрасно знаешь, что твой дед погиб в чекистских застенках...

— Где ты был сегодня еще?

— Что это за манера? — возмутилась вдруг мать.— Ты что, допрашиваешь отца?

— Где ты был сегодня еще?!

Отец молчал.

— Я тебя видел на одной даче.

— Как видел?! — переспросил Карась.— Как то есть видел? Что ты там делал?

— Знакомился с дедом невесты,— произнес Юноша вызывающе.

— Какой еще невесты?! — недоуменно вмешалась мать.

— погоди, Вера! — остановил ее отец и снова отнесся к сыну.— С Иннокентием Всеволодовичем?

— А что же тут такого страшного, папа? Ты ведь с ним, как оказалось, тоже водишь знакомство. Наверное, даже сотрудничаешь. Почему ж мне нельзя?

— Я?! Сотрудничаю?!

— Почему?

— Да потому что... — чуть было не выдал Карась-Либерал роковую тайну, но осекся, глянув на жену.— Да потому что... В общем... в общем, я тебе запрещаю это знакомство.

— Вот как?

— За-пре-ща-ю!

— А я ничего другого и не ожидал,— выкрикнул Юноша со слезами на глазах.— Привет! — и выскочил из кухни, из квартиры, стремглав понесся по лестнице.

— Никита! — выбежал за ним отец.— Никита! Пстой! Слышишь?!

Далеко внизу хлопнула дверь парадного.

И снова крутилась трескучая восьмимиллиметровая пленочка. И снова пел Галич.

Опоздавшие гости
Прерывают куплет,
Их вбивают, как гвозди,
Ибо мест уже нет.
Мы их лиц не запомним,
Мы как будто вдвоем,
Мы по-новой наполним
И в охотку допьем!
Ах, в мундире картошка —
Разлюбезная Русь!
И стыжусь я... немножко,
А верней, не стыжусь,
Мне, как гордое право,
Эта горькая роль,
Эта легкая слава
И привычная боль!

— Как жуετε, караси?
— Хорошо жуем, мерси.

— ...Да кто ж еще как не мы создали вам эту... популярность? Мы вам обыск — на-завтра все голоса трубят. Мы вас на беседу — тут же эдакий, знаете, восхищенно-осуждающий шумок в либеральных кругах. Восхищенный, естественно, в вашу сторону, осуждающий — в нашу. Вы нам по-хорошему солидный процент должны отстегивать. И от тамошних гонораров, и от здешних!

— Вы что, процент требовать меня пригласили? — поинтересовался не без иронии Карась-Писатель.

— Бог с ним, с процентом! — махнул рукою Полковник. — Вы ведь начнете, пожалуй, что рекламу нам не заказывали, что мы по собственной инициативе...

— А разве не так?

— И так, знаете, и не так. Сами ведь провизировали на эти обыски, вызовы. Грань, однако, никогда не переступали, чтоб в лагерь там или под грузовик. Впрочем, дело это тонкое, недоказуемое, так что процентами уж пользуйтесь.

— Вот спасибо, — снова сыронизировал Карась-Писатель.

— Не за что.

— А зачем же тогда?.. — развел руками на обстановку.

— А вы не догадываетесь?

— Нет, — честно ответил Карась.

— Чего ж тогда приехали? Ну-ну! Думайте, людовед! Приехали? Согласились? Значит, чувствуете что-то за собою, а? Чувствуете высшее мое право вас сюда вызвать?

Карась-Писатель покраснел.

— Вот то-то же! Догадались. Правильно. И доносов вы вроде ни на кого не писали, и не заложили никого. А вот поди ж ты: сидите тут передо мной и краснеете. Потому что не забыли, как вызывал я вас свидетелем по делам ваших приятелей, и как правдиво и искренне отвечали вы на вопро-

сы. И вопросы-то, согласитесь, пустяковыми были... Я вам важные на всякий случай даже и не задавал: вдруг, боялся, сорветесь. Но, однако, чувствовали вы, наверное, что лучше бы вообще не отвечать, а? А храбрости не хватило. Вот и краснеете. Чувствовали, что самым фактом с огласи я беседовать тогда со мною о ваших друзьях вы уже как бы санкционировали мое право на их арест и прочее. Угадал? Вот бы вам о чем написать... автобиографическую повесть...

— А я, может, и напишу, — сказал Карась после паузы. — Спасибо за идею.

— Ну не знаю, не знаю. Может, когда и напишете. А вот что вижу отчетливо, так это что воображения вашего писательского вполне достает представить себе реакцию друзей по «Апрелю» и товарищей по Пен-центру, — согласен, согласен! — им ли судить? — а все-таки: если в печати вдруг обнаружится парочка ваших свидетельских протоколов. Где вы хоть никого и не заложили, однако такие невинные подробности из частной жизни приятелей припомнили... Тут ведь того и гляди популярность, которую мы с вами столькими усилиями и так долго создавали, рухнет? А вы уверены, что книги ваши, сами по себе, достаточно значительны, чтобы такое испытание выдержать?..

Самое Высшее Начальство — то как раз, с которым Полковник, столкнулся нос к носу несколько дней назад — щелкнуло клавишей, чем и прервало демонстрацию оперативной видеозаписи, и отнеслось к Товарищу Майору, знакомому нам по автомобилю «Волга» с задворков поселка «Стахановец».

— Я думаю... — протянуло, — пускай. Пускай... Развлекается, — и, вздохнув, встало из-за необъятного стола, размяло конечности, подошло к окну не самого, кажется, главного, но уж во всяком случае второго или третьего в этом Гранитно-Охристом Здании кабинета. — Настоящий чекист... — помотало рукою в воздухе. — Даже если в отставке. Что гласит народная мудрость? — полуоборотилось к Товарищу Майору.

— Старый конь борозды не испортит?

— Именно...

За окном суетилась Москва. Автомобили обтекали по кругу чугунного основоположника отечественного политического сыска, повернувшегося спиной к одному из своих продолжателей.

— То есть, — спросил Товарищ Майор, — наблюдение снять?

— Н-ну... — снова повертело Самое Высшее Начальство ладошкою. — Наведайся через месяц... через полтора. Ведь что в нашем деле главное?

— Учет и контроль! — выпалил Товарищ Майор.

— Именно...

Самое Высокое Начальство покивало одобрительно и вперилось в кишашую на площади толпу. Постояло так некоторое время, потом поманило, не оборачиваясь, жестом указательного. Товарищ Майор подошел, как подкрался.

— Вот, — сказала Начальство. — Смотри! — и перевело указательный вниз, видимо, желая преподать какой-то важный не то профессиональный, не то нравственный урок. Но так и не сумело облечь словами.

Товарищ Майор в некоторой растерянности смекал, на что, собственно, смотреть — тут-то и попался ему на глаза Карась-Либерал, робко тыкающийся то к одному, то к другому подъезду Здания.

— Вас понял, — сказал с облегчением Товарищ Майор. — Жаловаться пришел. На Иннокентия Всеволодовича.

— Кто? — тупо посмотрело Самое Высокое Начальство, отвлеченное от не менее Высоких Мыслей.

— Да вон, видите, — несколько удивленно указал Товарищ Майор. — Подопечный. Тоже из вчерашних. Последний.

— А-а... — не то сообразило, не то сделало вид, что сообразило, Самое Высокое Начальство. — Ну ты уж... — и в третий раз помотало кистью, а потом погрозило в воздухе толстым, поросшим шерстью перстом.

— Так точно! — отчеканил Товарищ Майор. Разрешите идти?

Начальство разрешительно махнуло рукою, глубоко вздохнуло и снова погрузилось в созерцание Народа.

— Володя? — нажал Товарищ Майор в каком-то совсем небольшом кабинетике, не на площадке уже и выходящем, кнопку селектора. — Там один такой... в светлом костюме... догадаешься?.. Прорываться будет. Проведешь. Только помурьжь как следует, понял? Чтоб обосрался. Конец связи. — Нажал другую кнопку, сказал: — Валечка? Материалы на Тищенко Д. Н., — после чего достал из ящика стола тамиздатовскую книжку Солженицына и погрузился в чтение.

Святая святых полковничьей дачи была варварски разорена: расколотые каталожные ящики валялись повсюду, шкафы — перевернуты, и весь пол засыпан карточками, фотографиями, листами «дел»... Сам Полковник, измученный, истерзаный, едва живой лежал на принесенной сверху кушетке и подвергался ласковой медицинской заботе Чернокудрой Красавицы. Даже нежные ее пальцы, касаясь воспаленных ожогов и рубцов на полковничьем теле, не могли не вызвать едва ли переносимую боль, — Полков-

ник, однако, не стонал, даже губу не закусывал, а только в такие мгновения как-то еще, добавочно, серел лицом. Не смущаясь тем, что Полковник демонстративно не обращает ни на его речи, ни на него самого ни малейшего внимания, невысокого роста, лысоватый, обаянием ума обаятельный человек рассказывал по подвалу и, с аппетитом разглядывая то одну бумажку, то другую, продолжал спокойный, неспешный монолог.

— ...да когда, сами посудите, кому удавалось на черную работу набрать одних интеллектуалов? Вы вспомните хоть историю вашего ведомства... Сколько разоренных библиотек, сколько научных трудов, попавших в печках, сколько поэтовых черновиков... Я, знаете, когда размышляю об этом — вспоминаю рахманиновский рояль, сброшенный на мостовую со второго этажа. Не вспоминаю, а как бы это сказать?.. слышу звук, — и Человек на минутку прислушался к этому звуку внутри себя, после чего отнесся к Нежной Чернокудрой. — Как там, Нелличка?

— Ожоги глубокие, но сепсиса, думаю, не произойдет.

— А сердце, давление? Проверь, пожалуйста, все как следует. Уверю тебя: жизнь Иннокентия Всеволодовича, его здоровье... Таких людей, как Иннокентий Всеволодович...

— Все проверим. И кардиограммку снимем, — ответила Ласковая Чернокудрая не шагающему Человеку, а прямо Полковнику. — Все будет очень хорошо.

— Так что клянусь вам, Иннокентий Всеволодович, мне и самому крайне печально наблюдать это, крайне, — пропанорамировал Человек рукою по пейзажу разора. — Ну да мы постараемся все и восстановить. С вашей, разумеется, помощью. Не дадим погибнуть архиву столь уникальному.

Полковник презрительно скривил губы.

— О! — обрадовался Человек. — Вы уже реагируете! Это приятно. А что касается содержания вашей реакции — это, уверяю вас, дело временное. Вы всю жизнь просидели по ту сторону стола — вот и не приобрели опыта истинного подчинения: радостного и добровольного. Но он приобретается быстро — было бы достаточным давлением.

— Я за кардиографом, — встала от Полковника Черноволосяя Очаровательница и пошла из подвала, в дверях которого столкнулась с пропустившими ее двоими уголовно вида.

— Ступай, Нелличка, ступай. Да что далеко ходить за примерами? — продолжил Человек. — Вот вчера: переоценили вы свои силы, стойкость духа своего, когда под утюгом ложились. Все равно ведь все шифры выдали. Так стоило ли мучиться? Урок! — и несколько секунд продержал значительную вертикаль указательного перста. — Еще раз-

другой такой, и с радостью засотрудничаете, с улыбкою. Помните, как это? С чувством глубокого удовлетворения. Да что я вам объясню?! Хотя и с обратной стороны стола, а уж сколько вы наблюдали подобных преобразений! Ме-та-мор-фоз! Ни одному Овидию не снилось... А что не устроил своим болванам даже разноса за утюг да и за разграбление особенно не взыщу — это потому, что хватило у них ума, не найдя денег и золота, не поджечь ваши владения с вами внутри, а сообщить мне. Хватило интуиции догадаться, когда первая досада прошла, что и такое вот... барахло... — снова пропанорамировал, — может стоять чего-то. Да, кстати... Не помните у Василия Васильевича Розанова заметочку: страдания есть утюг, которым Господь Бог разглаживает морщины на наших душах? Смешно, да?

В двадцатый, не менее уж, наверное, раз перелистав истрепанный, с вываливающимися листами пятилетней давности номер не то «Юного техника», не то «Юного натуралиста», Карась-Либерал поднялся внешне решительно из-за круглого, со щербатой, исцарапанной столешницею столика и толкнул дверь небольшой казенной приемной, в которой неволею коротал время. Тут же у порога возник Молодой Человек в Штатском.

— Вам не кажется неприличным заставлять меня здесь столько ждать?! Я все-таки ученый с мировым именем, доктор филологии, и...

— О вас доложено, — почтительным тоном оборвал Молодой Человек Карася-Либерала. — Как только товарищ майор освободится — сразу же вас и примет. Вас ведь сюда не вызывали — сами пришли. А у нас рабочий день расписан по минутам.

— В таком случае... — отреагировал глубоко уязвленный Карась-Либерал, — в таком случае... я зайду как-нибудь в другой раз. Или вообще не зайду, — добавил едва ли не с угрозой в голосе. — Проведите меня к выходу.

— К сожалению, — с искреннейшим сочувствием улыбнулся Молодой Человек, — к сожалению, это никак невозможно. Никак!

— Как то есть н и к а к? — обмер Карась.

— Часовой без пропуска не выпустит.

— Так напишите пропуск!

— Увы — не в моей компетенции, — посетовал Молодой Человек.

— А в чьей?

— Товарища майора.

— Так проведите к нему!

— Я же уже сказал, — терпеливо, как ребенка, объяснил Молодой Человек, — что ему о вас доложено. Ждите.

— Я!.. — взвился Карась-Либерал, — я этого так не оставлю! Я буду жаловаться!

Лишать человека свободы без малейших на то оснований!

— Ой, как вы правы, — посочувствовал Молодой Человек, — ой, как вы правы! Но медленно идет у нас перестройка. Эти старые инструкции... А!.. — махнул рукою. — Просто не говорите! Так что придется подождать еще.

— Сердце на удивление крепкое. Для такого возраста! — поднесла Чернявенькая Человечку кардиограмму. — А давление так и вообще: восемьдесят на сто двадцать.

— Ну спасибо, Нелличка, спасибо, родная, — поцеловал Человекечку ручку Очаровательнице. — Езжай, — и вернулся к Полковнику. — Тут вот ящичек на мою букву целым случайно оказался. Я пересмотрел внимательно, но своей фамилии не встретил. И сделал вывод, что не всех вы, кто через вас прошел, в картотеку свою заносили, а тех только, кто раскололся. Прочих предпочитали признать как бы не существующими. Феномен удивительный. И опасный. А вы для меня, знаете, существовали всегда. С тех самых пор. Я по делу о подпольной рубашечной фабрике проходил. В шестьдесят четвертом. Так и не вспомнили? Сколько ж в ваших руках силы было сосредоточено: тут и тюрьма Лефортовская, и полная изоляция от мира, и не менее полная ваша бесконтрольность, безнаказанность... И лагерные года в ваших руках: два, десять, пятнадцать... И даже — страшно подумать! — расстрел. А в моральном отношении?! Вы ведь действовали от лица всего государства... Народа, так сказать! А при этом — сколько корректности, объективности... эдакого... равенства в беседе. Будто совсем и не важно, кто по какую сторону стола. Философский диалог исключительно в интересах Истины. Вот я и подумал тогда... Знаете, такая... юношеская мечта... Окажись, мол, вы в моих руках, как вы в ваших. Что бы сделалось тогда с вашими... убеждениями? С моральной правотою? А вдруг — подумал — вы и согласились бы, что экономика не бывает теневая или не теневая. Что она либо выпускает рубахи, либо нет. Что ваша мафия ничуть не лучше нашей. Хуже! Разветвленной, мощнее и безжалостнее: давит каждого, кто отказывается отстегивать ей девяносто пять, а то и все девяносто девять процентов?! У нас-то — не больше чем исполу! — Человекечка несколько разнервничался, походил, успокаиваясь, по подвалу. — Но, поверьте, только мечта, юношеская мечта. И в поле зрения я вас не держал, и не охотился, не выслеживал. Так что нынешняя встреча — результат чистой случайности. Печальной для вас, однако ведущей... как бы слово-то подобрать? Не поможете? Вроде бы

нехорошо сказать по-русски: к помудрению? Вот! — нашел наконец Человекеч.— К п о к а я н и ю!

Судя по тому, как долго и подробно, чтоб не сказать сладострастно, вел Молодой Человек Караса-Либерала в кабинет Товарища Майора коридорами и лестницами Учреждения, распоряжение по мурыжить выполнял творчески и с любовью. Когда совершенно обосравшийся Караса-Либерал уселся наконец на стул в том самом небольшом кабинетике, от благородного негодования не осталось уже и следа.

— Ну! — сказал Товарищ Майор довольно жестко и нетерпеливо.— Слушаю вас, слушаю!

— Насколько мне известно,— начал Караса-Либерал,— полковник Картошкин, Иннокентий Всеволодович, уволен в отставку,— и, не дождавшись от Товарища Майора ни подтверждения, ни опровержения, словом, никакой человеческой реакции, которая самим фактом своего существования могла уже как-никак подбодрить, вынужденно продолжил.— Однако он завладел совершенно секретными документами и использует их в личных целях.

— Ну уж секретными,— с подчеркнутым пренебрежением высказался Товарищ Майор.— Доносы...— и долгим спокойным взглядом посмотрел на Караса.— Это, кажется, ваша статья? — извлек из ящика стола толстый журнал и безошибочно раскрыл на нужной странице.— Вы так блистательно разоблачили наши безнравственные методы... да и не вы один. Нам просто бессмысленно теперь скрывать, что мы пользуемся доносительством. А если секретные в том смысле, что раскрывают доносчиков... Так ведь революционный процесс идет, перестройка. Многим приходится несладко. Лес, как говорится, рубят...

— И все-таки мне казалось, что без серьезной необходимости...

— Нет-нет-нет! — решительнейшим образом перебил товарищ Майор.— Никак невозможно. Вот ведь...— углубился в журнальную статью.— Сами ведь пишете: «Недопустимо, чтобы Комитет государственной безопасности занимался чем-либо, кроме наших внешних противников, а избыток освободившихся сил, коли уж никак не в состоянии сократить, обратил на борьбу с мафией и коррупцией». Так что обращайтесь в суд что ли. Или я не знаю... в милицию. В жэк!

— Отлично! Благодарю вас! Я получил... исчерпывающий ответ. Особенно насчет жэка.

— Что вы, не за что,— отозвался Товарищ Майор,— это наш долг.

Караса-Либерал встал и протянул руку требовательным жестом, а на наивно-вопросительный взгляд Товарища Майора пояснил:

— Пропуск! Могу я, в конце концов, выбраться из этого... здания.

— А-а-а...— обрадовался, что понял, Товарищ Майор.— В конце концов — разумеется. Какие могут быть разговоры! И пропуск вам выплещем. Только предварительно зафиксируйте, пожалуйста, смысл заявления, с которым вы сюда приходили. Собственноручно!— и подвинул по столу лист бумаги и шариковый, за тридцать пять копеек, карандашик.

— Это что,— спросил Караса-Либерал,— обязательно?

— А как же! Поднимут какую-нибудь очередную шумиху, кампанию. А у меня вот оно — ваше собственноручное. Да и перед начальством отчитаться: как-никак, а минут десять служебного времени вы у меня отняли.

— Понимаю...— протянул Караса-Либерал.— И в противном случае — не выпустите.

— Отчего же,— отозвался Товарищ Майор.— Выпустим и в противном. Рано или поздно — непременно выпустим. Согласуем с начальством...

Караса-Либерал вернулся за стол, потянулся к карандашику.

— Только, будьте ласковы, без общих фраз. Как это вы...— кивнул Товарищ Майор на журнал,— умеете. Изложите: что, почему, зачем. Чем вас лично затронуло... Да, впрочем, вы понимаете, о чем я говорю.

— Вы вот так презрительно на меня смотрите, Иннокентий Всеволодович,— не отрываясь от разбора бумаг, продолжал Человекеч, но тут вошел в помещение Некто, зашептал Человекечу на ухо. Тот покивал понимающе, а, впитав информацию, с благодарностью гостя отпустил.

— Спасибо. Спасибо тебе. Все правильно.

Некто исчез. Человекеч помурлыкал с минутку себе под нос невнятный мотивчик.

— Итак, если не возражаете,— пристально взглянул на молчащего Полковника,— а вы, судя по всему, не возражаете,— я пока оставляю архив тут. Мои люди разберут его по возможности, рассортируют... Вас я тоже оставляю здесь. Но не как главного хранителя: а в предварительном заключении. Помните? Попробую с максимальной точностью воссоздать суть условий, которые в свое время создали мне вы. Конечно, силы у нас послабее, но и пациентов меньше. На случай, если кто-то особо назойливый из ваших знакомцев будет вас домогаться, мы дадим им возможность с вами встретиться... И вы с полным самообладанием объясните, что вот, дескать, при-

ютили у себя на время... ну скажем, племянников из Рязани. И что сейчас вам, к сожалению, совершенно недосуг. Договорились? Эти вот документки, горяченькие, по первой разборке мною обнаруженные, — потряс Человечек пачкою листов, — я заберу с собой и прямо сегодня дам им ход. Ну а со временем, когда я подготовлю для нашего с вами архива достойное его помещение, мы и его, и вас туда и перевезем. А пока отдохайте, поправляйтесь, — и Человечек направился к выходу. — Питание будет лефортовское, на тридцать восемь копеек в день. Вы, помнится, уверяли, что это очень полезно для желудка. Сейчас, правда, инфляция, но, с другой стороны, у вас и организм не молодой, как был тогда у меня, потребности меньше... Будем считать — так на так. Всего доброго. Да, чуть не забыл, — обернулся Человечек уже с порога, — чтобы у вас было больше искренности в актерских этюдах, если они понадобятся, ставлю вас в известность, что за вашей внучкою установлено пристальное наблюдение. Так что в чрезвычайном случае... И не сверкайте так глазами. Вы уже семьдесят с лишним лет пользуете систему заложников. И — ни-че-го!

Автобус подошел к остановке, и Усатый Джинсовый нажал на тормозную педаль своих «Жигулей». В числе прочих на тротуаре оказалась и Внучка, нагруженная сумками и авоськами, которые демонстрировали как то, что она возвращается из похода на рынок и по магазинам, так и заботливую ее хозяйственность.

Внучка шла по набережной к знаменитому гэбэшному жилому дому, что возле Таганки, а Усатый Джинсовый медленно ехал за нею. Снова остановил машину: в прямой видимости подъезда, когда Внучка в нем скрылась.

Она же вошла в квартиру и сразу позвала:

— Никита-а-а! Сумки возьми.

Сумрачный юноша, лежавший до того на диване лицом к стене, возник в дверях.

— Не буду я есть! На твои деньги...

— Ешь на свои, — пожал плечами Внучка.

— Упрекаешь? — с вызовом спросил Юноша.

Внучка не ответила, подхватила поклажу и двинулась на кухню. Юноша последовал.

— Все справедливо! — сетовал на ходу. —

Если человек никто и ничто, он не имеет права позволять себе роскошь быть гордым!

Внучка молча раскладывала продукты.

— Ну серьезно! Что, университет бросать? На стройку чернорабочим?

— Этой проблемы уже нету, — сухо отозвалась.

— Как то есть? Как нету?

— В августе еще и в Коктебель на пару недель скатаем.

— Ну ты даешь! — повеселел Юноша. — А где?

— Коктебель? в Крыму.

— Да не Коктебель. Где заработать?

— Секрет.

— Я-асно... — протянул Юноша, оглядев с намеком гэбэшную кухню. — Видать, здесь без секретов...

Внучка только зыркнула на него уничтожительно.

— А как с родителями?

Внучка взяла Юношу за руку, потащила по длинным коридорам квартиры, поставила перед телефоном, сняла трубку.

— Звони!

— Я... боюсь.

— Тогда не звони! — бросила Внучка трубку на аппарат и пошла в комнаты.

— Знаешь! — догнал ее Юноша. — Когда отец вчера вечером запрещал мне с тобою встречаться... В его тоне... в его, знаешь, лице... было что-то такое... Он ведь не потому запрещал, — снова показал Юноша на обстановку вокруг. — Он испугался, что я что-то про него узнаю. И мне страшно... это узнать...

— Беденький... — впервые за всю эту сцену смягчилась Внучка и погладила Юношу по голове, а потом прижалась к нему, обняла так крепко, что самая обыденная атмосфера комнаты сгустилась вдруг до образа этого страшного, жесткого, жестокого взрослого мира, готового безжалостно броситься на них. Потом отстранилась, вернулась к телефону, взяла трубку.

— Как звать родителей?

Человечек вышел из автомобиля возле арки сталинского, в мемориальных досках, здания и направился во двор. И прямо тут, под аркою, его застали несколько по обыкновению фальшивые звуки духового похоронного марша.

Возле подъезда тихо толклось много народу. Вынесли сперва крышку гроба, потом — подушечки с наградами. Потом — самого виновника.

Человечек пробрался поближе и увидел строгое и спокойное лицо Карася-Мертвеца. Сзади шли женщины в черном, плакали. Катафалк выдвинул уже из мрачного чрева тележку.

Человечек постоял, посмотрел, потом — с большой серьезностью на лице — снял шляпу.

Кто-то из провожающих, увидев жест Человечка, покивал головою сочувственно и обратился со вздохом:

— Да, как говорится... Ушел от нас.

— Улизнул, — отозвался Человечек.

— Как то есть нету?! Но я уверяю вас, что он живет в Москве! — не хотел верить Справочной Старушке Карась-Либерал.

— Так вот и нету! — отрезала та и хлопнула окошечком.

А Человекечек поднимался в мастерскую Художника.

Тот открыл двери сам.

— Вы один? — спросил Человекечек.

— Вы же просили, — ответил Художник.

— А вы сразу так и послушались?... — ухмыльнулся Человекечек и довольно бесцеремонно, по-хозяйски прошел в мастерскую, осмотрел висящие и стоящие картины, приблизился к мольберту и, не смущаясь нимало, приподнял покрывало, поизучал холст и опустил снова. Хозяин мастерской ходил за Человекечком в полной готовности в случае чего услужить.

— И так, — уселся Человекечек в кресло, — вы, судя по всему, догадались, о чем речь.

— Догадался, — потупился Художник.

— Вот, — достал Человекечек из «дипломата» увесистый пакет. Полное собрание ваших... сочинений.

— Понимаю, — сказал Художник.

— Даже не знаю, советовать ли вам давать мне за них такую немислимую цену...

— А какую? — осведомился Художник.

— Которую я назову чуть позже. Репутация, конечно, испортится. Особенно на Западе. Но жить-то вы, в общем... — пустил многоточие, подкрепленное жестом. — Союз вас, пожалуй что, не оставит, заказами обеспечит. Академия из своих недр не изблюет...

— Называйте, называйте вашу цену!

— Нет, право же, право — не знаю! Очень уж как-то... дорого! Раздобудете ли?

— Вы что, издеваться надо мною пришли?! — впервые проявил Художник чувство некоторого достоинства.

— Ну как хотите. Этот пакет будет стоить вам... сто тысяч.

На лице Художника выразилось значительное облегчение, которое он тут же постарался сменить наигранной озабоченностью.

— Долларов, разумеется, — добавил Человекечек впроброс. — А то что ж получается? Лучшие, можно сказать, галереи приобретают ваши шедевры за свободно, так сказать, конвертируемую валюту, а с собственными согражданами вы собираетесь рассчитываться резаной бумагой? Нехорошо, нехорошо. Презрительно как-то!

Художник сидел оцепенелый. Человекечек встал и снова принялся осматривать картины. Снял одну со стены.

— Не подарите? Разумеется — не в зачет.

— Берите, — равнодушно согласился хозяин. — Черт с вами.

— Тонкое замечание. Но — спасибо. А по поводу цены — я ж вас предупреждал.

— Согласен, — отозвался Художник. — Я согласен.

— Не появлялся? — с порога спросил Карась-Либерал у открывшей ему Жены!

— Девка его звонила.

— Почему — де в к а?

— Кто ж она еще?!

— Я бы просил тебя... выбирать... выражения! Это, в конце концов, неинтеллигентно! — взорвался Карась-Либерал по видимости неизвестно с чего.

— Хорошо-хорошо, — присмирела ошарашенная Жена. — Не злись.

— Я абсолютно спокоен. А б с о л ю т н о! Он у нее?

— У нее.

Карась-Либерал переобулся в домашние тапочки, прошел на кухню, сжевал что-то, взяв с тарелки прямо рукой.

— Как ты думаешь? Они уже...

— Двадцать лет мальчику. Я собрала ему вещи, денег немного. Придется временно смириться.

— Это не-воз-мож-но! — проскандировал Карась.

— А что ты с ним сделаешь?

— Я ему... я с ним... я с ним поговорю.

— И объяснишь, как оказался на даче?

Карась-Либерал закрыл голову руками.

— Может с нею? — простонал.

— А-га, — деланно согласилась Жена. — Так она тебе его и отдаст! Ничего, сам очухается.

— Ты представляешь: они даже адреса своим засекают! Ни в одной справочной!

— Хорошо-хорошо, поешь, — налила Жена борща.

Карась-Либерал принялся за еду. Жена глядела сочувственно.

— А как, кстати, твой поход?..

Карась подчеркнуто не прореагировал.

— Ну туда, — пояснила Жена. — В гэбэ.

— Не ходил я туда! — швырнул Карась-Либерал ложку, так что она, пролетев по столу, шмякнулась на пол и обрызгала белые брюки. — Я туда не ходил! И не пойду! Это безнравственно — по собственной инициативе вступать в сношения с тайной полицией!

— Но ты же... — обескуражилась Жена. — Ты же сам вчера... Ты ж собирался...

— Я солгал тебе! солгал! солгал! Я туда не-хо-дил!

— Иван Николаевич ждет вас, — сказала секретарша Человекчу, едва тот появился в огромных размеров, чрезвычайно роскошной приемной, и проводила к внутренним

дверям, обитым кожей.

— Добрый день,— приветливо отнесся к Человечку Иван Николаевич, несколько нетвердо шагая ему навстречу по ковровой дорожке.— Рад видеть,— и протянул руку.

Человечек, однако, демонстративно спрятал обе свои за спину, чем заставил Ивана Николаевича выкручиваться из чрезвычайного щепетильного положения.

— Разрешение подписали? — спросил Человек.

— Вот,— протянул Иван Николаевич Человечку красную папку.

— Получите,— изучив разрешение, швырнул на стол Человечек папку поневазначнее, хоть и поплонее, и вышел вон.

Карась-Либерал свернул на Садовую и уткнулся в широкую и глубокую канаву, перегородившую проезд. Возле канавы сидел молодой парень, лузгал семечки и слушал через наушники музыку, воспроизводимую с висящего на шее импортного плеера. Карась-Либерал дал задний ход, развернулся, направился в объезд.

Но и с другого переулка пути не было: небольшой специализированный тракторок заканчивал канаву. Водитель его высунулся из кабинки и сказал Карасю:

— Водопровод, папаша, роем. Водопровод! Так что вали, пока цел!

Сытый, самодовольный Мужчина хохотал за письменным столом в ампирном кабинете ото всей души. Когда прохохотался, сказал Человечку:

— Да публикуйте сколько заблагорассудится! Думаете, хоть один человек... из тех, кому это интересно... не знает меня как облупленного?

— Но все-таки... — на сей раз обескуражен был Человечек,— все-таки публичный скандал.

— Первый, что ли? — обвел хозяин рукою лепную роскошь.— Ну снимут отсюда — еще выше посадят. Эх вы, горе-шантажер! Идите отсюда, идите! Ну вас, до слез рассмешил,— отмахнулся от Человечка ладошкой.— Ступайте...

Карась-Либерал дернул калиточку, но та оказалась запертою. Постучал. Постучал настойчивее.

— Кого принесло? — раздался нелюбезный голос из-за забора.

— Мне бы... — промямлил Карась,— Иннокентия Всеволодовича.

— Нету его,— буркнули из-за калитки.

— А где он? Когда будет?

— По делам уехал. На сколько — не докладывал.

— А нельзя ли его московский адрес узнать? Или хоть телефончик.

— Не положено! — отрезал зазаборный.

— А вы... — решился осведомиться Карась-Либерал.— Вы его сотрудник?

— Сотрудник-сотрудник,— согласился голос, и заскрипели по дорожке удаляющиеся шаги.

Карась-Либерал прильнул к забору, выискивая щель, и увидел-таки, как усаживается в шезлонг здоровенный Бугай, затягивается сигареткою и аккуратно стряхивает пепел в один из розовых цветков. Увидел — и тут же, почувствовав на плече неласковое прикосновение, обернулся.

— Нехорошо подглядывать-то! — столь же неласково сказал парень с плеером.— А еще с виду приличный человек.

— Да ладно! — весьма панибратски обратился Человечек к Главному Редактору модного журнала, в кабинете которого и шел разговор.— Чего вам особенно стоит-то опубликовать мою статейку. Вы даже можете пометочку сделать: не все, дескать, опубликованное выражает мнение редакции.

— Да у нас уже восемь номеров наперед сверстано, странный вы человек! — объяснялся Редактор.— Вы просто не в курсе специфики работы.

— Сергей Константинович,— сказал Человечек.— А вы вот это почитайте, пожалуйста,— и протянул Редактору лист бумаги.

Редактор сначала вздохнул от назойливости упрямого и глупого посетителя, потом со скукою взглянул на лист, потом скука сменилась любопытством, любопытство — удивлением, а оно, в свою очередь,— скорбной озабоченностью.

— Откуда это у вас?

— О! У нас такого сколько угодно!

— Только на меня?

— Не только. А что?

— А на кого еще? — скорбная озабоченность отлетела, уступив место азартному интересу.— Садитесь-ка, садитесь поближе! Нажав кнопку селектора, Редактор произнес в микрофон:

— Люда, я занят. Ни с кем не соединяй, никого не впускай,— и отнесся к Человечку.— Да мы с вами... мы с вами, дорогой мой, мы с вами, если правильно дело поставить... мы с вами горы перевернем!

А Галич знай — продолжает свою песенку на той давней пленочке.

Колокольчики-бубенчики,
Пьяной дурости хамеж!

Где истцы, а где ответчики —
Нынче сразу не поймешь.
Все подряд истцами кажутся,
Всех карал единый Бог,
Все одной зеленой мажутся,
Кто от пуль, а кто от блох!
Ладно, пейте, рюмки чистые,
Помолчите только впредь,
Тише, черти голосистые,
Дайте ж, дьяволы, допеть!

«Справа койка у стены,
слева койка,
А за окнами февральская
выюга.
Вертухай и бывший
«номер такой-то» —
Нам теперь невагоду
друг без друга.
И толкуем мы о разном
и ясном,
О больнице, о больничном
начальстве,
Отдаем предпочтение язвам,
Помереть хотим в одночасье.
Мы на пенсии теперь, на
покое,
Наши койки, как суда, на
приколе,
А под ними на паркетe из липы
Наши тапочки, как дохлые рыбы.
Спит больница, тишина,
все в порядке,
И сказал он, приподнявшись
на локте:
«Жаль я, сука, не добил тебя
в Вятке,
Больно ловки вы, зэка,
больно ловки...»
И упал он, и забулькал,
заойкал,
И не стало вертухая, не стало,
И поплыла вертухаева койка
В те моря, где ни конца,
ни начала!
Я простынкой вертухая накрою...
Все снежок идет, снежок
над Москвою.
И сынок мой по тому ль
по снежочку
Провожает вертухаеву дочку...»

Подвал прибрали, хоть от бывшего велико-
лепия порядка не осталось и следа: шкафы
косо сдвинули в два угла, стопки папок по-
расставили по полу, тут же рядом, за пись-
менным столом, бывшим следовательским,
расположился Интеллектуал лет под трид-
цать, разбирающий бумаги в свете настольной
лампы. А двухметровое пространство у даль-
ней стены огородили вмурованной в цемент
пола стальной решеткою, в результате чего

получилась камера для Полковника: кушетка,
стол, парашное ведро...

Полковник сидел на кушетке, погружен-
ный во внутренний мир, когда дверь отво-
рилась, и вслед молодым людям, несущим
ксерокс, пачки бумаги и упаковки характер-
ной вытянутой формы голубых конвертов,
вошел Человечек, одетый в полковничий
парадный китель.

— Сюда поставьте, — распорядился. —
Подключите и свободны. А вы, — отнесся
к Интеллектуалу, — подите покурите, по-
любуйтесь на розы. Я позову.

Пока распоряжения его исполнялись,
Человечек приблизился к Полковнику, рас-
смотрел, как обезьянку в зоопарке.

— Нелличка сказала: дело идет на по-
правку. Да... здоровье у вас. Завидую, честное
слово, завидую. Положение — отнюдь, а здо-
ровье... Но согласитесь: ничего нет и дороже
на свете. Вы, надеюсь, не против? — проде-
монстрировал китель. — Для вживания, так
сказать, в образ. Система Станиславского.

Полковник поднял голову и поглядел на
Человечка с ненавистью.

— А и зря вы так сверкаете очами, Инно-
кентий Всеволодович, ей-Богу, зря! Я ведь с
хорошими известиями. Дело-то наше с вами
закрутилось! Пробные шарики пущены и
почти все сработали отлично. КПД — девя-
носто процентов. Очень высокий КПД! И сто-
ит ли так переживать личные несчастья,
когда торжествует Идея?!

— Что с Машенькою? — спросил Пол-
ковник.

Человечек, развлекающийся красивой ра-
ботою японского ксерокса, отвлекся от него.

— Вот видите — мы уже говорим. Два
шага до сотрудничества.

— Что с Машенькой?

— А что с ней может случиться? Живет
себе. Влюблена. Устроилась подавальщицей
в «Макдональдс», знаете, на Пушкинской?
Превосходно себя чувствует. Надо думать,
скоро вас навестит. Но в общем-то, безопасно-
ство ваше понятно. Помните Кьеркегора?
Он утверждал, что человек окончательно реа-
лизуется только в миг смерти, а до тех пор
непредсказуем. Так что полная гарантия Ма-
шенькиной безопасности — только ваша... —
подразумел Человечек Смерть. — Или очень
уж хорошее поведение. Примерное. Ну как
у вас в лагерях пишут: стал на путь исправле-
ния.

— Что будет со мной дальше?

— Вопрос, свидетельствующий о возвра-
щении жажды жизни. Это обнадеживает. —
Человечек все развлекался ксероксом. — От-
личная машинка! Тоже ведь: предмет мате-
риальной культуры. Залюбуешься! Ах да!
О вашей судьбе. Я готов пообещать вам, что
при и с к р е н н е й перемене в вашем ко мне
отношении вы со временем обретете сво-

боду. Но поверите ли вы моему обещанию, вот вопрос? Вы знаете, что я знаю, что вы — профессионал. Натура у вас не слишком христианская. Связей — я имею в виду гэбэ, милицию, — связей хоть отбавляй. Следовательно, получив свободу, вы непременно попытаетесь мне отомстить. Что, скорее всего, у вас и получится. Остается держать вас в тюрьме вечно. Но это — накладно. — Человечек поднес к полковничьей решетке несколько отпечатанных листов. — Глядите-ка, как хорошо! Четкость поразительная. Вы в курсе, что ксероксами уже всюю торгуют обычные комиссионки? Ну не хотите смотреть — не надо, — и снова отошел к столу. — Так что логика должна убедить вас, что мне придется прибегнуть... хороший вы эвфемизм придумали... к высшей мере. И тем не менее я обещаю вам сохранить жизнь. Вот пусть логика и надежда борются в вас... Логика и надежда. А сейчас, если позволите, я хотел бы заняться делом. Виктор Владимирович! — крикнул Человечек наверх, подойдя к двери. — Разрешите вас на полчаса, — и, когда Интеллектуал спустился, уселся с ним рядышком за стол, произнес: — Начинаем массированную атаку. Следует отскрестить первые полторы сотни доносов и...

— То есть, профессор, вы полагаете, что вероятность генетической накладки невелика?

— Процентом десять... Правда, в следующих поколениях...

— Товарищи, товарищи, тихо! — прервал этот негромкий, на ухо диалог и всеобщий легкий шумок Председательствующий, а в усиление слов постучал авторучкою о горло графина, — пора начинать.

Шептавшиеся Карась-Либерал и Профессор сидели за длинным покрытым сукном президиумным столом на сцене какого-то огромного зрительного зала, хоть бы и Дома кино, в компании еще нескольких человек. Пусть кресла в зале заняты были далеко не все, народу собралось достаточно. Когда шум поутих, Председательствующий встал.

— Друзья, — произнес торжественно. — Мы собрались здесь сегодня, чтобы учредить «Общество Пострадавших в Годы Застоя». Многие из вас являются членами общества «Мемориал», которое, выполняя великую нравственную задачу полной реабилитации жертв сталинского режима, оставляет, однако, в стороне прочих жертв нашего все еще тоталитарного государства. Я имею в виду не только и не столько так называемых прямых диссидентов, томившихся в тюрьмах и лагерях в период с тысяча девятьсот пятьдесят шестого года и буквально до сегодня, но и многие миллионы журналистов, писателей, ученых, да просто — честных, поря-

дных людей, которым перекрывали кислород, которых...

Председательствующий со все большим вдохновением разливался соловьем, но звуки его речи как-то вдруг поухли, удалились, потеряли разборчивость, когда Карась-Либерал увидел появившегося в кулисе молодого человека с пачкою голубых конвертов в руке. Молодой человек замер на мгновение, как бы прицеливаясь, и спокойным, корректным шагом вышел на сцену, разложил конверты перед некоторыми членами президиума, в числе которых оказался и Председательствующий, и Карась-Либерал. Карась-Либерал рванул голубую обертку — одного мгновенного взгляда достало ему сориентироваться, — и сунул конверт в карман.

А по залу, пересекая его во всех направлениях, неслышно и деловито ходили молодые люди, и порхали по рядам конверты синими птичками.

Председательствующий скосил взгляд на стол, на конверт, потом — на Карася-Либерала и на двоих других, которые тоже удостоились; кажется, все понял, налился кровью, но продолжил свою речь с тем большей уверенностью.

— Мы должны вывести на чистую воду всех, кто был причастен к позору непротivления, но вместе — увековечить мужество тех...

Карась-Либерал несколько пришел в себя и, идентифицируя в зале владельцев конвертиков, делал пометки в записном блокноте.

Две толпы волновались на Пушкинской площади: одна — в терпеливом ожидании вкушения благ североамериканской цивилизации, другими словами — в очереди к «Макдональдсу», вторая — неподалеку — в праведном негодовании на Комитет государственной безопасности, о чем свидетельствовали и многочисленные плакаты типа «Открыть архивы КГБ», «Долой политический сыск», «Позор стране, главою которой становится начальник тайной полиции!», и слабо доносимые ветром речи ораторов. Милиция охраняла общественный порядок обоих коллективов.

Усатый Джинсовый сидел на скамеечке, лизал мороженое и лениво поглядывал на стеклянную витрину «Макдональдса», за которую сквозь едоков просматривались среди молодых мальчиков и девочек в красивых формах Внучка и Юноша.

Юноша на мгновение замешкался с обслуживанием очередного посетителя, занятый голубыми конвертами, что замалькали среди митинга. Внучка же, хоть и не отвлекалась от работы, погружена была в свои мысли, резюме которых и высказала Юноше:

— Если его не будет и завтра, поедем

на дачу.

— Что? — переспросил Юноша.

— Завтра едем на дачу. С дедом что-то стряслось.

Ксерокс работал на полную мощь, едва не дымился. Четыре человека в конвейере обслуживали его: один подавал документ из подготовленной пачки, другой собственно копировал, третий вынимал готовую продукцию, раскладывал по голубым продолговатым конвертам, четвертый конверты надписывал и заклеивал.

Писать было дольше, чем совершать прочие операции, поэтому стопка конвертов неудержимо росла...

Карась-Либерал накручивал телефон в домашнем своем кабинете, по стенам которого висели два недурных пейзажа с древнерусскими включениями, похоже, что кисти Художника, портреты Бродского, Солженицына, Сахарова.

— Вячеслав Афанасьевич? Профессор Тищенко беспокоит. Вы получили вчера... Бросьте дурака валять! Не шантажирую — напротив! Хоть минуточку помолчите! Вот так. Очень хорошо. Итак, вы, наверное, догадались, что не одни. И что кроме нас самих помогать нам не станет никто. Ни-кто! Поэтому я приглашаю вас посетить меня завтра около восьми. Разумеется, вечера. Не узнают! При входе наденете маску! Ну как заблагорассудится! Пейшите адрес? Песочная, двенадцать, квартира тридцать девять, второй подъезд, четвертый этаж. Код двести восемьдесят три. Все, до завтра. Извините, у меня еще слишком много звонков. Та-ак,— положив трубку, снова взялся за блокнот, поставил в нем птичку, справился о следующем номере и — за диск.

Мы не весь этот скучный монолог Карася слышали на его изображении: частично — и из соседней комнаты, где карасева Жена рылась в глубинах платяного шкафа, извлекающая старые чулки и колготки, тут же превращаемые в чулки с помощью ножниц. Некоторые — после осмотра — откладывала назад. Один натянула на голову и появилась на пороге мужнина кабинета.

— Так?

Карась-Либерал оторвался от телефона, усмехнулся горестно:

— Выходит, что так.

— А тебе?

— Я предпочитаю бороться со злом с открытым забралом! Всегда кто-то один вынужден взять на себя главную ответственность.

Полковник притворился, что спит. Когда

успокоенный этим страж вышел подышать воздухом, Полковник слез с кушетки, стал на пол, на колени, спиной к комнате, и под прикрытием собственного тела принялся пальцами, ногтями, зубами раздирать покрытие. Отодрав две-три полосы, Полковник накрепко связал их одну с другою, а на конце соорудил петлю. Накинул ее на шею, привязал хвост импровизированной веревки к решеточному пруту. И, не вставая с колен, принялся отползать.

Петля затянулась, сделала больно, затруднила дыхание. Сил держать напряжение веревки и даже увеличивать его едва хватало.

Но — хватало. Все-таки!

Некий Карась появился из лифта и огляделся в поисках нужной двери. Она обнаружилась не только номером, но и приколотой к обивке запискою: «Входите без звонка». Так Карась и поступил и оказался в знакомой нам прихожей Карася-Либерала. Там наличествовало два плакатика. Один — под свисающими со шляпочницы разномастно-разноразмерными чулками: «Если хотите сохранить инкогнито — наденьте», другой со стрелочкою, направленной на ближайшую дверь: «Проходите сюда». Карась помялся несколько, натянул на голову чулок и, поулыбавшись иронически собственному отражению, пошел в направлении стрелки.

В кабинете скопилось Карасей больше десятка, и все, кроме хозяина, тоже в чулках. Совещание было в разгаре.

— Да что я, гэбзистов от урлы не отличу? Нанял себе охрану! — добрызгивал слюною инициатор тайного совещания.

— Э, знаете, — произнес с изрядным сомнением Карась, одетый коричневым, в рубчик, чулком. — Они себе иной раз таких набирают...

— Нету там гэбз никакого. Нету, — тихий, но очень уверенный обкомовский басок провещал из-под чулка черного, ажурного, с парю дырочек в районе покатога лба.

— А хоть бы и урла, — возразил чулок розовый, с цветочком на бывшей щиколотке. — С нашим вооружением да ухватками!..

— Не перестреляют, как куропаток, — милиция схватит.

— Разбой пришьют, — подтвердил Карась в чулке телесного цвета со спущенной и наскоро подхваченной петлею.

— Я всегда утверждал, — обличил хозяин, — что рабы заслуживают своей участи! Еще Карамзин писал...

— Отчего же непременно рабы? — пробасил Черно-Ажурный, прервав Карася-Либерала. — Вы выражения-то, Дмитрий Никитович, выбирайте. Не рабы — хозяева. Вас милицейский захват устроит?

— Да не пойдет на это дело милиция!

Я уже выяснял! — кипел Карась-Либерал.

— А это уже — моя проблема, — успокоил Ажурный.

— Bravo! — закричали Караси и захлопали в ладоши. — Вот и выход! Вариант! Превосходно! — и повставали со стульев, счастливые возможностью разойтись. — По одному, по одному выходим... Конспирация!

— Стойте! стойте! — преградил дорогу хозяин. — А вы не боитесь стать жертвами командира милицейского захвата? Или вот, скажем... поверьте, я не хочу вас обидеть... нашего уважаемого коллеги? — кивнул в сторону Черно-Ажурного.

Караси несколько примолкли. Черно-Ажурный проворковал:

— Я могу дать честное слово, что архив будет тут же уничтожен.

— Видите! — с радостью и облегчением сказал Телесный со Спущенной Петелькою, однако общего облегчения не произошло.

— Честное слово... — протянул со смаком фразочку Карась из-под чулка коричневого, в рубчик.

— Если вам недостаточно моего честного слова... — обиделся Черно-Ажурный, направляясь к выходу.

— Почему ж недостаточно? Очень даже достаточно! — загудели, занервничали Караси, удерживая уходящего.

— В таком случае...

Но Карась-Либерал был несгибаем: выступил вперед, стал перед Черно-Ажурным.

— Требую гарантий!

— Пожалуйста, — пожал плечами Ажурный. — Я попрошу, чтобы вас взяли с собой.

— Ч-черт! Понарыли! — выругался Юноша, едва не свалившись в канаву во тьме вечерней Садовой. — Постой, Машка! Давай руку!

— Эй, парень! — появился из мглы кто-то Высокий.

— Пошли-пошли! — шепнула Внучка. — Не связывайся.

— Закурить есть? — продолжил вдогонку Высокий и ускорил шаги.

Внучка, схватив Юношу за руку, побежала. Побежал и Высокий, догнал возле самой полковничьей калитки, заградил путь.

— Дед, дед! — закричала Внучка. — Полко-о-вник!

— Да чего ты... — произнес Высокий. — Кто тебя трогает?..

Калитка отворилась. На крыльце появился Человечек, освещенный электрическим отблеском из комнаты.

— Где полковник? — агрессивно выступила Внучка.

— Заходите, заходите, ребята, — очень добродушно сказал Человечек. — Чего вы волнуетесь?

— А вы... кто?

— Товарищи его, по работе. Приехали навестить. Он приболел немножко. Нелличка, где вы там? — крикнул Человечек во тьму.

Страшный, истерзанный, опираясь на руку Черноволосой Нежной, появился из-за угла Полковник.

— Дед, что с тобою?! — бросилась к нему Внучка.

— Ничего, Машенька, ничего. Все в порядке. Все прекрасно. Пытались... ограбить. Вот, ребята приехали, — кивнул на Человечка и еще на две-три тени, ошивающиеся около, — помогли. И доктор есть тоже, — взглянул на Ласковую. — Так что вы езжайте, езжайте домой. У меня здесь все... в порядке.

— Никуда я не поеду! — сказала Внучка решительно. — Тут что-то не так. Пошли в дом.

— Конечно же, заходите, пожалуйста, — гостеприимно пропел Человечек.

— Поезжай домой, я сказал! — закричал Полковник.

— Иннокентий Всеволодович, — упрекнул Человечек. — Вы думайте, что говорите! Заходите, ребята, заходите.

— Домой! — заорал Полковник так страшно, что Внучка с Юношей не сумели не послушаться, однако, едва двинувшись к калитке, оказались накрепко схваченными двумя тенями. Человечек подал незаметный сигнал и третьей тени — Полковник тоже очутился в клещах, со ртом, зажатым чужой ладонью.

Две первые тени тащили ребят в дом, а Человечек отнесся к Полковнику:

— Не Штирлиц вы оказались, Иннокентий Всеволодович. Отнюдь не Штирлиц! Отправьте его на место. И обязательно — в наручники. Извините, у меня не столько людей, чтобы следить за вами каждое мгновение. А самоубийством жизнь вы покончите не прежде чем я вам это позволю. А ты, Нелличка, не в службу, а в дружбу, подежурь немножечко возле.

Полковника увели.

— Там у нас решетка еще осталась? Молодых людей определите наверх. Если будут кричать — заткните.

Тени рассосались выполнять распоряжения. Человечек вошел в дом, взял радиотелефон, набрал номер.

— Добрый вечер. Не разбудил? Ну-ну. Тут, понимаешь, обстановка несколько... усложняется. Нет, пока ничего серьезного. И тем не менее — переезд надо форсировать. Да прямо хоть сейчас! Хорошо, хорошо. Я даже заночую здесь сегодня. Пока, жду.

К папскому дворцу в Ватикане подкатил лимузин. Швейцарцы в черных медвежьих шапках отдали честь. Из лимузина через

дверцу, предупредительно распахнутую шофером, вышел знакомый нам Батюшка-Карась в сопровождении Молодого Православного Священника.

Навстречу им по лестнице дворца спускался Высокий Чин Католической Иерархии.

Последовали приветствия, рукопожатия, блицы вспышек неизвестно откуда повывлазивших репортеров.

Католический Чин обратился к Батюшке-Карасю с недлиной половинкою фразы, которая тут же была переведена Молодым Священником.

— Его Преосвященство полагает, что аудиенция, которую соизволило Его Святейшество дать в вашем лице представителю преображенной Российской Церкви...

Католический Чин продолжил фразу, в которой даже нам, плохо смыслящим в итальянском, внятыми показались слова «Горбатшов» и «пьерьстройка». Но в этот как раз момент один из швейцарцев подал Батюшке-Карасю голубой конверт. Батюшка взглянул на надпись и посерел с лица.

Что-то продолжал говорить Католический Чин, что-то переводил Молодой Священник — все звуки исчезли для Батюшки, заглушенные гулким стуком крови в ушах.

Когда пауза, повисшая в воздухе, перетянулась за всякие приличные пределы времени, потребного для обдумывания ответа, Батюшка-Карась пришел в себя, впрочем, только отчасти, потому что, склонившись к уху Молодого Священника, пробасил:

— Спроси, понимаете, его потихонечку, не мог ли бы я попросить, понимаете, в Ватикане политического убежища. — И на изумленный услышанным взгляд Священника добавил: — Если потребуется — готов, понимаете, принять католичество. Во славу Божию.

По ночной Москве с недозволенной скоростью чesала «Волга»-универсал. Юркий «жигулек» старался от нее не отрываться, для чего водителю, старому нашему знакомцу Карасю-Либералу, приходилось манипулировать рулем, педалями и рычагом с явно непривычною резвостью. Проносились мимо красные волдыри светофоров, летели вслед безнадежные милицейские свистки — «жигулек» как приклеился к остекленному задку.

Водитель «Волги», понаблюдав за маневрами преследователя, покачал головою.

— Движок у нас слабоват, командир. Пятую сотню тысяч крутит.

— Да он все равно знает адрес. Какой смысл? — прозвучал голос с заднего сиденья.

— Ладно, — сказал Командир. — Сбавь.

Карась-Либерал сбросил скорость и вытер со лба пот.

В мансарде, едва освещенной чуть сереющим небом, на фоне которого неприятно вырисовывалась наскоро вделанная в окно решетка, понурились на тахте Внучка и Юноша.

Внучка вскочила вдруг, бросилась на дверь, заколотила руками, ногами.

— А ну сейчас же выпустите нас отсюда! А ну сей-час-же!

Юноша подошел, обнял ее сзади.

— Перестань. Видишь ведь — бесполезно. Только удовольствие им доставляешь.

Внучка побилась еще капельку и заплакала от бессилия.

В том же едва сереющем утре возникла возле «Волги»-универсала с потушенными огнями тень, произнесла в щель от приспущенного стекла:

— Их там человек двенадцать самое маленькое.

— Ну что, ребята, — обернулся Командир. — Может, вызовем подкрепление?

— Брось, командир, — прозвучал голос сзади. — Двое на одного. Шпана — неужели не справимся? Мы ж профессионалы. Стыдно.

Командир задумался на мгновение.

— Ладно. Тогда — пошли.

Бесшумно открылись автомобильные дверцы, вооруженные люди по-кошачьи выбрались наружу. Когда Карась-Либерал попытался выкарабкаться из своей машины, Командир шепнул:

— Вы останетесь.

— Но я... — взялся за возражения Карась-Либерал.

— Я сказал: останешься! На тебя что — наручники надеть?

Убедившись, что Карась смирился, Командир поднял руку и растворился во мгле. Остальные тоже.

И — запел Галич.

...Голос гложет, как в вате,
Только струны бречат.
Все, приличия ради,
С полминуты молчат.
А потом, под огурчик
Пропустив стопаря, —
«Да уж, песня — в ажурчик,
Приглашали не зря!
Да уж, песенка в точку,
Не забыть бы стишок,
Как он эту вот — дочку
Волокет на снежок!..»
Незнакомые рожи
Мокнут в пьяной тоске
И стыжусь я до дрожи,
И желвак на виске!..

— Как стучите, караси?
— Хорошо стучим, мерси!

...Все плывет и все качается,
Добрый вечер! Добрый день!
Вот какая получается,
Извините, дребедень!
«Получайник, получайница» —
Больно много карасей!
Вот какая получается,
Извините, карусель.

...Я сижу, гитарой тренькаю —
Хохот, грохот, гогот, звон...
И сосед-стукач за стенкою
Прячет в стол магнитофон...

Тени материализовались возле дома Полковника и снова рассредоточились во мгле. Одна из них, оставшаяся, пружинисто перемахнула забор и навалилась на несколько в этот сонный час осовевшего часового. Ему, однако, удалось хрипло выкрикнуть:

— Менты!

Звякнуло выбиваемое стволом стекло, и навстречу тени, движущейся от реки, прозвучал выстрел. Тень вскрикнула, опала, но тут из-за куста справа протюкала очередь по дому, осыпала еще несколько стекол.

— Окружены, сдавайтесь! — выкрикнул Командир из-за тамбурка, и тут же, отколота пулями, запуржила вокруг его головы мелкая щепка...

Бугай с «калашниковым» ворвался в мансарду и, не обратив внимания на Внучку и Юношу, пристроился у окошка, направил ствол в решеточную прореху, выпустил одну очередь, другую. Внучка вскочила, схватилась за подножную скамеечку в намерении оглушить Бугая.

— Сядь, — дернул ее за руку Юноша, и Бугай прореагировал, замахнулся прикладом, но тут же и упал, успев обрызгать молодых людей разлетевшимся мозгом. Внучка рванулась к выходу, Юноша снова попытался ее удержать.

— Стреляют же, дура!

И между ними завязалась нешуточная борьба.

Человечек полз меж кустов вниз по участку, к сортиру, к реке, сжимая в руке «макарова». Заметил впереди шевеление, выпалил несколько раз. Шевеление стихло. Человечек пополз дальше. Переваливаясь через забор, отчетливо вырисовывался на фоне посветлевшего неба. И тогда тот, лежащий, подстреленный, выпустил пулю.

Она прошла затылок и вылетела через глаз. Человечек конвульсивно дернул пару

раз ногою, обмяк, но не упал: так и остался на заборе.

В безопасном отдалении от дачи заворожено прислушивался к перестрелке Карась-Либерал, сжимая в руке автомобильную канистру...

Парень из группы захвата подложил под металлическую дверь гранату и прынул за угол. Дверь покачнулась и рухнула внутрь, загремела по ступеням. Раздался страшный женский вопль. Парень осторожно высунулся в проем и получил очередь через грудь. Пули вырвали пять клочков на спине куртки. Перешагнув труп, стрелявший поднялся из подвала...

Стрельба стала стихать. Внучка пересилила-таки Юношу и ринулась по лестнице вниз. И тут же осела, схватилась за ногу. Юноша выскочил на помощь.

— Ранили?.. Пошли.. пошли-пошли, потерпи немного, — потащил ее назад в мансарду. Уложил на пол, сорвал с себя рубаху, разодрал, стал заматывать ногу, рану, из которой толчками выплескивалась кровь, и едва не потерял сознание от дурноты...

Карась-Либерал стоял на прежнем месте. Перестрелка стихла. Рассвело. Освещенный косыми лучами встающего солнца, Карась двинулся к даче.

Вошел в калитку. Увидел трупы. Много трупов. И не сумел сдержать желудочного спазма...

Карась рвало долго, когда уже и нечем-то стало, и это совершенно вымотало. Таким и пошел он, ломая оставшиеся розы, лавируя между мертвецами. Приблизился к разнесенному в щепы тамбурку.

Переступил через того, с пятью дырками на спине. Едва не упал, поскользнувшись на крови. Заглянул вниз.

Не желая выпускать из рук канистры, вынужден был встать на четвереньки, чтобы преодолеть лежащую на ступеньках бронированную дверь, и наткнулся на раздавленную ею Нелличку — Черноволосяю Очаровательницу. Снова начались спазмы.

И все-таки Карась добрался до подвала. Солнце располагалось так, что достигало светом самого входа в помещение.

Карась-Либерал открыл канистру, плеснул на шкафы, на папки с бумагами, стеллажи... Достал спички, вынул одну, готовясь чиркнуть. И услышал вдруг шевеление.

— Здесь кто-то живой? — спросил испуганно, шепотом. Спрятал спички, сделал несколько робких шагов в глубину.

Полковник лежал на кушетке ничком, руки

за спиной — в наручниках, рот заклеен широкой полосой пластыря, и, повернув голову на щеку, смотрел на Карася.

Несколько бесконечных мгновений шла эта молчаливая переглядка.

Не выдержав, Карась двинулся к решетке, дернул дверцу, которая, естественно, не поддавалась, застопоренная мощным импортным замком.

— Конечно... как же... живой человек... — бормотал. — А, ч-черт! М-минуточку... м-минуточку...

Снова на четвереньках, стараясь не увидеть Черноволосую, одолел дверь. Остановился, шаря растерянным взглядом вокруг, и то ли услышал, то ли почудился Карасю шум автомобиля...

Рядом с трупом того, с пятью дырочками, валялся пистолет. Карась, косясь в сторону дороги, поспешно достал носовой платок. Осторожно поднял с земли пистолет — через ткань. Приладился. И снова пополз в подвал.

Изо всех сил воротя взгляд от Полковника, только направление удерживая боковым зрением, приблизился Карась-Либерал на несколько шагов к решетке.

— Ради Бога, молчите, пожалуйста! Чем я вам помогу? Я все равно н-не... н-не... в состоянии. Замок, понимаете? Но спалить живого... Это уж слишком. Слишком, так ведь? Согласны? Вы только зла на меня не держите... Не держите зла... Все ж лучше, чем живьем...

И — выпустил в Полковника все пули, что оставались в магазине.

Отбросил пистолет с брезгливостью. Достал коробок, из него — спичку. Отпятился к выходу. Чиркнул. Возник огонек.

Готовя дорогу к отступлению, оглянулся и увидел лицо наблюдающего за всем этим оцепенелого сына.

Пламя подбиралось к пальцам, обжигало их...

Титр: ЭПИЛОГ.

На фоне стандартного лондонского пейзажа с Тауэром — текст:

ЛОНДОН. 1996 ГОД. АУКЦИОН СОТ-БИС.

И — помещение аукциона.

Аукционный распорядитель выкрикивает по-английски, под русский синхронный перевод.

— Группа документов из России. Так называемый «Архив полковника Картошкина».

Служители выносят коробки.

Аукционный распорядитель достает первую папку, сверяется с каталогом.

— Двенадцать доносов академика секретаря Академии наук СССР Николая Федотова. Начальная цена — пять фунтов стерлингов.

Кто-то в зале поднимает карту.

— Десять, — отмечает аукционный распорядитель. — Пятнадцать... Кто больше, леди и джентльмены? Пятнадцать — раз! — поднимает молоток. — Пятнадцать — два... Двадцать! Двадцать пять! Двадцать пять — раз, двадцать пять — два, двадцать пять — три! — ударяет. — Продано. Восьмой ряд, дама в вуали.

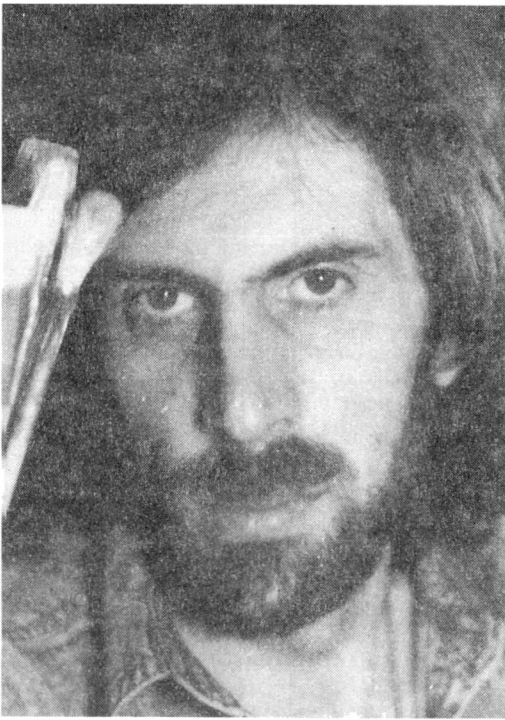
Служительница идет к счастливой обладательнице, а аукционный распорядитель продолжает распродажу.

— Четырнадцать доносов председателя стачечного комитета шахтеров Воркуты Сергея Никонова. Начальная цена — пятнадцать фунтов...

— Двадцать, — поднимает карточку Молодой Человек, который в свое время столь долго мурыжил в приемной КГБ Карася-Либерала.

1990 г.





**Анатолий
ПОТАПОВ**

НОЧЬ РАЗУМА

I

*...Говорили же это, искушая
Его... Но Иисус, наклонив-
шись низко, писал перстом на
земле, не обращая на них вни-
мания.*

Иоан. 8:6

Иисус.
Иуда.

Анна — первосвященник по Закону, почтен-
ный старец.

Каиафа — зять Анны, первосвященник, на-
значенный на этот пост Иродом Антипой,
одним из трех царей Палестины.

Мария из Магдалы (Магдалина).

Петр — ученик Иисуса.

Иоанн — ученик Иисуса.

Марфа — сестра Марии.

Ученики Иисуса.

Жрецы Синедриона*: фарисеи**, саддукеи**
(среди них Каиафа и Никодим), зело-
ты**, книжники***, старейшины.

Народ: слуги, рабы, вольноотпущенники, ре-
месленники, воины, нищие, дети.

Иоанн Креститель.

* Синедрион — высший коллегиальный орган
власти в Иудее с судебными и политическими
функциями. Возглавляется первосвященником. На-
ходится под контролем римского прокуратора.

** Фарисеи, саддукеи, зелоты — политические
партии.

*** Книжники — учителя Закона (Моисея).

Видение.

На какое-то время крошечная тьма, на-
полненная тревожной тишиной, поглотила
нас и лишила ощущения времени и простран-
ства.

Но вот мы начинаем улавливать свист
воздуха и тяжелое хлопанье крыльев. Вдалеке
сначала едва различимо, а потом, по мере
нашего приближения, все яснее и яснее
вырисовывается розовый диск умирающего
Солнца. Чем ближе мы подлетаем к нему,
тем стремительнее становится наш полет.
Вот Солнце уже совсем близко.

Из крохотного, величиной с блюдце, оно
превратилось в огромный рубиновый шар.
И если сначала, когда Солнце было робким
и бледным, на далекой Земле еще угадыва-
лись очертания лесов и полей, то теперь
расплавленный шар ослепляет нас, и мы уже
не в силах увидеть что-нибудь, кроме ужас-
ного кровавого месива.

А шар все растет, набухает, покрывается
пенной, дергается в предсмертных конвуль-
сиях и наконец, как вскипевший кисель,
выплескивает из своих недр тяжелую каплю
кровавой жижи. Она стремительно уносится
куда-то вниз, в глухую бездну; все умень-
шаясь и уменьшаясь в размерах, и вдруг
вонзается во что-то твердое, издавая душе-
раздирающий скрежет.

С высоты нашего полета невозможно разглядеть, что же там произошло, мы видим лишь крохотную багровую кляксу, познавшую черное чрево Земли.

Словно кондор, наметивший жертву, делаем несколько больших размеренных кругов и медленно снижаемся. Откуда-то сначала тихо и нежно, а потом все громче, быстрее и тревожнее звучит хорал Рождественской мессы. Мы приближаемся к Земле, и вот уже клякса превращается в город, распластавшийся на холмах, — это Иерусалим. Узнаем его по Иерусалимскому храму, надменно и дерзко затмевающему своим разжиревшим, лоснящимся позолотой куполом и белизной мраморных плит телом остальные дворцы и строения.

Несколько кругов над храмом — и дальше, вниз.

В Иерусалиме — утро. Как оказалось, храм действительно занимает внушительную площадь, со всех сторон окруженную портиками. Под сводами этих портиков законоучители поучают народ. На особо отведенных местах торговцы оживленно продают скот, предназначенный для жертвоприношения, а менялы обменивают иностранную монету на еврейскую.

В тревожные звуки хорала врывается мычание коров, блеяние овец, крики и споры торговцев. Мы пролетаем сквозь пеструю ярмарку лиц, характеров и настроений, властвующую на Паперти язычников, и устремляемся чуть выше, попадая на Паперть Израиля. Здесь мы встречаем молящихся женщин... и успеваем заметить, что они скорее перемывают кости друг другу, нежели молчаливо воздают хвалу Всевышнему. Отдельно — толпы изможденных, одетых в лохмотья паломников кротко и тихо свершают утреннюю молитву. Хотя нет, среди них попадаются люди вполне опрятные и ухоженные. Они произносят молитву громкими поставленными голосами. Их лица полны напускного самозабвения, жесты театрально величественны и неестественны, и мы без особого труда узнаем фарисеев.

Но вот взмах крыльев поднимает нас еще выше — на третью террасу, называемую Дворцом Священников. Стремительно преодолеваем ее, успевая скользнуть по надменным осанкам избранников избранного народа, и перед нами уже Святилище: золотой семисвечник, сияющий, словно семь планет, кадилный алтарь тоже из золота, стол для хлеба предложения.

Делаем попытку ринуться дальше, но упираемся в завесу, усыпанную драгоценными камнями, преграждающую доступ в Святая Святых.

Спускаемся, какое-то время стоим, ослепленные блеском сапфиров, изумрудов, агатов. Они то вспыхивают, то угасают под нервным

пламенем свечей своими бесчисленными корявыми гранями. И вдруг замечаем, как в плоскостях этих граней оживают картинками-миражи: пожары и войны, разгул безобразных страстей и многое другое, что являет сегодня идеалы нашего цивилизованного «рая».

Хорал звучит на предельных нотах, сливаясь с мычанием быков, блеянием овец, криками менял и торговцев, шушуканьем женщин, молитвами фарисеев, разговором священников в сплошной диссонанс.

Котем впиваемся в завесу, рвем на себя. Материя не выдерживает, трещит по шву. И вот перед нами маленькое отверстие. Прикладываемся глазом, пытаемся заглянуть туда, куда нет доступа смертным.

Мы видим человека. Он сидит на песке, устало привалившись к невесте откуда взявшемуся осколку скалы. И действительно, все пространство вокруг, насколько возможно охватить его взглядом, являет собой безжизненное царство ветра, песка и пронзительного одиночества: ни травинки, ни камня, ни малейшего намека на жизнь — пустыня.

Заглядываем в глаза пустыннонику. Они широко раскрыты, они слезятся, безжалостно терзаемые песком и ветром, они ничего не видят перед собой, они вспоминают...

Откуда-то издалека возникает тревожный, монотонный, на одной ноте гул. Он так и не оставит нас, пока мы будем парить в причудливых облаках воспоминаний.

Воспоминание первое.

Галилея — страна цветов и детей. Страна Песни Песней. Истинный Эдем, доступный человеческому воображению. Это сплошной ковер разноцветных красок, звенящих стройной симфонией свежести, благоухания и мира.

Нигде на земле горный пейзаж не ласкает так взора своей величественностью и тайной, рождая в душе человека рой самых возвышенных чувств.

Страна густо населена и принадлежит земледельческому народу. Он не обладает ни художественным чутьем, ни ученостью. Мрамору и изысканному языку галилеяне предпочли тени виноградников и смоковниц, плоды яблонь, ореховых и гранатовых деревьев. Зато здесь, как нигде в Палестине, мирно уживаются между собой самаритяне и иудеи, египтяне и финикийцы, римляне и греки. Как беззлобно они торгуют на шумном восточном базаре, как снисходительно и добродушно смотрят на молящихся своим богам иноверцев!

И мы невольно приходим к мысли, что все эти люди рождены одним Богом-отцом,

превратившим национальные различия своих детей в не более чем пестрые радужные одеяния, празднично украсившие жизнь.

По узкой покатою улочке древнего галилейского городка, задорно подпрыгивая и улыбаясь, бежит мальчик лет шести-семи. Видно, что он из бедной семьи: длинная рубаха из грубого полотна испещрена заплатами и составляет все его одеяние. Ни сандалий, ни кушака, ни накидки. Рубашонка чистая, хотя и застиранная до невозможности, и это наводит на мысль, что мать мальчугана не какая-нибудь базарная торговка, чьи дети всегда без присмотра, всегда в пыли и грязи, а женщина совсем другого склада, по мере сил и возможностей заботящаяся о своем ребенке.

Впереди мальчика, грузно и неуклюже вилля из стороны в сторону, катится большой металлический обруч. Он постоянно норовит съехать с дороги, но мальчик умело направляет его движение деревянной палочкой. Но вот что-то отвлекло внимание малыша. Обруч на мгновение вырвался из-под опеки и со всего размаха врезался в старика, сидящего на обочине в тени развесистой яблони. Старик вздрогнул от неожиданности и в сердцах выругался на арамейском языке. Затем, крихтя, поднялся и, держась рукой за ушибленный бок, решительно направился к мальчугану. Но мальчик его не видит, он поражен чем-то совершенно неожиданным.

Глазки его округлились, ротик приоткрылся, по телу прошла стремительная дрожь, а на лбу выступили прозрачные капельки пота. Старик наклонился, протянул руку и длинными костлявыми пальцами вцепился в рукав застиранной рубашонки. Резко дернул к себе, материя не выдержала и, издавая глухой жалобный звук, порвалась в нескольких местах сразу. Мальчик с испугом оглянулся и вдруг прижался к старику всем своим трепещущим тельцем. И старик тоже увидел...

Он бережно погладил мальчика по голове, взял за руку, а сам что-то отшвырнул с дороги. Затем подвел малыша к обручу, поднял его и слегка подтолкнул. Обруч сначала нехотя и лениво, а потом все быстрее и быстрее запрыгал по неровной колее. Но мальчик не последовал за ним, а лишь какое-то время с ужасом провожал взглядом — тяжелый, грубый, все сминаящий на своем пути — и вдруг бросился бежать в противоположную сторону. Старик неодобрительно покачал головой и хотел уже было сесть на прежнее место, но почему-то раздумал и обратился с молитвой к Богу...

...А нас еще долго преследует безумный взгляд раздавленного обручем несчастного пенца горлицы.

Но ничто не способно остановить колеса предопределенности, и вот уже огромный свинцовый обруч катится по горизонту.

Воспоминание второе.

Через узкую щель перед нами открывается просторное квадратное помещение. В глубине находится массивный шкаф, завешенный покрывалом. Из-под задравшегося уголка покрывала видны свитки старинных книг. Посреди комнаты возвышается кафедра с сиденьем для чтеца и налоем для свитков. На кафедре стоит священник и осторожно разворачивает пергаменты. Наконец находит то, что искал, сдувает со свитка пыль, поднимает голову, обводит взглядом собравшихся подростков.

— Почему я не вижу сына Марии? Или он считает, что ему незачем изучать Закон? — с притворной обеспокоенностью поет святой отец усталым, равнодушным фальцетом. — Ах да, у них нет денег, чтобы платить за обучение, — тонкие губы священника растягиваются в ядовитой улыбке; правая рука незаметно для присутствующих потянулась к чаше с монетами, нырнула в нее и принялась с наслаждением плескаться в серебряных струях. — Но как же он собирается преуспеть в премудрости и любви у Бога и человеков?

Ученики о чем-то оживленно зашептались между собой. Пастырь поднимает вверх левую руку и, дождавшись тишины, многозначительно добавляет:

— За все должен платить человек, а за любовь полагается двойная плата.

Глазки священника сузились, нос сморщился, шея несколько вдалась в плечи, и беззвучные утробные смешки чуть заметно колыхнули начинающее жиреть тело.

Синагогу сотрясает дружный всплеск хохота.

Помещение исчезает, и тут мы понимаем, что подсматривали за происходящим через дверную щель глазами двенадцатилетнего мальчика. Он еще некоторое время стоит около дверей, вытирает рукавом ветхой застиранной рубашонки набежавшие слезы, поворачивается и идет не разбирая дороги в сторону охристо-золотистых гор. Он ничего не видит перед собой, поэтому произвольно наступает на чьи-то вскопанные грядки, отчаянно отмахивается от попадающихся на пути виноградных лоз.

Рыдания душат его; и вот, не в силах больше сдерживать внутреннего крика, он срывается и бежит, туда, в доступную только ему одному «школу». А вслед ему несутся злобные проклятия хозяев виноградников, садов и огородов.

Город остался далеко позади. И теперь он спокойно лежит у наших ног, все глубже

и глубже оседая в бархатную вечернюю негу, опоясанный чарующим ожерельем янтарных возвышенностей. Здесь, на Востоке, осень приходит быстрее и длится дольше. На лице мальчика еще остались следы слез, и тяжелое дыхание подсказывает нам, что он только-только успел взобраться на гору. Но взгляд его ясен, светел и покоен. Здесь он дома, здесь каждая травинка понимает его, а каждый листок несет в себе мудрость тысячи пыльных пергаментов. Мальчик с благоговением оглядывается вокруг, на глаза его снова набегают искорки непослушных слез, и вдруг бросается в траву, пытаясь обнять ее всю, пытаясь прижаться к ней как можно сильнее.

А там, вдалеке, на пылающем багряными сполохами горизонте, по рекам, садам и огородам катится черный обруч. Он оставляет за собой пожары и пепелища, и нет от него спасения на Земле, лишь плач, крики и душераздирающий скрежет.

Воспоминание третье.

Темная без окон комната. Тяжелый деревянный стол окружен плоскими скамьями. На столе в грубом глиняном светильнике лениво колышется язычок пламени. За столом сидит юноша лет шестнадцати. Он напряженно вчитывается в блеклые квадратные иероглифы ветхого пергамента и что-то бормочет себе под нос. Чуть поодаль, осторожно присев на краешек скамьи, расположилась еще сравнительно молодая женщина. Она задумчиво смотрит на юношу и тихо напевает какую-то грустную песню. Юноша отрывается от свитка, оборачивается и растерянно произносит:

— Око за око и зуб за зуб.

Женщина, привстав, заглядывает в свиток, потом, утвердительно кивнув головой, садится на прежнее место и уже было намеревается взяться за шитье, но юноша резко вскакивает из-за стола, возбужденно ходит по комнате.

— А по-моему, надо сказать иначе: кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубаху, отдай ему и верхнюю одежду!

Женщина грустно усмехается, снимает с юноши рубаху, осматривает ее.

— Не много найдется охотников, чтобы взять у тебя эту рубаху, Иисус.

Юноша недовольно морщится, отходит в сторону. Женщина, вздохнув, берет иголку, лоскут материи и начинает пришивать к рубахе очередную заплату.

— Тяжело тебе будет, мой мальчик. Нельзя быть таким чувствительным, это удел женщины.

Юноша садится перед женщиной на пол, обнимает ее колени.

— Почему, почему мы не любим друг друга?

— Боги учат, а люди грешат, — примирительно говорит женщина. — Грешат и надеются, что когда-то придет Христос и искупит их грехи.

— Он никогда не придет, — вдруг неожиданно говорит юноша. — Не может прийти тот, кто живет в каждом из нас.

И снова мы видим обруч, он влечет нас за собою по дорогам памяти.

Воспоминание четвертое.

Уже знакомая нам синагога. Сегодня суббота, поэтому в Доме собраний многолюдно. Совершается общая молитва. Вот она заканчивается, и на кафедру поднимается священник. Он долго и монотонно читает по пергаменту. Нам не удается разобрать слов, и лишь в самом конце чтения до нашего слуха доносится отрывок из книги Даниила:

— И да придет вечное Царство Святых, Царство Божие на земле.

Священник торжественно сворачивает свиток, откладывает его в сторону и снисходительно осматривает присутствующих.

— Кто хочет пояснить сие Божие откровение? — важно гнусавит святой отец, глубоко уверенный, что среди этого полуграмотного, невежественного в книжных премудростях народа не найдется человека, способного произнести что-либо вразумительное. Он знает наверняка, что снова, как было уже тысячи раз, ему самому придется наставлять этих жалких овец, и поэтому он добавляет:

— Но я хотел бы заметить вам, мужи и братия, чтобы вы не забывали главного: Царствие Божие есть не что иное, как наша истинная религия — Закон, данный Богом Моисею, дабы он возвестил его нам, осиянным Божьей благодатью. Ибо, как сказано у пророков, лишь Израиллю уготовано обетование, остальные же язычники да сгинут в геенне огненной.

И он уже было приготовился произнести заветное «аминь», но тут из зала раздается гневный юношеский голос:

— Не слушайте его, люди! Царство Божие среди вас. Это Царство Любви! Каждый, истинно говоря вам, каждый может войти в него!

Мы видим знакомого нам юношу. В толпе раздается несколько одобрительных возгласов. В основном они принадлежат молодежи, остальные члены собрания несколько растеряны, а вернее, напуганы происходящим. Священник пристально всматривается в лицо юноши, как будто не узнает говорившего,

еще какое-то мгновение держит себя в руках, но потом багровеет и громко визжит, брызгая слюной:

— Посмотрите, люди! Это же сын Марии! Этой нечестивой блудницы, этой нищей пряхи, погрязшей в грехе и прелюбодеянии. Недаром покойный Иосиф... — театрально возносит руки к небу, — Господи, прости мою грешную душу. Недаром покойный Иосиф вышвырнул их из дома! — Ядовито, шепотом: — Вы же прекрасно помните, перед тем как сей несчастный появился на свет, его непорочная мамаша, — слово «непорочная» он произносит с изысканным сарказмом, — путалась с римским легионером... — Поняв, что сболтнул лишнее, осекается и боязливо оглядывается по сторонам. Пытаясь увести разговор от опасной темы, снисходительно бросает: — Ты хоть знаешь, кто твой отец, агнец?

Долгая пауза. Все замерли в оцепенении. Иисус стоит выпрямившись как струна. Его хрупкие плечи нервно подрагивают, лицо стало белым как полотно, на глубокие черные глаза накатились тяжелые, горькие слезы, и только хруст пальцев, яростно сжавшихся в кулаки, нарушает тишину бессильным криком отчаяния. И он тихо говорит:

— Вседержитель предвечный, Создатель всего, Альфа и Омега мира, Господь Бог мой.

— Что-что?! — отчаянно шипит обезумевший от негодования пастырь. — Да он... он — не иудей, люди! Кто пустил сюда эту свинью?! Гоните! Гоните! Во-о-он!!!

Вокруг юноши зашевелилось нечто серое, расплывчатое и угрожающее. Эти кроткие слепые телята, привыкшие и почитавшие за великое благо быть рабами своих поводырей, ничего не понимая в происходящем, но поддаваясь тупому инстинкту насилия, как-то непроизвольно потянулись к Иисусу, обнаружив вдруг когтистые лапы.

— Смерть нечистому! Камнями! Побить камнями! — поплыло вокруг бесконечное эхо голосов.

Юноша в ужасе отпрянул и предпринял последнюю отчаянную попытку образумить безумцев:

— Вы не поняли меня, люди!..

Но ему не дали договорить... И вот мы слышим, как затрещал рукав старенькой застиранной рубахи.

А между тем кровавый обруч устремляется все дальше. И мы невольно следуем за этим безжалостным повелителем судеб и событий.

Воспоминание пятое.

Под сенью древних деревьев на пестрой зеленой лужайке разместились небольшая группа молодежи. Юноши и девушки, большинство из которых от двадцати до двадцати пяти.

Иисус — самый старший среди них, ему уже тридцать. Он сидит в центре маленького кружка, но совсем не слушает говорящих.

Вечереет. Усталое остывшее солнце, лениво уползающее за горизонт, кажется белым зрачком огромного глаза, а длинные глубокие тени, придающие очертаниям предметов сказочную силузтность, — его ресницами. Все вокруг дышит волнующей негой прохлады и ожидания.

Одна из девушек смотрит на Иисуса совсем не так, как подруги, а Иисус — вот он говорит что-то окружающим — на самом деле обращается только к ней. Мы замечаем, как трепетно горят их глаза, как нехотя и неумело прячут они друг от друга свои взгляды, стараясь не выдать себя. Как счастливы эти двое, как благодарны творцу за то, что живы, рядом, за то, что будут существовать вечно.

— Мы зря явились в Магдалу. Здесь нас никто не поймет, — говорит один из юношей, обращаясь к Иисусу.

— Правильно, — поддерживает его второй. — Здешние людишки никогда не выступят против фарисеев и книжников. Надо идти к Крестителю. Его вера — истинная вера. Пойдем и будем креститься от него.

Но Иисус не слушает говорящих.

— Зачем? — спрашивает он невпопад и украдкой смотрит на девушку.

— Ты не хочешь принять крещение покаяния? К Иоанну идут со всей Палестины. Ты что, забыл: только обращенным дается войти в лоно истинной религии, — пытается образумить Иисуса один из юношей.

— После крещения никто не посмеет сказать, что ты не чистокровный иудей, — подхватывает другой.

— Покаяния? — недоуменно переспрашивает Иисус. — Но мы не собираемся грешить. — И он снова смотрит на девушку: — Правда, Мария?

Девушка опускает глаза и вдруг встает и убегает в темноту. Первый юноша, заметив беспокойство Иисуса, насмешливо поясняет:

— Сегодня ее родители продали последнего осла, чтобы заплатить долги. Послушай, учитель, — обращается он к Иисусу откровенно шуточно, — мы не для того пошли за тобой, чтобы ты променял нас на первую встречную девицу...

Но Иисуса уже нет среди них.

Ночь. Художница луна набросала своими нежно-голубыми мазками укромный уголок в саду. Девушка стоит, прислонившись к финиковой пальме, и осторожно перебирает длинными прозрачными пальцами спутавшиеся волосы Иисуса. Он сидит рядом с ней на траве, прижавшись лицом к ее хрупким коленям.

— Отец, благослови меня, — чуть слышно шепчет Иисус. — Я нашел ее...

— Вокруг тебя всегда женщины, — говорит девушка. — И отца у тебя нет, я знаю.

Иисус встает.

— Да, и отца у меня нет, а мать путалась...

Но девушка не дает ему договорить, обнимает, кладет ему на грудь свою голову.

— Я подарю тебе сына. Что еще может сделать женщина в доказательство своей любви?..

Он осыпает ее поцелуями. Она вдруг резко отстраняется.

— О Боже... А вдруг он будет похож на тебя?!

— Конечно, — шепчет Иисус, — он будет похож на меня.

— Нет! — в отчаянии вырывается Мария. — Если он будет такой же мечтатель, у меня не хватит сил, чтобы уберечь вас обоих.

Иисус отходит в сторону, с яростью обламывает яблоневую ветку.

— Но кто-то должен взбунтоваться! Кто-то должен сбросить в преисподнюю этот лицемерный продажный мир?!

— Какой ты смешной, — грустно улыбается Мария.

Она подходит к нему, целует его руки, глаза.

— Иди на Иордан. Ты должен увидеть Крестителя. Говорят, он хочет того же самого.

— Боишься, что я не вернусь? — после короткой паузы спрашивает Иисус.

Мария садится на землю и что-то чертит пальцем на песке.

— Запомни этот знак. Это знак верности, Иисус. Я буду ждать. Я обещаю тебе.

Иисус подсаживается к Марии. Так они и сидят, доверчиво прижавшись друг к другу.

А вдалеке по небу катится зловещий знак — обруч, и мы видим, что это изображение креста в круге.

Воспоминание шестое.

Иудея. Мрачная, дерзкая, обиженная судьбой. Галилея по сравнению с ней — нежный цветок на уродливом теле колючего кактуса. Иудейская пустыня. С одной стороны — угрюмые изваяния оголенных скал, с другой — тяжелые асфальтовые воды Мертвого моря. Ни птиц, ни зелени, только песок и ветер, ветер и песок. У подножия одной из скал небольшое черное отверстие, вход в пещеру. Чуть поодаль мирно потрескивает костер. У костра двое: Креститель и Иисус. Вдалеке видны многочисленные искорки костров.

— Видишь, сколько нас... — равнодушно произносит Иоанн и тычет посохом в сторону костров, разбросанных по побережью. — С каждым днем ряды наши полнятся.

Ему тридцать четыре. Но он уже устал. Да, этот красивый широкоплечий мужчина устал. Из-под небрежно наброшенной на обнаженное тело верблужьей шкуры рельефно выступает упругая мускулатура. Взгляд глубоких, пронизывающих собеседника глаз выдает в этом последнем пророке Израиля вспышки внутренней борьбы, грозящей перейти в безнадежное отчаяние.

— Кто вы? Зачем вы здесь, учитель? — Иисус напряжен, он весь — внимание.

— Мы? — Иоанн изображает удивление, но невероятная усталость дает о себе знать, и Креститель, вспыхнув на мгновение, угасает. — Мы нищие, галилеянин. Мы — сыны Света.

— Все люди — сыны Света, учитель. Я так понимаю Землю.

Иоанн вдруг начинает громко, натянуто смеяться.

— Такое я слышу впервые, галилеянин. Значит, все вокруг — нищие? — поправляет посохом поленья. — Однако, кажется, в твоём поясе спрятана не одна пара динариев, отдай его мне.

К костру подходит человек и, не говоря ни слова, устраивается поудобнее.

— Возьми, — Иисус протягивает пояс Крестителю.

Но Иоанн не берет пояса и хитро шурит-ся.

— Познакомься, — показывает посохом на пришельца. — Мой самый преданный ученик. Человеку: — Отдай мне свой пояс, Иуда.

Иисус приветственно склоняет голову. Иоанн отвечает ему тем же.

— Не шути так, Иоанн. Не шути так, Креститель, — Иуда недовольно морщится: чудачества пророка раздражают его. — Ты же обещал не прикасаться к маммоне.

Иуда тоже устал. Но он устал от Крестителя. Ему лет сорок — сорок пять, он полон энергии и уверен в себе, этот «самый преданный ученик». Тем нелепее его появление здесь, в пустыне, в рядах отрешившихся от мира паломников.

Иисус опускает глаза и снова переводит взгляд на Крестителя.

— Вот так-то, галилеянин, — театрально вздыхает Иоанн, — все придумывают причины, чтобы не расстаться со своим добром... Ты пришел ко мне принять крещение покаяния, но я не буду крестить тебя, Иисус, ибо ты не признаешь грехов.

Иуда хитро улыбается, но затем вдруг становится серьезным:

— Не издевайся над ним, Иоанн. Он не заслуживает такой участи. Сегодня я слушал его. И если его слова хоть на самую малость истина, он...

— Уж ты бы помолчал, Иуда из Кариота! — громовым голосом хрипит пророк. — Все! Все погрязли в грехе! Одни служат

славе, другие — любодейству, третьи — маммоне... Но сказано у пророков: «Нет на земле иной власти, кроме власти Бога». И я должен спасти чистоту Завета!

— Потому-то ты и прячешься в пустыне, Креститель?.. Если ты настолько смел и не боишься никакой власти, иди в мир и там проповедай истину. Чтобы люди поверили в добро, надо начать делать его,— усмехается Иуда.

Иоанн дрожит. Кажется, сейчас он бросится на Иуду и разорвет в клочья. Но нет, этот Иуда из Кариота не боится пророка. Он продолжает улыбаться, он спокойно смотрит в глаза Крестителю, и Иоанн сникает, ежится и вдруг как-то сразу становится тихим и жалким.

— Только не это. Я не хочу иметь с ними ничего общего. Пускай люди сами идут ко мне. Я дам им крещение покаяния, ибо недалек тот час, когда придет помазанник Божий... И страшен будет Его суд.

— Ты умеешь красиво говорить, Иоанн,— хлопает в ладоши Иуда.

— От кого ты хочешь спасти чистоту Завета, учитель? — спрашивает Иисус.

— От язычников, галилеянин,— встрепетавшись, воодушевляется Креститель, замечая, как преданно блестят глаза Иисуса.— От римлян, эллинов, сирийцев, египтян... от мира варваров, они — первые враги! Они — дети Тьмы!

— Враги? — удивляется непонятливый галилеянин.

— Ты видно забыл Талмуд, несчастный: «Лучшего из гоев — убей!» — грозно поясняет Креститель.— Это они развратили Израиль. Это они сделали его расчетливым и лицемерным.

— Смешно,— издевается Иуда,— наши братья сами кого угодно обучат этому искусству.

Но пророк не замечает реплику.

— Потом идут вожди израильские. Эти не лучше римлян, ибо продались гоям и своим примером растлевают народ.

Какое-то время они сидят молча.

— Мне явилось откровение,— виновато улыбается Иисус.— Если бы Богу было угодно, Он сделал бы нас одним народом. Но Он испытывает нас. Придет день, когда мы соединимся вновь в любви и ненависти. Ибо един Бог и все люди — Его дети.— Еще более смутившись: — В Галилее я жил среди язычников. Они нисколько не хуже нас.

Иоанн с недоумением смотрит на Иуду, будто Иуда привел сюда этого глупого галилеянина, привел и заставил говорить такие странные слова. Но Иуда делает вид, что его не интересует происходящее. Иуда делает вид, что он занят костром. Вот он не спеша подбрасывает хворост в огонь и 108

блаженно греет ладони. А этот сумасшедший галилеянин так ничего и не понял.

— В одном я согласен с тобою, учитель. Зачем мы забыли о своем сердце? — продолжая улыбаться одними глазами, шепчет Иисус.— Все ждут, что придет мессия и восстановит Царство справедливости... А иначе жизнь человеческая не имеет смысла...

— Ничто так не ослабляет человека, как надежда на что-либо, кроме собственного усилия, найти спасение и благо,— дружелюбно говорит Иуда.

— И я о том же,— воодушевляется Иисус и пристально смотрит на огонь.— Ибо каждый из нас мессия, малая искорка животворящего огня Божьей благодати. Истинно, истинно судьба мира в наших сердцах.

Гром и молния повисли над тишиной. Гром и молния наполнили землю и небо. Сейчас, сейчас они грянут во всеуслышание. Сейчас пророк поразит непокорного. Сейчас, сейчас, вот он уже встает...

— Зачем ты пришел ко мне, галилеянин? — неожиданно спокойно произносит Креститель.— Тебе являются откровения, ты знаешь судьбу мира,— усмехается.— Я понял тебя, ты возмнил себя пророком... А может быть, мессией? Ну сознайся, если ты так честен.

— Нет, учитель,— после короткой паузы говорит Иисус.— Нет, я не мессия. Но иногда Отец наш Небесный приходит ко мне,— поднимает руки к небу.— Он благовестит моему сердцу, и я пересказываю Его слова страждущим.

— Ты усомнился в избранности Израиля, галилеянин,— сурово произносит Иоанн.— Господь, избравший нас своим народом, не мог благовестить тебе такую глупость. А по сему я уличаю тебя во лжи!

— Эге-ге,— вздыхает Иуда,— сколько пустых и напыщенных слов. Но разве от них что-нибудь меняется в мире? — он разгребает посохом угли костра.— А все-таки, Иоанн, сознайся, что ты боишься властей.

— Господь за меня, не утрашусь, что делает мне человек? — гневно парирует Креститель.

— Эге-ге,— уныло смеется Иуда,— но ты останешься здесь в пустыне, а он пойдет... он пойдет в самое логово. Ты пойдешь в мир, галилеянин?

Иисус молчит, от напряжения на его высоком лбу выступили предательские капельки пота.

— Чтобы вступить не стезю проповеди,— беззвучно смеется Иуда,— необходимо принять обет назорейства. Остановись, Иисус, ведь ты так молод... Придется дать клятву безбрачия.

Иоанн пристально смотрит Иисусу в глаза. Он умеет читать по глазам, недаром люди так заворожено слушают его. Да, он умеет

читать по глазам и поэтому видит, как дрогнули губы галилеянина, как резко расширились его зрачки.

— Знаю,— шепчет Иисус и вытирает рукавом пот со лба.

— Ну что ж, иди, они ждут мессию,— Креститель показывает рукой в сторону костров,— иди, освети их искрами своего чаклого огня, «спаситель».— И он тычет посохом в грудь Иисуса.

Иисус, не ожидавший удара, падает на землю.

— Но самое смешное,— невозмутимо продолжает Иоанн,— убеди их, что все они из одной крови! — и громкие раскаты хохота потрясают хрупкую тишину ночи.

Иисус встает. И вот он уже на берегу Мертвого моря. Оно напоминает собой спящее чудовище, нервно подергивающее во сне асфальтовыми чешуйками плотного панцыря. И вот уже эти чешуйки превращаются в дороги, шоссе, магистрали. Бешено несутся по ним автомобили и мечутся, мечутся объятые паникой люди, но нет им спасения.

Иисус заслоняется от ужасного зрелища руками, поворачивается и быстро идет в направлении другого моря, живого, так призывно трепещущего мириадами костров на горизонте.

А огромный обруч-прорицатель медленно катится за горизонт.

II

Прошло три года.

Окрестности Вифании. Вечер. Полнолуние. Появляется Иисус. Он крадучись пробирается сквозь заросли смоковниц и прячется за большой камень.

Тишина. Только дальние трели цикад и учащенное дыхание Иисуса, неуклюже прирастившегося за камнем, нарушает величественно покойное успление дня.

Появляется шумная ватага ребятишек. Они оглядываются по сторонам, но вот один из них замечает Иисуса, и под общих смех, свист и радостные крики вся эта пестрая стайка обрушивается на него, устраивая огромную кучу-малу. «Мы все равно тебя найдем. Куда ни спрячешься, найдем. Больше не убегай от нас, Иисус», — слышатся отовсюду их тоненькие возбужденные голоса.

Но Иисус и не думает никуда бежать, он гладит детей по головам, прижимает к себе, смеется и плачет одновременно, он счастлив. «А теперь ты ищи нас! Пообещай, что ты будешь искать нас, Иисус, будешь искать и пока не найдешь...»

И тут откуда-то сзади, сначала тихо, а потом все громче и громче раздается протяжный жалобный вой. Дети настораживаются и с паническим ужасом разбегаются. Иисус

поднимает с земли палку, бросает ее в темноту: «Прочь, шакал!» И тут мы видим, как от ствола смоковницы отделилась чья-то тень и исчезла в темноте.

— Блаженны нищие духом,— слышится в отдалении чей-то голос, и вот из темноты выходит Иуда.— Прекрасно, галилеянин, прекрасно... В то время как бедный Иуда, задыхаясь от жажды, спешит в эту проклятую Вифанию, чтобы уберечь новоявленного пророка от неожиданных, сам пророк преспокойно забавляется со щенками. Эге-ге, назорей, это пахивает безумием.

Иисус. Зачем распугал детей, Искарriot? (*Задумчиво.*) Где я смогу отыскать их теперь? Иуда. Хватит, я уйду. Мне надоели твои причуды.

Иисус (*делая над собой усилие*). Не сердись. Никто не виноват, что ты не любишь детей. Иуда (*садится на землю рядом с Иисусом*). Мы решились на такое дело... Здесь каждый шаг должен быть взвешен, а ты... Что с тобой творится в последнее время?

Иисус. Оставим это. Что с Лазарем?

Иуда. Летаргический сон — прекрасная возможность явить миру чудо, Иисус. (*Снова добродушно.*) Завтра ты «воскресишь» Лазаря, и, помани мои слова, весть об этом в мгновение ока облетит прогнивший Иерусалим, а там... а там и всю Иудею. (*Дружелюбно хлопает Иисуса по плечу.*) Он провалился в пещеру три дня и, как все порядочные мертвецы, должен смердеть... (*Самодовольно улыбаясь.*) Я сделал так, что теперь к нему невозможно подойти. (*Смеется.*) Тебе не на Бога надо молиться, галилеянин, а на Иуду, своего преданного друга.

Иисус (*задумчиво*). Я чувствовал это, и что-то необъяснимое влекло меня в Вифанию. Вспомни, ты сам не раз удивлялся моему решению: так срочно оставить Перею и спешить сюда.

Иуда. Эге-ге. А ведь правда, Иисус, откуда ты знал? Едва только услышал, что Лазарь болен... Я помню, как заблестели твои глаза. Ты что, действительно чувствовал?.. Нет, этого не может быть. Я сам творю чудеса и знаю, что чудес не бывает. Откуда ты знал, Сын Человеческий?

Иисус. С тех пор как ты придумал это прозвище, оно так и пристало ко мне... Да, я чувствовал, я всегда чувствую знамение. Иуда. Бред. А вот прозвище к тебе пристало неспроста, это точно: все люди — дети, а ты дитя детей.

Вифания. Маленькая глиняная мазанка. Убранство довольно скромное, но повсюду чистота и порядок. В комнате двое: Марфа и Мария. Марфа переодевается в праздничную одежду.

Марфа. Ну как, Мария, тебе нравится? Я так счастлива: наконец-то увижу его.

Мария. Да, Марфа, да... это большое счастье.

Марфа. Подай-ка заколку, ту, из черепашьего панцыря. *(Сама находит заколку.)* Ну как?

Мария. Ты очень красивая, Марфа.

Марфа. Когда он был у нас в прошлом году... Помнишь тот день, Мария? Ты еще сидела у его ног и все слушала, слушала...

Мария. Нет, не помню.

Марфа. Конечно, откуда тебе помнить. У тебя бывае столько мужчин... А я помню его глаза. Они такие грустные. Ему не хватает ласки, я сразу это поняла.

Мария. Нехорошо, Марфа, умер брат наш, а ты разрядилась, как на праздник. Что скажут люди?

Марфа. Плевать на людей. *(Тихо, только себе.)* Молись, Марфа, сегодня решается твоя судьба.

В комнату вбегает человек.

— Идут! Человек двенадцать, а то и более.

Идите, встречайте! Неужто и впрямь воскресит?! Там много людей собралось. Идите, идите, встречайте!

Марфа. О Боже, у нас еще хлеб не допекся. Мария, ты посмотри, а я побегу.

Марфа бежит к двери. Но вдруг останавливается, возвращается, садится на скамью рядом с Марией.

Марфа. ...Как увидела его тогда, не могу забыть. Вот, казалось бы, горе у нас и следует лить слезы и причитать... А ты не ходи. Слышишь? Я запрещаю тебе! Ты недостойна касаться его! Он святой, понимаешь, святой.

Мария. Действительно веришь, что он воскресит Лазаря?

Марфа. Достаточно того, что он воскресил меня.

Идет к двери.

Мария. Люди говорят, он принял обет назорейства и не может касаться женщины... Прости.

Марфа на мгновение замирает в дверях.

Марфа. Тебе бы, Мария, должно знать, что это мы касаемся мужчин, а не они нас.

Марфа уходит. Мария растерянно смотрит по сторонам, закрывает лицо руками.

На небольшой поляне расположились ученики Иисуса. Все, кроме Иуды.

Петр. Равви, давно ли эти люди искали, чтобы побить тебя камнями? А ты опять привел нас сюда. Посмотри на эту толпу — снова придется спасаться бегством.

И тут он замечает, что Иисуса рядом с ним нет.

Петр. Где ты, учитель?! *(Оглядывается вокруг. Остальным.)* Только что был тут, куда он пропал?

Все недоуменно пожимают плечами, оглядываются. Иисус сидит на земле в отдалении

от учеников и что-то чертит пальцем на песке. **Иоанн.** Учитель!

Иисус *(встрепенувшись)*. Он был мне другом. Сейчас он уснул, пойдемте разбудим его. **Петр** *(насмешливо)*. Как бы нам самим не уснуть рядом с Лазарем. Очнись, я говорю, нас побьют камнями...

На поляне появляется Марфа. За ней движется толпа народа. Увидев Иисуса, Марфа останавливается, движением руки просит оставить ее. Народ нехотя отступает. По знаку Иисуса ученики тоже удаляются.

Марфа. О Иисус! Зачем ты оставил меня тогда, зачем не послушался и ушел? *(Склоняет перед ним голову.)* Воистину ты есть Сын Человеческий, и учение твое правда. Ты учил меня: все, что ни попросишь у Господа, даст тебе Бог. И вот ты здесь, здесь, здесь!..

Она осыпает поцелуями его руки. Иисус отдергивает руки.

Иисус. Успокойся, Марфа, проснетесь брат твой.

Марфа. Я знаю, знаю, ты воскресишь его.

Кидается к ногам Иисуса, целует его колени.

Иисус. Вера наша и есть воскресение и жизнь. Верующий, если и умрет, оживет. Веришь ли сему?

Марфа. Так, Иисус, так... Я верую, что ты Сын Божий, грядущий в мир.

Иисус. Мы все дети Божии, Марфа. *(Отстраняется, отходит в сторону.)* Мне грустно, сестра. Не тою любовью клонишься ты ко мне.

Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза. Чувствуется, что Марфа подавлена и растеряна. Но вот она отбрасывает с лица волосы, гордо выпрямляется.

Марфа. Любовь в мире одна, Иисус. Но она такая глубокая, что, как море, вмещает в себя многие и многие глубины. Ты думаешь, те женщины, что идут за тобой, любят тебя поиному? Ты думаешь, ты сам любишь истину не этой же любовью? У тебя не было отца, но ты так тосковал по нему, что назвал себя сыном Отца Небесного. У тебя не было невесты, и ты так тосковал по ней, что заменил ее Церковью Христовой. Но все это одна и та же любовь, Иисус... Это говорю тебе я — женщина, хозяйка Земли. А любящая женщина, Иисус, — хозяйка Вселенной.

Иисус садится на землю и что-то чертит пальцем на песке.

Иисус. Когда мне сказали, что Лазарь болен и ты зовешь меня, я сразу отправился в дорогу. Я рад видеть тебя, Марфа, это правда.

Марфа *(шепотом, сама себе)*. За что, Господи? Неужто такова цена праведности? А ведь я простая женщина, и сколько раз соблазнал искушал меня, но никто, никто не коснулся моего тела. А она... *(Иисусу.)* Хорошо. Я приведу ее.

Иисус порывается что-то сказать, но Марфа жестом останавливает его.

Марфа. Только не говори, что ты принял обет назорейства, галилеянин. *(Надрывно выдыхая смеется. Уходит.)*

Иисус сидит на земле, обхватив голову руками, и не сразу замечает Марию. За ней движется толпа народа. Тут же, выйдя на шум, к Иисусу подходят ученики, готовые защитить учителя. Мария останавливается, опускает глаза и вдруг падает к ногам Иисуса, плачет.

Мария. Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой.

Многие из толпящихся вокруг театрально причитают. Иисус дрожащими руками поднимает Марию.

Иисус *(прерывающимся от волнения голосом)*. Где вы положили его?

Мария. Иди и посмотри.

В толпе слышны возгласы: «Смотрите, он любил его!», «Не может ли этот человек воскресить Лазаря?», «Да что он, Бог что ли?», «Это же тот проходимец, который убежал от нас в прошлом году!», «Много их сейчас болтаются вокруг, попрошаек!», «И каждый называет себя мессией!», «Гони их!», «Тише вы, грех все-таки, над памятью усопшего».

Ночь. Тишина. Вдруг откуда-то совсем рядом раздается жалобный вой. Это Иуда. Он сидит на земле, прислонившись спиной к финиковой пальме, и воет на луну.

Из темноты появляется Марфа. Она подходит к Иуде сзади, кладет ему на плечо руку. **Иуда** *(вздрагнув)*. Кто тут?

Марфа. Испугался, степной шакал?

Иуда. А, это ты... Испугался.

Марфа. Правильно. За все надо платить. И за чудеса тоже. Ко мне приходили фарисеи, и я рассказала им, как Иисус проделал этот фокус. Они в гневе. Некоторые пошли в Иерусалим. Они будут говорить об этом в синедрионе.

Иуда. А мне зачем знать об этом?

Марфа. Потому что ты единственный среди этого сброда... Потому что ты... *(Закрывает лицо руками, садится рядом с Иудой.)* Он отверг меня. ...Ты был любимым учеником Крестителя, этого воистину святого человека, знающего Закон и пророков... Скажи мне, Иуда из Кариота, возможно ли праведному раввину любить грешницу?

Иуда *(улыбаясь)*. Креститель частенько повторял: пришла пора вдохнуть новую жизнь в высохшие кости Закона. По-моему, он имел в виду твой случай. *(Смеется.)*

Марфа. Заткнись, шакал! Я предала Иисуса, ты понимаешь?!

Иуда. Я понимаю, Марфа, ты предала Иисуса. Иуда понимает, что значит предать. Но что

я могу поделывать, сейчас такое время: вокруг одни доносчики и предатели.

Марфа. Ты самый умный среди них. Я согрешила, брат. Иисус — такой ребенок. Грешно предавать беззащитных. Умоляю тебя, придумай что-нибудь.

Иуда. Эге-ге, знакомые песни: не предавайте детей, ибо таковых есть Царствие Божие *(Смеется.)*

Марфа. Шакал! Шакал! Шакал!

Марфа убегает. Иуда тут же становится задумчивым и незаметно для себя начинает сначала поскуливать, а потом пронзительно выть на луну.

Иерусалим. Дворец первосвященника Анны. Мрачная темная комната. В углу мерцает светильник, на полках клетки с голубями, на полу разбросаны пергаменты. Только пергаменты и голуби, голуби и пергаменты, и ничего больше, хотя... В глубоком кресле в задумчивости сидит старик. Это Анна. Перед ним, смиренно склонив голову, стоит Иуда. В комнату вбегает Никодим.

Никодим *(Анне)*. Пора, святейший. Они без тебя не начнут. Они все равно ничего без тебя не решат.

Анна вдруг яростно смахивает со стола пергаменты, и мы видим, что это не стол, а медный квадратный жертвенник с небольшими рогами на углах.

Анна. Врешь! Вы всегда начинаете без меня. *(Иуде, по-детски плаксиво.)* Они всегда начинают без меня. *(Никодиму.)* Почему вы опять пришли за мной, ведь Ирод лишил меня первосвященства? Теперь я никто, никто, никто!

Никодим *(боязливо оглядываясь на Иуду)*. Ты же прекрасно знаешь — народ не признает Каиафу, твоего зятя. Люди продолжают считать тебя верховным пастырем Израиля. Они смеются над Каиафой.

Анна. Ложь! Бесстыдная ложь! Я видел, как они сгибаются перед ним.

Никодим порывается что-то сказать, но еще раз с опаской оглядывается на Иуду. **Анна.** Это Иуда из Кариота, мой самый преданный осведомитель. Не бойся его, Никодим, не бойся его... А в чем, собственно, дело? Какое небесное знамение заставило собраться наш сонный ленивый синедрион? **Никодим.** Я дважды виделся с этим человеком, когда он проповедовал в Иерусалиме. Это необыкновенный человек. Спаси его, святейший. Они погубят Иисуса.

Анна. Иисуса? Уж не тот ли это проходимец из Галилеи, что устроил переполох в храме полтора года назад?

Никодим. Он не проходимец, святейший. Истинно, истинно он — пророк!

Анна. Ты слышишь, Иуда, ну и времена — все помешались на ожидании помазанника.

Что случилось, Никодим? Жизнь, словно пек-сок, просачивается сквозь мои старческие пальцы. Просвети глупца, Никодим, Анна стыдно показываться перед народом. Анна потерял нить жизни.

Никодим. Ты смеешься надо мной, святейший. Нет у Израиля человека образованнее и культурнее тебя. *(Показывает на разбросанные вокруг пергаменты.)*

Анна *(поднимает один из пергаментов, тот в руках у него рассыпается)*. Теперь ты видишь, чего все это стоит... Труха.

Никодим *(вдруг падает ниц)*. Спаси его, святейший. Даже если он самозванец, спаси его!

Анна. Ты удивляешь меня, Никодим. Такой почтенный муж, правитель судеб Израиля не должен поддаваться обаянию случайного проповедника. Что мог этот нищий сделать такого, чтобы ты впал в совершенное безумие?

Никодим. Он сотворил чудо! Он воскресил мертвого!

Анна. И это все? Что ты думаешь об этом, Иуда?

Иуда. Я не знаю этого человека. Но если уважаемый... *(Он пристально смотрит на Никодима, и мы читаем в его лице презрительную усмешку.)* ... но если уважаемый говорит правду...

Никодим. Истинно, истинно, это так. Галилеянин чист, как ребенок, он неспособен на обман.

Анна встает, подходит к клеткам с голубями. Подбирает с пола хлебные крошки, бросает их голубям.

Анна. Нехорошо убивать детей, это правда. Но я не пойду в синедрион. Так и передай Каиафе: Анна не пойдет в синедрион. Анна будет молиться, ибо все суета сует и томление духа.

Никодим. Ты совершаешь государственную ошибку, святейший: много народа идет за Иисусом. Опасно закрывать на это глаза. Народ любит тебя. Не отрекайся от своего народа, первосвященник.

Анна. Возвращаясь в собрание. Я же сказал, что не пойду.

Какое-то время Никодим пристально смотрит на Анну, потом резко срывается с места, уходит.

Анна *(совершенно спокойно, Иуде)*. Продолжай.

Иуда. Я все сказал. *(Показывая в сторону ушедшего.)* Этот человек закончил мой рассказ... Так я помог Иисусу совершить очередное чудо... Но почему ты отказываешься идти в синедрион? Они ведь убьют его.

Анна. Прекрасно, Иуда, прекрасно. За это дело ты заслуживаешь вознаграждения, но ты не получишь его, нет, не получишь. Кто позволил вам появляться в Вифании? Полтора месяца назад вы так же незванно

явились в Иерусалим. Что случилось, Иуда? Ты всегда был таким исполнительным. А может, ты замыслил выдать галилеянина фарисеям?

Иуда. Последнее время Иисус стал неуправляем. Я отговаривал его, как мог.

Анна *(пристально смотрит на Иуду)*. Сколько тебе пообещали за него? За сколько сребренников ты хочешь продать Сына Человеческого? Ты скажи, я дам тебе эти деньги, но упаси тебя Бог предавать младенца. *(Задумчиво в сторону.)* Еще не время срывать смоквы.

Иуда. Зачем обижаешь бедного Иуду, первосвященник? Он клянется, что ему было откровение, поэтому и пошел в Вифанию. Странно, но Лазарь действительно заснул летаргическим сном. Что это, святейший? Временами мне кажется, галилеянин больше чем человек. Поспешите же в синедрион, святейший. Еще есть время.

Анна задумчиво смотрит на голубей.

Анна. И все-таки что его тянет в Иерусалим? Слава?

Иуда отрицательно мотает головой.

Анна. Деньги?

Иуда. Откуда ему их взять. За наивность не платят.

Анна *(заигрывая с голубями)*. Голуби всегда живут парами, Иуда... всегда живут парами... Значит, это женщина.

Иуда. О чем ты, первосвященник? Ты же знаешь: он принял обет назорейства.

Анна. Мы все назореи Господа Бога, Иуда. И однако мы все идем к пропасти, держа перед собой Писание, чтобы не видеть ее. А что, много народа следует за ним? Вот Никодим свидетельствует, что уже многие уверовали в его учение.

Иуда *(думая о своем)*. Не власть, не деньги, не женщины, все не то...

Анна. Я спрашиваю, много народа следует за ним?

Иуда *(продолжая думать о своем)*. ...Его бредовые идеи о царстве всеобщей любви... Он говорит, что только так можно спасти мир. Но жизнь начертала передо мной иные истины...

Анна. Что с тобой?

Иуда. Правильно, первосвященник. Каждой сказке приходит конец. Не ходи в синедрион.

Анна подходит к Иуде, трясет его за плечи.

Анна. Много народа следует за ним?

Иуда *(на мгновение очнувшись)*. Человек семьдесят, не более.

Анна *(изумленно)*. Что ты сказал?! Только семьдесят человек за три года проповеди?!

(Резко срывается с места, идет к выходу.)

Иуда *(задумчиво)*. Вот и все, конечно. На этот раз я не стану спасать тебя. Нет, Иуда не станет спасать тебя, Иисус... Ненавижу!

Анна на мгновение задерживается у дверей, удивленно смотрит на Иуду. Уходит.

Идет заседание синедриона. Присутствующие разбиты на небольшие группки: это саддукеи (среди них Никодим), фарисеи, zeloty и книжники. Несколько в стороне от остальных на почетном месте восседает Каиафа. Мы станем свидетелями ожесточенного спора. Еще немного, и он грозит перейти в рукопашную.

Zелот. Шакалы! Шакалы! Шакалы! О горе тебе, Израиль, откуда правят тобой мужи от семени хамелеона!

Книжник (зелотам, разрывая на себе одежды). Боже! Сокруши зубы их! Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнце, как выкидыш женщины!

Каиафа иступленно стучит посохом и громко визжит.

Каиафа. Молчать! Зловонные гады! (Зелотам.) Открывший рот да ответит за это. В чем вы нас обвиняете?

Zелот. Аврааму было завещано от Бога, что потомство его наследует мир. (Поворачивается к фарисеям.) Вот вы, фарисеи, какими делами ищете славы Израилю? Наивно полагаете, что союз, заключенный между Богом и Моисеем, уже сам по себе дарует обетование?

Фарисей. Истинно так.

Zелот. Лицемеры! Вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей и всяческой нечистоты. И тысячу раз прав этот несчастный галилеянин, ибо даже ему понятно, что не мир, но меч способен приблизить исполнение времен.

Свист, топот со стороны фарисеев заглушают его голос. Незаметно для остальных появляется Анна. Он украдкой пробирается на свободное место и внимательно прислушивается к выступающим. Встает саддукей. **Саддукей (зелотам).** Да благословит Господь ваши отроческие намерения. Но еще никогда меч не умножал славу Израиля. Несколько полупьяных легионов, и нас раздавят, как навозных мух. В одном ваша правда: раскрашенными гробами не завоеешь мир.

Фарисей (саддукеям). А вы, продавшие свои ожиревшие души римлянам, чем вы приближаете царствие Израиля? Уж не тем ли, что преданно служите им, как псы своему хозяину? Правильно проповедует галилеянин: смотрите берегитесь завкаски иродовой. **Каиафа.** Ты забываешься, фарисей! Никто не виноват, что вы ничего не смыслите в политике.

Саддукей. Истинно так, святейший Каиафа. Чтобы править миром, нужно знать его слабости. Они хотят по союзу с Богом получить власть над миром. Ну что ж, пусть попробуют,

если Египет и вавилонское пленение их ничему не научили. (Фарисеям.) Деньги — вот слабость мира. Вот на что покупается и римлянин, и эллин, и варвар, и скиф. Наши люди рассеяны по всему миру. Учите иудеев делать деньги, и вы приблизите славу Израиля, святые отцы.

Книжник. Ложь! Пророки свидетельствуют против ростовщиков, продающих правого за серебро и бедного за пару сандалий. Даже мерзкий галилеянин знает это.

В центр собрания не спеша выходит Анна. Окружающие почтительно приветствуют его. **Книжник.** Вот он, почтенный Анна. Вот кто разрешит наш спор.

Слышны голоса: «Скажи им, почтенный!», «Скажи им!».

Анна. О чем вы меня просите? Не понимаю... Анна стар и плохо разбирается в мирских делах. К тому же мой зять... (Он почтительно склоняется перед Каиафой.) ...вот ваш духовный пастырь.

Каиафа бросает на него свирепый взгляд. В собрании снова поднимается свист и шум. Слышны крики: «Мы хотим слышать только тебя!», «Анна, пусть скажет Анна!», «Говори, святейший, люди слушают тебя!».

Анна. Я мало что понял, достопочтенные, но мне кажется, вам не о чем спорить. Или я ошибаюсь, первосвященник? (И он пристально смотрит на Каиафу.) ...Мы все хотим славы Израиля.

Каиафа (сквозь зубы). Продолжай.

Анна. Вас смущают пути. Но я вижу только одну дорогу, это путь веры.

Каиафа. Есть и второй путь.

Наступает гробовая тишина.

Анна (с наигранным удивлением). Не может быть. Анна не знает иного пути.

Каиафа. Не надо лицемерить, тесть. Покуда пребудут солнце и луна в роды родов, ни один иудей не полагает своей задачи в том, чтобы нравственно слиться с Всевышним. (В сторону собрания.) Это только наивный галилеянин может проповедовать такую глупость. (Анне.) Да, мы верим в Святой Дух, но только в такой, который целесообразен. Только в такой, который нужен, чтобы повелевать людьми и народами. (Усмехнувшись.) Пускай Господь занимается своими делами, а у нас, смертных, свои заботы.

Долгая пауза.

Анна. Ты мудро сказал, зять. Но это и есть путь гибели.

Идет к выходу. У самой двери останавливается.

Анна. А что решило почтенное собрание? Что будет с галилеянином?

Громкие крики: «Смерть!», «Смерть нечестивым!».

Каиафа. А, с этим несчастным «мессией»? Мы уже и забыли о нем. (Смеется.) Своими фокусами этот человек смущает народ. Ты же

знаешь: римляне не любят чудес. Потому не лучше ли одному человеку умереть за людей, нежели всему Израилю пострадать за одного? Все смеются.

Анна. Сейчас каждый третий отпускает грехи, а каждый второй творит чудеса. Мне сдается, что этот бедный человек если и повинен в кощунстве, то несколько не более остальных.

Книжник. Очнись, святейший, он предрекает исполнение времен. А не сказано ли в Писании, что мессия придет из Вифлеема от семени Давидова и уж никак не из Галилеи? (Смеется.)

Анна (задумчиво). Вот это серьезное упущение, книжник... Но какова его проповедь, Каиафа? Он тоже хочет привести Израиль к власти над миром?

Каиафа (усмехнувшись). О нет, святейший, его запросы гораздо скромнее: он хочет спасти мир.

Анна (выражая удивление). Спасти мир? От чего?

Каиафа. От пороков, тесть, от пороков... В противном случае нам всем грозит неминуемая гибель. (Смеется.)

Анна (усмехнувшись). Ты не убедил меня, первосвященник. Ты не убедил меня, что этот несчастный достоин смерти.

Собрание неодобрительно зашумело.

Каиафа (вдруг резко, злобно, брызгая слюной). Этот поганый шакал смеет равнять Иудея с язычником!

Анна обводит присутствующих осторожным взглядом.

Анна. Не будем беспокоить Пилата, римскому прокуратору трудно понять наши дела. Вы правильно решили — галилеянин достоин смерти. У меня есть надежный человек. Он тайно свершит дело.

Дворец Анны. Комната первосвященника: голуби и пергаменты, пергаменты и голуби... и медный квадратный жертвенник с небольшими рогами по углам его. Анна сидит в кресле. Перед ним, смиренно склонив голову, стоит Иуда.

Анна. Ничего нельзя было сделать. (Усмехнувшись.) А впрочем, кому как не Иуде из Кариота исполнить решение синедриона. Ведь ты самый близкий человек Иисусу... К тому же ненавидишь его, если я правильно понял. (Улыбается.)

Иуда. Это верно, Иисус любит меня.

Анна. Вы оба достойны друг друга. Но теперь вам не взбредет в голову без моего приказа появляться в окрестностях Иерусалима.

Иуда. Ты великолепен, святейший, ведь они могли поручить это дело другому, и тогда... Тогда за жизнь галилеянина...

Анна (задумчиво). Итак, что его тянет в Иерусалим?

Иуда. Не знаю. (Подходит к клетке с голубями.) Зачем столько голубей? Первосвященник хочет искупить все грехи мира?.. А вот пустая клетка. За какой грех святейший принес в жертву этого голубя?

Анна (вспоминая). Великий был человек. Как почитал он Закон и пророков...

Иуда (удивленно). Человек?

Анна. Он тоже был мечтатель. Он тоже полагал, что судьбы мира вершатся на небесах. (Сочувственно качает головой.)

...Да ты знаешь его, Иуда. Он любил повторять: Господь за меня, не утрашусь, что сделает мне человек.

Иуда. Креститель?!

Анна. Так, Иуда, так.

Иуда (глядит пустую клетку). Значит, ты принес его в жертву, первосвященник...

Значит, это по твоему приказу Иродиада потребовала голову Иоанна... Но за какие грехи?

Анна (задумчиво). Он сделал свое дело: он расчистил стези Иисусу. (Вдруг торжественно.) Он расчистил стези Господу!

Иуда. Я не понимаю тебя, святейший.

Анна подходит к жертвеннику, достает из него папирус, протягивает Иуде.

Анна. Возьми.

Иуда (берет папирус). Что это?

Анна. Родословная Господа нашего Иисуса Христа. Он родился в Вифлееме от семени Давидова. Ну и все остальное... И запомни: его мать никогда не путалась с римлянином... Нищего пророка из Галилеи больше не существует. Он умер, растворился, сгинул в геенне, впрочем, считай как знаешь. Теперь ты отвечаешь за жизнь Сына Божия! Ты понял?

Иуда. Я давно догадывался... Я почти верил...

Анна (устало). Теперь, когда Иисус приговорен к смерти и стал вне закона, в это должен поверить каждый! (Пауза.) Уведи его за Иордан, береги как зеницу ока. ...У тебя, кажется, не было детей, Иуда... А ты... а ты очень хотел этого. ...Теперь у тебя есть ребенок. ...Надеюсь, ты все правильно понял?

Иуда. Да, святейший: теперь, как никогда, жизнь Иисуса в моих руках.

Анна. Ничтожный шакал, в твоих руках судьба мира. (Самодовольно смеется.)

Иуда, кланяясь, уходит. Анна подходит к голубям, долго выбирает, наконец находит клетку с парой самых белоснежных голубей, ставит ее на скамью рядом с жертвенником. Достает из клетки голубку и нежно поглаживает ее по голове.

Анна. Ну что, проказница, тебе будет скучно одной? Неправда, ты умеешь летать в одиночку.

Сажает голубку в одну из общих клеток.

Три раза хлопает в ладоши. Разваливается в кресле. Появляются воины. Они ведут с собою Марию. Один из воинов резко толкает ее в спину, Мария падает на пол. Воины уходят.

Анна. Молись, дочь, ибо приблизился смертный час твой.

Мария лежит не шелохнувшись.

Анна. Любишь ли сего нечестивца из Галилеи?

Мария молчит.

Анна. Как ни велика тайна женщины, а все же так одна суть ее — живот. Ибо сказано в Писании: вся слава дочери Царя внутри ее. Говори, как узнала Иисуса и что у тебя с ним? **Мария** (*приподнимается*). Не надо, святейший. Все приму, как скажешь.

Анна. Встань, блудница.

Мария встает и садится на скамью в отдалении от Анны.

Анна. Не хочешь отвечать, неволить не буду. Марфа свидетельствовала за тебя.

Мария. Ты взял судить меня в прелюбодеянии. Не отрекаюсь. В Иерусалиме каждый знает Марию из Магдалы. Зачем задаешь ненужные вопросы? Что мое, то останется со мной.

Анна. А ты красивая, Мария из Магдалы, ты очень красивая... Но сейчас не о тебе разговор. (*Вдруг неожиданно в упор*) Любит он тебя?

Мария (*тихо*). Любит.

Анна. И ты его любишь, знаю. (*Зло*) Любишь и тянешь к себе путами сладострастных чар.

Мария. Нет! Господь мне свидетель... Да и не достойно ему любить такую женщину.

Анна. Прекрасно, Мария, прекрасно. Но не клевети на себя, ты достойна любви, достойна любви.

Мария. Смеешься надо мной перед смертью... Смейся. Мне от этого только легче.

Анна (*горжественно*). Вымаливай прощение о грехах своих, Мария. Ибо народы будут помнить тебя в род и род и имя твоё будет на устах их во веки и веки!

Мария. Не преувеличивай моих заслуг, первосвященник. Иные грешили поболее моего. **Анна** (*не слушает ее, продолжает свою мысль, встает*). Ибо ты возлюбила Господа!

Долгая пауза.

Мария. И это говоришь мне ты, вынесший Иисусу смертный приговор?!

Анна. О чем ты, Мария?.. Господь не подчиняется земной власти.

Мария. Знаю, хитрости твоей нет предела... Но теперь приблизился час мой... Скажи наконец правду: что ты замыслил против него?

Анна (*встает перед ней на колени*). Прости меня, сестра. Ты не умрешь, ибо бессмертие уготовано тебе. Ты касалась его ланит, ты вдыхала дыхание его уст... И вот я касаюсь тебя. (*Кладет свои руки на ее колени*.) Ви-

дишь, я нарушаю Закон, нельзя священнику прикасаться к грешнице. Я нарушаю все законы, Мария. Это ли не подтверждение моего чистосердечия? (*Кладет свою голову к ее ногам. Мария совершенно растеряна.*)

Я хочу продлить его земные дни. Я хочу, чтобы народы уверовали в него, как в Бога. Твой возлюбленный — Иисус Христос, Сын Бога Живого, принявший на себя грехи мира. (*Встает, отряхивается.*) Да, Анна вынес смертный приговор Иисусу. Что же делать, если люди верят только гонимым пророкам? Поэтому и слава его теперь удесятерится. **Мария** (*растерянно*). Чего же ты ждешь от меня?

Анна (*садится в кресло*). Я люблю его больше, чем ты. И его жизнь дорога мне более твоей. Если и ты желаешь славы и жизни возлюбленному, то будешь делать, что я прикажу.

Мария. Я не верю тебе.

Анна (*не обращая внимания на реплику*). Он не должен искать тебя. Здесь, в Иерусалиме, его ожидает смерть. Придется отречься от своей любви, Мария из Магдалы. Придется отречься от своей любви... Вот твоя жертва перед миром.

Тут неожиданно белый голубь забился в клетке.

Вифания. Ночь. Сад. На камне под масличным деревом сидит Иисус. Несколько в стороне от него Мария. Они не смотрят друг на друга. Они задумались, каждый о своем, но мы вдруг начинаем понимать, что думают они об одном и том же: они вспоминают...

— Боишься, что я не вернусь?! — спрашивает Иисус.

Мария садится на землю и что-то чертит пальцем на песке.

— Запомни этот знак. Это знак верности, Иисус. Я буду ждать. Я обещаю тебе.

Иисус подсаживается к Марии. Так они и сидят, доверчиво прижавшись друг к другу.

А вдалеке по небу катится зловещий знак-обруч, и мы видим, что это изображение креста в круге.

Снова Вифания. Ночь. Сад. Он и она.

Мария. И ты ушел. И забыл меня. И принял обет безбрачия. И прошел год. И грустной была наша встреча.

И снова задумчивы их лица. И вот, может быть, тысячный раз, каждый по-своему, вспоминают они свою следующую встречу.

Воспоминание седьмое.

Шумная толпа сопровождает Иисуса к дому фарисея Симона. Они оба, Иисус и Симон,

раскрасневшиеся, еще не остывшие от возбужденных споров, весело вбегают в дом. Симон делает знак слугам, и через какое-то время низенький восточный стол в самой большой и светлой зале напоминает разноцветный сад, благоухающий плодами яств и напитков. Иисус с размаху падает на циновку, Симон устраивается рядом с ним, разливает вино. Они поднимают кубки.

— Вот пришел Иоанн Креститель — ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: в нем бес, — улыбаясь, щурится Иисус, и глаза его светятся озорным огнем. — А пришел Сын Человеческий — и ест, и пьет, и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.

Симон утвердительно кивает головой. Они с наслаждением пьют. Появляется слуга, он что-то знаками объясняет фарисею. Симон лукаво смотрит на Иисуса, потом великодушно роняет:

— Пусть войдет.

— Кто это? — вскользь интересуется Иисус, поглощенный трапезой.

— Хоть ты и назорей, но женщины не признают обетов. У тебя много поклонниц, галилеянин. Вот одна из них.

В залу входит женщина с алавастровым сосудом на плече. Волосы ее распущены, голова несколько наклонена вперед, и поэтому невозможно разглядеть лица.

— Не дает мне покоя с утра самого. Как узнала, что я намереваюсь пригласить тебя отобедать, так и не отходит от порога. Нам бы такую преданность, Иисус, — добродушно смеется Симон.

Между тем женщина, встав позади Иисуса, разразилась сдавленными рыданиями. Ее совсем еще юное тело затряслось мелкой дрожью, непослушные руки с трудом поставили кувшин на пол. Какое-то мгновение она стоит неподвижно и вдруг резко падает к ногам галилеянина, омывая их слезами. Она целует его ноги, она вытирает их своими мягкими волосами, и снова целует, и снова, и снова... Иисус в растерянности отпрянул и невольно потянулся к Симону за ответом. Но и для Симона случившееся явилось полной неожиданностью. Он недоуменно пожал плечами, но тут какая-то мысль осенила его.

— Если бы ты был настоящим пророком, Иисус, ты бы знал, какая женщина прикасается к тебе, — сказал он не без тени злорадства. — Это известная блудница, назорей.

Иисус приподнял женщину, обнял по-братски и усадил рядом с собой. От бывшего веселия не осталось и следа. Только недопитый кубок вина напоминает о так беззаботно начавшемся пиришестве.

— У одного заимодавца было два должника, — произнес Иисус каким-то чужим, отрешенным

голосом, — один должен был пятьсот динариев, а другой — пятьдесят. Но как они не имели, чем заплатить, он простил обоим. Скажи, Симон, который из них более возлюбит его?

— Думаю, тот, которому более простил, — усмехается фарисей.

— Вот и я говорю: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, — он глубоко вздохнул, — тот мало любит.

Он поднял кубок и долго смотрел, как весело играют искорки молодого вина. Потом неожиданно резко встал, сделал несколько шагов в сторону двери, обернулся и тихо произнес, обращаясь к женщине:

— Вера твоя спасла тебя. Иди с миром.

И тут она отбросила со лба волосы и наконец посмотрела ему прямо в лицо.

— Спасибо, назорей, — выдавила она из себя и опрометью бросилась из дома.

Он охнул, покачнулся, кубок выпал из его дрожащих рук, и липкая кровавая лужица стремительно поползла по мозаичному полу.

— Мария, — только и успел выговорить Иисус.

— Да, Мария, — подтвердил фарисей. — Она хоть и молода, но свое бесовское искусство понимает прекрасно.

И снова мы видим обруч. Он катится по неровной колее и нелепо подпрыгивает, налетая на очередной камень. И нам кажется, что он злорадно хохочет над нами своим несносным скрежещущим голосом.

Снова Вифания. Ночь. Сад. Он и она. Иисус. Как могло случиться такое?.. Ты превратилась в блудницу... Я чуть не умер тогда от отчаяния и боли. Мария. Ты принес себя в жертву людям, а я... Мне пришлось принести себя в жертву родителям. Нам нечего было есть. Иисус (ничего не понимая). Да, да, я понимаю... А потом эта ужасная встреча в Иерусалиме... Ты помнишь, Мария?

Воспоминание восьмое.

Иерусалимский храм. Под сводом одного из портиков прямо на земле сидит Иисус. Его окружает толпа народа, среди присутствующих мы узнаем учеников: тут и Иуда, и Петр, и Иоанн...

Но вот издалека слышатся шум и крики. Гул гневных голосов все растет, все приближается, и наконец изринутая из разверзшегося чрева толпы на площадке перед галилеянином оказывается обезображенная побоями женщина. Она повержена в придорожную пыль у самых ног Сына Человеческого. Волосы ее слиплись от запекшей-

ся крови. Иисус какое-то время пристально вглядывается в ее лицо, затем, низко уронив подбородок на грудь, словно в забытьи, начинает что-то чертить пальцем на песке. Кажется, что он полностью поглощен своей работой и его не интересует происходящее.

Из толпы выходит книжник и, указывая посохом на окровавленную жертву, торжественно произносит:

— Учитель.— При слове «учитель» его лицо искажает язвительная усмешка.— Учитель...— повторяет он, явно подчеркивая несоответствие значения этого слова с лицом, которому оно адресовано,— эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в Законе заповедал нам побивать таких камнями. Что скажешь на это?

Говорили же это, искушая его.

Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он тихо произнес:

— Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень.

И опять отрешенно, словно его не касалось происходящее, продолжал что-то чертить на земле. Толпа смолкла, отхлынула и начала постепенно редеть. И остались они вдвоем: он и она.

— Где твои обвинители, Мария? Никто не осудил тебя. — и голос его дрожал, и слезы текли по его лицу.

— Никто, Господи, — ответила она чужим, незнакомым ей самой голосом.

— И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши! — неожиданно для самого себя крикнул он.

Но она не слушает его. Она пристально смотрит на рисунок, начертанный на песке. Он заметил это, судорожно впился пальцами в песок, разрушая рисунок. Она склонилась к его руке, прикоснулась губами, и он поцеловал ее в голову. На какое-то мгновение глаза их встретились, тела рванулись друг к другу, но бесцеремонно вторгшийся шум толпы, сопровождаемый звуком далеких труб, вернул им ощущение времени и пространства. Она поднялась и, гордо вскинув голову, зашагала прочь. А он еще долго, как сумасшедший, шарил руками по земле, словно искал оброненную вещь, бессмысленно улыбался и шептал сухими губами: «Мария, Мария, Мария...»

А вот и безмолвный обруч-призрак. Он спешит все дальше, и мы, как обреченные, покорно следуем за ним из будущего в прошлое и настоящее.

Вот они снова очнулись: он и она. И снова Вифания. Ночь. Сад.

Мария. Зачем ты ищешь меня повсюду? И сюда ты явился не из-за Лазаря. Прошло три года, как ты ушел к Крестителю. Три года, Иисус... Много воды утекло с тех пор... Все кончено, ничего не осталось.

Иисус подходит к ней. Садится около нее на траву. Кладет голову ей на колени. **Иисус.** Господи, не твоих ли уст она дыхание. **Мария** (*кладет голову на его плечо*). Я никому не принадлежала, кроме тебя. Хочу, чтобы ты знал это.

Они долго сидят обнявшись, и слезы текут по их лицам.

Мария. А теперь уходи. И обещай, что не будешь искать меня. Никогда, никогда! Обещай мне это, возлюбленный мой.

Иисус. Господи, неужто руки мои настолько слабы, что мне не удержать в них счастья... **Мария.** Иди и помни. Помни знак верности, Иисус. Что бы ни случилось... Не отрекайся от своего дела.

Она целует его руки, встает, уходит. Иисус сидит в забытьи, низко склонив голову. Вдалеке раздается жалобный вой. Иисус в ужасе, обхватив голову руками, чтобы ничего не слышать, падает на землю. Появляется Иуда.

Иуда. Ах ты уже знаешь? Да, синедрион положил убить тебя. Но не впадай в такое отчаяние. Мы сейчас же уходим за Иордан. Иисус. Оставь меня. Сейчас оставь, умоляю.

Иуда. Ты утверждаешь, что знаешь истину... Если бы ты знал её, никогда бы не обратился к Иуде с такой просьбой. Только холодный расчет и здравый рассудок всегда и во всем, всегда и во всем... вот что сделает тебя любимцем судьбы. А сказки о Божьем провидении оставь при себе, Сын Человеческий. (*Смеется.*) ...Эге-ге, да ты совсем раскис. На-ка вот, возьми. (*Протягивает Иисусу пергамент.*)

Иисус (*приподнимаясь*). Что это? (*Берет пергамент.*)

Иуда. Твоя родословная.

Иисус (*читает вслух*). ...Сын Давидов... Родился в Вифлееме... было знамение... путеводная звезда... волхвы. Откуда это? Только не лги, умоляю. (*Иуда молчит.*) Ты что-то недоговариваешь.

Иуда. А мне казалось, у тебя не было причин сомневаться в моей искренности. (*Показывая на пергамент.*) Это тоже осталось от Крестителя. Он собственноручно написал ее для тебя.

Иисус. Повсюду только и слышишь: Иоанн, Иоанн... Да, он великий пророк, но он ниже самого малого в Царствии Небесном.

Иуда. Однако он был стратегом, Иисус. Он понимал, что люди не станут слушать ничего голодранца из Галилеи, пусть трижды истина вдохновляет его блаженные уста. **Иисус.** Если откровенно... Вся эта история с Крестителем кажется мне очень странной.

Иуда. Ну-ну, я тебя внимательно слушаю, Сын Человеческий. Что еще смущает твое наивное сердце?

Иисус (*вспоминая*). Прекрасное было время. Как сейчас помню... Мы явились к нему шумной компанией. А сколько было вина! Мы не поленились и принесли его с собой. А потом тайком от Крестителя устроили на берегу Иордана веселое пиршество. Иуда (*тоже вспоминая*). А вина, как всегда, не хватило, и мы с тобой всякими фокусами выуживали его у благочестивых паломников. Я тогда сразу оценил тебя, Иисус. Твои сказки о всеобщей любви... Все это очень, очень смешно. (*Очнувшись*.) Но что тебя смущает, не понимаю?

Иисус. На следующее утро Иоанн крестил меня. Потом ты принес те таинственные свитки. Помнишь, ты сказал мне тогда: «Иисус, хочешь узнать истину и стать настоящим пророком? Я продам тебе всю мудрость человеков за какие-то тридцать сребренников?»

Иуда. С каких это пор ты стал считать деньги, назорей? ...Ну хорошо, если тебя смущает цена, я скажу правду: я задолжал эти монеты одной прелестной девице. За любовь надо платить, Иисус, не всем выпадает счастье страдать от ее избытка. (*Смеется*.)

Иисус. (*Задумчиво, вспоминая*.) Едва я прочитал несколько строчек... (*Вдруг вдохновенно*.) Такое невозможно сочинить человеку. Я нашел там подтверждение своим мыслям. Там было все: альфа и омега мира и единственный путь к спасению. Я больше не сомневался в своем сердце! (*Очнувшись*.) Потом я ушел в пустыню, мне нужно было испытать себя, перед тем как вступить на проповедь. Кто дал тебе те божественные свитки, Иуда?

Иуда. Поэт... Помню, помню, как ты принял меня за дьявола там, в пустыне... И когда я протянул тебе краюху хлеба, торжественно провозгласил: «Не хлебом единым!» ...Совсем как книжники и фарисеи. Если бы я не нашел тебя тогда, на сороковой день, изможденного и уже потерявшего рассудок... Что бы сейчас делали твои ученики? Эти глупые ягнята, не мыслящие себя без пастуха. ...А хлеб ты все-таки съел, Иисус Христос, помазанник Божий. (*Смеется*.)

Иисус (*жестко*). Когда мы вернулись из пустыни, Иоанна уже не было. Его взяли под стражу и увезли к Ироду.

Иуда. Ну и что из этого следует? Он был фанатик, а цари не любят фанатиков. К позтам они более благосклонны.

Иисус. Где ты взял те свитки, Иуда?!

Иуда (*какое-то мгновение колеблется*). Ну хорошо... Я взяла их у Крестителя.

Иисус. Почему же он сам не передал их мне?

Иуда. Ему было лень разыскивать тебя по побережью.

Иисус. И это плод его раздумий? Или нечто иное?

Иуда. Плод. Плод. Плод!

Иисус. Вот я и уличил тебя во лжи, Искарот: Иоанн проповедовал спасение Израилю, а там написано, как должно привести к обетованию все народы. Именно в этом мы не сошлись с ним тогда.

Иуда (*в замешательстве*). Должно быть, он пересмотрел свои взгляды, но не осмелился выступить с ними. Когда он понял, что ты думаешь так же... Он положил тебе наследовать новое учение.

Иисус (*устало*). И снова ты лжешь мне, брат... Я чувствую. Зачем тебе это, зачем?

Иуда (*не выдерживая нервного напряжения*). Да, украл, украл, украл! Я украл их, потому что видел — Иоанну конец! Ты ничего не смыслишь в политике, назорей.

Иисус (*задумчиво*). Я ничего не смыслю в политике, Иуда. Но я чувствую, как это было: какой-то человек подбросил эти свитки Иоанну. Этот некто желал, чтобы пророк обратился к людям с новым учением. Но Креститель не захотел отречься от своей проповеди... И этим подписал себе смертный приговор. ...И тут появляюсь я и всей душой устремляюсь навстречу Новому Завету, ибо сам столько лет искал его. Теперь Иоанн не нужен — ему отрубает голову. Так это было?! (*Пораженный Иуда застыл в оцепенении*.) Так, брат, так... А теперь этот некто придумал мне родословную. (*Усмехнувшись*.) Потому что пророков из Галилеи не бывает. Кто он, Иуда? Откуда он взял те божественные свитки? Зачем он, желая спасти мир, начинает с кровавых деяний?

Иуда (*в сторону*). Истинно, он не простой человек. (*Иисусу*.) Я не могу сказать тебе его имени, Иисус. Я дал клятву. Не проси меня, не проси.

Иисус. Ну так знай же, Искарот: добро не может начинаться злом, я больше не выйду на проповедь.

Иуда (*кричит*). Замолчи! Дитя... (*Овладев собой*.) Если ты решил окончить спектакль, то иди, иди, иди... иди, скажи об этом своим ягням. (*Усмехнувшись*.) Но ведь ты добрый, Иисус. Ты не можешь лишиться их своей «предвечной» сандалини. (*Шепотом, на ухо Иисусу*.) Им необходимо что-то лизать. (*Смеется*.) Не лишай их веры, «Спаситель». (*Вдруг, словно думая о своем*.) Сейчас так много несправедливостей вокруг... Ты говоришь красивые слова. Я не верю им, потому что так говорят дети... Но я люблю детей, Иисус... Это правда, я люблю детей. (*В сто-*

рону.) Но как я их ненавижу, когда они не слушаются мудрых советов. (*Встает, берет пергамент.*) Пойду подброшу ученикам. Они же непременно захотят написать о тебе евангелия. Вот тогда-то твоя родословная очень пригодится. (*Уходя.*) Теперь ты стал Богом, назорей. Ты слышишь, они уже кричат тебе: Осанна! (*Уходит.*)

Иисус. Вам обязательно нужен кумир, звезда, мессия. (*Возводит руки к небу.*) Зачем они ищут Тебя в стороне от своих сердец? Поверь, Отче, я не хотел этого. Не хотел!

Видение.

Отчаянное хлопанье крыльев. И вот мы видим голубя, устремившегося в безбрежные просторы небес. Он поднимается все выше, выше... Он мечется из стороны в сторону. Он опьянен свободой полета. Он словно пытается освободиться от земного притяжения и все хлопает и хлопает крыльями.

А там, высоко над ним, едва шевеля крыльями, спокойно, уверенно и гордо парит огромный кондор. Его стеклянный глаз неподвижен, и мы понимаем, что он мертв, что он глух, этот ужасный глаз, что он непроницаем для любви, жалости или хотя бы сострадания. На какое-то время пелена века освобождает нас от него. Но вот он снова перед нами: и этот глаз, и уродливый свинцовый, хищно изогнутый клюв, и корявые струпья чешуйчатых лап, увенчанных стальными когтями.

Отчаянно безумный всплеск крыльев, и кажется, что нам удалось оторваться. Вот кондор все дальше и дальше, этот холодный, уверенный в себе убийца. Но что это? Разящие лучи восходящего Солнца пронзают его. Он судорожно забил крыльями, он изрыгает душераздирающий вопль... Ну, ну, еще чуть-чуть, еще совсем немного... Но нет, кондор выровнял свой полет, снова плавно разбросал крылья и стал медленно сужать круги. Его силуэт, кажущийся багрово-черным на фоне оторвавшегося от Земли светила, вдруг отдаленно напомнил нам крест. ...Да, именно крест. Это крест! ...А круги все уже, уже. И вот крест замер перед смертельным падением. Замер и стал увеличиваться в размерах. Уже и Солнце погашено им, уже когтистые его лапы коснулись и судорожно сцепились в края Земли... Сейчас он соберет силы, сделает глубокий вдох и... и всей тяжестью обрушится на жертву — маленькую беззащитную планету, напоминающую голубенький детский мяч, забытый кем-то в одном из дальних уголков Вселенной.

Но пока еще голубь неистово кружит в небе. И упивается свободой, и делает все, чтобы не замечать обреченности.

С высоты птичьего полета деревья и люди кажутся нам игрушечными. Мы то плавно опускаемся и заглядываем в обветренные лица, то вдруг резко взмываем вверх, погружая несчастных в плотные облака песочной пыли, то мерно парим над землей, оставаясь безучастными свидетелями происходящего.

Картины меняются с калейдоскопической быстротой. До нас доносятся только обрывки фраз и восклицаний. Единственное, что объединяет эту бешеную агонию сюжетов, характеров и красок, — неистовая проповедь Христа, его горящие отчаянной тоской глаза, его то срывающийся до хрипа, то вдруг становящийся совершенно отрешенным голос.

...Вот толпа фарисеев окружила Иисуса. Они кричат, они перебивают друг друга: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Моисей позволял разводиться!»

Иисус устало морщится:

— Кто разведется с женою своею и женится на другой, прелюбодействует! И если жена разведется с мужем и выйдет за другого — прелюбодействует!

...Вот матери несут к нему детей, но ученики не пускают их.

Иисус:

— Пустите! ...Таковых есть Царствие Божие! — обнимает детей, целует.

...Вот он идет по дороге вместе с учениками, и навстречу ему выбегает юноша:

— Учитель благий! Что делать?! Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

Иисус грустно усмехается:

— Никто не благ, кроме Бога. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради... не лже-свидетельствуй... — вытирает рукавом пот со лба.

Мы взмываем вверх и уже не слышим говорящих. Но вот снова бросок вниз.

— Я все это знаю! — кричит юноша.

— Тогда иди и все добро, которое имеешь, раздай людям, — хрипит Иисус.

...Иисус:

— Чадо! Прощаются тебе грехи твои, ибо доверился голосу сердца.

Фарисей:

— Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?

...Иисус шепотом:

— Нет пророка в своем отечестве!

...Ученики:

— Вот пришли мать твою и братья твои.

Иисус:

— Кто верен истине, тот мне и брат, и сестра, и мать.

...Голоса из толпы: «Кто он? Иоанн Креститель?», «Нет, Илия», «Он Сатана!».

Громкий голос:

— Побить камнями!

...Иисус:

— О люди! Доколе буду с вами?! Доколе буду терпеть вас?! Ведь предадите. И убьете. ...Но я воскресну. Вы слышите?! Я воскресну!

Облако песчаной пыли, и мы снова взываем вверх. Голос Иуды: «Очень неплохо, Иисус, у тебя хорошо получается».

А вот и наш старый знакомый. Он нетороплив и размерен. И нет в нем ни суеты, ни сомнения. Должно быть, он все знает наперед, этот истинный дьявол — обрuch.

III

Иерусалим. Дворец Анны. Анна сидит в своем любимом кресле, можно подумать, что он спит. В комнату решительно входит Каиафа.

Каиафа. Как понимать тебя, святейший? (Зло.) Я спрашиваю, как это понимать?!

Анна (словно из небытия). Долг заставляет нас чувствовать реальность мира, но вместе с тем отрывает нас от него. Хвала Господу, зять. Почему ты такой шумный сегодня? Поссорился с женой? Да, моя девочка — избалованная женщина.

Каиафа (захлебываясь от негодования). Твоя дочь такая же хитрая лиса, как ты. **Анна** (резко приподнимаясь). Кто позволил тебе говорить мне такие слова, шенок?!

Каиафа. Возрадуйся, достопочтенный тесть, се Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на молодом осле. Осанна Сыну Давидову! (Пауза.) Где же твой «верный человек»? Где он, я тебя спрашиваю?! Прошло два месяца, как ты пообещал синедриону исполнить решение.

Анна (несколько растерянно, в сторону). Только два месяца... Всего два месяца?..

Каиафа. И вместо того, чтобы принести тебе весть о смерти этого проходимца из Галилеи, я приношу тебе другую весть: в Иерусалиме появился Царь Иудейский. Что скажешь на это?! Чернь встречает его как мессию: они машут ему пальмовыми ветками и благоговейно стелют свои одежды под копыта его осла. Весь город пришел в движение... Молчишь?! ...Потом этот шарлатан, «грядущий во имя Господне», вошел в храм и опрокинул скамьи продающих голубей. Он кричит, что храм превратился в вертеп разбойников...

Издаലെка слышны крики: «Осанна! Осанна! Осанна сыну Давидову!» Каиафа и Анна в замешательстве.

Каиафа. ...Не слышу объяснений.

Анна. Я убью их обоих. (Хлопает в ладоши.

Появляется слуга.) Привести ко мне Иуду из Кариота. Того самого, которому дозволено входить без предупреждения.

Слуга, низко склонившись, уходит.

Каиафа. Стоит ли утруждать себя, святейший? Теперь мы обойдемся без твоей помощи.

Анна. Еще никогда Анна не бросал слов на ветер. Я должен смыть свой позор. Нет, Каиафа, нет! (Каиафа примирительно садится на скамью.)

Каиафа. А может быть, тебя пугает гнев прокуратора? Пилат не любит, когда за его спиной... Но не смущайся раньше времени, святейший, это глупое кровожадное животное только возрадуется, когда услышит, что одним иудеем стало меньше. Ты же знаешь, он ненавидит нас.

Анна. Прокуратор груб и решителен, как и должно воину, но Анна не испугался. При другом стечении обстоятельств именно Пилату надлежало бы подписать приговор. Было бы во сто крат мудрее, если бы народ и история занесли это убийство на счет римлян. (Задумчиво.) ...К несчастью, приходится поступить иначе... Я больше не держу тебя, зять.

Каиафа почтительно склоняется, идет к выходу.

Анна. Стой! Подожди... И что, народ почитает Иисуса за мессию?

Каиафа. Ты же только что слышал, святейший.

Анна (растерянно). Да, да... я слышал...

Каиафа. Они уже придумали ему родословную. Но самое страшное в другом, первосвященник сейчас, когда Израиль кует свою крепость, чтобы сбросить с себя римские цепи, когда наши братья в рассеянии ценно огромных лишений хранят преданность Завету, этот мерзкий шакал проповедует евангелие язычникам. Он утверждает, что иудеи, хвалящиеся своим обрезанием, есть не что иное, как засохшие ветви смоковницы, не приносящие плода, и они не войдут в Царство Небесное. ...Но и это не все: он утверждает...

Анна (перебивая). Иди, зять, иди. Уже сегодня вы не увидите Иисуса.

Каиафа уходит. Анна пододвигает к себе клетку с белым голубем.

Анна (голубю). Как же ты так?.. Это все она... (Грозит в сторону голубки.) О женщины — средоточие разврата и смерти. А ты и раскис, дружок, и не смог продержаться больше двух месяцев. Это совсем не годится для пророка. (Вдруг его осенило).

О Боже, они же убьют его! (Начинает метаться по комнате, но так же неожиданно успокаивается.) Нет, они не убьют его. Сейчас он придет, мой преданный, верный Иуда. Он заберет, он унесет, он спрячет тебя... Еще не время умирать, дружок. Еще спит

Земля. Еще многое надо сделать, чтобы она проснулась...

Входит слуга.

Слуга. Святейший, Иуда из Кариота отказывается прийти к тебе.

Анна. Что?! Что ты сказал?! Схватить! Привести! Зарезать!

Слуга уходит. Анна озирается безумным взглядом, но вот его взгляд останавливается на голубе.

Анна. Нас предали, Иисус. Ты слышишь, нас предали! А ведь Иуда ненавидит тебя. Как мог я забыть об этом. ...Я понял, теперь я понял: он сам решил разделаться с тобой. *(Анна поднимает руки к небу.)* Господи, не допусти, чтобы такое великое дело погибло от рук шакала.

Вифания. Ночь. Сад. Иисус и Мария.

Иисус. Вот уже четвертый день, как я тут, а ты избегаешь меня.

Мария. Зачем ты пришел? Я не звала тебя, Иисус.

Иисус. Неправда, я слышал.

Мария. Слышал?

Иисус. Да.

Мария *(усмехнувшись)*. Так значит, ты слышишь мой голос на расстоянии? Ах да, ты же теперь Бог, прости, совсем забыла.

Иисус. Это все, что ты можешь сказать мне?

Мария. ...Значит, ты слышишь на расстоянии. Тогда знай, я ненавижу тебя.

Иисус. Спустишь в свое сердце, Мария. Как можешь ты говорить такие слова?

Мария. Я проклинаю тебя, Иисус. Уходи, я не хочу тебя видеть.

Иисус *(сам себе)*. За что, Господи? *(Собирается уходить.)*

Мария. Нет, стой. «Вседержитель Предвечный», «Помазанник Божий», значит, ты слышишь на расстоянии? Так почему же ты не шел ко мне, когда меня выгнали на улицу?! Когда меня взяли силой, когда меня не оставили одну, чтобы я не наложила на себя руки?! И снова брали и брали силой. Почему ты не шел ко мне, Иисус, ведь я так исступленно звала тебя! *(Плачет.)* А теперь ты услышал! Теперь ты ходишь за мною, потому что тебя мучает раскаяние! Не надо, назорей, я... я приняла свою судьбу. *(Садится на землю. Отрешенно, словно разговаривая сама с собой.)* Я хотела родить тебе сына, Иисус. И я ждала тебя все эти годы. Все чаще люди называли тебя мессией. Сейчас, когда доносы и камни, мечи и распятия стали поводьями человека, ты благовестил им надежду. И я гордилась... Я говорила себе: это он, мой Иисус.

Иисус *(стоит неподвижный и бледный, как полотно, шепчет)*. Зачем я не туника, об-

легающая твоё дивное тело... Зачем не венки, касающийся твоих волос...

Мария. А теперь уходи. Я не хочу, чтобы ты во второй раз предал знак верности... Ты больше не принадлежишь себе, Иисус. И никого у тебя не будет на этой земле.

Появляется Марфа. При появлении Марфы Мария облегченно вздыхает.

Мария *(совершенно изменившимся голосом)*. Я встречалась со многими мужчинами, Иисус, но ты оказался привязчивее других. *(Смеется.)* Они обещали мне золото, а ты... ты обещаешь непорочные пиршества и небесное венчание. А что, такого я еще не пробовала.

Марфа. Вот вы где. Уйди, Мария... А впрочем, останься. *(Иисусу.)* Я слышала, что сказала сестра, но она обманывает тебя, Спаситель. Не верь ей — ты не останешься один. За тобой идут люди. Много, много людей... и я тоже.

Мария. Ты?! Ты идешь за ним?! *(Вдруг совершенно развязно.)* Попроси Марфу, галилеянин, вот кто родит тебе сына.

Иисус в ужасе смотрит на Марию. Он поражен происшедшей в ней перемене: в какое-то мгновение она превратилась в наглую блудницу.

Мария. Ну что ты так смотришь, галилеянин? Это стоит тридцать сребренников. Но лучше я пойду к Иуде. Он настоящий мужчина. Он понимает, что женщине нужны деньги, а не обещания.

Марфа. Замолчи!

Мария. Вы только посмотрите на нее! Да, я стою тридцать сребренников, Иисус, всего тридцать сребренников. *(Показывая на Марфу.)* А теперь посмотри на эту благочестивицу, назорей, какая талия, грудь, шея, вот уж воистину Христова невеста. Никто не смеет прикасаться к ее телу, она хранит его для тебя. Но я не продаю своих любовников, галилеянин.

Марфа. Замолчи, безумная!

Бьет Марию наотмашь по лицу. Мария закрывает лицо руками. Марфа отпрянула, напугавшись своего поступка.

Марфа. Я предала тебя, Спаситель. Сестра права: с моих слов синедрион положил убить тебя.

Все молчат. Мария так и стоит, закрыв лицо руками, и кажется, что она плачет. Но вот она опустила руки, у нее на губах насмешливая улыбка.

Мария *(как ни в чем не бывало)*. Какая прекрасная ночь. Грех тратить ее на пустую болтовню. *(Кричит.)* Эй, Иуда! Это стоит всего тридцать сребренников! *(Иисусу.)* Уходи отсюда, Иисус. Не мешай мне жить своей жизнью. *(Отходит в сторону, сама себе.)* О Боже... Прости меня, прости меня, прости, возлюбленный мой. *(Уходит.)*

Марфа. Великий Благий, ты — Свет Мира,

ты — Муж скорбей, избраннык мой, к которому благоволил душа моя... прости, прости меня, грешницу. *(Пытается поцеловать его руки, но Иисус отстраняется.)*

Иисус. Оставьте... Никому нет веры... Зачем не слушаете своего сердца? ...Зачем губите себя?

Марфа. Я слушаю, Господи, я слушаю.

Иисус *(думая о своем)*. Зачем делаете меня орудием в ваших играх? Куда бежать от вас, люди?!

Марфа *(падая к его ногам)*. У тебя будет сын, Иисус. Я подарю тебе сына, Иисус. Ты назовешь его Иммануил.

Иисус *(кричит)*. У меня никого не будет на этой Земле!.. Оставь меня. Оставь, оставь...

Марфа пятится. Иисус садится на землю и начинает что-то чертить на песке.

Марфа *(отходя все дальше)*. Я не могу оставить тебя, Иисус. Это пройдет, Иисус. Ты забудешь Марию, Иисус. Она такая же сумасшедшая, как и ты. Вам нельзя вместе. Я буду молиться, Иисус. Господь простит твою гордыню. Ты захотел сравниться с ним и назвался Сыном Божиим... Но Господь простит тебя... Он любит детей, Иисус. И я люблю детей, Иисус... И я не оставлю тебя одного. Нет, не оставлю тебя одного. *(Уходит.)*

Иисус *(тихо)*. Боже правый... *(Молитвенно складывает руки.)* Отче мой, где Ты? Я вопию к Тебе, Боже. Прости меня, я согрешил перед ликом Твоим, усомнившись в Твоем величии. Я отдал свою судьбу в руки женщины, надеясь из ее источников напиться животворящей силы. Я думал, ее нектар согрет меня и поможет свершить начатое. Мне было холодно, Отче, и, чем больше людей окружало меня, тем страшнее становилось одиночество: они слушают мои слова и не слышат, они смотрят на дела моих рук и не видят... Я надеялся, она согрет меня.

Встает на колени.

Иисус. Прости, Отче. Смирненно принимаю кару Твою, как великое знамение славы Твоей. Как смел я посчитать себя одиноким, когда Отец мой небесный заботится обо мне!

Поднимается.

Иисус. Теперь они почитают меня мессией. Хотя, чтобы я своей смертью искупил их грехи пред Тобою. ...Блажен человек, которому есть за что умирать. Не ради себя, ради них — воскреси меня в третий день, не лишай их последней надежды.

Какое-то время царит полная тишина. И тут до нашего слуха доносится протяжный жалобный вой. Вот он все громче, громче... Это уже не вой, а дикий тоскливый крик. И мы видим Иуду. Оказывается, он был здесь, совсем рядом, за камнем. И он слышал, абсолютно все слышал, этот Иуда из Кариота. Теперь он, распластавшись, лежит

на земле, и его упругое тело сотрясают судорожные рыдания. Вот он приподнимается и бьется головой о камень.

Иуда. Глупец! Глупец! Глупец! А ведь Анна был прав. Надо искать голубку.

Видение.

Пыль, свист, крики, топот... И снова пыль, много-много пыли. И все тверже шаг Иисуса. И ученики едва поспевают за ним. Одна, вторая, третья улочка позади. А он все спешит куда-то, он очень спешит и размахивает руками, и пыль стоит над Иерусалимом. И в этой пыли, стараясь поскорее выбраться на свежий воздух, мечутся встревоженные голуби. А вот и портик — начинается Паперть язычников: торговцы, менялы, праздно болтающийся люд.

Иисус останавливается, опирается плечком на колонну, поднимает вверх руку. На какое-то мгновение следовавшие за ним замолкают. От толпы отделяется небольшая группа учеников. Они понимают, что надо как-то поддержать учителя, но не решаются сделать это явно. Они просто отходят в сторону и от него, и от скопившегося вокруг народа. Здесь все одиннадцать, кроме Иуды.

— Что вам надо? — устало хрипит Иисус.

Толпа медлит. Толпа еще не оценила вопроса. Толпа наслаждается зрелищем жертвы. Не каждый день приходится смотреть на самоубийцу. Десятки, сотни любопытных глаз, словно кровожадные слепни, впились в лицо Спасителю. Они пронзали его насквозь, они разрезают его на части, но они не видят его. Нет, они не видят его, ибо безумен взгляд застывшего перед прыжком зверя.

— Что вам надо? — задыхается Иисус.

И тут толпа очнулась. Нет, она не произносит слов, она смеется, дико, безмолвно, истерически. Иисус обреченно садится на землю и что-то чертит рукой на песке. Все исчезло, все провалилось в бездну небытия, он один. Да, да, он один, и никого вокруг.

— Отче наш,— шепчет Иисус сухими потрескавшимися губами,— Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и... — он на какое-то мгновение задумывается, а потом твердо продолжает: — но не прощай мне долги мои, хоть и прощаю я должникам моим; и не введи меня во искушение, но избавь от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила, и слава веки.

Откуда-то доносятся одинокие хлопки.

— Очень хорошо, Иисус, очень хорошо,— хлопает в ладоши Каиафа.

Он приблизился с небольшой группой фарисеев, книжников и старейшин. Иисус вздрагивает. Нет, он не один, это только почудилось, а может, приснилось, а может, и не было вовсе.

— Что вам надо? — хрипит Иисус.

— Нам? — Каиафа удивленно вскидывает брови. — Ты сказал: нам? — Оборачивается к сопровождающим его членам синедриона: — Как вам это нравится, мужи и братья?

Свита презрительно улыбается. Народ замер в ожидании предстоящего спектакля. Судорожная волна прошла по толпе: сейчас, сейчас грянут трубы... Но что это? Каиафа миролюбиво садится на землю рядом с Иисусом.

— Нам ничего не надо, галилеянин, — и он кладет Иисусу на плечо свою унизанную перстнями руку. — Нам ничего не надо, учитель. Видишь, я прикасаюсь к тебе, хоть сказано в Писании: «И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен священник осквернять себя». — Улыбается. — Что молчишь? ...Так вот, нам ничего не надо.

Он обводит толпу повелительным взглядом. Все в знак согласия смиренно склоняют головы.

— Но ты ведь царь. А у царей свои причуды, — Каиафа широко улыбается.

— Я не царь. Я — червь, — устало роняет Иисус.

— Червь?.. Это делает тебе честь, учитель. Но черви прячутся от людского взгляда, а ты преспокойно ходишь по земле и проповедуешь. Скажи мне, если ты не царь, какую властью делаешь это?

Пронзительно зазвенела тишина. Толпа напряженно вытянула свою потную шею — только бы не пропустить, только бы услышать ответ комического героя — представление уже началось.

— Над нами одна власть, Каиафа, и другой не дано людям.

— Ты прав, Царь Иудейский, мы все признаем эту власть. Это власть Бога.

— Это власть любви, — твердо говорит галилеянин.

— Любви? А, возлюби ближнего, как самого себя... Знаю, знаю... Ты стал так знаменит, что твои изречения ходят в народе. Красиво звучит, но еще ни одно государство не управлялось любовью.

— Государство? Что это такое? — искренне удивляется Сын Человеческий.

Каиафа черпает рукою песок и насмешливо наблюдает, как быстро песок соскальзывает с ладони. Каиафа снова набирает песок, но теперь крепко сжимает руку в кулак. Он удерживает основную массу песка, и только тоненькие струйки просачиваются между пальцами.

— Вот что такое государство, Иисус. Теперь каждая песчинка знает свое место, — торжественно произносит первосвященник.

Иисус с силой разжимает кулак правителя судеб Израиля, песок тут же просыпается на землю. Они долго смотрят друг другу в глаза. Наконец Каиафа не выдерживает, отводит взгляд. Иисус отпускает его руку.

— Ты прикоснулся ко мне, галилеянин, — задумчиво произносит первосвященник, — а ведь сказано в Писании: «Да не осквернит священника прикосновение к умершему».

Он резко встает, отряхивается, делает шаг в сторону, собираясь уходить, поворачивается к Иисусу:

— И когда это произойдет, учитель?

Иисус закрывает лицо руками.

— Не знаю.

Каиафа и его свита уходят. Они идут сквозь толпу, и толпа почтительно расступается перед ними.

Неистово бьет крыльями голубь, едва успевший выпорхнуть из-под ноги первосвященника. Вот он поднимается все выше, выше... Теперь он в безопасности, он вырвался в голубые просторы, и можно оглянуться. Да, он смотрит на Землю. А там, среди безбрежного океана песка, неуклюже и жалко движется невзрачное серое пятно. Это жуки, навозные жуки, и на самом жирном из них нелепо поблескивает золотая корона.

И снова обруч. Сейчас, сейчас он явит нам новые предначертания судьбы. Но что это? Вот он наткнулся на камень. Упал. Замер неподвижно.

Синедрион. На почетном месте сидит Каиафа. Вокруг толпятся члены синедриона. Перед Каиафой стоит один из саддукеев. Это Никодим.

Никодим. ...Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь... Каиафа. Ну-ну, продолжай, я внимательно слушаю.

Никодим. ... и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Так скажи нам, позволительно ли давать подать Кесарю?

Каиафа. Негадываюсь, что он ответил... Никодим. Да, святейший, он ответил: отдайте кесарево Кесарю, а Божие Богу. Каиафа (удивленно). Это правда? Не ожидал... Уж не думает ли он покаяться?

Фарисей. Разреши сказать, святейший? Каиафа жестом останавливает его.

Никодим. Ему не в чем каяться, Каиафа. Он не опасен для государства.

Фарисей. Что может быть опаснее для государства, чем клевета на его пастырей? Он называет нас лицемерами, слепыми безумцами, змиями, порождениями ехиднинными! Он злословит нас среди людей. Что может быть страшнее для государства!

Никодим. Не надо бояться правды, фарисей. Живите правдиво, и никто не скажет про вас худого слова.

Каиафа. Ты полагаешь, Никодим, что человеку возможно прожить без греха?

Никодим. Тогда кто дает человеку право решать за других, как им жить?

Напряженная пауза.

Каиафа. Это смешно, Никодим, всякая власть от Бога. Кто-то же должен управлять слепцами.

Фарисей. Он еще смеет грозить нам страшным судом! Я не встречал опаснее бунтовщиков. Он предрекает гибель Израилю и спасение язычникам?!

Каиафа. Что ты на это скажешь, Никодим? Никодим. Он проповедует Царствие Божие.

...Это прекрасная сказка, первосвященник. Но сказки еще никому не приносили зла.

Каиафа (*пристально смотрит на раскрытую ладонь*). Да, это прекрасная сказка, Никодим:

Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на своем поле. Которое хотя и меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. ...Видишь, даже я знаю сказки галилеянина. (*Улыбается. Вдруг резко сжимает руку в кулак и стучит им о подлокотник.*) Но чтобы зерно проросло, оно должно разрушить и опрокинуть землю! Все то, что было до его появления! К этому призывает твой зловонный шакал?!

Никодим (*тихо*). Но только так можно увидеть солнце, святейший.

Каиафа (*истерически кричит*). Вон! Все вон отсюда!

Все смиренно удаляются. Каиафа делает знак слуге. Слуга выходит. Через некоторое время входит Иуда.

Каиафа (*презрительно*). Подойди. Я понимаю, тебе мало заплатили. Сколько ты хочешь за его голову?

Иуда (*усмехнувшись*). Тридцать сребренников.

Каиафа. А ты шутник, Иуда из Кариота. Хорошо, я понял тебя: получишь в тысячу раз больше.

Иуда. Меня оценили в тридцать сребренников.

Каиафа. Ты что, решил посмеяться надо мной?!

Иуда (*твердо*). Тридцать сребренников, первосвященник, и ни драхмой больше.

Иуда молча протягивает руку. Каиафа судорожно ищет кошелек, находит, бросает Иуде. Тот спокойно отсчитывает тридцать

монет, отодвигает от себя кошелек. Уходит. **Каиафа.** Все спятили?! Почему каждый, кто слушает этого голодранца, становится сумасшедшим?!

Вифания. Ночь. На большом камне сидит Мария. Где-то вдалеке слышится протяжный вой. Появляется Иуда.

Иуда (*заметив Марию*). Ах вот ты где. Радуйся, женщина. (*Подходит к Марии*).

Дай мне рассмотреть тебя. Который раз видимся, а глупый Иуда так и не удосужился рассмотреть тебя. (*Опускается около Марии на колени и в упор рассматривает ее: поворачивает ее голову, проводит рукой по талии.*) О, ты прекрасна, прекрасна! Глаза

твои голубиные под кудрями твоими. А волосы твои, как стадо коз. Как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столп Давидов, а два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. (*Мария легко отстраняется.*) ...Как вижу тебя томно раскинувшейся на ложе из гиацинтов с запрокинутой головой и влажными губами.

...Я подкреплю тебя вином и освежу яблоками, чтобы ты изнемогала от любви...

Мария приходит в себя. Отталкивает Иуду. Встает.

Мария. Ты сошел с ума, Иуда из Кариота? Иуда ползет к ней. Целует ее ноги.

Иуда. А как удивителен взгляд женщины после глотка из чаши безумия! Только любовь побеждает смерть. Только любовь обращает жизнь из бессмыслицы в праздник и из несчастья делает счастье... Я попался в твои тенета, Мария. Бери меня, бери меня, бери!..

Мария. Уйди, шакал!

Иуда (*резко встает*). Должно быть, такие слова говорил тебе Иисус? Да, я настоящий мужчина и понимаю, что для безумного блеска женских глаз мало пустых обещаний. Возьми свои тридцать сребренников! (*Бросает в Марию монеты и со всего размаха бьет ее по лицу, и еще раз, и еще...*) Вот твои тридцать сребренников! Пусть будет проклят тот день, когда ты явилась на свет! Пусть будет проклято твое оскверненное чрево! Пусть никогда не начнется в нем жизнь! Бери, бери свои тридцать сребренников, за которые вы купили Иуду...

Но вот он прекращает избиение. ...И уже по-братски обнимает Марию, и слезы текут по его лицу. И слезы текут по лицу Марии. И они сиротливо садятся на камень, прижавшись друг к другу. Но безутешны их рыдания. И нам кажется, что это малые дети, потерявшие в океане отчаяния свою единственную надежду.

Мария (*шепчет*). Я все сделала, Иуда... я все сделала... Но он не послушался

и пришел. Это конец... Никто, никто из учеников не станет спасать его... Когда я кричала, что отдамся тебе, я думала уязвить Иисуса в самое сердце, ведь он больше остальных любит тебя... Я хотела, чтобы он проклял меня и освободился. *(Вдруг становится перед Иудой на колени.)* Спаси его! Умоляю, придумай что-нибудь! Ты же умный, мужественный, Иуда!
Иуда *(в сторону)*. Поздно.

Ночь. Звезды. На земле сидит Иуда и тихо воев на луну. Появляется Иисус, он задумчиво перебирает в руках ветку смоковницы. Срывает с нее листья, бросает, следит за их полетом. Замечает Иуду.

Иисус *(словно бы разговаривая сам с собой)*. Опять воешь на луну, а я думал, шакалы... Шел и надеялся, что они растерзают меня. Иуда *(тоже отрешенно)*. Воюю... воюю, ибо сказано в Писании: подобно тому, как я прыгаю перед тобой и не достаю тебя, так пусть и враги мои не достанут меня в своем стремлении причинить мне зло.

Иисус *(очнувшись)*. Что случилось, Иуда? Почему ты скрываешься от меня? Я ищу тебя целый день!

Иуда *(тоже пришел в себя)*. Зачем ты ищешь Иуду, галилеянин? Иуда не хочет тебя видеть. Оставь меня.

Иисус *(изумленно)*. Что ты говоришь, брат? Сейчас, когда... когда я остался совсем один...

Иуда. Ты предал меня, Иисус.

Иисус. Ты сошел с ума?

Иуда. Пожалуй, если все это замечают. Я выдам тебя, Иисус. Я выдам тебя фарисеям. ...Будь готов.

Иисус *(успокоенно)*. Ну слава Богу. Теперь я узнаю своего верного Иуду. Мне так не хватает тебя. *(Садится рядом, обнимает Иуду.)* Если б не ты, неизвестно, что было бы со мной. Как я устал... Как безумно устал. *(Что-то чертит пальцем на песке.)*

Иуда. Что ты все время чертишь, Иисус?

Иисус. Знак верности.

Иуда. Верности? Кому?

Иисус *(тихо)*. Себе... Близок час мой, Иуда. Близок час мой... Ну скажи еще что-нибудь веселое, я люблю, когда ты шутишь.

Иуда. Я выдам тебя фарисеям, Иисус.

Иисус молчит, а потом начинает сначала тихо, а затем все громче и громче смеяться.

Иисус *(захлебываясь от смеха)*. Дальше, дальше, что будет дальше?

Иуда *(задумчиво)*. Должно быть, тебя распнут. Это самая позорная казнь.

Иисус вдруг становится серьезным.

Иисус. Как распнут?

Иуда. На кресте. *(Чертит в воздухе пальцем крест.)* Вот и все.

Иисус испуганно вскакивает.

Иисус. Не шути так, Иуда.

Иуда. Почему я должен шутить? *(Вдруг совершенно изменившимся голосом.)* Ты, конечно, не знаешь, а у меня есть жена. У меня есть земля и дом, и несколько десятков овец. У меня есть... Впрочем... у меня было все это. Было когда-то. *(Глубоко вздыхает.)* Но я пошел за тобой, Иисус. Ты никогда не задавал себе вопроса, почему твой Иуда, самый разумный в мире Иуда, стал сумасшедшим? *(Смотрит на Иисуса.)* Куда тебе... Ты рвешься спасти человечество... Я хотел власти, Иисус. Эге-ге, у меня была власть и над Крестителем, и над тобой. ...Я хотел денег, Иисус. И я имел столько, сколько мог пожелать. Только одного не было у Иуды — у меня не было веры в то, что я тоже — искра Божия. Иисус *(помедлив)*. Зачем же ты со мной, брат?

Иуда *(грустно)*. Потому что у тебя была эта вера.

Они долго смотрят друг другу в глаза.

Иуда. Я вложил в тебя все свое состояние, Иисус. Все свои надежды... Не знаю, будешь ли ты когда-нибудь Сыном Божиим... Но мне ты был истинно сын. И вот ты предал меня, Иисус. *(Бьетса головой о землю.)* О Боже, как я мог поддаться безумию?! Как мог обольститься твоим бредом?! Нет, не глас Господень руководил твоими поступками. Все оказалось проще, проще, проще... Это была женщина. Всего лишь женщина. Жалкая, ничтожная блудница, цена которой... *(Иуда встает.)* За тридцать сребренников ты предал меня, Иисус!... Ненавижу!

Он поворачивается, делает несколько шагов в сторону. Останавливается, бросается к Иисусу, обнимает его.

Иуда. Дитя! Дитя! Дитя...

Иерусалим. Дом тайной вечери. Идет веселая праздничная трапеза. Присутствуют все одиннадцать учеников, кроме Иуды и самого Иисуса.

Петр *(подняв чашу)*. Рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. И было это в четырнадцатый день первого месяца Авива, как и сейчас. И был заклан пасхальный агнец. И была это пасха Господня. Радуйтесь, братия, радуйтесь!

Все пьют.

Иоанн. Заклан агнец, братия, во искупление грехов наших. Воздадим же хвалу Господу! *(Поднимает чашу, пьет.)*

Петр. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Ты избрал нас из всех народов, полюбил нас, благоволил к нам: освятил нас заповедями Своими. Слава тебе!

Все пьют.

Иоанн. Уже спешит Илия, уже благовестит о том, кому должно прийти, чтобы собрать воедино сынов от семени Авраама в своем горнем Иерусалиме.

Показывает на чашу, стоящую в середине. Чашу, к которой никто не прикасается. Иоанн. Вот она, чаша для Илии Пророка. Она ждет своего хозяина. Выпьем же, братья, выпьем в третий раз, как сказано, и выпустим Илию.

Петр (перебивая). Подожди, я скажу. *(Поднимает свою чашу.)* Приблизилось исполнение времен, братья, уже грядет к нам помазанник Божий во славе своей! И будет он судить нас судом страшным, но судом праведным. Вспомните, что говорил брат наш Иисус: тогда по всей земле будет плач и скрежет зубовой. ...А я вам больше скажу, братья: когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения! Это начало болезней. **Иоанн (перебивая).** Ты лжешь, Петр?! Это говорил не ты, а Иисус.

Петр. Ну не я, Иисус, какая разница?.. **Иоанн.** И еще он сказал: и предаст брат брата на смерть и отец детей. И восстанут дети на родителей и умертвят их. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. И восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстились. Так говорил Учитель!

Петр (Иоанну). Если я присваиваю его слова, значит, я люблю его как самого себя. Как самого себя, Иоанн! *(Обращаясь к остальным.)* ...И тогда последние станут первыми, и женщины ежедневно станут рожать, а Земля приносить хлеба и шелковые одеяния. И наступит Царствие Божие на Земле. *(Поднимает чашу.)*

Иоанн. Нет, подожди, Петр. Значит, ты больше меня любишь Учителя? Ты это хотел сказать?

Петр. Об этом и говорить не стоит.

Иоанн. Получай, скорпион! *(Выплескивает в лицо Петру вино из чаши.)*

Петр. Ах так?!

Они уже было бросаются друг на друга, но остальные ученики растаскивают их по разным углам. Наконец все опять за столом. **Петр.** Выпьем третью чашу, и я как самый старший из вас пойду открою дверь и призову Илию.

Все пьют. Петр встает, выходит и очень быстро возвращается. Все хором: «Благословен тот, кто должен войти!»

Входит Иуда. Все обескуражены.

Иуда. Сейчас придет Иисус. Не забудьте оставить ему чашу вина, «агнцы».

С появлением Иуды все становятся несколько сдержаннее. Чувствуется, что они недолюбливают его.

Петр (разочарованно). А вот и Илия.

Ученики натянуто улыбаются.

Иуда. Иисуса еще нет, а вы уже веселитесь. Истинно, истинно, это достойно вас.

Петр. Он сам велел начинать без него.

Иуда. А вы и рады. Не рано ли?

Петр. О чем это ты? Уже не о смерти ли?..

Иуда (перебивая). О том самом.

Петр (безнадежно махнув рукой). Оставь. Сколько раз грозился, что ему должно прийти в Иерусалим и много пострадать от книжников и фарисеев. Но, как видишь, мы целы и здоровы, слава Богу.

Иуда. ...И быть убитому, и в третий день воскреснуть.

Все смеются.

Петр. Садись-ка лучше с нами, Иуда, и отведай пасхального агнца, и восславь Господа и святость Израиля. *(Уступает ему свое место.)* Вот мы открыли дверь и ждали Илию, а пришел ты.

Все смеются.

Иуда. Илию? Я думал, Иисуса...

Иоанн. Ну конечно, Илию, он благовестит нам приближение мессии.

Раздаются выкрики: «Да что с ним говорить, его волнуют только деньги», «Ты, главное, береги нашу казну, Иуда», «Ящик, береги ящик с деньгами», «Да он вор. Сколько раз у него недосчитывалось динариев!» Иуда отходит в сторону.

Иуда (тихо). О Боже, и это твои ученики, Иисус?!

Входит Иисус. Раздаются радостные возгласы приветствия. Иисус обводит всех усталым взглядом. Потом снимает с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, перепоясывается. Все удивленно на него смотрят. Иисус вливает в умывальницу воду и подносит ее к Петру.

Иисус. Ставь ноги, Петр.

Петр. Что ты собираешься делать? *(Ставит ноги в умывальницу.)* Спасибо, мои ноги действительно устали.

Иисус наклоняется и начинает мыть ему ноги.

Петр (ошарашенно). Ты что?! *(Насильно поднимает Иисуса.)*

Они пристально смотрят друг другу в глаза. **Иисус.** Нет у вас ни ушей, ни глаз... остались одни ноги. *(Поворачивается к остальным.)* Вы называете меня Учителем. ...Так вот вам мой урок. ...И больше ничего!.. Ничего не надо знать!

Садится к столу. Все следуют его примеру. Слышны разговоры: «Вот так надо поступать», «Что же ты так не поступаешь?», «Отстань от меня, сатана», «Великий человек», «Сейчас все великие», «Зачем же идешь за ним?», «А ты?» ...Иисус поднимает руку, все замолкают. Он берет хлеб, благословляет его, разламывает на куски, подает ученикам.

Иисус (*грустно улыбнувшись*). Берите, ешьте, это мое тело.

Все улыбаются и, как актеры плохого театра, начинают подыгрывать Иисусу. Берут хлеб, едят, смех, шутки.

Иисус. А вот кровь моя, пейте.

Иисус берет чашу, стоящую в центре стола. Отпивает из нее. Подает чашу Петру.

Петр. Что ты сделал, Иисус?! Эта чаша поставлена для Илии.

Иисус (*смотрит на него в упор*). Пей, Петр. Это кровь моя Нового Завета, за вас за всех изливаемая... Пей. Последний раз вместе.

Все продолжают играть свои роли. Смех, шутки. Иисус дожидается, пока чаша вернется в центр стола.

Иисус (*грустно*). Все идет так, как было написано: один из вас предаст меня.

Иуда (*изумленно*). Так было написано? **Иисус** (*Иуде*). Да, Иуда. Так и было написано в тех божественных свитках о Сыне Человеческом.

Они смотрят друг на друга. Иуда, начиная догадываться, пятится к двери.

Иуда. Нет! Нет!..

Иисус (*смотрит на него в упор*). Умоляю тебя. Больше нет сил.

Иуда выбегает из комнаты.

Поднимается шум: «Да ты что, Иисус?! Уж не захмелел ли ты от одного глотка?», «Кто же из нас может предать тебя?» Голос Петра: «Ты обижаешь меня, Иисус...» Чувствуется, что ученики уже изрядно разгорячились от вина.

Петр. Может быть, ты сомневаешься в нашей верности, Иисус? Это что-то новое.

Иоанн. Как ты мог мне такое сказать, Учитель?!

Петр (*Иоанну*). Вот как раз такие, как ты... Такие и предают.

Иоанн (*Петру*). Тут нечего думать: Петр предаст тебя, Учитель.

Иисус. И последние минуты вы готовы отравить мне на земле. (*В сторону*.) Боже, скорее, скорее прими меня в Царствие Свое. **Петр** (*Иисусу*). Нет, подожди, Иисус, мы еще здесь, на земле не все решили. (*Показывая рукой на Иоанна*.) Скажи этой тле, скажи ему... скажи, кого ты более ценишь?! Скажи, скажи, кто из нас будет большим в Царствии Небесном.

Иисус. Оставьте меня, несчастные.

Пытается уйти, но Петр хватает его за рукав. Рукав разрывается в нескольких местах сразу. Иисус останавливается, оборачивается к Петру.

Иисус. Хочешь знать правду?..

Петр. Хочу, Иисус, хочу знать, кто тебе более верен. Я или он? (*Показывает на Иоанна*.)

Иисус. Ты сказал. ...Еще до того, как пропел петух, трижды отречься от меня, Петр. Трижды отречься.

Все замерли пораженные.

Петр. Я отрекись?! ...Ну спасибо, Иисус... Спасибо за все, «Учитель».

Иисус уходит, все тянутся за ним.

Гефсимания. Ночь. Сад. Иисус, Петр, Иоанн и его брат Иаков (сыновья Зеведеевы).

Иисус (*умоляюще*). Побудьте со мной. Мне страшно, страшно...

Иоанн. Да разве мы оставим тебя. Эй, Петр, давай вина. Выпьем за наше дело, Учитель.

Иисус. Мне страшно, не уходите. Я прошу вас.

Петр. Какой ты смешной, Иисус. Какой ты смешной...

Петр и сыновья Зеведеевы садятся на землю, выставляют сосуд с вином. Разливают вино.

Иоанн. Садись, учитель, садись и успокойся. **Петр**. Уже заклан агнец Господень за грехи сынов Израиля. Выпьем, и пусть страхи покинут тебя. И взбредет же такое в голову... Никто из нас не предаст тебя, Иисус. (*Улыбнувшись*.) Даже Иоанн.

Иисус. Спасибо, братия. Не оставляйте меня... Если бы люди не оставляли друг друга... Я сейчас, вы только не спите... Еще немного, не спите, братия... Выпейте за пасхального агнца... (*Отходит в сторону*.) ...Выпейте за пасхального агнца...

Ученики поднимают чаши, пьют.

Иоанн. Вот снова ушел, и вино кончается... Что будем делать?

Петр. Будем спать. Будем спать, Иоанн. У каждого свои заботы. Никуда он не денется, все равно придет и разбудит.

Иаков. ...Придет и разбудит. Куда ему без нас... Без нас он никто.

В отдалении проходит Марфа.

Марфа (*словно в забыты*). Он похож на молодого пастуха. Глаза его горят неземным огнем. Кротость его напоминает тишину ночи. Он любит смиренных и малых. Они выбегают на дорогу навстречу ему и хватают край его одежды. Теми самыми руками, что сотворили небо и звезды, он гладит их по щекам, и сам прост, как дитя. И он воскрешает мертвых... (*Смеется*.)

Иоанн. Ты не прав, Иаков,— кто бы нас знал без него. А сейчас все говорят: они близки Господу.

Иаков. Если его убьют, наша слава удесятрится.

Петр. Хорошо. (*Храпит*.)

Мы видим Иисуса. Он стоит с опухшими от слез глазами, воздев руки к небу.

Иисус. Отче мой! Если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее... (*Опустив голову*.) ...Да будет воля Твоя.

И тут из темноты выходит Мария. Она бросается к ногам Иисуса.

Мария. Прости меня! Прости меня! Прости, возлюбленный...

Вдалеке слышится шум: бряцание железа, разговоры, смех.

Иисус (*осторожно отступая*). Иди, иди, Мария... Я помню, помню знак верности.

Вдруг бросается к ней, обнимает, целует. Но так же резко вырывается из ее объятий, идет.

Мария. У тебя никогда не будет сына, Иисус. Господь лишил меня материнства.

Иисус подходит к ученикам. Петр и сыновья Зеведеевы мирно похрапывают у догорающего костра. Шум приближается. Иисус присаживается к костру. Смотрит на учеников. **Иисус.** Простите, братья... Не хочу будить вас, еще спит Земля, и вы спите спокойно. (*Смотрит на звезды.*) Велика вселенная... Но есть ли где еще чада Божии? Так ли тяжел их путь к истине, как и наш? Так ли предают они на распятие самих себя? (*Опускает взгляд на учеников.*) ...А может, так же спят и не ведают, что приблизился час расплаты.

Костер окружают вооруженные воины. Среди них Иуда.

Иисус поднимает глаза, осматривает присутствующих. Ученики просыпаются и, ничего не понимая, в ужасе смотрят на воинов. Иисус замечает Иуду.

Иисус (*бросается к Иуде*). Ты пришел, брат! (*Обнимает Иуду.*) Вот и все. И мне спокойно... Мне всегда спокойно, когда ты рядом. **Иуда** (*тихо Иисусу*). Сейчас тебя возьмут. Не сопротивляйся, Иисус. Положись на своего верного Иуду. ...Я простил тебя, простил. (*Целует Иисуса. Громко.*) Радуйся, Равви!

Один из воинов (*другим*). Вот он.

Воины окружают Иисуса. Петр выхватывает меч из рук одного из воинов и отсекает ему ухо.

Иисус (*кричит Петру*). Опомнись! Взятый меч мечом и...

Но Петра уже нет. Он бросил меч и исчез в темноте. Иоанн и его брат спасаются бегством. Иисус смотрит на раненого воина.

Иисус (*задумчиво*). Сначала Креститель... теперь этот воин... Вот и на мне невинная кровь.

Дворец Анны. Анна сидит в своем кресле. Только папирусы и голубь, голубь и папирусы... И квадратный жертвенник с небольшими рогами по углам его. Анна держит в руках кубок с вином. Впечатление такое, что он изрядно пьян. Он говорит сам с собой, но обращается к голубю.

Анна. Лучше не родиться тому, кто надеется приподнять завесу с того, что выше и ниже нас, что было раньше и что будет после...

Зачем мы взялись за это дело? (*Делает несколько глотков из кубка.*) Видишь, что из этого вышло: нас предают самые доверенные, самые... близкие люди.

Голубь отчаянно бьется в клетке. В комнату вбегает Иуда, падает к ногам Анны. **Иуда.** Распни меня, распни меня, распни меня! Я не уберег... не уберег его. Ты прав, тысячу раз прав: здесь замешана женщина. ...Никто не виноват, только я, только я! Но я не выдал галилеянина Каиафе. Я привел его к тебе. Спаси его, спаси его, спаси его!

Анна молчит. Иуда делает знак слугам, и в комнату вводят связанного Иисуса. Иуда встает, подводит Иисуса к Анне. Анна берет светильник, освещает лицо галилеянина. Они смотрят друг на друга.

Анна. ...Таким я и представлял тебя, Иисус. Таким и представлял. И что, много у тебя учеников?

Иисус (*тихо*). Не знаю.

Анна. Так, так... это верно, галилеянин, одному Богу известно, как пойдут наши дела... В чем же суть твоего учения?

Иисус. Я устал, первосвященник.

Иуда. Говори, говори, Иисус. Ты стоишь перед другом, он любит тебя.

Иисус. Если ему интересно, пусть спросит у народа. Я учил в синагогах и в храме. Я ничего не скрывал.

Стражник (*бьет Иисуса по лицу*). Как разговариваешь с первосвященником?!

Иисус. Если я сказал что-нибудь не так, докажи мне это.

Стражник. Сейчас... (*Замахивается для нового удара.*)

Анна делает знак, и другой стражник закалывает первого мечом. Анна замечает ужас в глазах Иисуса.

Анна. Крепись, галилеянин, на тебе будет много крови. Целые народы захлебнутся твоей кровью.

Иисус (*сначала тихо, потом переходит на крик*). Но я не хочу, не хочу этого, не хочу!..

Анна. Ты устал... Я понимаю. Но что ты можешь предложить взамен?

Иисус. Закон Бога един для всех.

Анна (*нетерпеливо*). Ну, ну же, говори, говори, говори!..

Иисус. Любовь.

Анна. Любовь? Но это же бред!

Иисус. Это единственный путь...

Анна (*кричит*). К чему? К чему? К чему?!

Иисус. Ты все равно не поймешь меня, первосвященник.

Анна (*радостно потирая руки*). Я не пойму? (*Голубю.*) Ты слышишь, дружок, я не пойму...

Анна не поймет, ха-ха-ха! (*Берет головешку из жертвенника и что-то чертит на полу.*)

А это ты видел, галилеянин?

Иисус (*пораженно*). Знак верности?!

Анна. О чем ты, галилеянин? (*Откидывается на спинку кресла.*) Если честно, я боялся,

что ты догадаешься... Догадаешься и не согласишься участвовать в спектакле. Я даже пожалел, что поставил его в конце свитка. (Иуде.) А ведь Креститель догадался... поэтому и не решился выступить с новой проповедью. Да, не решился...

Но Иуда не понимает первосвященника. Он находится в каком-то своем измерении. Анна (Иисусу). Но Богу было угодно распрядиться по-своему: ты не понял, что тебя ожидает распятие. (Виновато разводит руками.)

Иисус (тихо). Хочешь убедить меня, что это ты написал тот божественный свиток?

Иуда. ...И родословную. Это Анна, святейший Анна.

Анна (задумчиво Иисусу). А ты действительно похож на ребенка, галилеянин... Действительно похож на ребенка. (Воинам.) Увести.

Воины ведут Иисуса к двери, но Иуда останавливает их.

Иуда. Что увести?! Куда увести?! (Анне.) Я не выдал его Каиафе. Я привел его к тебе. Все только начинается, все идет как ты хотел: уже не сотни, а тысячи, десятки тысяч слушают его проповедь. Все только начинается, святейший.

Анна. Все уже началось, Иуда. Все уже началось и теперь не зависит от нас. Наш младенец стал Богом. А Боги не должны жить среди людей. (Воинам.) К Каиафе. (Воины уводят Иисуса.)

Иуда. Что к Каиафе?! Куда к Каиафе?! Зачем... (Бросается вслед за ними.)

Анна. Вот и все, дружок. Вот и все... На дворе такая жара, а меня знобит. (Накидывает на плечи одеяло.) Меня знобит, дружок, не разжечь ли нам жертвенник?

Подбирает с пола пергаменты, бросает их в жертвенник, поджигает. Пергаменты горят быстро и ярко. Анна подбирает все новые и новые пергаменты и бросает их в огонь.

Анна. Как ярко горят. (Ежится.) Что ты сказал? Ты прав, дружок, без углей не обойтись. Без углей... (Подкладывает уголь.) ...не будет тепла. А нам холодно. Всем, всем холодно на этой земле. (Смотрит на огонь.)

Умные и благородные долго не живут... (Бросает в огонь кипу пергаментов.) Видишь... (Комната озаряется радужными сполохами.) ...они красиво умирают, дружок...

А нищие и негодяи... (Он берет в руки кусок угля и рассматривает его.) ...нищие и негодяи, дружок, живут долго. (Заботливо поправляет угли.) ...Именно они и сохраняют тепло. (Блаженно греет руки.) Они и сделают нашу религию бессмертной.

(Вздыхает.) Я обрек галилеянина на позорную смерть раба, но так он будет ближе и понятнее народу.

Садится поближе к огню, пододвигает к себе клетку с голубем.

Анна. Ну что, дружок, а ты красивая птица... ты очень красивая птица... (Достаёт голубя из клетки, держит на руках, гладит.) Ты самая красивая птица. ...Ты как Израиль, дружок, ты мой Израиль. (Любовно рассматривает голубя.) Так же кочуешь по всему миру... Так же не сеешь, не жнешь, а лишь собираешь брошенные крохи... И нет от тебя никакой пользы, только помет и болезни, болезни и помет... И все-то любуются тобой, а потом гонят, дружок, гонят и умерщвляют, ибо ты раздражаешь их своей непокорностью и величием. (Встает, держит голубя над жертвенником.) Но ты уже сказал новое Слово, ты уже сказал его... И теперь ты умрешь, чтобы Слово твое было услышано. ...С благодарностью прими смерть, Иисус, прими смерть за грехи народа твоего и возрадуйся, ибо истина любит тебя: любовь и только любовь — вот что принесет Израилу власть над миром.

Анна надламывает голубю шейные позвонки, но не отрывает голову от тела. Голубь бьется в предсмертных судорогах и затихает. У него из горла сочится струйка крови. Анна окропляет этой кровью стенки жертвенника, кладет голубя к его подножию. Отходит в сторону. На глазах у него слезы умиления.

Анна. Свершилось. Остальное во власти Господа, аминь. (Анна безмолвно плачет.)

В комнату врывается Иуда. На ходу он успеваеет запереть дверь.

Иуда. Молись, шакал! (Достаёт из-за пояса нож. И тут он замечает голубя.) ...Так я и думал! ...Сначала Креститель, а теперь, Иисус?! (Приближается к Анне с ножом в руке.) Я все понял, старая обезьяна... Ты подослал меня к Иоанну и велел следить за ним. Ты говорил: Креститель принесет спасение Израилу. И вот когда я рассказал тебе о странном галилеянце, Иоанн стал тебе не нужен. Ты быстро убрал его с дороги. ...Но перед этим были свитки. Да-да, те самые свитки, которые я по твоему приказу подсунул Иисусу. И снова ты заставил меня следить за ним: за его поступками, за его мыслями... и снова говорил: Иисус принесет спасение Израилу, береги его. Так это было?!

Анна. Истинно так, Иуда из Кариота, истинно так. Но ты не уберег Иисуса, ты сам не уберег своего Иисуса.

Иуда. Лжешь! А знак?! ...Ему было уготовано распятие. Ты даже предусмотрел мое предательство, первосвященник. Я видел собственными глазами, там написано: один из учеников предаст тебя.

Анна. Да, я предвидел это.

Иуда (хватает Анну за ворот). Сейчас ты умрешь. Но я хочу, чтобы ты знал правду: Иуда не предает детей!

Анна. Конечно, я знаю правду...

Иуда. Хватит болтовни, молись! (*Заносит над Анной нож.*)

Анна (*совершенно спокойно*). Господи, прими душу мою, ибо все, что мог, я совершил на этой земле. Снизойди к молитвам моим и унеси вместе со мною в могилу тайну Иисуса-галилеянина: пусть веками и присно почитают его за Бога, а учение его — за правду. (*Иуде.*) Я готов, избавь меня от скверны земной, избавь меня, Иуда из Кариота.

Иуда (*задумался о чем-то своем*). ...Тайну?.. Тайну... (*Сам себе.*) Но ведь это Иуда привел воинов. Это Иуда выдал Иисуса. ...Так скажут ученики... Так скажут все...

Анна. Ну же, ну... Не медли, Искарriot. Анна готов предстать перед Господом.

Иуда отпускает первосвященника, отходит в сторону.

Иуда. Если ты умрешь, кто скажет миру, что Иуда не предатель?..

Обреченно садится на скамью. Анна поправляет посохом тлеющие угли.

Анна. Не свершилось... Тогда слушай, Иуда, слушай, быть может, тебе и дано будет понять, какую миссию возложил на нас с тобой Вседержитель Предвечный, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова.

Иуда сидит, низко склонив голову.

Анна. ...Давно это было, как помню себя, так и живу с этим. Явился ко мне Ангел Господень и так благовестил: изыщи пути спасения народу своему. Ибо погряз он в грехах и кичится союзом с Господом. (*Вздыхает.*) И спросил я Ангела: где искать мне дорогу сию? И сказал мне Ангел: «В ночи разума дорога сия».

Анна встает и вдруг замечает, что на кресле остался несожженный пергамент. Берет пергамент, какое-то время смотрит на него, бросает в огонь.

Анна. Вот они — океаны мудрости... Египтяне и римляне, эллины и персы... сотни, тысячи пыльных пергаментов... Гермес, Митра, Осирис, Аполлон, Адонис... сколько культур и божеств прошло сквозь меня, пока я не понял, какую проповедь должен принести миру помазанник Божий Иисус Христос. (*Разгребает посохом золу.*) Я ошибался, Иуда... Креститель — одна из моих ошибок. При виделось мне тогда, что, охраняя от язычников веру отцов наших, можно приблизить обетование Израиля. Но вскоре я понял, что, дразня зверя своей избранностью, мы обрекаем себя на новые страдания. И это был лишь день разума. (*Садится рядом с Иудой. Обнимает его.*) Мы верим в Святой Дух, Иуда, но только в такой, который целесообразен. Только в такой, который нужен, чтобы повелевать людьми и народами. Деньги? Оружие? Чистая вера? Да, все это может утвердить власть Израилю... Но все это — сила, Иуда, а силой невозможно про-

должительное время владеть миром. (*Встает, взволнованно ходит.*) Мы должны были придумать такое оружие, против которого бесильно время. И я нашел его. Я нашел, ты понимаешь?! Нашел!

Иуда. Это любовь, первосвященник. Но принес ее миру Иисус, а не ты.

Анна. Анна не обидится. Пускай потомки назовут его имя. Потому что Анна знает главное: за все на этой земле приходится расплачиваться... за все расплачиваться. И если Израиль хочет владеть миром, он должен заплатить за это своей избранностью!

Иуда. О чем ты, первосвященник? Я не понимаю тебя.

Анна. Хочешь сказать, что это безумие? Ты прав. Это и будет ночь разума, Иуда. Ночь разума и день истинной веры. (*Устало откидывается в кресло.*) В конце концов, уравняв себя с остальными двуногими, мы никогда не забудем, чью религию исповедует Христос. (*Долго смотрит на Иуду.*) ...Ты понял меня наконец?

Иуда. Я понял тебя, первосвященник: ты предал на распятие моего сына.

Видение.

Пронзительный свист ветра. Все пространство вокруг, насколько возможно охватить его взглядом с высоты птичьего полета, является собой безжизненное царство одиночества: ни травинки, ни камня, ни малейшего намека на жизнь — пустыня. Где-то там, в самой середине ее разверзшегося чрева, мы замечаем человека. Он спешит, его шаг уверен и тверд, как будто он знает дорогу. Но где ее сыскать среди этих песков...

И вот пустынный остановился, он понял наконец, что дальше идти бессмысленно. Но что это? Его догоняет еще один безумец.

— Зачем ты идешь за мной?

— Не ходи туда, Иисус. Ты что, не понял, что тебя разыграли? Твоя любовь оказалась всего лишь игрушкой в руках первосвященника. Он намеревается завоевать мир. — Ветер безжалостно бьет Иуду по лицу. — Не ходи туда, галилеянин. Анна только и ждет этого.

Иисус устало садится на песок.

— Присядем перед дорогой.

Иуда садится рядом с Иисусом и начинает тоскливо выть. Иисус встает.

— Пора. А теперь оставь меня.

Иуда тоже встает, они держат друг друга в объятиях. Наконец Иисус поворачивается и идет вперед быстрыми шагами.

— Это глупость! Глупость! Глупость! — задыхаясь от слез, кричит Иуда.

Иисус останавливается, оборачивается.

— У каждого свой крест, Иуда, у каждого свой знак верности. И если Анна рас-

считал свою игру, чтобы завладеть миром, то это он ничего не понял,— делает несколько шагов вперед, но снова оборачивается.— Кто он, этот Анна? Я не знаю его... Но я знаю, что кто-то должен взбунтоваться. Кто-то должен сбросить в преисподнюю этот лживый продажный мир. Они уверяют, что знают истину... Во всем и везде уповают на выгоду и разум, а между тем я чувствую... Грядет знамение времен! Ночь разума ожидает человека! — Он закрывается от ветра рукой, и мы видим, что рукав его платья порван.— И вот тогда только кроткие сердцем, только облеченные в святые ризы любви... только они... ты слышишь?! Только они должны будут наследовать землю, дабы спасти ее от распятия! — поворачивается и, уже не останавливаясь, исчезает за тяжелой пеленой песка.

Долго, очень долго стоит Иуда. Один Иуда. Брошенный Иуда. Мерзкий, мерзкий, грязный Иуда... Но нет, он не даст уйти своему Иисусу. Иуда не может... не должен его отпустить. И вот он бежит... Падает, встает, и еще этот проклятый ветер. А вот и темная точка! Да, да, это он! Он! Здесь не может быть ничего... Только бы не потерять из виду... «О черт!» Скорей, скорей! «Какие силы, при чем тут силы... Встать! Встать!» Он еще не умер. Он еще жив. Наконец-то... Иуда хватается за рукав. Издавая жалобный крик, рукав обрывается окончательно. Иисус останавливается.

— Зачем это? Даже уйти не даете. Зачем?

— Куда уйти? Почему уйти? — хрипит Иуда. «Что, что сказать... как остановить этого безумца?» И Иуда отчаянно кричит первое, что приходит на ум.— Раб! Жалкий ничтожный раб! С чего ты взял, что знаешь истину?!

Иуда отводит глаза. Он никогда не выдерживал его взгляда. Никогда, никогда... Но что Он скажет сейчас? Сейчас, когда бессмысленно врать, когда не перед кем ломать комедию.

— Хватит кривляться, игра окончена! — Иуда сплевывает горькую перемешанную с песком слюну.

Иисус молчит. Иисус не понимает Иуду. Поэтому так отрешенно блуждают его зрачки.

— Молчишь? — неизвестно чему радуется Иуда.— Нет, ты скажи. Скажи, что ты Бог, что воскреснешь на третий день. Ха-ха-ха!.. Знаем, знаем, как это делается.

— А ведь Лазарь был мертв,— дрожащим голосом говорит Иисус и вдруг хватается и отчаянно трясет Иуду за плечи.— Мертв! Мертв! Вот и все, что я знаю.

Пауза. Очень долгая пауза.

Иуда рассматривает песок у себя под ногами. Сейчас он посмотрит Ему в глаза. Посмотрит и скажет... одно... всего одно сло-

во. Чтобы сразу, чтобы навсегда, чтобы никому не повадно...

— Ложь! Наглая ложь!

Но что это? Галилеянина нет рядом с ним.

Иуда плачет. Иуду сотрясают безудержные рыдания.

— Дитя, дитя,— шепчет он, размазывая по лицу грязные слезы.— Ну как ты там будешь без меня? Тебе нельзя одному... Сейчас, сейчас...— Он дико озирается по сторонам.— Тебе спокойнее, когда я рядом.

Обреченно мечется из стороны в сторону — а вокруг только песок и ветер, ветер и песок. Но вот его взгляд останавливается на каком-то предмете. Неужели здесь можно что-либо отыскать?! Нет, конечно, нет. ...Но только не ему, не этому странному Иуде из Кариота. Он спешит. Он судорожно развязывает веревку, цепляет ее за камень.

— Хорошая игрушка,— смеется Иуда.— Очень хорошая игрушка. Вот на что надо молиться, Иисус,— раз, два... И ты Бог, ты ангел, ты Вселенная!

Взмываем вверх и видим маленький холмик песка. У его подножия лежит небольшой камень, а рядом с ним, неестественно широко разбросав ноги, покачивается удушенный Иуда. Над холмом возвышается грубо сколоченный дубовый крест, и распятый Иисус, напрягаясь из последних сил, запрокидывает голову и пытается что-то прокричать нам вослед.

Но мы уже высоко, мы не слышим его слов: только свист ветра и душераздирающий скрежет огромного обруча, медленно катящегося по горизонту, тяжелого, грубого, все сметающего на своем пути.

Поднимаемся еще выше и пролетаем стаю напуганных птиц. Они выкатили безумные глазки, и мы узнаем в них учеников Иисуса, Анну, Каиафу... и всех остальных. ...А вот и белая голубка. Она отбилась от стаи, и тем ужаснее ее растерянность, обреченность и одиночество. Тянемся к ней, нам хочется укрыть, приласкать, уберечь Марию... Но мы не дотягиваемся до нее.

Нас несет все выше и выше, и вот уже стая осталась далеко внизу... И это не стая вовсе, а огромное море мечущихся горлиц людей. ...А вот и кондор, мы поравнялись с ним. Но он не обращает на нас внимания. Вот он сделал последний круг, завис на мгновение над своими жертвами и камнем ринулся к Земле.

Откуда-то тихо вступает Пасхальная месса. А мы все удаляемся от Земли. ...Уже

пройдены последние слои атмосферы, и космический мрак покрывает нас со всех сторон. ...Хорал звучит на предельных нотах и неожиданно обрывается. ...Ужасная вселенская тишина. И Земля все дальше улетает от нас, превращаясь в голубой детский мячик, наконец совсем теряется среди тысяч и тысяч безликих мертвых светил. Нас охватывает ужас, ибо приходит осознание безнадёжного космического одиночества. ...И тут мы видим безумный взгляд раздавленного обручем несчастного птенца горлицы.

— Кыш, кыш! Пошли отсюда!

Это возмущенный Анна наводит порядок в Святилище. В руках у него папирус, он размахивает им, как картонным мечом, защищаясь от встревоженных голубей.

Отнимаем глаз от отверстия, опускаем завесу, отчаянно машем крыльями, пытаемся взлететь. Вылетаем из Святилища.

— Что за люди...— довольноно ворчит Анна, осматривая оставленный голубями беспорядок.— Ни на мгновение нельзя рассла-

биться и забыться — тут же напакостанят, перевернут все вверх дном.

Берет иголку, нитку, подходит к завесе, зашивает отверстие.

Мы поднимаемся над храмом. Ничего не изменилось вокруг: те же менялы, торговцы, шум, суета.

И вдруг померкло Солнце и завеса в храме разорвалась на две части, и яростный шквал песка и ветра обрушился на Землю. И покрыл храм, и Голгофу, и пустой крест.

И видим мы Иисуса. Он сидит при дороге и что-то чертит перстом на песке. И бежит к Нему Мария, и безумными глазами осматривает Его, и садится рядом, и хочет коснуться Его руки.

— Не прикасайся ко Мне,— говорит Иисус.— Я еще не взшел к Отцу Моему.

И бросает нам зерна, и мы клюем, клюем, безжалостно расталкивая друг друга.

1988 г.

Послесловие к дебюту

Гипотеза, выдвигаемая и разрабатываемая молодым автором, оригинальна. Он трактует евангельские события следующим образом: первосвященник иудеев Ананий (автор называет его Анна, по греческому написанию) «вдвигает» в историю гениальную стратегическую идею, свое детище, для спасения в далеких будущих временах богоизбранного народа Израиля. Суть ее такова: в мир надо внедрить любовь. Но внедрить осознанно, рассчитав последствия и возможности «сбора дивидендов» с этого.

Использование Иисуса в своих целях тонко проводится Анной (и автором) через весь сценарий. План Анны, мельком упомянутого в двух евангелиях и однажды в Деяниях апостолов, удается. Такова внешняя сторона событий сценария.

Может показаться, что автор перевел евангельский рассказ в детективный план, но это не так. Замысел его более дерзок. Не боясь бросить приманку — для воспаленных умов — в виде монолога первосвященника о грядущей власти Израиля над всем миром, автор одновременно создает систему знаков космической оценки событий («птичье-духовные» полеты, Солнце как чувствующий и творящий организм, космическое колесо), в результате чего и сам Анна и его идея оказываются включенными в еще более общий план мироустройства, и тогда оценки могут не только проявлять свою многозначность, но и быть прямо противоположными.

То есть автор и сам отступает от бездны и последней тайны, как бы заслоняясь в отчаянии и молчании.

В то же время мы имеем в общем-то реалистически трактованное прочтение евангельских коллизий.

Отсюда и неминуемая бытовая и «человеческая» окраска образов как самого Иисуса, так и Иуды, Марии Магдалины, остальных учеников.

Такие подходы к сакральным текстам регулярно искушают художников, писателей, кинематографистов («Последнее искушение Христа» и пр.). Как, мол, это было «в самом деле»?

Установочный отзыв на все такие попытки появился прежде самих попыток. Блаженный Феофилакт, не зная еще ни кино, ни литературы, пояснил: «Как зеркало тогда только отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа».

Как знаки мук душ иного толка возникают время от времени художественные трактовки. В этом тоже одна из веточек истории человека.

Есть спорные авторские посылки — но почему бы и нет?

А сфокусированный взгляд на проблемы бытия автор представил соответственно таланту и задал ряд вопросов, дающих пищу для духовно развитого читателя.

В. Голованов

Сергей Малахов

НЕСЛЫШИМАЯ ПОСТУПЬ СОЗНАНИЯ

...вместо того чтобы сразу же дать определение всему тому, чего мы не знаем, он шаг за шагом исследует то, что мы хотели бы знать.
Вольтер. «О г-не Локке».

Всего несколько лет назад харизма как термин был известен лишь узкому кругу ученых. Сегодня его можно встретить и в словарях, и на страницах газет, услышать в разговоре. Открытие широкой публикой зарубежной философии, приступы восточности, болезненно-исцеляющее обращение к собственной истории и наблюдение за траекториями движения современных политических идей — этому и многому другому обязано появлением в нашем лексиконе загадочное слово.

Философы толкуют харизму как исключительную одаренность, наделенность какого-либо лица, института или символа особыми качествами сверхъестественности, непогрешимости или святости в глазах приверженцев или последователей. Психологи рассматривают ее как наделение личности свойствами, вызывающими преклонение. Кажется, в общем и целом понятно, и мы можем идти дальше, понимая харизму как некоторую исключительность. Однако проверим себя еще раз. Что же такое харизма? Факт личностной исключительности либо процесс создания некоей сверхъестественности? Данное свыше или рукотворное?

Случайно ли это разночтение в толковании философов и психологов? Является ли оно отражением различных методологических подходов или выявляет нашу неспособность до конца проникнуть в суть этого явления?

Одним из первых ввел этот термин в научный оборот Макс Вебер. Причем сде-

лал это с вполне определенной целью — выделить рациональное социальное действие и рациональную социальную организацию в пестром водовороте традиционных ценностей, аффективных действий и патриархальных структур. Именно там, в калейдоскопе иррационального, находит он место и для харизмы. Харизма для Вебера — это прежде всего источник власти. Но в отличие от рациональных властных структур, основанных на «легальности» нормативных правил и прав, и от традиционных, опирающихся на незапамятные традиции, этот источник власти питается святостью, героизмом или исключительностью правящего. Рассуждая о судьбах цивилизаций, Вебер пришел к выводу, что рациональная социальная структура и рациональная власть — свойства высокоразвитого, прежде всего капиталистического, общества.

Интересно, что философы того времени, к которому принадлежал и Вебер, пресыщенные марксовым детерминизмом, отличались своим категорическим неприятием любых схем исторического процесса. Хотел того Вебер или нет, но его теория социальной и экономической организации выстраивалась в некоторую периодическую таблицу, где харизме отводилась роль некоего атавизма общественного сознания, знаменующего отсталость и невежество. Голодные, одичавшие французские крестьяне рвались в Реймс увидеть — не коронацию дофина — а белый плащ Жанны д'Арк. Отчаявшиеся китайские республиканцы умоляли Юань Шикая — лидера революции принять титул богдыхана. Невежественная толпа и герой. Но позвольте, это ведь уже было! Обратимся к трудам Ницше и Шопенгауэра, французских психологов Тарда и Лебона, к их философии героя и толпы, на

которых делится, по их мнению, все общество. Но неужели все это так просто и толпа недаром в истерике вскидывает миллионы правых рук или давит себя, чтобы в последний раз увидеть лик усопшего?

Действительно, именно так толпа создает харизму, «что общие слезы из глаз». При этом не обязательно харизму политического лидера. Ею могут наделяться артисты, футболисты, знаменитые юристы, журналисты и т. д. Что это, и впрямь атавизм, невежество, недостаток культуры? Величайший философ Нового времени Гегель никогда не обожествлял Наполеона. Но увидев его проезжающим верхом на рекогносцировку, записал: «Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность, которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает мир и властвует над ним». Таким образом, император, актер и спортсмен попадают в один ряд. Не будет ли это слишком? Правда, тот же Маяковский сумел вложить городошную битую в руки журналиста, ставшего затем основателем первого в мире социалистического государства. Сопоставление оказывается допустимо, потому что есть общее, и это общее — харизма.

Харизма парадоксально многолика. Исследование этого феномена в теологии, социологии, политологии не означает монополии высокой академической науки на этот термин. Конечно, политический деятель, решительно сломавший ПЕРЕгородки, чтобы застоявшаяся и заросшая тиной вода хлынула вольным потоком, более удобен для анализа. Можно не только наблюдать, но и участвовать. Особенно, когда этих ПЕРЕ- много, а поток все сильнее и сильнее, вот тогда и вставить свое: эти ПЕРЕ- надо ПЕРЕжить. И тогда констатировать, что харизма — явление проходящее; наблюдая ее, так сказать, в дебюте, когда вчерашние изгои, физики и лирики, мертвые и живые, становятся властителями дум и лидерами нежных революций, и мы их боготворим. Харизма очень часто сопровождает в истории «гадких утят». Надолго ли? Я верю в искренность, когда топчут, а потом столь же искренне боготворят или сегодня превозносят, а завтра проклинаят.

И в нашей повседневной жизни, на работе и дома, харизма присутствует незримо. Если нам повезет, то мы боготворим начальника, прощаем, или не замечаем, или даже оправдываем его ошибки. Его исключительность взрывает стереотипы служебной иерархии, мы упиваемся товарищескими отношениями с начальством, мир становится проще и понятнее. Кстати, американские психологи давно интересуются, к каким неприятным последствиям может привести

людей подобная харизматическая культура внутри организации. Мир в их сознании устойчив, потому что есть лидер, в которого они свято верят. Они сами не замечают, как их бросает из стороны в сторону, как непоследовательны, зачастую ошибочны их действия, ибо все они утопают в блеске харизмы.

Вспомните, и вы найдете черты харизмы в тесных семейных отношениях.

И все-таки, почему я верю в искренность «до» и «после»? Харизма действительно представляет собой процесс надления личности ореолом исключительности, и одновременно она воспринимается как данное. Здесь нет противоречия, ибо ее источником является отличающийся от нас, но генерируем харизму мы, сами себе в том не признаваясь. Почему? На этот вопрос ответить очень трудно. Может быть, мы боимся себе признаться, стыдимся, а может, это происходит подсознательно. Я не даром упомянул о семье. «Все черты характера, которыми мы наделяем великую личность, являются отцеподобными чертами, и в этом отцеподобии и заключается до сих пор ускользавшая от нас сущность великой личности». Категоричность Фрейда тоже вызывает восхищение и создает его собственную харизму.

Его объяснение феномена психологии масс интересно уже потому, что, говоря о массовом сознании, Фрейд воздает должное индивидуальности. В каждом из нас, пишет он, с детских лет живет тоска по отцу, движимая как ненавистью, так и любовью. У того же Фрейда — о праотце — сказано: мы боготворим его и — съедаем, съедаем и боготворим. И в том и в другом случае мы — искренни.

Итак, все вместе, толпой мы создаем харизму? Нет, толпа ее создать не может. Потому что она — толпа. Потревожим еще раз память Гегеля. Певец логики, он презирал «психологию камердинерства»: у камердинера нет своего героя, но не потому, что тот — не герой, а потому, что этот — камердинер. Именно потому, что мы — не толпа, мы вчера были готовы, «задрвав штаны, бежать за комсомолом», а сегодня за лидерами «Демократической России».

Услышим ли мы робкие шаги нашего сознания в сумерках подсознательного?

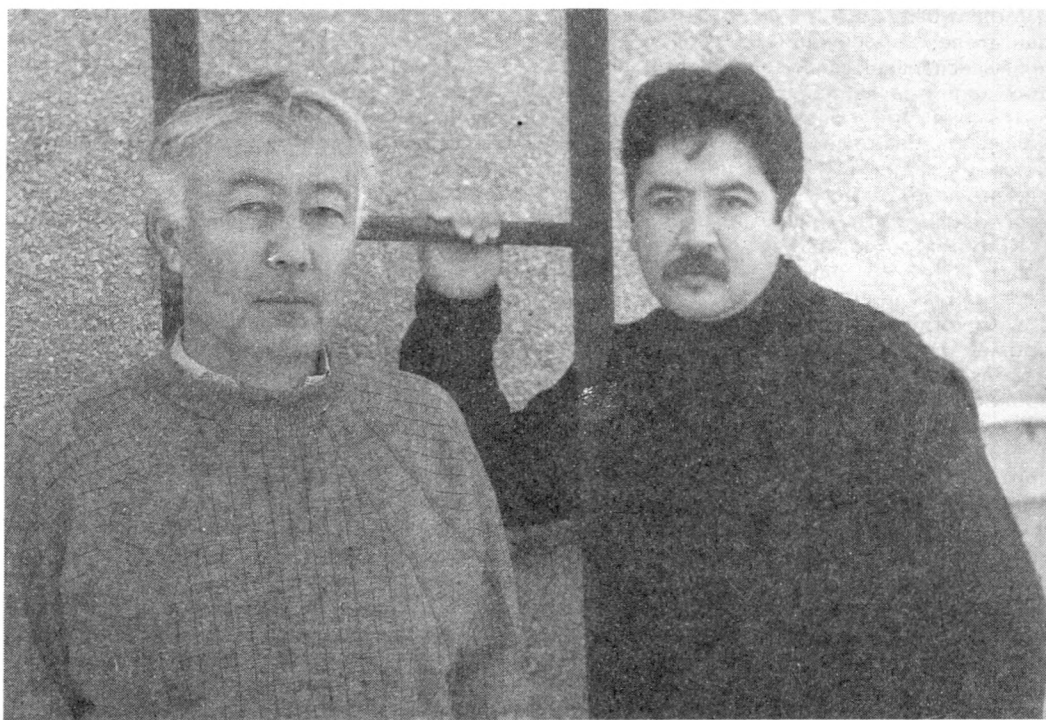
Вопрос встает за вопросом и не находит окончательного ответа. Если харизма — это данность, то почему мы так легко на нее откликаемся, если она создается нами, то почему мы не можем об этом открыто сказать? Неужели только для того, чтобы спустя годы иметь возможность сказать — это не мы, это все — он...

Может быть, где-то там, рядом с вечным двигателем, вращающим запутанные механизмы испанских сапог совести, выдавливающих капля за каплей раба, где и обитает этот маленький и очень симпатичный шварцевский дракончик, как раз находится источник харизмы. Но мы не знаем, каков он, и потому не ведаем, какую воду, живую или мертвую, пьем из него.

История, к сожалению, банальная для наших дней. В одной восточной стране застрелили депутата оппозиции, журналиста. Спустя некоторое время имущие все, кроме власти, чувствуя нарастающее недовольство правящим режимом народа, вознесли над массами образ вдовы. Глубоко верующий люд пошел за ней как за святой. Трагедия оказалась козырной политической картой. Свершилась революция. Но когда пришло время делить новую власть, оказалось, что вчерашняя изгнанница, которая всем виделась скромной домохозяйкой, обладает собственными политическими амбициями. И вот в этой удивительной и неповторимой стране, как и до революции, льется кровь. Харизма решительной женщины постепенно тускнеет, но она не померкнет. Потому что харизма — это власть над людьми, власть всеобщая. А такая власть, как писал Данте, «никогда не умрет и никогда, как бы она ни была слаба, не будет побеждена». Боготворим и — съедаем, съедаем — и боготворим.

Харизма может быть страшным оружием. Полбеда, когда исключительность одного используют в своих целях другие. Их прагматизм иногда называют государственной политикой, а история педантично заносит в летописи все новые имена «серых кардиналов». Гораздо опаснее другие случаи, когда

исключительность начинает использоваться самим харизматическим лидером. Здесь так и просится сухая псевдонаучная классификация подвидов: а) когда исключительность, не ведает, что творит; б) когда ведает, но заимствует чужую исключительность; в) ведает, что творит. Многие из выдающихся, а точнее, рельефных фигур прошлого захотели бы, наверное, относиться к пункту «а». Но это удел немногих. Как, впрочем, и относящихся к пункту «в». Хотя этот подвид можно и расширить, если только вспомнить, как часто мы играли роли верных друзей, любимых детей и т. п. Наконец, пункт «б». Здесь в первую очередь вспоминаются самозванцы, российские и иноземные. Но Петр III, воскресший в ящичьих степях, выглядит бледной тенью перед теми, кто скрывался не за харизмой личности, а за харизмой идеи, символа, народа... Ведь харизма не только данность исключительной личности, она рукотворна. А может, это тоже заблуждение? И кто ответит, что легче: убить дракона или не сотворить себе кумира? Вопросов действительно много. Более или менее ясно, пожалуй, одно — харизма не прошлое человека. Она здесь, и каждый миг готова взорвать хрупкие структуры рационального. И опять вопрос — во имя чего? Наверное, во имя того, что ждет своего часа внутри нас. А когда дождется, тогда и закончится время вопросов. Настанет эпоха ответов, определений того, чего мы пока не знаем. И может быть, кто-нибудь, уловив этот порыв, угадав наше внутреннее движение, напишет, на скорую руку, но уверенно и непреклонно: «Харизма, если перевести это греческое научное, историко-философское выражение на более простой язык, означает вот что: только...»



**Рихсивой
МУХАМЕДЖАНОВ**

**Зульфикар
МУСАКОВ**

АБДУЛЛАДЖАН, ИЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ СТИВЕНУ СПИЛБЕРГУ

Поздним осенним вечером в клубе колхоза «Коммунизм» шло собрание, посвященное итогам года. Над клубом висела толстая луна, похожая на остывшую лепешку. Она освещала вершины могучих серебристых тополей, шелестевших последними листьями. Председатель колхоза Валижон-ака, проще говоря, раис-ота, награждал победителей соцсоревнования более или менее ценными подарками. Среди награжденных был и Базарбай-ака Норматов: ему вручили транзисторный приемник «Саяны». Потом, когда собрание вроде бы кончилось, когда все начали вставать с мест, раис-ота попросил колхозников ненадолго задержаться.

— Товарищи, последний вопрос, очень важный! Садитесь. К нам пришла телеграмма из Москвы, сейчас я ее прочту: «Правительственная телеграмма. Уважаемые жители колхоза „Коммунизм“! Министерство обороны СССР, Академия наук СССР сообщают

вам, что в ближайшие дни на территории вашего колхоза, включая акваторию колхозного рыбоводческого пруда, по расчетам специалистов ожидается прилет представителей внеземной цивилизации, то есть инопланетян, из гипотетической галактики альфа номер пять тысяч шестьсот семьдесят четыре. По гипотезе профессора Шраймана и академика Серебрякова вычислены примерные визуальные параметры существ, которые, вероятно, прилетят на НЛО. Рост — семьдесят-восемьдесят сантиметров, руки длинные, доходят до земли, два красных глаза, большой синий нос, два уха, лысая голова. Убедительная просьба ко всем жителям колхоза: при появлении этих объектов незамедлительно сообщить местным органам власти, не пытаться вступать в контакт с вышеназванными объектами. В случае вынужденного контактирования постараться запомнить внешний вид летательного аппарата, внешний вид

пилотов НЛО, проявить к ним максимальную лояльность, постараться задержать их под любым предлогом, исключая запугивание и насилие. Срочно обратиться к председателю колхоза товарищу Шодиеву. В случае многочисленности НЛО не поддаваться панике».

Нависла недолгая пауза: очень немногие поняли содержание странной телеграммы. Один из колхозников, потирая кадык, спросил вслух:

— Раис-ота, вы нам толком объясните, чего от нас требуют из Москвы? План и сообразительности, несмотря на плохую погоду, мы же выполнили вроде?

Валижон-ака с раздражением посмотрел на него:

— У тебя что, уши заложил? Сказано же в телеграмме: гости к нам могут прилететь!

— Откуда?

Раис-ота почесал за ухом, подумал и вздохнул:

— А черт его знает, откуда! Наверное, оттуда! — и показал пальцем в потолок. Потом подумал и сказал: — А может, и оттуда! — теперь он показал пальцем на юг.

— В общем так, товарищи! Кто увидит вот такого человечка, — о аллах, а чего же он такой масенький! — тут же бегите ко мне. Не спугните, пригласите на чай, а там я сам разберусь.

Раис-ота был человеком слова: сказал — значит, сделает, на то он и колхозная голова.

Люди пошли к выходу. Тот, кто спросил, был человеком несколько тугим на ухо, а может, и на ум. Он все понял по-своему и поэтому комментировал жене примерно так: из Москвы приезжает комиссия с проверкой, внезапно, мол, за руку чтобы поймать приписчиков, а главарь ихний, выдать, очень маленького роста, тот самый принципиальный, ни на какие взятки не идет. Его жена так и поняла, тем более у нее своих забот хватало...

Над кишлаком все так же висела та самая толстая луна. Холодное осеннее небо вызвездило мириадами звезд. Люди расходились по домам. Никто не поднял головы и не посмотрел на небо. Никто не заметил, как над верхушками деревьев беззвучно пролетело что-то яркое. Никто не заметил. Даже чуткие кишлачные собаки с обрезанными ушами в эту холодную ночь забрались в свои конурки и не высовывали носа. Только один из самых верных, добросовестных псов вышел на минутку из своего домика, поднял заднюю лапу, сделал свое дело, пару раз глухо взлалял (пес был уже в пенсионном возрасте) для проформы и пошел спать. В саклях, прижавшись друг к другу, дремали

овцы, а одна корова (вот дура!) проводила равнодушным взглядом небесного гостя, монотонно жуя солому. Она или ничего не поняла, или ей было все до лампочки. Скорее всего и то и другое. Хотя бы промычала! Может, где-то там, в Индии, где ее святыней считают, коровы умнее. А наши, актеракские, тощие, как из концлагеря, и молока дают кот заплакал, да к тому же еще и тупые, тьфу, смотреть тошно...

Колхозник Базарбай Норматов с наградой, транзисторным радиоприемником «Саяны», возвращался со своим приятелем Сотиболды через поле. Они давно забыли о телеграмме, как вдруг Сотиболды остановился как вкопанный.

— Ие, Базарбай-ака, что это?

— Где?

— Да вон, в кустах!

Базарбай посмотрел: действительно в кустах кто-то был. Или что-то было. Было: лысая голова, огромный нос, руки длинные, аж до земли, рост 70—80 см. В следующую секунду Сотиболды дико заорал и убежал. Базарбай тоже вскрикнул, хотел было бежать, но любопытство взяло верх. Он осторожно подошел к тому, что или кто был в кустах. То смотрело на него красными слезящимися глазами и молчало. Базарбай попытался улыбнуться:

— Хм... Ассалому-aleyкум, дорогой гость... вот... э-э... Добро пожаловать в наш колхоз... Меня зовут Базарбай, фамилия моя Норматов... вот... Я уже тридцать лет работаю в этом колхозе... У меня шестеро детей: Аскар, Джаннат, Ахмад, Акбар, Барно и самый младший Балтабай, в этом году десятый класс кончает. Сыновья почти все женаты, дочки замужем, внуков пять штук... э-э... А теперь, если не возражаете, пожалуйста ко мне домой на пиалушку чая... э-э... или в сельсовет... Можем в милицию зайти, если хотите, там тоже вас ждут... вот...

То, что было в кустах, вдруг смачно высморкалось, а потом заговорило:

— Так, меня зовут Юлдаш. Я тоже колхозник, работаю не меньше твоего. И семью твою знаю хорошо. Сейчас вот сижу здесь на ветерке, нужду справляю, а ты мне вот уже полчаса мозги пудришь!

Базарбаю ничего не оставалось делать, как извиниться перед человеком за потревоженный покой. Только Базарбай был чересчур вежливый и учтивый человек, извинялся он долго; издали было видно, как тот, в кустах, закричал, потом начал кидать камни... В тихом осеннем небе висела луна.

Титры:

АБДУЛЛАДЖАН, ИЛИ ПОСВЯЩАЕТ-СЯ СТИВЕНУ СПИЛБЕРГУ

Хьюстон, штат Техас, США. Центр управ-

ления космическими полетами Национального управления аэронавтики и космонавтики (НАСА).

Несмотря на поздний час, в огромном зале Центра все были на рабочих местах. На огромном экране просматривалась вся Земля. Красной точкой двигалась орбитальная экспедиция на корабле системы «Шаттл». Все сосредоточенно ждали...

Огромная чаша американского радиотелескопа прощупывала небо.

Звездный, Московская область, СССР. Центр управления полетом Главкосмоса.

Несмотря на поздний час, в огромном зале Центра все были на рабочих местах. На огромном экране просматривалась вся Земля. Синей точкой двигалась орбитальная экспедиция на корабле системы «Буран». Все сосредоточенно ждали...

Огромная чаша советского радиотелескопа прощупывала небо.

В черноте космоса летел американский «Шаттл». У астронавтов был час отдыха. Женщина-бортинженер делала себе прическу — это ей никак не удавалось: волосы из-за невесомости не укладывались, а торчали дыбом. Командир корабля, типичный белокурый янки лет под сорок, в бортовом журнале делал смешные зарисовки для своих маленьких детей, фотография которых была прикреплена перед ним к стене. Третий член экипажа, врач, негр, играл на гитаре. Ребята отдыхали.

Почти на той же высоте, примерно по одинаковой орбите, летел наш «Буран». Космонавт Владимир Джанибеков бежал по специальной дорожке — сохранял форму. Очарованный красотой Земли, у иллюминатора застыл первый космонавт-узбек Мамасадык Худайбердыев. Командир корабля, типичный кадровый военный летчик, что-то записывал в журнал. По маленькому телевизору, прикрепленному перед дорожкой, передавали аэробику. Джанибеков спросил у Мамасадыка:

— Не видно?

— Не-а.

Командир оторвался от отчета:

— Надо бы Мурку накормить.

Мамасадык ответил:

— Надо самим сначала поесть.

С этими словами он достал из контейнера несколько тубиков с надписями: «Плов

узбекский», «Самса заказная», «Лагман ташкентский», «Манты», «Машхурда».

— Командир, что будете?

— Машхурду, машхурду.

Мамасадык протянул ему тубик.

— А мы с Володей плов будем.

Джанибеков выдал из тубика то, что здесь называлось пловом: в воздухе повис ярко-желтый шарик, космонавт ловко проглотил его. По кораблю грациозно расхаживала кошка Мурка.

Военный аэродром, за неделю построенный в нескольких километрах от колхоза «Коммунизм», был совершенно секретный. Во всяком случае, кроме коров и баранов, часто забегавших на взлетную площадку, здесь никого не было из числа гражданского населения. Вдали в предрасветной дымке спал кишлак Актерак. В сторону фермы поехала молоковозка. На новенькой взлетной полосе, которую подметали два молодых солдата, стояли четыре новейших истребителя СУ-27 — краса и гордость советской авиации. Пилоты, летчики-асы, уже сидели в кабинах с открытыми фонарями, ждали команды. Пилот первого самолета потешно дремал: рот полуоткрыт, глаза полузакрыты. Второй посмотрел на часы, достал из-под ног сетку, развернул завтрак, приготовленный женой: бутерброд и пакет молока. Третий, молоденький, с измученным лицом, говорил в микрофон:

— Товарищ генерал, сил больше нет!

В наушниках проворчал:

— Ладно, идите, Сидоров, только запомните, несерьезный вы товарищ!

Сидоров быстренько спрыгнул с самолета и побежал в маленький домик в конце аэродрома...

Четвертый пилот читал в «Правде» статью «В ожидании НЛЮ. Мифы и факты».

По летному полю шел мальчик. Обычный пацан, лет четырнадцати, в рубашке, в джинсах.

— Эй, пацан, ты чего здесь делаешь? — спросил вернувшийся Сидоров.

— У вас пол-литра спирта не найдется?

— Чего-чего? Ну молодняк растет, молоко на губах не обсохло, а уже пьянствуют. И куда родители смотрят? Ну-ка, чеши отсюда, а то я тебя арестую!

Пилот, который ел, вступился за мальчишку:

— Чо ты к парню пристал, Сидоров? Может, у него горло болит! Иди, пацан, не обижайся на него, ему моча в голову стукнула!

Тот, кто читал газету, недовольно посмотрел на разговорившихся летчиков.

Первый сладко и потешно спал. По его щеке ползла божья коровка...

Мальчик поднимался по пригорку. В руках он держал бутылку «Столичной» водки. Мальчик прошел в рощицу, аккуратно поставил бутылку на траву, почему-то начал снимать с себя одежду. Разгреб траву... Там оказалось нечто похожее на двухметровую пиалу, только перевернутую вверх дном. Мальчик вылил водку в дырочку пиалы. Потом забрался туда. Пиала, треща, как-то неуклюже взлетела... На месте, где мальчик сбросил одежду, вдруг начала быстро расти небывало буйная трава. За несколько секунд она переросла все деревья вокруг. На вершине этого необыкновенного дерева-травинки висели джинсы и майка...

В конторе колхоза «Коммунизм» был обычный день. Раис-ота разговаривал по телефону с райкомом:

— Хоп... хоп... А вы нас тоже поймите, Ортик Нигматович, мы же два раза пересеивали хлопок... Конечно, отставание есть... Постараемся, нашему колхозу к этому не привыкать...

Бухгалтер колхоза Хасан Атакулов считал на карманном калькуляторе. Сделан он был, наверное, в конце квартала и потому барахлил. В сердцах бухгалтер плюнул на калькулятор, достал из стола свои дедовские счета и начал составлять отчет заново. По телевизору шел мультфильм. Председатель, разговаривая по телефону, вдруг расхохотался, глядя на злоключения Волка из «Ну, погоди!»

— Извините, товарищ Суюндиков, это я не вам смеюсь. Хорошо, до свидания.

За окном пели птички. Никто из присутствующих в конторе не заметил, как за тем же окном бесшумно проплыла пиала. Только телевизор начал давать помехи: бухгалтер встал и стукнул по телевизору сапогом, специально стоящим для этой цели на телевизоре.

На колхозной ферме проводили вечернюю дойку. Почему-то выбило электроцит, и теперь доярки работали вручную. Они не заметили, как вдали проплыла пиала.

Шофер колхоза «Коммунизм» Дониер Холматов ехал на грузовике со своей девушкой Наргизой. Он ее очень любил, дело шло к свадьбе, посему он смотрел на ее красивые глаза больше, чем на дорогу. Слева от него, параллельно грузовику, с такой же скоростью летела пиала, но молодые не замечали ее, они целовались. Дониер был первый парень на деревне, красивый, усищипиками, глаза орлиные, ну просто актерак-

ский князь Потемкин! Пиала проявила должный такт и, развернувшись, улетела на северо-восток...

Она зависла над колхозным прудом, из лока высунулась тонкая подростковая ножка, коснулась холодной воды, кто-то ойкнул: — Ой, холодная, черт! — И тут же, набирая высоту, пиалушка улетела прочь...

Под ней проплывали белые, одетые словно невесты, вишневые сады.

Кто-то сказал:

— Ну вот и все. Погуляли, и хватит!

Вдруг послышалось какое-то бульканье, пиалушку начало трясти, и она стремительно начала падать вниз...

Чья-то корова долго смотрела, как в камыши грохнулось нечто. Потом она продолжила свое вечное занятие — ела траву. В воздухе стояло гудение пчел, разных насекомых. Корова шевелила ушами, отмахивалась хвостом...

Хьюстон, штат Техас, Центр НАСА. Все работники американского астроцентра ждали. Вдоль рабочих мест красивая девушка провезла тележку с бутылками кока-колы. Два молодых астрофизика сказали ей «сенк ю» и продолжали свой будничный разговор:

— О боже, скорее бы прилетал этот гость, мне же надо в Европу слетать за премией.

— За Нобелевской, в Осло?

— Да.

— Только не забудь вовремя сшить фрак и бабочку, а то я в прошлом году, когда за своей ездил, чуть не опоздал из-за фрака.

Это был разговор действительных лауреатов Нобелевской премии, впрочем, это не помешало им сопровождать восхищенными глазами ножки девушки, раздававшей кока-колу.

Звездный, Московская область, Центр Главкосмоса. Здесь девушки не рассказывали, на двери висела табличка: «В буфете реализуется пепси-кола (45 коп. без стоимости посуды)». Вообще-то правильно, нечего тут барство разводить. Пожилой генерал военно-воздушных сил внимательно слушал своего собеседника, чем-то напоминавшего австралийского медвежонка коалу космонавта Гречко.

На взлетной полосе торчали четыре истребителя...

Акватория Тихого океана. Координаты засекречены.

Командир атомного подводного ракетносца «Шахтеры Донбасса» очень любил рыбную ловлю. Подлодка была в надводном положении. Командир сидел на палубе и ждал клева. Из башни лодки вышел мичман Пономарев.

— Товарищ капитан первого ранга!

— Тс-с, рыбу спугнешь!

Мичман зашептал:

— Вас к телефону!

Командир вздохнул:

— Эх, ушла рыбка. Ну пошли, что там еще?.. Удочку не трожь, я вернусь.

Командир спускался к командному пункту. По пути он ворчал:

— Вчера с крючка сорвалась вот такая, нет — вот такая! Алло, слушаю!

Звонили из Центра управления полетом. Тот самый генерал военно-воздушных сил.

— Здорово, Петя!

— Здорово, коль не шутишь. Рыбку мне спугнул!

— Там, где ты торчишь, рыбы нет. Я тебе другое место нашел, рыбы завались. Слушай приказ самогo: для усиления наблюдения за ожидаемым НЛО срочно перебазироваться в акваторию рыбоводческого пруда колхоза «Коммунизм». Понял? Секретность «А».

У командира округлились глаза.

Подлодка быстренько ушла под воду. Через некоторое время на том месте проплыла огромная акула, а может, кит.

Угодья колхоза «Коммунизм».

Базарбай Норматов ехал на велосипеде по полям и искал свою дурную корову Карахон. Он часто останавливался и кричал:

— Эй, Карахон, где ты бродишь, твою мать за вымя!

Солнце уже коснулось горизонта. Карахон, то есть Чернушка, нашла не тронутые никем травяные джунгли и пировала на славу.

— Ага, вот ты где?! — подъехал Базарбай. — Слушай, ну и дура же ты, а! Ты зачем от стада всегда уходишь? Чо, лучше всех, да? На коллектив наплевать, да? Скажи спасибо, что я тебя люблю, а то бы давно на колбасу сдал!

Базарбай взял ее за веревку и потащил к пригорку. Вдруг что-то остановило Базарбай.

— Ты ничего не слышала?

Корова очень любила своего хозяина, она лизнула его.

— Тьфу, дура, перестань! Слышишь, кто-то стонет!

Базарбай осторожно ступил в заросли камыша.

— Эй, кто там?

В камышах действительно кто-то стонал. Из-под ног Базарбая вспорхнула горлица —

со страху он чуть Богу душу не отдал. А в камышах кто-то стонал, да так жалобно. Базарбай развел руками камыши и широко раскрыл глаза: среди каких-то обломков лежал голый мальчик, весь почему-то в зеленой краске.

«Вот сволочи, ограбили мальчишку и сюда бросили!» — мелькнуло у него в голове.

Базарбай склонился над мальчиком, попробовал поднять его, тот застонал сильнее и открыл глаза. Базарбай улыбнулся ему. Вдруг мальчик испуганно вскрикнул и отпрянул от него.

— Чего ты кричишь? Я тебе помогу. Кто тебя избил?

Мальчик молчал. В сотые доли секунды в голове у него промелькнули буквы: латинские, русские, арабские, еврейские, китайские иероглифы, наконец красным огоньком замигало: узбек!

— Меня никто не избивал. Я потерпел аварию.

Базарбай поперхнулся: самое удивительное было не в том, что мальчик, внешне очень похожий на Маленького принца, а в представлении Базарбая просто на русского, говорил по-узбекски, а в том, что он сказал это слово на исконном староузбекском языке.

Базарбай стер рубашкой зеленую краску, потом молча поднял мальчика и хотел нести в сторону кишлака.

— Вот, сейчас в больницу пойдем.

— Благодарю вас, но примите мои глубокие извинения, я не могу.

— Ие, почему?

— Не считите за дерзость, но по нашей инструкции «Дельта-467» мне категорически запрещено обращаться к вашим табибам.

Базарбай посадил мальчика на сухой камыш, отошел, посмотрел на него со стороны — мальчик как мальчик, только голый, весь в зеленой краске и волосы не как у кишлачных ребятишек, а как у рязанских детей, короче, можно было предположить, что мальчика зовут или Петей, или Васей, но никак не Мамарасулом, не Бахтияром.

— Странный ты какой-то. Как тебя зовут?

— Зовут... имя... род... Если я вас правильно понял, господин, вы определяете мой индивидуальный код фиксации индивидуума?

— Чего-чего?..

— Искренне извиняюсь, но в староузбекском языке нет перевода терминов индивидуума и индексов. Я-Д-2416, южный сектор, пятый ряд, седьмой отсек, девятый блок, ячейка № 678945.

— Астопиррило, тьфу, тьфу, тьфу. Слушай, тебя, наверное, по голове чем-то больно стукнули?

— Нет, сударь, а что?

— Да так, спросил. Слушай, а кто тебя зеленой краской вымазал?

— Это не краска, это моя кровь.

— Ну понятно. Ах, сволочи, совсем тронулся бедный. А ну, дай пощупаю. Температура нормальная, с виду ты парень ничего, а речи странные толкаешь. Ты с какого кишлака?

Мальчик показал на звездное небо.

— Я — подданный планеты альфа-бета Центурион.

Базарбай странно хмыкнул, потом сорвался с места.

Он взобрался на пригорок, плевал себе на воротник, молился, причитал:

— Субханало, субханало... Ё иллоху иллоху, мухамаду-расуллуро...

Мальчик был слаб, он продолжал сидеть на сухом камыше.

Из-за камышей выглянул Базарбай.

— Эй, как тебя там, чего молчишь? Ты не обманываешь меня?

— Да что мне врать, когда я еле сижу!

Базарбай уселся перед ним на расстоянии трех шагов, по-турецки сложив ноги.

— Вот это да! Значит, и на других планетах наши узбеки?! Знай наших!

Мальчик стал медленно опускаться на камыши.

— Эй ты, погоди, ты это, того, сейчас я тебе помогу!

В ту ночь на колхозном пруду всплыла подводная лодка «Шахтеры Донбасса». Командир уже успел закинуть удочку.

— Клюет, определенно клюет!

На аэродроме сиротливо стояли четыре истребителя СУ-27.

В космосе дежурили два космических челнока.

В обоих Центрах не спали.

Базарбай пришел домой, тихонько пробрался на кухню, взял кастрюльку с машхурдой, лекарства. В комнате открыл шифоньер, хотел подобрать что-нибудь из одежды, но все было не по размеру. Взгляд его упал на младшего сына, семнадцатилетнего Балтабая. Тот стоял перед зеркалом и прихорашивался: на нем были новые варенки, модные туфли, в общем, на гулянку собрался парень.

— Эй, Балтабай, а ну иди сюда!

— Чего, папа?

— Снимай штаны!

— Ие, зачем?

— Снимай, много не разговоривай!

— Не сниму, мне идти надо!

— Не снимешь? Отцу перечить?! Снимай!

Холида-хола, жена Базарбая, доила во дворе Чернушку. Увидев своего хозяина, корова любовно промычала. Холида-хола удивленно посмотрела на мужа, несшего в авоське кастрюлю и под мышкой сверток. В окне стоял заплаканный Балтабай. Вдруг Базарбай ни с того ни с сего сказал:

— Отцу перечит, сопляк!

Жена, привыкшая к таким словам, продолжала доить корову и смотреть на мужа.

Споткнувшись о ее усталый взгляд, Базарбай начал кричать теперь уже на нее:

— А все ты виновата! Распустила детей!

И вообще, какое тебе дело, куда я иду? В этом доме я мужчина или кто?

Жена продолжала машинально доить корову, удивленно глядя на мужа.

Базарбай подошел к калитке, но в это время черная кошка перебежала ему дорогу. Он остановился, снова обрушился с критикой на жену, одновременно взял лестницу, приставил ее к забору, полез через него.

— Захочу, через забор пойду, кто мне запретит? Захочу, целый день на заборе буду сидеть!

В следующую секунду Базарбай свалился с забора в дорожную пыль. На него смотрели удивленные прохожие. Один из них поздоровался даже...

Базарбай зашел в правление колхоза. Бухгалтер Хасан Атакулов сидел за столом и писал важную бумагу, рядом лежали его счета. Базарбай кашлянул, но бухгалтер не среагировал.

— Ассалому-алейкум, Бог в помощь.

Не отрываясь от бумаг, Хасан ответил:

— И на том спасибо.

— Слушай, Хасанбай, дело есть.

— Какое дело?

Базарбай не знал с чего начать, мучился, подбирая нужные слова. Инициативу перехватил Хасанбай, который до сих пор ни разу не взглянул на Базарбая.

— Хочешь сообщить об очередном небесном госте?

Базарбай вытянулся:

— Ие, откуда знаешь?

У Хасанбая начался приступ нарциссизма:

— Я все знаю. Знаю и то, что если вы приведете еще кого-нибудь и назовете инопланетянином, вас кишлак забросает камнями, это точно. Эх, людишки, людишки, чего-то бегают, суетятся, нет чтобы брать пример с истинно порядочных, уважаемых людей,

спокойно работать. А им все чего-то необыкновенного подавай, чуда! Бр-р, глупости. Мой тебе совет, живи тихо, не высовывайся, скромнее будь, м-да, скромнее... Так, молка тридцать три тонны...

Базарбай давно не слышал его, он уже шел по дороге...

В шалаше, сделанном на скорую руку, Базарбай смотрел, с каким аппетитом ест мальчик. Базарбай налил ему воды из термоса:

— Пей зеленый чай, быстро выздоровеешь.

Мальчик вытер губы:

— Спасибо, Базарбай-ака.

Базарбай достал насвай, закурил и улыбнулся:

— М-да, но ты, однако, мне шибко понравился, как тебя...

Мальчик собрался повторить свое имя, но Базарбай остановил его:

— Не надо, все равно не смогу повторить. Слушай, давай тебе новое имя придумаем, например Абдулладжан! Нравится?

— Ладно, вам виднее.

— Вот молодец, слушай, Абдулла, ты на кого больше похож — на маму или на папу?

Мальчик не понял его.

— Например, мои дети все на жену похожи, непослушные! Ты, наверное, на отца похож!

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Как? Вот бедняга! Так ты сирота? Что, тебя бросили, да?

— Нет, меня никто не бросал. Просто мы совершенные существа. В родителях нуждаются беспомощные, слабые дети. В процессе эволюции эти понятия отпали сами собой, хотя теоретически я знаю термины: отец, мать, сестра, брат.

— Ладно, не горюй. На, переоденься, а это я в стирку возьму.

Абдулла начал переодеваться. Вдруг Базарбай взглянул на голое тело мальчика.

— Ие! А где у тебя... ну... это?

Абдулла взглянул ниже своего живота. — Что?

— Ну а как ты... ой, а что ты будешь делать, когда вырастешь? Когда женишься?..

Мальчик молча переодевался.

Базарбай вздохнул:

— Эх, жаль, вот тебе и совершенные существа. Все-таки малость подкачали. — Он не на шутку расстроился.

Четыре истребителя сиротливо стояли на взлетной полосе.

В космосе летели два корабля.

В Центрах люди ждали гостей.

В отсеках подлодки замигало и завывало: боевая тревога!

Командир прилип к перископу: по колхозному пруду плыла лодка, с нее колхозники сачком зачерпывали рыбу.

— Ложимся на дно!

В сельмаге Базарбай купил для мальчика новую, по размеру, рубашку и брюки...

Он тихонько вышел из дома.

Жена Базарбая бросила дойку и воскликнула:

— Бир балоси булмаса, шутгорда куйрук на килур! (Здесь что-то не так!)

Она бросилась за мужем, который быстрыми шагами шел в сторону поля.

Оглянувшись и никого не увидев, Базарбай вошел в шалаш. Тут же из-за кустов появилась жена Базарбая Холида-хола. Она осторожно подошла к шалашу, прислушалась:

— Мана, сынок, я тебе новую рубашку принес, надевай! Подошло, ну и с Богом. Теперь слушай. Сегодня я домашних морально подготовлю, чтобы они в обморок не попадали, а завтра ты пойдешь к нам домой. Холиде расскажу все как есть, думаю, что она меня поймет, человек же!

Холида-хола стояла как вкопанная, не верила своим ушам. Она в слезах запричитала, потом резко шагнула в шалаш.

— Баракалла! Тысячу раз вам спасибо! Вай-дод! Какой позор!

— Э, жена, чего ты кричишь? С ума сошла?

— О горе мне! Лучше бы я умерла, чем видеть это!

— Да хватит тебе, ребенка испугаешь!

— Ага, жалеете своего выкормыша! Я знала! Я чувствовала! Дожила! Какой стыд! Вай, какой позор!

— Да ты что, спятила, жена?

— Не считайте меня идиоткой! И не выдавайте себя за ангела!

— Да ты выслушай, чего горячку пороты!

— Откуда пришел этот мальчик? Я вас спрашиваю? Что, нечем крыть? Он что, с неба упал?

— Да, он с неба упал.

— Знаем, с какого неба! Эй, мальчик, где твой мама? Маруся где? Барнаул, да?

Мальчик посмотрел на Базарбая:

— Папа, почему эта женщина скандалит?

Холида-хола сказала:

— Вот, он вас отцом называет! Ребенок никогда не врет!

Она вскрикнула, заплакала и ушла прочь: женщина-узбечка покорна судьбе до поры до времени, но страшен её бунт!

— Что ты сказал? А ну, повтори еще раз!

— А что? Я сказал: папа. В результате логического анализа я вам условно сын, значит, вы выполняете по отношению ко мне функцию папы, или неправильно?

Базарбай неукложе улыбнулся:

— Правильно.

Холида-хола не на шутку расстроилась. По дороге домой она поплакалась своей подруге. Через несколько минут о внебрачном сыне Базарбая знал почти весь кишлак, но справедливости ради надо сказать, у многих это вызвало понимание: мало ли чего в жизни не бывает...

Базарбай вел за руку своего новоиспеченного сына. По пути он встретил приятеля Сотиболды. Тот щедро поздоровался, особенно с мальчиком:

— А ну, дай пять! Ой молодец, на отца похож, на отца! Как тебя зовут?

Мальчик замялся, потом сказал:

— Абдулладжан!

Они пошли дальше. У мечети их встретил кишлакский мулла Абулкасым.

— Здравствуйте, многоуважаемый домла.

— Вaleyкум-ассалам, сын мой. Слышал, знаю. Вы сделали дело истинного мусульманина. Кстaти, не считите за навязчивость, где мать этого отрока?

Базарбай устало показал глазами вверх.

Мулла с сожалением покачал головой:

— Э-э-э, жаль... Но что поделаешь, на то воля Аллаха, царство ей небесное. Ваш поступок тогда вдвойне богоугоден, это дело праведное. Ну-ка, аминь, дай Бог, чтобы паренё долго жил.

Мальчик машинально повторял движения стариков.

Уже на подходе к дому им повстречались две девушки. Абдулла, как и полагается, поздоровался с ними, приложив руку к груди:

— Ассалам-aleyкум!

Девочки удивились, потом прыснули:

— Какой странный мальчик,— и, весело смеясь, продолжили путь.

Одна из них, самая красивая девчонка кишлака, Шахло, несколько раз оглянулась. Мальчик украдкой тоже посмотрел на нее...

Из калитки Базарбая вышла подруга жены соседка Салтанат. Базарбай поздоровался с ней, та молча, демонстративно отвернулась.

Отец и сын зашли во двор. Дома вся семья была в сборе.

Абдулла поздоровался:

— Ассалам-aleyкум!

Сыновья и дочери Базарбая удивленно смотрели на мальчика. Холида-хола перевернулась. На Базарбая агрессивно взглянула старшая дочь Жаннат.

— Абдулладжан, не бойся, сынок, садись.

Мальчик послушно присел к дастархану, сложил ноги по-восточному. Базарбай внимательно посмотрел на детей. Нависла пауза. Над дастарханом летела, громко жужжа, жирная муха. Наконец Жаннат не выдержала и газетой прихлопнула муху.

— Мама, чего вы молчите? Говорите, ничего не бойтесь! Мы с вами рядом. Мало будет, зятья встанут на вашу защиту. Говорите, мама!

Холида-хола тихо заплакала в платочек. Ахмад, старший сын, солидный мужчина, несмотря на свои тридцать пять лет, с огромным пузом, недавно был назначен начальником райпотребсоюза и посему теперь всегда был при галстукe, только тесная нейлоновая рубашка не давала ему лопнуть от важности. Он начал размеренную речь:

— Папа, конечно, все люди грешники, в молодости мы делаем иногда ошибки, а кто их не делал! Я тоже не ангел. Ладно, ктo старое помнят, тому глаз вон, но меня возмущает другое, а именно: почему вы нанесли моральный удар по нашей единственной мамочке? А если она заболет? В конце концов, есть общественное мнение!— при этих словах он повысил голос.

В это время отец смачно высморкался в платочек.

— Ишь как ты заговорил! Цыц, обойдемся без сопливых!

Средняя дочь проворчала:

— Правда глаза колет!

Младший, Балтабай, тоже решил принять участие в этом семейном митинге, осуждающим аморальный поступок отца:

— Как теперь нам ходить по селу с гордо поднятой головой?

Базарбай удивился:

— У тебя есть голова? Вот новость-то! Ты иди уроки учи!

Жаннат возмутилась:

— Хм, с коня слезли, а с седла не вышибешь!

Базарбай посмотрел на мужа Жаннат, скромно сидевшего в углу:

— Эй, зятек, я смотрю, ты совсем распустил свою жену!

Зять многозначительно посмотрел на жену:

— Соблюдай регламент.

Жена поняла тонкий намек мужа и замолчала.

Базарбай начал свою программную речь, которую он заготовил для семейного собрания:

— Значит, так. Если я вам скажу, что этот мальчик свалился с неба, вы мне не поверите, мало того, на смех поднимете.

Что вы мне предлагаете? Он вам не нужен? Вы предлагаете его выгнать? Пожалуйста, он сейчас уйдет на все четыре стороны! Я его в детдом пристрою при живом отце. Слава Богу, наше государство пока богатое. Но и я уйду из этого дома, вот вам! Вставай, сынок, пойдем отсюда. В этом доме нет добрых людей. Я тоже куда-нибудь пристроюсь, чего много — так это домов для престарелых, будем друг к другу в гости ходить по субботам!

Базарбай вытер слезу.

Холида-хола в молодости очень любила индийские фильмы, сейчас она вспомнила «Цветок в пыли» и вдруг решительно встала у порога:

— Если надумали уходить — вольному воля, идите один, а ребенок не виноват, он здесь останется, вырастила шестерых, как-нибудь выращу и седьмого. Идем, сынок, наверное, ты голоден.

Холида-хола повела его в другую комнату. Базарбай остановился на пороге. Вся семья не знала, как дальше себя вести.

— Жаннат, иди сюда! — крикнула Холида-хола.

Жаннат пришла.

— Скажи отцу, нечего концерты устраивать, пусть остается. Ты тоже перегнула, дочка, разве можно с отцом так разговаривать! И скажи там, пусть расходятся — вьнуки дома остались.

Над кишлаком висела новенькая, с девичью бровь, луна. Базарбай покурил на улице, глядя, как жена угощает новоиспеченного сына.

— Да... Вот такая интересная штука получается.

На аэродроме стояли четыре истребителя.

В двух Центрах тоже не спали.

На колхозном пруду квакали лягушки.

В правлении раис-ота смотрел по телевизору, как в Москве награждали передовиков сельского хозяйства. Бухгалтер Хасанбай считал на счетах. Раис-ота не выдержал:

— Хватит тебе щелкать, все равно план не выполним! А я, дурак, рассчитывал в этом году получить Героя Соцтруда. Обидно, у всех есть, а у меня нет. Нет, даже инопланетянин к нам не прилетит. Зачем ему в наш колхоз лететь, когда вон соседний по всем показателям обогнал нас. Ладно, пойду я!

...Кишлак уже спал. Раис-ота и бухгалтер шли мимо пруда. Хасанбай мельком взглянул на зеркало пруда и онемел: там ясно был виден силуэт подводной лодки. Он раскрыл рот, чтобы крикнуть, но подлодка исчезла в воде.

— Чего это ты рот раскрыл, Хасанбай?

— Да нет, ничего, видать, переутомился. Хасанбай протер очки, надел — пруд был пустой.

Базарбаю и Абдулле мать постелила во дворе.

Абдулла смотрел на небо.

— Дада, завтра надо в поле сходить.

— Зачем, сынок?

— Мне надо собрать свою пиалушку.

— Она же вдребезги разбита.

— Это ерунда. Главное, двигатель найти, пиалушку я новую построю.

Абдулла посмотрел на звездное небо. Там летели две точки. Он не знал, что это дежурят два челнока. Базарбай тяжело вздохнул:

— Спи, сынок, утро вечера мудренее.

Огромные чаши радиотелескопов вертелись — искали гостя.

В космосе получилось так, что после корректировки орбит американский «Шаттл» повстречался с советским «Бураном». Оба корабля, похожие на толстые самолеты, дружелюбно помахали друг другу крыльями. Мамасадык Худайбердыев смотрел в окошко.

— Хорманг, американцы! Заходите к нам на чай, грузинский! — передал он по радио. Американцы народ не менее гостеприимный, женщина-космонавт помахала тубиком кока-колы:

— Вэлком ин хоум!

— Спасибо. Тарелку не видали?

— О, ноу, ноу.

— Мы тоже не видали. Ну пока!

Мамасадык помахал рукой, потом повернулся к Джанибекову:

— Эх, Володя, был бы холостяком, женился бы на этой Элизабет! Хорошая баба, наверное, корабль в чистоте держит. А у нас раскордаш! Вообще-то, по корану, раньше у нас можно было до четырех жен иметь!.. Ну чего ты смеешься?

Джанибеков возился с кошкой Муркой: нацепил на нее всяких датчиков и что-то записывал. Командир корабля бежал по дорожке. Мамасадык хандрил:

— Уф, скукота. Полгода летаем, а тарелки не видать. Сюда бы тех профессоров загнать — пусть сидят и ждут.

Командир недовольно буркнул:

— Чего ты ноешь?

— Скучно. Вон даже Мурка совсем распустилась — по утрам мышей не ловит. Эй, Володя, вот ты родился в Узбекистане, хоть бы аскию умел рассказывать. Полгода учу тебя языку, ни бум-бум.

Вдруг Джанибеков на чистом узбекском языке сказал:

— Цыплят по осени считают.

Мамасадык от удивления раскрыл рот, выпустив шарик чая.

Весь разговор космонавтов записывался на магнитную ленту.

Рано утром Базарбай и Абдулла ходили в камышах и собирали обломки тарелки в одну кучу. Вдруг Абдулла в сердцах бросил последний обломок.

— Что случилось, сынок?

— Двигателя нет.

— А какой он из себя?

— Да маленький, на ваш кусок мыла похож.

Базарбай продолжал искать.

— Тебе у нас не понравилось?

— Нет, понравилось, но я должен лететь на свою планету. В гостях хорошо, дома лучше. Там, наверное, все покрылось космической пылью.

— Тебя там кто-то ждет?

— Нет, я живу один. Раньше мы жили все вместе на одной планете. Потом достигли высокого технического развития, для нас не осталось недостижимых планет и галактик. Каждый сел на свою пиалушку и перелетел на отдельную звезду.

— О аллах, на всех хватило?

— Эге, сколько еще звезд! Хотите, я вам тоже найду?

— Э нет, упаси Боже, спасибо, не надо, нам и своего кишлака хватает.

Базарбай нашел кусок железа с кнопками, очень похожий на туалетное мыло. Он подумал и спрятал его в карман.

— М-да, значит, жилищной проблемы у вас нет. А двор у вас большой? Сколько соток?

— Нет, вся планета двадцать шагов по периметру. Как ваш коровник.

— Ха, так ты в такой клетушке живешь? Там же со скуки сохнуть можно! Вы хоть друг к другу в гости ходите?

— Нет, папа. Зачем? Каждый живет сам по себе.

— Ну и дураки же вы, а?

— Нет, мы не дураки, мы — совершенные существа. Вам тысячелетия нужны, чтобы дожить до этого.

— Слава тебе, Господи, вот спасибо. Ну

что, не нашел?

— Нет, папа.

— Ладно, сынок, не горюй, кто-нибудь найдет, принесет.

Базарбай с Абдуллой шли мимо чайханы.

— Эй, Базарбай-ака, идите к нам на чай!

— Идем, сынок, познакомлю тебя с людьми.

В чайхане аския была в самом разгаре.

— Базарбай-ака, вот мы с Шодмоном-хромым едем в Иркутск продавать виноград. А вдруг у нас через девять месяцев тоже инопланетянин появится?!

Чайхана взорвалась хохотом.

Базарбай обиделся, вздохнул:

— Сынок, иди принеси хорошего чая.

Абдулла ушел.

— Эй вы, трепачи! Я сейчас вам докажу, что он прилетел оттуда!

— Интересно, как? Вы нам его маму покажете?

— Замолчите, умники. Он — необыкновенный мальчик. Это очень легко доказать. У него этого нет...

Все попадали со смеху. Один из завсегда-таев чайханы свалился с тахты.

— Чего ржете, га-га-га! Сейчас увидите. Они — совершенные существа!

Подождал Абдулла.

— Папа, вот чай. Будете пить?

— Погоди с чаем. Иди сюда.

Базарбай огляделся: женщин вокруг не было.

— Сними брюки.

— Зачем?

— Докажи вот этим олухам, что вы совершенные существа. Не бойся.

— Я не боюсь.

Все обступили мальчика. Когда Абдулла раздевался, один из односельчан даже испугался чего-то.

Через несколько секунд чайхана взорвалась хохотом.

— Нет, я сейчас умру от смеха, держите меня!

Базарбай стоял оглушенный. Потом резко взял мальчика за руку и пошел прочь.

— Ой, как ты меня опозорил! Теперь год будут смеяться! У тебя же ничего не было!

— Вы же сами сказали, что вот в этом вопросе мы промашку дали, вот я и исправил недостаток.

— Сам?

— Конечно, мы совершенные существа, для нас это раз плюнуть...

Был уже полдень, когда Базарбай с сыном подошли к сельской парикмахерской. Цирюльник Мустафакил сидел на крыльце и пил чай.

- Бог в помощь, Мустафакил!
- Привет, привет. Чего хочешь?
- Подстриги под ноль сына, а то жарко.

Иди, сынок, я здесь покурю.

Мустафакил, напевая песню без слов, за несколько минут подстриг мальчика наголо.

— Иди, зови отца. Между прочим, ты — его копия. Базарбай-ака, готово. Двадцать копеек.

Базарбай зашел в парикмахерскую. Зашел и удивился: мальчик сидел в кресле обросший. Парикмахер, повернувшись, только вскрикнул, увидев обросшего мальчика. Он ринулся к мусорному ведру, куда только что сбросил волосы мальчика. Он вскрикнул во второй раз.

— Мустафакил, что с тобой, ты будешь стричь или нет?

Мустафакил пощупал себя за локоть, достал таблетки, проглотил несколько штук, потом сказал сам себе:

— Видать, жара, солнечный удар. Сейчас.

Парикмахер резко взял в руки машинку и снова подстриг мальчика наголо. Он осторожно собрал волосы в газету, понес к ведру, все время держа в поле зрения мальчика. Мальчик, поняв его опасения, улыбнулся. Он оставался бритым. Облегченно вздохнув, парикмахер взял протянутую монету, сказал извиняясь:

— Базарбай-ака, мне, наверное, в больницу лечь надо. Что-то в последнее время не то. Заболел, наверное.

Отец и сын вышли на улицу.

— Папа, зря мы подстриглись.

— Почему, жарко же.

— А они у меня все равно растут. Смотрите.

На голове у Абдуллы прямо на глазах обалдевшего Базарбая выросли волосы.

— Да. Ну что делать, раз ты такой. Подожди, вернемся в чайхану. Нет, не надо, не поверят. Разве им что-то докажешь?

Парикмахер, наблюдавший издали за мальчиком, вскочил, начал бессвязно кричать:

— Эй, люди! Я сошел с ума! Я сошел с ума!

На советском «Буране» отдыхали. Все спали. Мамасадык храпел. Устав от его храпа, Владимир Джанибеков заткнул уши специальными пробочками. Бодствовала только кошка Мурка. Она прошла по груди Мамасадыка. Вдруг Мамасадык вскочил и начал кричать:

— Вой-дод! Гость прилетел!

Кошка Мурка взвизгнула, весь экипаж вскочил на ноги. Сработала аварийная система.

В советском Центре управления полетом все вскочили на ноги.

По тревоге подняли солдат Советской Армии.

Четыре истребителя включили двигатели, на ходу закрыли фонари.

Мамасадык пришел в себя:

— Дурной сон приснился. Извините.

В Центре все облегченно вздохнули, один генерал вытер пот со лба.

Солдаты легли спать.

Самолеты задним ходом вернулись на свои места, один из пилотов открыл фонарь, снял гермошлем. Тишина, стрекочут сверчки.

Мамасадык снова храпел...

За дастарханом ужинали Холида-хола, Базарбай и Абдулла. Мать подливала Абдулле шурпу:

— Бери, Абдулладжан, целый день ничего не ел. Упаси Бог от нерадивых отцов.

Абдулла с аппетитом ел.

— Ну как, хороша шурпа?

— Да, на нашей планете тае... пищи нет! Холида-хола поперхнулась. Базарбай засмеялся:

— Эхе, ты еще не ел свадебного плова. Поешь, навсегда останешься в кишлаке.

В это время по телевизору показывали передачу о детях, брошенных родителями. Базарбай сказал:

— Сейчас приду.

Базарбай вошел в большую комнату, вытащил аппарат, который он нашёл в поле, долго искал, куда его спрятать, потом засунул под бюст Ленина, подаренный ему колхозом в прошлом году.

По телевизору шла та же передача о детях-подкидышах. Холида-хола съязвила:

— Что, передача не понравилась? Совесть мучает? Вам, мужикам, только бы погулять, а о последствиях не думаете...

— Э, куриные мозги, что ты мелешь?

— Я вчера подсчитала. Возраст Абдулладжана совпадает с тем, как вы ездили в Барнаул продавать кишмиш. Вот там и нагрешили!

Холида-хола была как малый ребенок — глаза на мокром месте.

США. Лэнгли. Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

По длинному коридору идут чьи-то ноги. Они заходят в кабинет. За огромным столом из секвойи сидит шеф космической разведки. Он играет в кубик Рубика.

— Ну что сообщают с орбиты?

— Пока пусто, сэр.

— М-да, я так и думал. Вчера профессор Серебряков еще раз повторил свою гипотезу про колхоз «Коммунизм». Надо бы послать туда наших агентов.

— Сэр, в нынешних условиях разрядки...

— Да, но для ЦРУ Америка прежде всего. Спросите любого кейджибиста, он ответит, что для него СССР — прежде всего. Кто у нас там в консервации?

На экране возникли слайды.

«Агент 007. С 1985 года живет в городе Васюки, работает слесарем-сантехником в жэке № 68. Для внедрения в систему коммунального хозяйства противника ему было рекомендовано в умеренных дозах принимать спиртные напитки. Сейчас имеет фамилию Кутейкина Николая Петровича».

«Агент 007-ж, то есть женский вариант. Проживает в городе Васюки. Работает дворничихой в жэке № 68. Кутейкина Клавдия Михайловна. Их брак с агентом 007 не планировался, но сработал человеческий фактор».

Шеф наконец собрал кубик Рубика.

— Хорошо, вот их и пошлите, пора им поработать, нечего на казенных харчах жить!

США, Хьюстон, Центр НАСА. Вдоль рабочих столов идет молодой человек в черном плаще, черной шляпе и черных очках. Он постоянно озирается. Работники делают вид, что не замечают агента ЦРУ, — уж слишком тот хорошо замаскировался. Человек подходит к главному распорядителю и дает бумагу. Распорядитель снимает жетон с надписью «Особо важное задание» и нажимает на синюю кнопку.

С огромной чаши радиотелескопа в космос полетел яркий луч. Этот луч долетел до космического спутника-шпиона, ударился о лопасть солнечных батарей и, отраженный, полетел вниз. Луч достиг обычной телевизионной антенны (цена 12 руб. 50 коп.), торчавшей на крыше четырехэтажного дома в городе Васюки. На экране телевизора «Славутич» возникли помехи. Перед телевизором сидел агент 007 Николай Петрович Кутейкин. В эфире была программа «Спокойной ночи, малыши». Когда возникли помехи, Николай Петрович в сердцах воскликнул:

— Черт побери, и здесь подтекает!

Клавдия Михайловна стирала в ванной. Вдруг ее стиральная машина странно загу-

дела. Клавдия Михайловна побледнела, переклонила машину на другую скорость. На выжатой простыне проступили цифры шифровки, каждая с локоть величиной: «333-222-333. Маруся».

Клавдия всплеснула руками:

— Коля, нас вспомнили, Господи, дожили, наконец-то! Вот сам шеф прислал задание.

Николай Петрович не сразу понял, что такое говорит его жена:

— Ты что, мать, белены объелась?

Клавдия Михайловна заплакала:

— Алкаш, пьянчуга, из-за тебя торчу здесь шестой год! Если бы не ты, давно бы сейчас купалась в океане и жила у своей мамочки в Калифорнии!

До Кутейкина дошло:

— Чего уж тут... Се ля ви, как говорится.

— Ага, кабы ты, идиот, не пропил аппаратуру! Одна стиральная машина осталась! Кому продал передатчик на жидких кристаллах? Миллион долларов, балбес! На две бутылки бормотухи променял! Тебя на электрический стул посадить мало!

Кутейкин вдруг тоже заплакал:

— Это все ерунда, Клавка. Это все мелочи. Я же в своем жэке английский напрочь забыл, вот горе так горе! Как там мои родители в Вашингтоне меня примут, не знаю!

Клавдия нецензурно выразилась по-английски:

В доме Базарбая вставали рано. Солнце еще только взошло, а у Базарбая уже нашлись дела: где-то подкопать огород, где-то подвязать виноградную лозу. Холида-хола подоила корову Чернушку, разожгла очаг для завтрака. Так было всегда, так будет и завтра. Абдулла проснулся и с улыбкой смотрел на Базарбая.

— Что, сынок, проснулся?

— А Балтабай спит?

— Буди его!

— Он вчера гулял.

— Мал еще гулять!

Холида-хола пошла будить Балтабая. Вышел голый по пояс Балтабай:

— Папа, еще же рано!

Сзади подошла Холида-хола и вылила на него ведро воды.

— Мама, ну что вы делаете?

Абдулла посмотрел на небо. Звезд не было. Базарбай заметил это и вздохнул. Потом пошел в комнату. Оглядевшись, он приподнял бюст Ленина, но заветного аппарата там не было. Базарбай побледнел. Стараясь сдержать волнение, он спросил у жены:

— Ты бюст Ленина не трогала?

— Нет.

Базарбай осторожно посмотрел на Абдулла. Тот играл с котенком.

Базарбай шепнул про себя:

— Дай Бог, чтобы он забыл про аппарат...

Уже одетый и причесанный, Балтабай, младший сын, побежал на работу, по дороге потрепав Абдуллу за волосы:

— Приходи ко мне...

Из дома вышел Базарбай, очень растерянный. Хотел сразу сказать, но раздумал. Взял кетмень и пошел на огород. Начал работать. Абдулла долго смотрел на отца, потом нашел другой кетмень и тоже начал работать. Вдруг он что-то вспомнил, бросил кетмень, побежал.

— Ты куда, сынок?

— Пойду искать свой двигатель!

Базарбай хотел было его остановить, но Абдулла исчез.

Абдулла перерыл все камыши, но двигателя не было... Он понуро возвращался домой, когда увидел девушку, которую они с отцом повстречали в первый день. Та шла со своей неразлучной подругой.

— Здравствуйте, девушки!

— Привет!

— Вы нигде не видели вот такой аппарат?— он показал руками.— Я улететь не могу на свою звезду.

Девушки засмеялись и прошли мимо. Абдулла пошел за девушками. Подруга свернула во двор, Шахло продолжала путь. Она пару раз оглянулась, пошла быстрее. Абдулла тоже прибавил шаг. Девушка зашла в дом. Абдулла постоял у закрытой двери, уже хотел открыть, как дверь распахнула сама девушка:

— Чего тебе надо?

— Как тебя зовут?

— Шахло, ну и что?

Абдулла вздохнул:

— А меня Абдулла. Пойду я.— И ушел.

По дороге он встретил странную парочку, мужчину и женщину, одетых по-зимнему: фуфайки, меховые шапки, на ногах сапоги, в руках чемоданы.

— Эй, парень, где здесь председатель колхоза сидит?

Абдулла прошел молча, он был весь под впечатлением от встречи с Шахло.

— А, видать, глухой.

Парочка пошла дальше.

Базарбай уже кончал работать в огороде, когда Абдулла вернулся.

— Пришел, сынок, вот и хорошо.

Базарбай не знал, с чего начать.

— Сынок, ты прости меня, это я потерял твой аппарат. Весь дом перерыл, не могу найти.

— Как, он у вас?

— Да, сынок, весь день мучаюсь. Еще утром хотел тебе сказать.

В это время в дом Базарбая зашла Шахло! Она держала в руках косу плова:

— Холида-хола, здравствуйте, вот мама передала, угощайтесь!

Абдулла забыл, о чем они говорили с отцом. Базарбай это заметил.

Шахло мельком посмотрела на Абдуллу.

Но Базарбая мучил вопрос:

— Может, его кто-то украл?

— Папа, а что такое «украл»?

Шахло убежала.

Базарбай растерялся:

— Ну украсть, воровство. Ах да, вы же совершенные существа... Это... Это брать чужую вещь без спроса. Понял?

— Нет, папа.

— О Господи, замучил... Ладно, иди сюда, я тебе объясню, что такое воровство. Например. Что у тебя есть в кармане?

— Ничего.

— На, держи рубль серебряный, засунь себе в карман.

— А что это такое?

— Засунь, я тебе потом объясню.

Абдулла засунул рубль в карман.

— А теперь смотри куда-нибудь, ну на свою родину. Смотри!

Абдулла поднял голову к небу.

— Например, я хочу тихо, незаметно для тебя...

Абдулла стоял с протянутым рублем.

— Вот чудак, ты зачем мне рубль протягиваешь?

— Вы ведь хотите взять деньги, а я хочу вам дать.

— Уф, устал. Я, к примеру, хочу взять у тебя этот рубль незаметно. Тогда это будет называться воровством. Понял?

— Нет, папа.

— Эй, не верю, что у вас нет воровства. Вот, я бросил рубль на землю, неужели ты его не возьмешь?

Базарбай кинул на землю рубль.

— Вот ты идешь, идешь. Глядь, что-то на земле блеснуло. Не поверил, еще раз прошелся, пригляделся, сомнений нет — на земле лежит новенький юбилейный целковый и сам просит: возьми! Что ты должен сделать?

— Что я должен сделать?

— Нет, пойми, вот ты идешь, идешь, рубль лежит...

Абдулла снова прошел мимо рубля.

— Ты почему мимо прошел? Ты его видел?

— Видел.

— Почему не взял?

— А зачем он мне?

— Вот чудак человек! Что он будет делать! Я тебя не учу воровать, но если деньги ничьи под ногами лежат, ты не возьмешь? Из-за них, этих проклятых денег, пашешь и летом

и зимой, хоть бы платили по-человечески, даже с этих грошей обдирают. Да, сынок, не знаешь ты, что такое жизнь. Думаешь, легко было шестерых детей на ноги поставить? Вон, волосы все вылезли, пока они выросли. В кишлаке жизнь тяжела. Вот, младшего Балтабая скоро женить надо будет. Старшая надумала делать бешик-той, ей тоже надо деньгами помочь. Уф, ладно, сынок, давай о чем-нибудь другом...

— Не горюйте, папа, вот есть же деньги.

— Эх, сынок, ты что, с неба свалился? Ах да, я забыл. Это разве деньги? Это рубль, а на свадьбу нужны большие деньги,— Базарбай вздохнул.

...Во дворе Холида-хола занималась домашними делами, а именно: включила стиральную машину в одном конце двора, а в другом занялась стиркой белья вручную. Абдуллу это удивило:

— Папа, а что это гудит?

— Как что? Стиральная машина, сто восемьдесят рублей в прошлом году заплатил.

— А почему мама стирает вручную?

— Хе, разве можно белье доверить стиральной машине? Мы в ней сливки сбиваем! Мое изобретение!

С этими словами Базарбай подошел к машине, и засунул палец, попробовал свежий каймак:

— Во!

Абдулла взял в руки монету, подумал и пошел на кухню. Бросил монету в пустой казан, закрыл крышкой, пришпандорил маленькую кнопку к казану. Казан вдруг загудел, из него пошел синий дым, странные звуки вылились в мелодию, наконец кнопка заморгала лампочкой. Сняв крышку, Абдулла вытащил из казана горячую, круглую, как лепешка, дымящуюся монету диаметром в полметра.

— Берите, папа, горяченькая, большая денюга!

В дверях стоял ошарашенный Базарбай. Он как-то неестественно ухмыльнулся, потом закричал:

— Э, этого не может быть! Не может быть, и все!

Звон упавшей гигантской монеты заставил его остановиться у порога. Вдруг Базарбая осенило:

— Не большая денюга, а много денег надо, понимаешь? — Он вытащил из кармана мятый трешник: — Сделай такие же, но много, только не вздумай из них дастарханы делать, ладно?

Абдулла стукнул себя по лбу:

— Ха, нет проблем! Сейчас сварганим!

Начался процесс изготовления денег. Не зная, как помочь, Базарбай пробормотал:

— Соли не надо? Есть специи.

— Не надо.

Базарбай в азарте ходил за спиной сына, потом помолился.

Казан загудел, пошел синий дым. Когда Абдулла открыл крышку, казан был полон трехрублевыми казначейскими билетами. Базарбай взял в руки трешку — хе, горяченькая. Он долго разглядывал ее, потом осмотрел обратную сторону.

Базарбай распахнул дверь и пустился в пляс во дворе:

— Вот это да! Молодец! Эй, жена, иди к дочери, пусть поторопится со своей свадьбой! Что ты там просила купить? Сережки средней? Гарнитур? Все куплю! — Вот, Господи,— усмехнулась жена,— на свои вши купите, что ли?

— Вот на что куплю! — Базарбай помахал новенькой трешкой.

— Да, много вы на нее купите. Уже, видать, где-то написались!

Базарбай посмотрел деньги на солнце:

— Даже звездочки есть! — И начал читать: — «Три карбованці... тры рублі... се сум... уч манат... Подделка государственных казначейских билетов преследуется по закону». Ия! — Базарбай вдруг изменился в лице, огляделся по сторонам. — Эх, бедняка даже на лошади собака кусает! — И с трагическим лицом пошел на кухню.

В огонь под казаном Базарбай со слезами на глазах бросал трехрублевки. Купюры горели ровным синим пламенем.

— По закону не подходит, сынок. Понимаешь? Ладно, голодный живот, спокойное ухо.

Базарбай бросил пачки трешек:

— Понимаешь, сынок, не привык к нечестным деньгам. Вот беда. Хоть рубль, но привык своим трудом зарабатывать. Вот такие дела. Эй, а где же моя настоящая трешка? — Базарбай начал шарить по карманам.

— Вы же сами ее в огонь бросили!

— Э, как мы оплошали! — сказал Базарбай и полез в кучу еще не остывшего пепла, обжег руки.

В это время на кухню зашла жена:

— Что вы здесь заперлись. Чего шушуетесь?

— Вот, три рубля сгорели!

Жена, усмехнувшись, вышла из кухни.

— Господи, ну и скупердяй же! Горюете, словно мешок денег сожгли! Нечего было на кухне мужчине делать! — Холида-хола иногда любила поворчать...

Базарбай после такой драмы сидел на тахте в позе Ивана Грозного, только что тюкнувшего своего сына. Жена продолжала стирать.

И вдруг через забор Абдулла увидел, что по улице идет девочка Шахло. Около нее остановились двое странных людей, одетых по-зимнему, — мужчина и женщина. Шахло рукой показала в сторону правления колхоза. То была чета Кутейкиных...

В правлении колхоза перед вечно пишущим бухгалтером Хасанбаем и председателем Валижон-ака стояли Кутейкины.

Кутейкин, запинаясь, сказал:

— Умею слесарить, столярить, сапожничать...

— А я коров могу доить... Приютите нас, пожалуйста!

Раис-ота понимающе кивнул:

— Да, страшно в Васюках, да! Газеты читаем, знаем!

Кутейкин взял в руки платок:

— Да, эфиопы требуют отделения от Советского Союза и хотят, чтобы Васюки стали столицей Буркина Фасо.

Председатель понимающе кивнул:

— Да-да, понимаем... экстремисты... Хасанбай, надо проявить интернационализм, помочь товарищам... Кстати, хорошо, чтобы об этом мероприятии узнали в райкоме, в газете!

Хасанбай понимающе кивнул:

— Сейчас позвоню.

Москва. К зданию КГБ подъехала машина-фургон «Молоко». Из нее вышел человек и зашел в дверь.

— Товарищ генерал, разрешите доложить. В районе колхоза «Коммунизм» начали работать 007 и 007-ж. Разрешите идти?

— Да, идите, полковник. Семерок не трогать, следить, обеспечить радиоперехват!

Арендное поле Базарбая находилось далеко от кишлака. Под палящим солнцем работали Базарбай и Абдулла.

Базарбай взмахивал кетменем.

— Сынок, дай-ка чайник.

Отец жадно пил. Потом вытер пот со лба.

— Ну как, тяжело?

— Нормально.

Базарбай посмотрел на небо.

— Вот тебе и природа наша! Смотри, саженьцы хилые, воды мало. Сейчас бы немного дождя. Арбузы маленькие, с яблоко. А когда сбор урожая, так льет как из ведра.

— Так я не понял, дождь, что ли, нужен?

— Если бы.

Абдулла посмотрел на небо. На горизонте плыла чахоточная тучка. Вдруг она стала толстой, мощной, передвинулась и повисла точно над огородом Базарбая. На грядки полились живительные струи воды.

Базарбай обрадовался. Посмотрел в сторону кишлака — там и над соседними огородами дождя не было.

— А соседям можешь полить?

— Конечно. Кому?

— Вот, Лутфилле.

Издали было видно, как из дома выскочил Лутфилла и обалдело смотрел то на небо, то на землю.

— Так, а теперь вон Абдусатору, хороший мужик! Потом Мирсидику. Нет, ему не надо.

— Почему, папа?

— А он вредный! Зимой снега не выпрошишь!

То на одном, то на другом участке начал лить живительный дождь. Только на огороде у Мирсидика было сухо. Мирсидик с досадой, назло всем начал работать кетменем. Рядом с ним работал его сын Холмирза.

— Папа, а почему везде идет дождь, а у нас не идет?

Мирсидик в сердцах бросил кетмень на землю. Кетмень сломался.

— Откуда я знаю? Я что тебе — Бог?!

Сын Мирсидика надулся, продолжал работать.

У Базарбая сжалось сердце. Он подошел к Мирсидику:

— Бог в помощь тебе, Мирсидик, как дела?

— Как сажа бела! Доволен?!

— Да ты что, не с той ноги встал, а, сосед?

— А ты что, посмеяться надо мной пришел? Смейтесь, смейтесь!

— Ладно, не горюй, сейчас и на твой огород польет дождик.

Базарбай подошел к Абдулле, поедавшему глазами Шахло, — она шла по улице под теплым дождем, — что-то шепнул ему на ухо.

— Хорошо, папа, сейчас.

Над полем Мирсидика тоже полил дождь. Мирсидик гордо посмотрел на небо, потом на огорода соседей:

— Вот! Бог все видит! Он знает, кто хорош, кто плох! — Он стоял на своем поле и ворчал: — А то, понимаешь, привыкли: Мирсидик — скупердяй, Мирсидик — плохой!

Абдулла подошел к Базарбаю:

— Нормально или еще добавить?

— Не, не, в самый раз, еще часок и хватит, а то затопит, сынок.

Под дождем люди шли в сторону кишлака. У них были светлые счастливые лица. Босиком по лужам шла Шахло. За ней — Абдулла. Он догнал ее.

— Тебе понравился мой дождь?

— Странный ты какой-то.

— Если хочешь, я для тебя каждый день буду делать дождь.

— Фи, какой ты хвастунишка!

— Вот увидишь, я тебе обещаю!

Супруги Кутейкины, получив маленький заброшенный домишко на краю села, начали подготовку к операции «Инопланетянин».

На столе лежали карта колхоза «Коммунизм», фотороботы предполагаемого гостя. Кутейкин сидел и тупо разглядывал бумаги, он сейчас был невменяем.

— Вот запоминай, олух царя небесного, по гипотезе профессора Серебрякова и Шраймана, он выглядит вот так.— Клава показала фоторобот.— Наша задача — вступить с ним в контакт и вывезти его в Америку. Тогда нам все простят, может, наградят... посмертно.— Она всплакнула.— Дай-ка, я передам шифровку.

Клава подошла к старой швейной машинке «Зингер» и сказала:

— Иди, стой на шухере!

Кутейкин встал на пороге дома.

По улице шел пьяный колхозник Юлдаш, тот, который в начале этой соцреалистической истории сидел в кустах на свежем воздухе и которого Базарбай принял за инопланетянина. Самое удивительное, что фотороботы в руках у агентов мирового империализма были как две капли похожи на Юлдаша.

— Добрый вечер, новые соседи!

— Здравствуйте, здравствуйте! — ответил ему Кутейкин.

Клава настроила катушку ниток, то бишь антенну, на волну ЦРУ.

Она завертела ручку машинки.

На материи начали вышиваться буквы:

Сидит заяц на заборе
В алюминиевых штанах.
Рядом с ним сидит корова,
Тоже семечки грызет.

Она перевернула кусок ткани, сказала: «Прием!» Машина начала шить сама:

По реке плывет кирпич
Из села Кукуева.
А кому какое дело?
Может, я медведя жду!

Весь сеанс связи перехватил доблестный космонавт Мамасадык Худайбердыев, он же дешифровал поиски врагов на месте: «Внедрились нормально. Нашли искомый объект. 007».

Генерал КГБ поднял трубку, выслушал, потом сказал:

— Молодцы, ребята, так держать, соколы!

Среди высокой, по пояс, травы стоял Кутейкин. У его ног валялись обломки летающей пиалы. Тревожная музыка.

Жена Кутейкина на швейной машинке «Зингер» вышла на экстренный радиосеанс.

На американском «Шаттле» за обломками пиалы наблюдала женщина-космонавт.

Естественно, наши зафиксировали это из космоса раньше них.

В космическом Центре НАСА все тревожно переглянулись.

В советском Центре генерал армии Нахлубучко передавал свой приказ подразделениям особого назначения.

Для полной секретности операции к колхозному полю, где лежали обломки, подъехала машина «Химчистки», из нее выпрыгнули несколько советских солдат в маскхалатах, в резиновых перчатках и противогазах. Они очень быстро собрали обломки, загрузили в машину и уехали.

Американцы на «Шаттле» тяжело вздохнули: «Опоздали!»

Днем генерала Нахлубучко вызвали в Кремль. Он стоял перед членом Политбюро, отвечающим за состояние обороны страны.

— Товарищ генерал, какие средства и силы задействованы в операции?

Генерал развернул карту:

— Учитывая важность поставленной задачи, военный совет нашел необходимым привлечь для операции: Пятую гвардейскую дивизию, Седьмую парашютно-десантную бригаду, две вертолетные эскадрильи, четыре истребителя-бомбардировщика, атомную подлодку «Шахтеры Донбасса». Помимо этого программа полета «Буран» полностью переориентирована на поиски НЛО.

— И куда вы все это спрячете?

— Секретность стопроцентная!

— Да, не надо тревожить наших колхозников, у них сейчас горячая страда!

Ночью территорию колхоза начали окружать войска. Были установлены секретные контрольно-пропускные пункты. Танки и бронетранспортеры сосредоточились вокруг колхоза под видом стогов сена. Только вертолеты не смогли замаскировать...

Рано утром Базарбай проснулся и обратил внимание на то, что над кишлаком кружатся вертолеты.

Раис-ота вышел из правления, сел в свою служебную машину.

Шофер спросил:

— Куда?

— В райком.

Машина ехала по дороге, в небе кружил вертолет. Раис поглядел через стекло:

— Э, зачем бензин зря тратить? Не прилетит гость в наш колхоз! Что ему здесь надо? План не тянем...

В райкоме была партконференция, посвященная итогам весеннего сева. Многих председателей, моложе его, он знал еще с пленок. Представитель Ташкента вручил многим из них награды, а его соседу, Норкобилу, вручил Золотую звезду Героя Соцтруда. Нервы Раис-ота сдали. Он собрался выйти из зала.

— Валижон-ака, вы куда?

Валижон-ака обиженно махнул рукой. Сел в машину.

— Куда?

— В колхоз, куда же еще? А, к черту, на пенсию уйду. Ие, что такое? Почему все бегут?

Навстречу его машине бежал Сотиболды:

— Раис-ота, раис-ота! Там, там, на поле!

— Что, что? Говори! Гости с неба прилетели?

— Какие гости? Арбузы поспели!

— Да ты что? Рано еще!

Базарбай в тот день проснулся от шума, доносившегося с улицы.

Он вышел из калитки, спросил у первого бежавшего:

— Эй, что случилось?

Тот не успел ничего сказать, только бежал в сторону поля.

Базарбай остановил второго, который кричал:

— Охири замон, вой дод! (Конец света!)

— Что случилось?

— Не знаю!

Председательская машина поднималась вверх по склону горы. За ней ехала милицейская коляска колхозного участкового Салимба.

Абдулла спал — вчера он сильно устал.

На поле было вот что. На бахче Базарбая выросли огромные, высотой с дом, арбузы.

Рядом лежали похожие на гигантские бомбы шестиметровые мирзачульские дыни. Милиция уже успела оградить арбузы и дыни веревкой. Из района приехала специальная машина с санэпидстанции. Откуда-то появились люди с дозиметрами, измеряли радиацию в зоне арбузов и дынь. Народ стоял на почтительном расстоянии: кабы чего не вышло! Вокруг, нервно разминая летнюю шляпу, ходил раис-ота. Наконец привели под руки Базарбая. Раис-ота сурово посмотрел на него.

— Базарбай, это твои арбузы и дыни?

— М-м-м... вроде бы мои...

— Так твои или нет? Огород чей?

— Мой.

— У тебя совесть есть? Разве можно столько селитры бухать в арбузы?

— Нет, я никогда селитру не вносил, вы же знаете!

Все вокруг засмеялись.

— Да, врать тебе негоже, Базарбай, седина уже на висках! Где агроном? Где агроном? Ага, вот ты где! А ну скажи, ученая голова, можно ли без селитры вырастить такой арбуз?

Застенчивый агроном, недавно приехавший из города после института, тихо промолвил:

— Раис-ота, такой арбуз даже с селитрой нельзя вырастить.

С вертолета за этим собранием наблюдали пилоты. Командир машины сообщал в штаб:

— Я — «девятый», я — «девятый». Наблюдаю огромные арбузы и дыни!

Из наушника послышалось:

— Капитан Иванов, вы что, в нетрезвом состоянии? Какие к черту арбузы? Вам за чем приказано следить?

Капитан Иванов снял наушники, там был шум. Потом сказал:

— А вот выразаться, товарищ полковник, не надо! Мое дело сообщить. Есть, товарищ полковник!

Раис-ота нетерпеливо ходил вокруг арбуза.

— Ну когда дадите анализы?

Врач санэпидстанции развел руками:

— С нашей аппаратурой не скоро!

К раис-ота подошел бухгалтер Хасанбай и что-то шепнул.

— Где?

— Вон, едут!

К полю подвернул синенький «рафик» с буквами «ТВ».

— Вот, допрыгались! Уже сообщили, уже прилетели! Теперь на всю республику опозорят!

Раис-ота незаметно спрятался в кустах...

С экрана телевизора смотрит популярный телекомментатор Дадахон Якубов. Как всегда, он начал передачу своими стихами:

По небу летят журавли.
Я опечален, глядя на этот арбуз!

Да, друзья, вы не ошиблись. В этих словах моя боль и обида за честного труженика дехканина. Откровенно говоря, я не знаю, радоваться или огорчаться, глядя на этот огромный арбуз. Давайте-ка спросим у хозяев этого чудища. Где раис-ота?

Раис-ота ничего не оставалось делать, как сдаться и подойти к микрофону. Он тяжело вздохнул:

— Дадахон, с самого начала я должен сказать, что наш колхоз к этому арбузу не имеет никакого отношения. Это выросло на частном огороде Базарбая. При чем тут я? Селитру он нагнал! Говорите, Базарбай, хуже же не будет.

Базарбай стоял весь какой-то жалкий.

— Я... я всю жизнь честно работал... вот... Никогда в жизни не использовал селитру! Ей-богу, правда!

Народ, стоявший поодаль, подтвердил это громкими голосами:

— С кем не бывает! Ну ошибся человек, обязательно сразу снимать?!

В это время с арбуза по лестнице слезла вращ санэпидстанции.

— Слово специалистам! Шахноза Кариовна, ну что, этот арбуз съедобен или нет?

— Ну уровень радиации в арбузах нулевой, химический анализ показал, что в нем нет ни грамма нитратов или селитры. Так что он вполне съедобен, хотя не ручаюсь за вкус...

На носилках принесли кусище арбуза размером с холодильник.

Дадахон спросил:

— Ну кто попробует? Наверное, хозяин?

Раис-ота толкнул Базарбая вперед:

— Давай, пробуй!

Базарбай помолился и осторожно съел кусок арбуза. Над полем стояла тишина, все ждали.

Базарбай улыбнулся:

— Я такого арбуза в жизни не ел. Мед! Натэ, попробуйте, Дадахон!

Дадахон попробовал. Лицо его просияло:

— Да, это действительно самый сладкий арбуз в моей жизни. Низкий поклон вам, труженик и гражданин Базарбай-ака!

Все собравшиеся горячо аплодировали Базарбаю. Народ потихоньку начал спускаться с пригорка, кто-то на ходу вытаскивал нож — каждому хотелось попробовать арбуз.

Дадахон держал микрофон у носа Базарбая:

— Базарбай-ака, как вы добились таких замечательных успехов?

— Я это... как его... м-м-м...

Микрофон перехватил Раис-ота:

— Уважаемые товарищи! Неутомимые труженики нашего колхоза, невзирая на тяжелые погодные условия, победив все трудности, вырастили арбузы и дыни вместо запланированного августа месяца в мае! У нас еще много скрытых резервов. Они с честью выполняют и перевыполняют поставленные перед ними высокие задачи!

Его интервью, горячее, страстное, самое главное, совершенно искреннее, поразило Дадахона — попробуйте сейчас найти человека, который мог бы так сказать! Но эти горячие слова были вдруг прерваны криком, доносившимся с соседнего огорода. Все ринулись туда.

— О Господи, что я тебе сделал плохого?

— Извините, чем вы недовольны? — подошел Дадахон.

— А чем мне быть довольным? Посмотрите, что у меня выросло! — То был вечно недовольный своей судьбой Мирсидик. — Кто их у меня теперь купит?! Я специально растил маленький сорт, с мизинец, — за них на базаре семьдесят копеек дают! А что мне делать с этими дурами?

На грядках у Мирсидика выросли гигантские, метровые огурцы. Мирсидик единственный из колхозников посеял огурцы — хотел выделиться, урвать... Индивидуалист!

Холида-хола поправила одеяло на Абдулле. Он проснулся. Сел на кровати, свесил ноги. Во дворе, в тандыре, горела гузапоя*. Холида-хола возилась с тестом.

— Мама, что вы делаете?

— Встал, сынок? Сейчас поедим горячих лепешек с каймаком.

Дверь открылась, в дом вошла Шахло.

— Здравствуйте, Холида-хола. Вот вам мама передала ваш черпак.

Шахло увидела Абдуллу и засияла:

— А что ты делаешь?

Абдулла сидел за супрой и лепил маленькую лепешку.

— Не видишь, что ли? Лепешку леплю. Мама, а что дальше было?

— Потом к нам в кишлак вошел со своим войском Тошмат-курбаши. Он весь был увешан пистолетами, на боку — сабля, а через плечо — винтовка. Усищи — во! Как у таракана! Как увидели его, душа в пятки ушла. Он вошел к нам во двор и оставил два мешка пшеницы.

Шахло сидела рядом с Абдуллой и лепила лепешки.

* Гузапоя — сухие стебли хлопчатника.

Кутейкин устроился в быткомбинат точильщиком ножей: и работа не трудная, и для операции удобная — вся деревня на виду. Перекинув через плечо точильный станок, он шел по кишлаку и кричал:

— Ножи, топоры, кетмени, ножницы точим!

Из одного дома вышла женщина с ножами. Из другого — огромный мужчина с маленькими мясорубочными ножичками. У Кутейкина работа шла хорошо. Вжик-вжик-вжик...

Клавдия сидела дома и раскладывала пасьянс из фотороботов.

К Кутейкину с огромным кухонным ножом подошел Юлдаш, тот, которого вначале Базарбай принял за инопланетянина. Точильщик застыл, глядя на Юлдаша. Юлдашу стало не по себе. Он отвернулся. Кутейкин продолжал машинально точить нож. У Юлдаша терпение лопнуло:

— Э, чего смотришь?

Кутейкин посмотрел на нож заказчика: от ножа почти ничего не осталось. Юлдаш рассерженно плюнул:

— Халтурщик!

В машине ехали Раис-ота и Базарбай.

— Райкомга! Да, видно, удача наконец-то добралась до моего колхоза. Тьфу, тьфу. Сейчас мы с тобой к Первому заедем. Готовься, скоро со мной поедешь в Москву,

на ВДНХ! Дадахон отснял для программы «Время!» Понимаешь, что это не просто успех, а политический фактор!

Базарбай молчал. Потом сказал:

— Меня у дома оставьте, пожалуйста.

— Ты куда? Нас в райкоме ждут!

— Нет, езжайте сами, я чего-то не хочу...

— Ну как знаешь. Но учти, я твое имя обязательно упомяну где надо.

— Не надо!

В саду на качелях качалась Шахло. Снизу на нее смотрел Абдулла.

— Сильней!

Шахло была смелой девочкой.

— Еще сильней!

Абдулла толкнул качели изо всех сил. Вдруг Шахло вылетела из качелей. Упала и зашалакала.

— Это ты виноват! Это ты меня уронил!

Абдулла дотронулся до ее щеки:

— У тебя из глаз идет дождь!

Шахло засмеялась:

— Вот дурачок. Это не дождь, это слезы. Ты разве никогда не плакал?

— Нет. А что это такое — плакать?

— Это когда из глаз текут слезы. Если человек на кого-то обижен, если у него что-то болит, если кто-то любит, а тот уезжает, то тогда из глаз текут слезы.

Во дворе, как всегда, мать была занята по хозяйству. В калитку вошел шестой сын Базарбая, самый младший, Балтабай. Сегодня он был какой-то странный. Мать спросила:

— Что случилось, сынок?

— Нет, так, устал с работы.

Балтабай подошел к дому, потрогал косяк двери.

— Надо было замазать стену, не успел.

Балтабай посмотрел на играющих в саду Абдуллу и Шахло.

Сборный пункт военкомата. Духовой оркестр играет марш «Прощание славянки». Холида-хола в слезах провожает Балтабая. Рядом — Базарбай-ака, другие родственники. Провожает брата и Абдулла. Чуть поодаль от родственников стоит девушка Балтабая, она стесняется подойти к матери.

Балтабай ищет ее глазами, идет навстречу. Вместе они подходят к Холиде-хола, по пути Балтабай покупает розы своей девушке. За ним наблюдает Абдулла. Девушка берет розы, подходит к родителям Балтабая, но в это время объявляют погрузку в вагоны. Девушка улыбается сквозь слезы...

В доме Кутейкиных на столе стояло три бутылки «Столичной» — две пустые и одна наполовину выпитая. По маленькому телевизору смотрели программу «Время». Раис-ота давал интервью на фоне гигантских арбузов. Кутейкин и Юлдаш были уже хороши. Юлдаш особенно. Кутейкин положил ему руку на плечо:

— Спой, Юлдаш, прошу тебя.

Юлдаш выпил стопочку и запел «Уртар», помогая себе тарелочкой. Кутейкина пробрало: он вспомнил свою родину, свое детство. Клавдия лишь пригубила, все-таки она была профессионалка.

— Какая самобытность, какой неповторимый колорит!

Она незаметно поправила стоящую на столе соковыжималку «Украина» — на самом деле это была скрытая телекамера.

На экране Центра в Хьюстоне была та же картина: Юлдаш пел «Уртар». Песня и весь диалог записывался на магнитную ленту. На каждом рабочем столе лежал фоторобот, очень, ну прямо очень похожий на Юлдаша.

Эту вечеринку наблюдали с американского «Шаттла».

Наши космонавты тоже не дремали. Мамасадык даже подпевал:

— Э, яшанг, ака! Будь здоров!

Юлдаш допел песню. Кутейкин поднял палец.

— Юлдаш, друг, я тебе щас свою песню спою. Сначала выпьем! Кстати, что означает «Уртар»?

Юлдаш подумал:

— Это когда вот здесь болит... — он приложил руку к груди.

— Понятно, тоска по родине значит... Эх...

Вдруг в пьяной голове у Кутейкина случился проблеск памяти: он вдруг начал петь по-английски, старую песню в стиле кантри. У Клавдии глаза полезли на лоб.

В Космоцентре США все повскакивали с мест. Клавдия спасла положение, она перебила песню мужа своей:

— Течет река Волга!

Ногой она пнула под столом Кутейкина. Он замолчал.

В Космоцентре чуть успокоились.

Кутейкин тупо смотрел на Юлдаша:

— Юлдаш, ты меня уважаешь?

Руководитель операции в Хьюстоне нажал желтую кнопку.

В ту же секунду из настенных часов Кутейкиных выскочила кукушка. Клавдия многозначительно моргнула мужу. Муж не понял:

— Жenuшка, что это ты глазки мне строишь?

Клавдия вскипела:

— Идиот! Спрашивай уже!

Юлдаш сидел невменяемый — еще стакан, и он брякнется набок. Кутейкин сделался серьезным. На всякий случай приготовил пистолет под столом.

В Хьюстоне все ждали с замиранием сердца.

Кутейкин долго собирался с духом. Лоб его покрылся холодной испариной. Жена

стояла бледная в дверях. Наконец Кутейкин заговорил, но так возбудился, что опять случился приступ родного языка:

— Мистер Юлдаш, а ю зе гест ов зе эназе старс?

Клавдия как стояла на кухне, так и грохнулась.

«Шаттл» резко качнуло, словно он попал в воздушную яму.

Руководитель операции сделал рукой неприличный жест.

— Юлдаш, ты инопланетянин?

Юлдаш поднял голову, долго вникал, потом налил себе стакан водки, начал пить...

В Центре управления американцы считали его глотки.

На электронном табло загорались цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6!

Поставив стакан, Юлдаш гордо сказал:

— Да, я инопланетянин. Мне об этом Базарбай полгода назад сказал!

Клавдия Кутейкина тут же ожила и вскочила на ноги.

Кутейкин только пробубнил:

— Ну нормально...

Сотрудники Центра в Хьюстоне запрыгали, начали обнимать друг друга. Начальник Центра снял спецтелефон, на котором было написано: «Президент США. Ситуация № 1» и сказал:

— Господин президент, все ништяк!

Советский космонавт Мамасадык Худайбердыев хохотал от души:

— Да это же мой земляк Юлдаш-ака, какой он инопланетянин!

В Москве, на ВДНХ СССР, в павильоне «Сельское хозяйство» состоялась встреча председателя колхоза «Коммунизм» с руководителями колхозов РСФСР. Бурные овации сопровождали раис-ота. Он был счастлив.

Вечером за ужином Холида-хола не приоткрылась к пище. Базарбай-ака вздохнул, глядя, как она снова заплакала:

— Э, жена, ну хватит, что, только твоего сына забрали в армию? Слава Богу, не война. Афгана нет. Чего ты?

Абдулла лежал, смотрел на звезду в окне. Он заметил, что отец зашел в комнату, по-

дошел к серванту, накапал сердечных капель в пиалу.

— Папа, вы не искали мой аппарат?

— Искал, сынок, нету его. Погоди, родной, не до тебя.

— Что случилось, пап?

— Ничего, сынок, спи. Мама чуть-чуть захворала.

...Кишлак спал. К дому Базарбая подъехала сельская «скорая».

Абдулла, в трусиках, накинув на себя одеяло, подошел к двери.

Врач сделал укол Холиде-хола.

— Стресс, нервы. Понять ее можно. Будет хуже, звоните. Заберем. Постарайтесь ее чем-нибудь отвлечь.

— Э, легко сказать. Как проводила сына в армию, с тех пор и началось.

На кровати лежала очень быстро сдавшая Холида-хола. Она увидела Абдуллу, подозвала к себе:

— Сынок, чувствую, что тебе хочется куда-то уехать... Куда ты пойдешь? Теперь ты мое утешение вместо Балтабая. Не уходи никуда. Ладно?

— Ладно, мам, ты спи.

Абдулла вышел в коридор. Вдруг у него из глаз полил дождь.

— Что с тобой, сынок? — спросил Базарбай.

— Мне больно за маму.

Потом его осенило. Он подошел к отцу и что-то зашептал.

Базарбай вытянулся, не веря своим ушам.

Абдулла пошел к Холиде-хола.

— Мама, ты только не удивляйся, но твоему сыну Балтабаю, по-моему, дали отпуск! Ты только не волнуйся.

Н-ская часть. Казарма. Балтабай как убитый спит после трудного дня. Вдруг его кровать опустела...

Заранее предупрежденный Абдуллой, Базарбай ждал сына на улице.

Вдруг прямо перед порогом Базарбай увидел лежащего на земле Балтабая в трусах и майке с номером воинской части.

В следующую секунду Балтабай вскочил, ошарашенно стал озираться по сторонам. Базарбай уволок его в дом, уложил, накрыл одеялом, сел рядом. Он долго объяснял обалдевшему от неожиданности сыну, что и как. Только потом, уже одетого, он впустил его к маме.

...Несмотря на поздний час, Балтабай, немного придя в себя, сидел за столом с мамой и папой. Вновь помолодевшая мать подливала сыну шурпу.

— Сынок, ты не травми мое сердце, ты что, убежал из армии?

— Нет, мама, мне дали отпуск. Сколько времени, папа?

— До твоего подъема, учитывая, что там на три часа позже, еще целых пять часов.

— Нет, мама, я так совсем распушусь, вызовите, когда соскучитесь.

— И то правда, сынок, ты не волнуйся, вот увидела тебя, и от сердца отлегло. С Богом, сынок, до свидания.

Мать завернула сыну пару лепешек в дорогу.

Базарбай пошел провожать его вместе с Абдуллой. Когда мамы не стало видно, Базарбай раздел сына до трусов и майки.

Балтабай вздрогнул, накрываясь остывшим одеялом в казарме. Положил под подушку две лепешки и заснул, почему-то хихикнув. Так Балтабай совершил свой первый самоход.

Абдулла, укрывшись от чужих глаз, мастерил в конюшне новый летательный аппарат...

В Генеральном штабе Министерства обороны в присутствии ученых военные рассматривали обломки аппарата.

На взлетной полосе стояли четыре истребителя...

В нашем Центре ученые продолжали ждать настоящего гостя, наших на мякине не проведешь...

На рассвете в усадьбе колхоза «Коммунизм» солдаты для пущей секретности быстро убрали мотки колючей проволоки и вместо нее ставили в ряд красивые цветочницы, а вместо особо чувствительной большой рамы для ночного контроля на дороге вновь вставала арка с названием «Коммунизм».

Утром у арки остановилась случайная машина, из нее вылез шофер, подошел к кусту и, оглянувшись, справил малую нужду. Машина уехала. Кустик поднялся и пересел в другое место.

За всем этим наблюдал в бинокль другой военный из люка танка, замаскированного ветками. Рядом наготове под стогами сена стояла бронетанковая бригада.

На крыше дома с глиняным покрытием сидели Абдулла и Шахло. Вся крыша

была усеяна алыми маками. Они выросли после ночного дождя, устроенного Абдуллой. Шахло посмотрела на улицу:

— Вон раис-бува приехал из Москвы, ваши арбузы возил.

К «Волге» подходили люди и здоровались с раис-ота.

— Вижу,— сказал Абдулла.

Шахло протянула ему яблоко:

— Возьми, смотри, какое красное.

Абдулла взял яблоко, достал из кармана банан:

— На, это тебе.

Шахло взяла необычный плод и откусила, потом сморщилась:

— Тьфу, на туалетное мыло похоже.

— Шахло, я тебе хочу что-то сказать.

— Чего?

— Это... ну... на вот, я написал... прочти...—

Абдулла протянул ей кусочек пластины, на которой было написано электронными буквами: «Шахло, я тебя люблю!»

Шахло рассердилась, потом заплакала:

— Дурак, как тебе не стыдно! Я вот все маме расскажу!

Она спустилась по лестнице и убежала, показав на прощание язык.

Абдулла безуспешно пытался собрать на конюшне новый летательный аппарат.

На этот раз его застал отец. Взгляд у него был грустный.

— Сынок, прости меня, я действительно никак не могу найти тот аппарат. А вместо него ничего нельзя смастерить?

— Нет, папа.

— Ладно, пойдем, сынок, надо бы нам на прощание на святую гору сходить.

Базарбай поднимался с сыном на гору Актерак. Там было сельское кладбище. Отец с сыном шли между могилами.

— Это могила Хамрокула-ака. Хороший был человек. Здесь лежит Расул, мой друг, в прошлом году положили. А вон там наша хилхона, там наши предки, мои отец с матерью лежат.

Они подошли к могилам.

— Садись, сынок, перед дальней дорогой пусть их праведные души помогут тебе. «Бисмиллаху-рахману-рахим»... — Базарбай читал молитву. Абдулла слушал его. Дул свежий ветерок.

— Папа, а наш кишлак сверху красивый.

Базарбай вздохнул:

— Да сверху только. Название велико, а на деле...

— Почему, папа?

— Назвали «Коммунизм», а хоть бы денек пожить в том самом...

— А что это, папа?

— Не знаю, сынок. Столько лет гадаем, что это такое, а додуматься не можем. В книжках писали, что это — когда всего будет много-много, а главное, люди не будут друг другу завидовать, воровать, убивать, в общем, рай земной, да и только. Смотри, сынок, здесь я вырос, здесь и умру. Вот такая жизнь. А этот проклятый кетмень, наверное, до самой смерти таскать буду... Спасибо, что хоть на старости лет обрадовал своими арбузами.

Базарбай посмотрел на Абдуллу. Мальчик плакал:

— Мне жалко вас, папа. Неужели вы так и не увидите этот коммунизм?

— Да шут с ним, сынок. Мы люди привыкшие. Лишь бы с голоду не пухнуть.

— Нет, папа, я вам построю здесь этот, как вы сказали... Только для вас с мамой...

— Ладно, ладно, сынок, не плачь только. Мне одна твоя слезинка дороже тысячи коммунизмов, сынок. Мне много надо ли? О душе пора подумать...

...Отец с сыном спускались с горы.

Абдулла как-то по-другому смотрел на кишлак, на людей, встречающихся по пути. На остановке уже который час в ожидании автобуса сидели люди. Рядом с полуразвалившейся колхозной фермой на поле росли чахлые побеги хлопчатника. С Абдуллой и его отцом поздоровался Холмирза, телевизионный мастер: его ремонтная мастерская напминала скорее большую, готовую развалиться конуру...

В шесть часов утра прозвучали позывные радио нашей Родины. Играли гимн Советского Союза.

Когда на колхозную ферму пришли доярки, они не поверили своим глазам: вместо тощих, невзрачных коров там стояли отборные, одна к одной, буренки голландской породы весом в полтонны, а то и больше. Вымя у каждой коровы было с большой телевизор. Доярки осторожно подошли к коровам.

— Вроде наши, только раза в два больше.

Вбежала другая доярка:

— Там одна рожать начала!

Все доярки побежали в другой корпус: там у стены стояла корова, а рядом с ней на еще не окрепших ножках копошились сорок четыре теленка.

— Бабы, а может, это не корова, а?

— А кто же тогда?

Из третьего корпуса прибежала запыленная Хафиза:

— Там молоко!..

Учетчик надоя записал в журнале:

— Двести тонн, в среднем, с каждой коровы сегодня надоено сто сорок шесть литров... М-мда, или я сошел с ума, или коровы...

У фургона-молоковоза стояли плачущие доярки: фургон был полон, а рядом стояли еще полные бидоны, банки, ведра, даже стаканы, полные молока. Главная доярка безуспешно пыталась дозвониться до района. Другая с трагическим лицом держала шланг от доильного аппарата над арыком.

В поле, где под палящими лучами солнца работали женщины, мужчин не было. Не знаем почему, но факт есть факт — их там не было. Были женщины, кетмени и чаклые, дистрофичные ростки хлопчатника. Вдруг одна из женщин сказала:

— Хой, женщины, смотрите сюда!

Маленькие дистрофики-ростки неожиданно быстро начали расти на глазах, созрели бутоны, опали листья, раскрылись коробочки хлопка.

Женщины в ужасе, с криком побежали с поля.

На птицеферме куры-несушки начали стрелять яйцами: по сто штук в минуту. С птицефермы люди тоже убегали.

Колхозники, напуганные такими странными явлениями, бежали в сторону правления. По пути им попались двое колхозников. Один нес гигантский, размером с артиллерийский снаряд, початок кукурузы. У другого на плече красовалась огромная, величиной с человеческую голову вишенка.

Люди в страхе бросились наутек...

На крыльце перед возбужденным народом стоял раис-ота:

— Тише, тише, товарищи! Мне обо всем известно! Сейчас я говорю со столицей. Нечего здесь разводить панику! Наоборот, нам надо радоваться и, не упуская момента, собирать богатый урожай! Эти наши успехи осуществились благодаря постоянной заботе партии и правительства о нелегком труде дехкан.

Кто-то из толпы крикнул:

— Что же дальше мы будем делать?

— Как что? Сдадим государству!

— Раис-ота, еще один вопрос. Вы нам честно скажите, никак не пойму, откуда у нас все это взялось? — Колхозник показал гигантскую кукурузу.

— Вот чудак человек, я же тебе сказал, что под руководством партии и правительства мы добьемся еще больших успехов. Неужели это так трудно понять?

— Э, раис-ота, все-таки боязно как-то, пугается человек.

— Нечего тут агитацию разводить! Товарищи, бояться нам нечего. Завтра начинается уборка хлопка. Все выйдем на поля!

Стоявший рядом начальник мехбазы вдруг опомнился:

— Ие, раис-ота, у нас же ни одна хлопкоуборочная машина не готова.

— Вот всегда так! Почему техника не готова?!

— Кто же думал, что в мае хлопок созреет?

Кто-то из толпы сказал:

— Зачем машины? Раз надо, так надо: соберем свой урожай вручную!

Собравшиеся горячо поддержали инициатора ручной уборки урожая аплодисментами.

Четыре истребителя понуро стояли на взлетной полосе.

Военные вертолеты барражировали над кишлаком.

К зданию МИД СССР подъехала американская машина с флажком на капоте. В кабинете перед послом США стоял человек в штатском. Он зачитал ноту протеста:

— «Уважаемый господин посол. Министрство иностранных дел СССР выражает свой решительный протест в связи с противоправными действиями резидента американской разведки Джеймса Бонда 007, проживавшего на территории СССР под фамилией Кутейкина Николая Петровича, и агентки ЦРУ Кутейкиной Клавдии Михайловны (девичья фамилия Кэрролл Макнамара) в отношении советского гражданина Кувондикова Юлдаша Машрабовича, уроженца колхоза «Коммунизм» Актераковского района. Вышеназванные агенты неоднократно предлагали гражданину Кувондикову пойти на сделку со спецслужбами США. Однако гражданин Кувондиков, проявляя высокую гражданскую ответственность, несколько раз отказывался от их провокационного предложения, советовал им пойти в компетентные органы с повинной, но все меры идейно-воспитательной работы не дали положительных результатов. Вынужденный принять необходимые меры для защиты социалистического отечества, товарищ Кувондиков лично задержал агентов и привел их в местное отделение милиции.

Граждане США Джеймс Бонд и Кэрролл Макнамара объявлены персонами нон-грата и выдворены за пределы СССР. Советское правительство пошло на этот гуманный шаг, исходя из принципов разрядки международной напряженности».

(Во время чтения этой ноты идут киноиллюстрации содержания ноты: Юлдаш гоняется по всему дому за Кутейкиным и Клавой, он их спаивает, связывает и тащит на веревке в милицию. Затем на мосту, разделяющем Запад и Восток, происходит обмен двух агентов ЦРУ на наших агентов, попавших там. Один из них — Савелий Крамаров, другой — Михаил Барышников).

«За героизм, проявленный при задержании особо опасных шпионов, Указом Президиума Верховного Совета СССР товарищ Кувондиков награжден орденом Дружбы народов».

На собрании колхозников ноту протеста со страниц газеты читал раис-ота. В президиуме гордо восседал Юлдаш Кувондиков с синяком под глазом...

Взмыли в небо раструбы карнаев. Начало уборки возвестили звуки ногоры. Над праздником урожая летели вертолеты.

— Я — «седьмой», я — «седьмой». В сторону города движется большая колонна машин с урожаем хлопка, овощей, фруктов, двадцать молоковозов.

— Вас понял, продолжайте наблюдение.

Колонна машин, груженных хлопком, гигантскими арбузами, тянулась в сторону города. Впереди ехала машина с транспарантом «Родине — наш труд».

У арки, украшенной флагами, стоял раис-ота. Из динамика лилась музыка ностальгических семидесятых...

За колонной из укрытий наблюдали военные.

Москва, Кремль, Зал заседаний Совета Министров СССР. На длинном дубовом столе лежали образцы сельхозпродукции из колхоза «Коммунизм». Минеральная вода, бумага, ручки. Первым заговорил зампредсовмина:

— Да, товарищи, давно мы не получали приятных известий. Лично мне глубоко симпатично то, что делают в колхозе «Коммунизм». Но наука должна сказать свое решающее слово. Пожалуйста, Николай Петрович! Один вопрос: качество хлопка и продуктов.

Профессор Лавочник вместо доклада хитро улыбнулся, достал из-под стола стеганое одеяло, расстелил на столе и улегся.

Все присутствующие удивились.

— Это одеяло набито хлопком из колхоза «Коммунизм», его мне подарили. Теплее одеяла я в жизни не видел. Качество — высшее. Теперь о фруктах.

Профессор Лавочник вытащил нож.

Все присутствующие еще раз удивились. Профессор Лавочник отрезал кусок дыни.

— Вкус спесифиски!

— Так в чем же дело, Агропром?

— Во-первых, нет транспорта, во-вторых, население пока не берет продуктов.

— Почему?

— Газета московских сапожников «Подметка» выпустила статью, мол, не чернобыльские ли это продукты?!

Зампредсовмина подумал, потом резко встал:

— Грузите все в мою машину и поехали на телевидение!

В правлении колхоза «Коммунизм» сидел чуть ли не весь колхоз. Показывали программу «Время».

— Уважаемые товарищи! — вещал диктор. — Сейчас перед вами выступит министр здравоохранения СССР.

Все колхозники ждали.

— Уважаемые товарищи! Несколько дней назад в магазины страны поступили сельхозпродукты колхоза «Коммунизм» Актеракского района Узбекской ССР. Вот эти прекрасные продукты. Но враги перестройки оклеветали доблестный труд наших колхозников, объявив, что эти продукты радиоактивно небезопасны. Вот вам самое яркое доказательство!

Министр здравоохранения, может, впервые в жизни ел фрукты перед телекамерой.

Все сидевшие в правлении колхозники захлопали в ладоши, посылались возгласы:

— Ура! Да здравствует товарищ Ленин! Да здравствует Горбачев! Да здравствует наш раис-ота!

При последнем возгласе аплодисменты десятикратно увеличились. Все встали. На трибуне хлопал в ладоши раис-ота. У него на лацкане пиджака блестела Золотая звезда Героя Социалистического Труда. Рядом с ним почтительно хлопал в ладоши бухгалтер, чуть поодаль еще один орденосец — Юлаш Кувондиков. Аплодисменты не стихали.

Не хлопал только Базарбай. Он растерянно оглядывался по сторонам, потом почему-то его руки сами по себе начали хлопать, и он тоже закричал:

— Слава нашему раис-ота!

Вечером в первый раз Базарбай пришел домой выпившим. Абдулла свернул свой неготовый летательный аппарат. Базарбай поцеловал его в лоб. Абдулла уложил отца.

— Сынок, ты молодец! Я-то знаю, что коммунизм построил ты, а не раис-ота. Хотел сказать людям, ладно, разве они поверили бы? Мы — люди простые.

На следующий день Абдулла, проходя по кишлаку, увидел, что вместо старого правления колхоза быстро построили новое, фешенебельное. Рядом вырос современный супермаркет. Ради любопытства он заглянул туда. В это время к магазину подъехал «Икарус», из него в сопровождении двух военных вылезли американские туристы с фотоаппаратами. Встретил их сам раис-ота. Когда американцы зашли в супермаркет, у них раскрылись рты от удивления: на полках лежало сто пятьдесят сортов колбасы! Ассортимент сыров был тоже фантастический. Раис-ота сам был в шоке, но виду не подал.

Абдулла грустно улыбнулся и вышел из супермаркета. Он обернулся, потому что с одним из американских туристов случилась истерика. Он плакал:

— Как у вас хорошо! У нас в Нью-Йорке всего шестьдесят сортов колбасы! Чертова Америка, нищая страна!

...Абдулла пошел дальше. Хозяин старого телеателье неумело прибавал щит: «Подсобное хозяйство колхоза “Коммунизм”. Производство видеоманитофонов “Холмирза”».

...Абдулла проходил мимо дома Шахло, заглянул во двор. Шахло помогала маме стирать. Абдулла не стал ее тревожить, посмотрел и ушел.

...На остановке автобуса он заметил свое упущение: несмотря на нововведения, в колхоз автобус приходил редко. Вот и сейчас люди, часами ждавшие транспорт, рвались в узкие двери.

Абдулла пришел домой. Через некоторое время пришел Базарбай с кетменем на плече.

— Папа, вы до сих пор не расстались со своим кетменем?

— Хе, я с ним расстанусь, когда хвост верблюда земли достанет!

Абдулла взял кетмень.

Базарбай пошел пить чай на кухню.

Когда он вернулся, Абдулла стоял с тем кетменем, только к рукоятке этого инструмента была привязана курпача.

— Э, это чего такое, сынок?

— Ну-ка, сядьте.

Базарбай, уже привыкший к чудесам сына, послушно сел на кетмень.

— Папа, что вы говорите, когда ишаку надо вперед?

— Я говорю «ха»!

Как только Базарбай сказал это, кетмень начал медленно подниматься в воздух.

— И-и! Упаду!

— Не бойтесь. Сейчас. Иш! Иш! — (Слово «иш» используется как «стоп-команда» для ишака).

Кетмень послушно приземлился.

— Теперь вы не будете ждать автобус. Будете летать куда хотите!

Базарбай вдруг слез с кетменя:

— Нет, сынок, мне такое не подходит.

— Почему?

— Сам подумай, все будут ходить по земле, а я один буду, как белая ворона, летать в небе!

Абдулла подумал:

— Тогда я всем сделаю, лишь бы летать научились.

— Вот тогда другое дело.

Председатель колхоза — в новом пиджаке, со звездой Героя Соцтруда — вышел в мажорном настроении на крыльцо нового здания правления колхоза. На столе лежали газеты и журналы с его портретами. Названия статей о нем говорили сами за себя: «Феномен председателя Шодиева», «Актёрский эксперимент», «Человек на своем месте», «Думая о ближних» и так далее. И вдруг раис-ота побледнел, начал протирать глаза, потом дико закричал: прямо над его головой в разных направлениях летели люди, сидя на обыкновенных кетменях!

— Здравствуйте, раис-ота! — завис над ним тракторист колхоза Мохаммад.

В другом направлении, груженный двумя хурджумами, на высоте десяти метров спокойно летел деревенский старожил — девяностолетний аксакал Туксанбай-ота. Находившийся в состоянии внезапного оупения раис-ота позабыл поздороваться с аксакалом.

— Привет, сынок! Чего ты стоишь и смотришь как баран на новые ворота? Что, в первый раз кетмень видишь?

На северо-западе беззаботно летала Шахло.

...В состоянии полнейшего транса раис-ота зашел в свой кабинет. Потом кинулся к телефону, набрал номер:

— Алло, райком? У меня в колхозе все начали летать на кетменях. Как ну и что?

— Правительство одобрило вашу инициативу. Управлению ГАИ уже дано распоряжение выдать номера и водительские права... — Раис-ота с удивлением посмотрел на телефонную трубку.

За окном пролетел на своем кетмене главбух Хасанбай. Он спокойно слез со своего летательного аппарата, надел цепь на рукоятку, попинал кетмень и зашел в кабинет. Хасанбай поздоровался. Раис-ота странно смотрел на него.

Потом кинулся на улицу, нагнулся над кетменем бухгалтера и так же быстро вбежал в кабинет.

Он медленно шел на главбуха. Тот не на шутку испугался.

— Хасанбай, прошу тебя, дай прокатиться?

К правлению колхоза подъехала грузовая машина. Из нее несколько человек выгрузили что-то завернутое в ковер. Раис-ота вышел к ним.

— Что случилось?

Самый пожилой, с орденскими планками на груди, лукаво улыбался:

— Раис-ота, мы здесь немного посоветовались и решили: теперь все летают, а вы на своей «Волге» мучаетесь, бензином дышите, это несправедливо. Поэтому примите от односельчан наш скромный подарок.

Колхозники расступились, развернули ковер: там оказался кетмень, только длиннее, чем обычный, ибо кетмень сей был двухместным, одно сиденье для шофера, другое, сделанное из кресла «Жигулей» с ремнем безопасности, для раис-ота.

Раис засмутился:

— Не знаю, как и быть... люди могут не понять... Время сейчас беспокойное...

— Э, что вы говорите? Вы наш родной раис. Ведь все наши успехи — благодаря вам. Садитесь, а то обидимся.

Помимо кресел от «Жигулей» на председателем кетмене было ветровое стекло с дворниками, рядом закреплено зеркало заднего обзора.

Шофер сел.

— Куда лететь, раис-ота?

— В райком!

Но кетмень почему-то не взлетел. Раис-ота слез с кетменя, кетмень тут же повис в воздухе.

Колхозники совсем растерялись.

Над кишлаком кружили вертолеты.

— Я — «девятый», я — «девятый», как слышите?

— Наблюдаю летающие кетмени. Все колхозники летают.

— Капитан Сидоренко, возвращайтесь на базу.

В штабе полковник говорил своим подчиненным:

— У бедного Сидоренко на почве тарелок крыша поехала. Надо на пенсию отправлять.

Военные, укрывшиеся вокруг колхоза, тоже удивились: в небе летало множество кетменей. Несколько кетменей летели, сгруппировавшись, — женщины с баулами летели на свадьбу. Другая группа женщин летела на другую свадьбу. Эскадрилья очень тепло поздоровалась друг с другом. Военный, наблюдавший за этими виражами, спросил другого:

— Слушай, а кого мы здесь охраняем?

— Не знаю.

У здания ГАИ, похожего на избушку на курьих ножках, стояли люди с уже оборудованными кетменями. Капитан ГАИ Маматмурадов ставил штамп на правах и раздавал номера на кетмени. Радостные колхозники привешивали номера и улетали по своим делам.

По телевизору шла программа «Время». Телекомментатор Владимир Цветов передавал из Японии:

— Я уже не раз говорил о японском чуде. Но, видимо, любое чудо всегда кончается, уступая место новому. Вот что говорит генеральный директор электронной корпорации «Сони» господин Тояма Токанава:

— Наша радиоэлектронная промышленность переживает, пожалуй, свои самые тяжелые дни. Мировой рынок оказался заполненным новыми видеомагнитофонами производства подсобного хозяйства колхоза «Коммунизм».

На экране — суперсовременные видеомагнитофоны, которые делает на своем маленьком заводике Холмирза Тошмирзаев. На бирочке написано: «МЭЙД ИН "КОММУНИЗМ". ХОЛМИРЗА ИНКОРПОРЕЙТЕД».

Директор японской корпорации вдруг не сдержался:

— Из-за самой низкой себестоимости видеомагнитофоны «Холмирза» стали доступными для каждого жителя нашей планеты! В колхозе придумали оригинальный способ подсчета продукции: видеомагнитофоны не считают, а взвешивают на амбарных весах!

Когда японец увидел это своими глазами на экране, он сделал себе характеры...

Раис-ота стоял во дворе своего дома. В руке он держал кетмень. Не служебный, домашний. Попробовал взлететь. Но кетмень оставался на месте. С базара прилетела его жена с сетками.

— Что, хозяин, не летает?

— Какое твое дело?

Потом раис-ота пересел на ее кетмень. Скомандовал. Кетмень оставался на месте.

— А ну-ка, сядь ты!

Жена покружила в воздухе и села.

Раис схватился за волосы и взвыл. Жена заплакала. Раис-ота схватил топор и разбил кетмень, подаренный ему колхозниками. Вышел на улицу. Видевший все это шофер Жумавой грустно завел «Волгу».

— Куда, раис-ота?

— На кудыкину гору!

Машина поехала.

— Куда ты едешь?

— Вы же сами сказали, на кудыкину гору.

— Тормози, езжай, я пешком пойду!

Над безлюдным полем летела тучка.

Раис-ота стоял посреди поля и горько плакал:

— О аллах, что я тебе сделал худого?! Почему в моем колхозе у всех, слышишь, у всех, даже у Мустафакиля-хромого, даже у убогого Норхураза, кетмень летает, а мой нет? Чем я хуже других?

В это время над полем пролетал колхозник на своем кетмене.

— Бог в помощь, раис-ота!

Раис-ота вскипел, закричал на того, потом бросил камень.

— Чего вы кидаетесь? Раз раис, значит, все можно, да?

— Почему не на работе? Вам бы только летать да летать!

— Между прочим, сегодня воскресенье, имеем право! — И улетел.

Раис-ота сидел в поле один.

— Ты видишь, Бог? Меня же все засмеют! В чем моя вина?

Аллах молчал. Он был здесь ни при чем.

Пошел дождь. В расстроенных чувствах, с обидой на весь свет раис-ота понуро возвращался домой. Ему навстречу ехал Базарбай, вез очередной гигантский арбуз на базар.

— Здравствуйте, раис-ота.

— Здравствуй, Базарбай. А ты чего не воздухом?

— Что случилось? Вы плакали?

Тележка поехала дальше, на ней сидели раис-ота и Базарбай.

— Вот так я и нашел моего Абдуллу. Что вы мне посоветуете? Сообщать в Москву или нет?

— Значит, все, что у нас было, сделал твой сын?

Базарбай утвердительно кивнул, казалось, что он как бы извиняется за то, что случилось.

Раис-ота задумался. Потом изрек:

— Сообщать никуда не надо, тем более в Москву.

Базарбай доверчиво спросил:

— Ака, они же могут у меня его забрать. Только вы молчите, ладно?

Раис-ота имел в виду, наверное, совсем другое, когда сказал, что никуда сообщать не надо.

— А вот и Абдулла пришел.

Через окно раис-ота видел, как Абдулла поздоровался с мамой, прошел в дом. Потом он вошел в комнату, где сидел раис-ота.

— Сынок, вот это наш раис-ота.

— Здравствуйте.

— Абдулладжан, ты же мне обещал, что кетмени будут летать у всех. А вот у нашего раис-ота кетмень не летает, чего-то я не понял, сынок.

— А у вас никогда не будет летать кетмень, и дождя над вашим огородом не будет,

и арбузы у вас никогда не вырастут.

Раис-ота опешил:

— А я... я... я никогда и не сеял арбузов-то. У меня времени на то не было. Я — раис! Прошу тебя, сделай мой кетмень летающим! Мне вчера сын прочитал рассказ Горького. Представляешь, поганец, прочитал: «Рожденный ползати — летать не может!» Это я-то летать не могу?!

Абдулла молча ушел.

Раис устроил дома настоящий раскардаш: на полу валялись почетные грамоты, газетные вырезки, вымпелы, фотографии.

Он выскочил из дома, схватил кетмень жены и побегал.

Он бежал в сторону водонапорной башни.

— Я вам покажу, как надо летать!

Базарбай закурил.

— Зря ты, сынок, он — неплохой человек. Что тебе стоило подарить ему кетмень? От тебя ничего не требовалось, самая малость: пожалеть человека... Бог тебе судья, сынок, ты еще совсем мал, многих вещей не понимаешь.

Базарбая отвлек шум пробегающих мимо дома людей. Когда Абдулла выскочил на улицу, он издали увидел раис-ота, неловко залегающего на водонапорную башню.

Абдулла бежал и кричал:

— Не надо, раис-ота! Я ничего не могу сделать! Ваш кетмень не полетит!

Раис-ота залез на башню, сел на кетмень и полетел вниз...

В районной больнице, весь в гипсе, со всевозможными гириями на ногах и руках, лежал раис-ота. У его постели плакала жена.

— Уходи, улетай на свою звезду! Мне не нужен такой бессердечный сын! Ничего мне от тебя не надо!

Базарбай выгнал Абдуллу на улицу. Через некоторое время из дома выскочила Холида-хола. Она догнала мальчика.

— Не сердай на отца, сынок, старый он уже. Он говорит, что раис-ота бросился сверху из-за тебя, я ничего не поняла. Сейчас раис лежит в больнице, говорят, очень плох.

Абдулла пошел в сторону больницы.

На взлетной полосе сиротливо торчали четыре истребителя.

Во дворе больницы уже толпились люди: шутка ли, раис-ота в тяжелом состоянии.

Все колхозники принесли гостинцы и сидели перед зданием больницы, молились за здоровье раис-ота. Кто-то даже принес лозунг и приклеил его к дереву: «Дорогой раис-ота, скорее выздоравливайте! Мы — с вами!»

Орденосец Юлдаш установил на столбе репродуктор. Из него каждые пятнадцать минут колхозники узнавали о состоянии здоровья председателя:

— Уважаемые члены колхоза «Коммунизм», на пятнадцать часов тридцать минут состояние Героя Социалистического Труда, председателя колхоза «Коммунизм», лауреата Нобелевской премии в области бахчевых культур Валижона Алижоновича Шодиева остается критическим.

Все заволновались. Женщины заплакали. —...Температура — тридцать девять градусов, давление пониженное, пульс ниточный...

На усадьбу колхоза «Коммунизм» заехала «Чайка», из нее вышли видные врачи: министр здравоохранения, врач Касьян, Чумаков и Кашпировский...

Во дворе больницы в тревожном ожидании ходил Борис Ельцин, с ним очень задушевно беседовал Егор Лигачев...

В дальнем углу сидели Гдлян и Иванов.

Абдулла зашел в больницу. Он прошел в палату. Удивительное дело, раис-ота открыл глаза и тихо простонал:

— Кетмон...

Абдулла сказал:

— Выйти всем! Я его сейчас вылечу!

Репродуктор возвестил:

— Состояние раис-ота резко улучшилось, сейчас он выйдет к вам на внеочередное собрание!

Дверь балкона раскрылась, и действительно к людям вышел живой, невредимый раис-ота. Все стоявшие во дворе закричали, заплакали даже мужчины.

— Спасибо, спасибо! — Раис-ота промокнул платочком слезу. Потом сделал жест рукой: — Тише, товарищи! Тише! Сейчас я вам покажу того, кто меня вылечил!

Он на миг зашел в палату и вывел оттуда упирающегося Абдуллу.

Все стоявшие внизу застыли в изумлении.

Раис заговорил:

— Товарищи, я хочу сделать официальное заявление: в том, что наш колхоз из отступающих стал передовым, виноват вот этот же мальчик! И арбузы, и дыни, и ваши кетмени — все дело его рук! Потому что он — инопланетянин, наш дорогой гость! — Вдруг

раис-ота погрузился: — Я хочу отдать ему свою звезду Героя!

Раис-ота начал отстегивать от лацкана пиджака звезду, но орден не отстегивался.

...Как только Юлдаш Кувондииков узнал, кто инопланетянин, он тут же, из больницы, позвонил туда, куда надо...

На атомной подводной лодке объявляют боевую тревогу.

Четыре истребителя взлетают в воздух.

В колхоз входят войска, до этого сосредоточившиеся вокруг кишлака. Дом Базарбая окружают бронетранспортеры...

Абдулла в это время сидел в саду с Шахло. Он принес ей огромную розу.

— Шахло, возьми, я скоро уеду.

— Куда?

— Далеко. На, возьми, я тебе дарю.

Когда Шахло хотела взять у него из рук цветок, Абдулла укололся, на мизинце его набухла алая капля.

— Смотри, у меня кровь была зеленая, а теперь красная...

Перед Базарбаем сидел человек в штатском.

— Вы не имеете права! Это мой сын!

— Это не ваш сын, это инопланетянин.

Никто у вас его не отнимает, просто мы поведем его в Москву на исследования.

— Знаю я ваши исследования! Не отдам!

Абдулла шел по улице, не замечая, как один за другим бронетранспортеры перекрывают дороги. Он только увидел, как два человека спорили из-за того, кто кому сломал кетмень: произошло небесно-транспортное происшествие.

— Базарбай-ака, вы не знаете, что творится в мире с тех пор, как он к вам прилетел. Смотрите!

Человек в штатском включил телевизор: показывали общесоюзную забастовку. На лозунгах: «Хотим жить в “Коммунизме”!», «Дать свободу въезда в колхоз „Коммунизм”!»

Вокруг колхозной усадьбы скопились тысячи беженцев, желающих там поселиться.

По телевидению транслировали внеочередную сессию Верховного Совета СССР. Одни ораторы ратовали за то, чтобы просить

Абдуллу остаться на некоторое время в СССР для решения неотложных задач экономики. Другие требовали немедленной отправки Абдуллы туда, откуда он прилетел, потому что по всей стране начались митинги. Третьи говорили о возможной инфекции с неизвестной этиологией. Самый ярый демагог кричал:

— Хватит нам Чернобыля, хватит бредовых идей! Людям надо жить в покое!

Человек в штатском, так и не сумев ничего добиться от Базарбая, ушел. Абдулла вошел во двор. В это время прямо во дворе приземлилась летающая пиала, из нее на землю вышел очень похожий на Абдуллу инопланетянин, только побольше ростом:

— Где ты был, брат? Мы тебя так долго искали!

...На пороге стояли Базарбай и Холида-хола. Холида-хола завернула в платочек две лепешки и яблоко. Она заплакала, когда Абдулла пошел к пиале. Абдулла обнял ее.

— Я вернусь, мама, не волнуйтесь.

Пиала неслышно поднялась и исчезла...

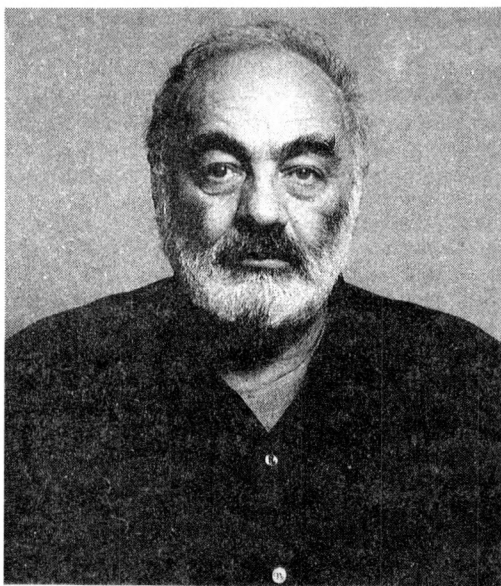
Зимой на крыше дома стояла Холида-хола. Она смотрела на звездное небо и тихо говорила:

— Абдулладжан, сынок, когда же ты вернешься? Я все глаза высмотрела. Прилетай скорей, я очень по тебе скучаю!..

Внизу стояли люди. Они тоже ждали Абдулладжана...

1989 г.





СЕРГЕЙ ПАРАДЖАНОВ

INTERMEZZO

К публикации

Михаил Коцюбинский написал «Интермеццо» осенью 1908 года, в тяжелое для страны и для себя время гражданской и душевной смуты, разочарований, усталости. Этот небольшой рассказ, точнее, стихотворение в прозе, — самое, пожалуй, открыто-личностное, проникновенно-поэтическое, исповедально-психологическое произведение великого украинского писателя.

Фабула проста: повествователь уезжает из города, где все его давит, гнетет и ужасает, подалее от людей, в село, чтобы найти там покой, вернуться к первоистокам, к смыслу человеческого существования. «Я устал. Ведь жизнь безостановочно и неумолимо идет на меня, как волна на берег. Не только моя собственная, но и чужая. А в конце концов — разве я знаю, где кончается моя жизнь и начинается чужая? Я чувствую, как чужое бытие входит в мое, словно воздух в окна и двери, словно воды притоков в реку. Я не могу разминуться с человеком. Я не могу быть одиноким». (Удивительно — писатель сказал как раз те слова, которые не раз говорил о себе Параджанов!)

Желание уединиться, отгородиться от мира с его грязью и ужасами взяло вверх. Рассказчик — среди нетронутой природы, в невстревоженном покое естественной гармонии и первозданной красоты. Безмятежная созерцательность пришла на смену мучительным раздумьям, грызущей тревоге, растерянности и отчаянию.

«Так протекали дни моего интермеццо среди безлюдья, тишины и чистоты. И благословен я был между золотым солнцем и зеленою землею. Благословен покой моей души».

Однако в своей душе повествователь носит мир большой истории. Голос вести не может умолкнуть. Грозы мира не дают самозабвенно наслаждаться божьим царством на островке среди океана людских бед и горя.

Вероятно, Параджанов читал «Интермеццо» как рассказ о себе, как свою собственную исповедь, как свои сны, увиденные родным по духу, по страданиям человеком. Поэтому и выбрал именно эту вещь для экранизации — хотя привычный термин в данном случае неточен. Он вряд ли применим и к другим киноверсиям, разработанным Параджановым (фильмы «Тени забытых предков», «Легенда о Сурамской крепости», «Ашик-Кериб», сценарии «Чудо в Одессе» по мотивам сказок и биографии Андерсена, «Дремлющий дворец», по ассоциациям, рожденным «Бахчисарайским фонтаном» и личностью Пушкина, как ее

видел Параджанов). Здесь, как и во всех других случаях, его интересовал внутренний мир художника, работа его воображения. Режиссер стремился пластически-музыкально воплотить на экране строй и само движение поэтической фантазии, прихотливое преобразование действительности в художественное произведение. Все его фильмы, сценарии, замыслы — об этом: о том, как реальность, в том числе и биография писателя, поэта, творца, становится произведением искусства в едином творческом акте, воспроизведенном перед кинокамерой, — жизнь как творчество и творчество как жизнь.

Как и для Коцюбинского, для Параджанова «Интермеццо» стало мужественным приятием действительности во всей ее полноте, признанием в любви к людям. Сергей Иосифович вложил в эту работу много личного. Он ничего не разрушил в тексте любимого писателя, ничего не исказил, но осветил его светом своей души. Заменяя лирического героя рассказа самим Коцюбинским, режиссер расширил и драматизировал повествование так, что исповедь звучит в другом регистре, и нам внятно ее сегодняшнее содержание. Нет, это не модернизация, не выворачивание классики ради злости дня. Это то новое, что внес в практику экранизации Параджанов и что теории предстоит осмысливать, а кинематографистам — осваивать.

Сценарий был написан в 1970 году. Сергей Иосифович не получил возможности его поставить.

Ефим Левин

Н а начало XX века...

Место действия — Чернигов...

Действующее лицо — Коцюбинский Михайло.

Действующие символы и аллегории:

Моя усталость...

Поля в июне.

Солнце.

Три белые овчарки.

Жаворонок.

Железная рука города.

Человеческое горе.

В Чернигове долго шел человек... Михайло Коцюбинский...

Человек, идущий долго, — резко повернулся лицом...

Механически повторяя движения Коцюбинского, на другой стороне тротуара человек в черном котелке резко повернулся спиной...

Михайло Коцюбинский вынул из кармана часы... Нажал завод...

Часы отбили... четверть...

Человек в черном котелке повторил механически все движения Коцюбинского... нажал завод...

Часы отбили четверть...

На Архиерейской башне часы пробили четверть.

В салоне «Мадам Дюшель» на витрине выставлены три восковых манекена со стеклянными глазами и колонковыми ресницами... На манекенах надеты шляпы из перьев в образе белых чаек.

Мадам Дюшель сняла с манекена голубую

шляпу и через стекло витрины поздоровалась с мужчиной...

Михайло Коцюбинский сдержанно поздоровался с мадам Дюшель.

У золоченого зеркала молодая женщина — Апраксина — примеряла шляпу в образе голубой чайки...

Мадам Дюшель сообщала сенсации...

Сенсацию о том... что Чехов... Антон Павлович читал пьесу «Чайка» в Малом театре и что Москва носит только «чайку»... Что шляпы «ворона», «фазан» уже не в моде... Перья чаек привозят из Крыма...

Молодая женщина — Апраксина — спокойно рассматривала себя в зеркале...

Рассматривал и любовался женщиной в зеркале Коцюбинский...

Всматривался и в женщину, и в Коцюбинского через стекло витрины человек в черном...

Женщина спокойно сняла с головы «голубую чайку» и смотрела на Коцюбинского...

Коцюбинский протянул руку к «чайке».

Женщина опустила густую черную вуаль на лицо и вышла из салона мадам Дюшель. Звенели колокольчики на дверях салона...

По улицам Чернигова долго шла женщина в густой черной вуали...

По улице долго шел человек — Михайло Коцюбинский, улыбался сам себе, потом резко поворачивался лицом...

Резко поворачивался спиной человек в черном, человек, преследующий Коцюбинского.

Из салона «Мадам Дюшель» вышла юная модистка в элегантном наряде.

Девушка несла в руке коробку для шляп...

Девушка повернула на себя звонок с надписью «Поверни на себя».

Кто-то дернул шнур со второго этажа.

Дверь отворилась...

«Господин Коцюбинский просил вас принять этот подарок как символ».

Апраксина стояла в вуали на втором этаже...

Двадцать ступенек, покрашенных белой краской, сбегали вниз...

Девушка поставила голубую коробку на первой ступени и закрыла за собой дверь. Шелкнул замок.

Апраксина медленно спускалась вниз.

Апраксина сидела на белой ступеньке рядом с голубой коробкой для шляп.

В черниговской, запертой снаружи квартире неистовствовали дети Коцюбинского...

Дети надевали фраки и котелки отца... подвязывали к шеям накладные шлейфы с воланами, срывали со шляп искусственные цветы... тарабанили на рояле... влезали в сумки... закрывали друг друга в чуланах.

Дети вырывали, разрывали листы старых журналов «Искра», «Нива», мастерили голубей и пускали с ажурного металлического балкона на площадь, мощенную булыжником...

Скулили в запертой комнате холеные доберманы-пинчеры, скоблили когтями двери, кусали бронзовые ручки.

Один за другим выбегали на балкон Юрий, Оксана, Ирина, Роман и бросали в небо голубей...

Голубей из модных иллюстрированных журналов.

Голубей из сенсаций века!!!

Голубей из рекламы века!!!

Голуби медленно падали на булыжник мостовой...

Зеленый городской свистел и грозил пальцем.

Дети хохотали и продолжали бросать голубей...

Голуби засоряли площадь...

Голуби падали на подножки проезжающих фэзтонов...

На крышу конки...

Голуби пугали лошадей, запряженных в конку.

Голуби падали на солому проезжающих телег.

Городовой стучался в подъезд дома Коцюбинского.

Городовой дергал ручку звонка...

Коцюбинский подошел к подъезду своего дома...

Городовой грозился ему... Свистел прямо в лицо...

Коцюбинский, оглушенный свистком, стонился городского...

Дети смотрели с балкона...

Отец смотрел на детей без укора и собирал голубей... рассыпанных по площади.

Коцюбинский собирал и рассматривал странных бумажных голубей...

Проезжие смотрели удивленно на Коцюбинского, выглядывали из конки, фэзтонов, бричек... пешеходы прикрывали себя зонтиками...

Коцюбинский стоял посередине площади, мощенной булыжником, с охапкой бумажных голубей...

Постояв немного, Коцюбинский резко повернулся.

Человек в черном котелке украдкой поднял одного голубя и спрятал за сюртук...

Увидев на себе взгляд Коцюбинского, человек резко повернулся спиной...

ГОЛУБИ С ИЛЛЮСТРИРОВАННЫМИ КРЫЛЬЯМИ...

300 лет царствования дома Романовых...

Родители первого царя... (гравюра).

Первый царь и царица (гравюра).

Евдокия Лукьяновна Спешнева. Михаил Федорович Романов (1907 год, фото).

Катастрофа в Государственной Думе. Обвал штукатурки и обшивок потолка (2 марта, фото).

Опера Глинки «Жизнь за царя» (фото).

Гастроли Айседоры Дункан... (фото).

Сестры милосердия Иверской общины.

Комитет «Христианская помощь» и сестры милосердия 4-го летучего отряда Красного Креста исполняют объединенным хором «Боже, царя храни» (фото).

Церковник Иосиф Перч выносит с поля битвы при Тюренчене раненого отца Шербаковского... «Вперед, за царя и отечество» — последние слова Шербаковского (картина, масло).

Государь Император благословляет святой иконой и прощается с офицерами 147-го Самарского полка (фото).

Государыня Императрица Мария Федоровна передает святому икону 147-му Самарскому полку (фото).

Походная церковь, пожалованная Государем Императором для санитарного поезда, идущего на Дальний Восток (фото).

Для потомков:

Ф. И. Шаляпин напекает в граммофон (фото).

Гибель авиатора (фото).

Тело авиатора под обломками аэроплана (деталь, фото).

1911 год. Похищена «Джоконда» из Лувра (фото — до и после похищения).

Похититель — некий Перуджио.

Перуджио мстит Наполеону за глумление над Флоренцией!

Отправление на Дальний Восток отряда дезинфекторов (фото). В центре — Принцесса Ольденбургская...

Объявление... Продажа и прокат световых картин для волшебных фонарей.

«Русско-японская война».

Цены снижены!

Чума в Кронштадте. Доктор Шрейдер в гробу, приготовленном для сожжения.

Обыск в Политехническом институте в Петербурге (фото).

Выставка «непризнанных» художников (независимых).

Портреты из живых цветов Александра I и Наполеона, 1912 год (фото).

Похороны русского матроса (фото).

Похороны японского матроса (фото).

Великий князь Константин Константинович в особняке Кшесинской (фото).

Великий князь читает Кшесинской написанную им пьесу «Царь Иудейский» (фото).

Кшесинская в античной тунике (фото).

На черной поверхности рояля лежали странные голуби, сделанные из страниц журналов «Искра», «Нива».

Рука Михайлы Коцюбинского вращала голубей, переворачивала, расправляла крылья...

Голос Коцюбинского (он читал, домысливая недостающее и монотонно в паузах повторы):

— Мышечная сила... Пейте какао Ван-Гутена!!! Сто чашек из одного фунта... Избегайте подделок... Пейте какао Ван-Гутена!!! Третий отряд сестер милосердия Александровской общины «Утоли моя печали»... Бесплатно... Мы предлагаем иллюстрированную брошюру «Сила внутри нас», которую высылают совершенно даром... Адресуйте. Психологическое издательство Ван-Тайль Накиэльс (плакат). Государь Император... изво... изволи... изволит здороваться с войсками. Изволят... «Не надо крови — довольно крови...» С этими словами некий безумец Балашов кинулся с ножом на шедевр русской живописи «Царь Иоанн убивает своего сына».

Нанесена тяжелая порча картине (фото — до и после порчи).

В доме Коцюбинского была тишина.

Дети повинно сидели в глубоких креслах...

Скулили доберманы-пинчеры...

Коцюбинский прислушивался к тишине.

Дети повинно сидели в глубоких креслах, одетых в белые крахмальные чехлы...

Идеальной тишине мешало тиканье деревянных часов в образе терема с открывающейся дверцей для кукушки...

Коцюбинский ощущал дыхание и напряжение детей, ожидающих наказания.

Коцюбинский отогнул белый крахмальный чехол на кресле, спокойно встал на красное бархатное сиденье кресла и остановил маятник...

Дверца теремка приоткрылась... появилась кукушка.

Кукушка не куковала...

Вечерело... В комнатах было темно...

В белых креслах спали дети...

Коцюбинский на цыпочках прошел в спальню с пустым дорожным саквояжем...

Открыл его... поставил на пол... Подумал...

Коцюбинский вернулся в гостиную, где спали дети... Он поочередно становился на колени перед детьми, снимал осторожно башмаки из белой лайки, зашнурованные до колен... снимал оставшиеся на детях шлейфы с воланами и фраки, раздевал догола... целовал детям руки и медленно переносил в детскую... Покрывал голубыми и розовыми стегаными одеялами. И снова возвращался за детьми...

Снова нес на руках в спальню...

Голос Коцюбинского сопровождал тишину, а тишина сопровождала голос Михайлы Коцюбинского...

— Я устал... Ведь жизнь безостановочно и неумолимо идет на меня, как волна на берег. Не только моя собственная, но и чужая. В конце концов разве я знаю, где кончается моя жизнь и начинается чужая? Я чувствую, как чужое бытие входит в мое, словно воздух в окна и двери, словно воды притоков в реку.

Пауза...

— Завидую планетам. У них свои орбиты, и ничто не становится на их пути. В то время как на своем я постоянно встречаю человека...

В пустой саквояж на полу летела мужская сорочка, жилет, еще одна сорочка, манишка, ночная сорочка... ночных туфли... В саквояж летела какая-то женская кружевная накидка...

Пауза...

Мужская рука с обручальным кольцом вышла из саквояжа кружевную накидку.

Пауза...

Шелкнул саквояж...

Михайло Коцюбинский спускался со двора по узкой железной лестнице.

На дворе было темно.

Коцюбинский шёл по внутренним дворам Чернигова...

Дворники зажигали на тротуарах газовые фонари...

В подвалах целого квартала рабочие — женщины, подростки — сортировали синьку.

Люди с синими лицами и руками ложечками брали синьку и насыпали с квадратные коробочки...

Казалось, у людей, сортирующих синьку, синие легкие и синяя слюна...

В окнах других цехов клеили синие наклейки «Синька. Фабрика братьев Дорманн».

В темном городе были ослепительно освещены газовыми рожками только подвальные помещения кожевников, красильщиков, механические цеха, кузни, издававшие кованый стон глухих ударов молота. Типографии... машинные бюро с курсистками, изучающими печатное дело...

Каретный двор... Фазтоны, брочки, тарантасы!!!

Ведро! Тазы! Шайки!

Заводские трубы выбрасывали черный и желтый дым на погрузившийся в темноту город.

Швейные мастерские натягивали белую марлю, чтобы не коптить белые и розовые кружева изысканных кринолинов...

Черный город опирался на освещенные газом подвальные помещения, и казалось, что он вот-вот оседет или рухнет...

Рухнет без шума, и это будет естественно...

Голос Коцюбинского:

— Кто одел землю в камень и железо? Это ты из окон зданий и тысячи черных ртов вечно дышишь смрадом. Ты ранишь священную тишину земли скрежетом фабрик, грохотом колес, грязнишь воздух дымом и пылью, воешь от боли, радости, злости. Как зверь. Повсюду я встречаю твой взгляд: глаза твои любопытные, жадные вонзаются в меня, и сам ты, во всем разнообразии своих цветов и форм, застреваешь в моем зрачке... Ты хочешь овладеть мною... моими руками, моим разумом, моей волей и моим сердцем... Ты хочешь высосать меня, всю мою кровь, как некий вампир. И ты это делаешь...

Коцюбинский стоял и смотрел, как в подвале, освещенном газовым рожком, богомазы (скорее богопечатники) печатали на кипарисовых досках святых отцов и матерей. Накладывали золото на нимбы... Чеканили оклады... Обтягивали обратную сторону иконы красным бархатом... Потом икону замуровывали в киот и украшали «образ» восковыми цветами...

Голос Коцюбинского...

— О Боже! — прошептал Коцюбинский и резко повернулся лицом...

Человек в черном резко повернулся спиной.

Поезд летел... Мелькали шпалы... Открывались семафоры... Мигали красные и желтые огни... Клубились пары...

Казались иллюзией катастроф — встречающиеся поезда... Свистели — приветствия! — встречные поезда...

Железнодорожные пути казались железными руками города, бегущими, догоняющими поезда.

В салоне, обитом ситцем и красным деревом, в глубоких креслах сидели дамы и господа...

Дамы поднимали черные вуали с блестящими мушками, снимали шляпы в образах ворон, фазанов, цесарок...

Женщины торжественно вытягивали из волос длинные иглы, прикрепляющие шляпы к волосам, и передавали шляпы своим попутчикам...

Кавалеры-прапорщики в свою очередь чистили замшей дорожные бинокли... отвинчивали никелевые стаканчики на дорожных термосах...

Шляпы в образах ворон, фазанов висели на бронзовых крючках или как бы высиживали яйца в плетеных полках под потолком...

Вращался вялый вентилятор на потолке салона, издавая звуки холостых выстрелов пулемета...

Настроение было торжественное...

Пассажиры рассматривали друг друга, приглядывались друг к другу...

В начале пути все разговаривали шепотом...

Дамы вынимали изящные флаконы с духами, натирали виски себе и мужчинам...

Михайло Коцюбинский вошел в вагон последним...

Место, которое он занял, было у окна.

Второе место рядом было свободно.

Взад и вперед, извиняясь, по вагону ходили озабоченные дорожные чиновники и инженеры... кассиры и проводники...

Поезд набирал скорость, и потому за окнами было много дыма и пара...

Дверь красного дерева в вагоне отворилась, на пороге стояли два инвалида русско-японской войны в протертых шинелях с медалями на груди и с кожаными саквояжами, наполненными книгами.

Солдаты по очереди объявляли...

Первый солдат:

— Покупайте новейшую европейскую литературу... «Капитализм и социализм в литературе». Выпуск первый!

Второй солдат:

— Отражение роста капитализма в литературе. Европейская литература развивалась в начале XX века в атмосфере победоносного капитализма. Рост, мощь и торжество капитализма поэтому — одна из обычных тем новейших писателей. Властно подчинял капитализм своей воле и наиболее отсталые страны. Даже в патриархальной, варварской Испании появляются в начале XX века все чаще завоеватели-конквистадоры, творцы промышленной цивилизации. Таков Санчес Морузта в романе Бласко Ибаньеса «Отцы-иезуиты».

Перый солдат:

— Он приехал в Бильбао как раз в тот момент, когда открытие Бессемера поставило на очередь вопрос о железе без примеси фосфора, а именно такое железо и добывалось в рудниках Бильбао.

Второй солдат:

— Купите роман Уэллса «Когда спящий проснется»... Роман-сенсация!.. Просыпается неожиданно проспавший целых два столетия демократ Грэм и видит, к своему изумлению, что очутился не в царстве «свободы и равенства», а в мире абсолютизма, воплощенного в безликом образе коллективного Капитала.

Первый солдат:

— Покупайте поэзию большого города... Такими поэтами промышленных городов являются новейшие итальянские поэты, так называемые футуристы... Господин Мариетти...

Второй солдат:

— «Мы воспоем огромную толпу, движимую жаждой труда, наслаждения и бунта, многоцветные и многозвучные переливы и отливы революции в современных столицах, ночную выбрацию арсеналов и верфей, освещенных ярким светом электрических лун, прожорливые вокзалы, проглатывающие дымящихся змей; заводы, привешенные к облакам на лентах своего дыма»...

Первый солдат:

— Купите поэзию воинствующего империализма... Из пуританина-пессимиста превратился в империалиста и Киплинг... Он не только поэт, но и философ империализма. Так как, по его убеждению, Бог возложил...

Бог возложил... Бог возложил... Бог возложил!

Стучали мокрые колеса, желающие высвободиться из клубов горячего пара...

Михайло Коцюбинский дремал в красном кресле, обитом ситцем...

Он улыбался во сне... Чему?

Ему показалось, что вороны высидели своих птенцов, цесарки ходили под сиденьями кресел, ведя за собой похожий на серую золу целый выводок... Фазаны перелетали с крючка на крючок, теряя длинные коричневые перья с черными пятнами...

Вороны садились на головы женщин...

Женщины спали... Они механически хотели припилить живых ворон длинными булавками к своим волосам...

Вороны кричали — шепотом...

В вагоне с сеткой в руках появилась мадам Дюшель... Она расчетливо кидала сеть на ворону... потом срывала с нее нужные ей перья...

Оголенные вороны мадам Дюшель уже не летали, а ходили голые по вагону.

А за окном в густом белом дыму парила голубая чайка и билась о запотевшие стекла салона...

Коцюбинский опустил на лицо свой котелок и улыбнулся во сне...

Ему казалось, что человек в черном, человек, который резко поворачивался спиной, стоит среди ворон и бросает им навстречу бумажного голубя, поднятого им на площади Чернигова... Странного бумажного голубя с иллюстрированными крыльями из журнала «Искра»...

Рука проводника вежливо разбудила Коцюбинского...

Коцюбинский предъявил картонный билет...

Проводник на просвет рассмотрел компостер.

Рядом место было занято...

Человек, сидевший рядом, долго искал билет в передних и задних карманах сюртука и случайно вытянул бумажного смятого голубя...

Человек в черном предъявил проводнику железный жетон...

Проводник низко поклонился Коцюбинскому...

Женский голос безразлично вступал в спор с мужским...

— Осужденный на смертную казнь некий Данилов перед смертью сказал: «Пейте какао Ван-Гутена!» Один фунт — сто чашек. Избегайте подделок... Как вы думаете, Жозефф, к чему бы это??? Жозефф, смотрите! Проект катафалка. Художник и архитектор итальянцы Сандро и Паолино Баскетти. Лучшие русские мастера резьбы по дереву вырезали амуров и грифонов... Катафалк левкасить и золотить будут в мастерских Петергофа... Уникальные катафалки — дар фирмы «Похоронные принадлежности братьев Бреннер и Кауфман» Его Императорскому Величеству! Жозефф... Вы спите!

За окнами бушевала зелень... Ветки казались вагонов и стучали по ним... Ветки стучали в окна, попадали под колеса...

Поезд следовал в Новгород-Северский и обратно...

Десять черных комнат окружали комнату, где провел первую ночь Коцюбинский.

Коцюбинский нес зажженную керосиновую лампу с ажурным абажуром...

Керосиновый свет освещал мрачные комнаты... Под тяжестью Коцюбинского скрипели половицы... Где-то со скрипом открылась дверь платяного шкафа... где бездвижно висели фраки и белые жилеты...

В темных комнатах навстречу Коцюбинскому с керосиновой лампой с ажурным абажуром в руках шел Коцюбинский с керосиновой лампой с ажурным абажуром...

Зеркала в старинных резных рамах отражали движение огня и тени...

Бездвижно повисли маятники на стенных часах, и тяжелые, наполненные дробью гири упирались в пол.

Коцюбинский поднял гири и толкнул маятник... То же самое он сделал в гостиной, в столовой, в библиотеке...

Коцюбинскому показалось, что кто-то идет за ним... но под человеком, идущим за ним, не скрипели половицы...

Коцюбинский всматривался в движение фигуры, это была Апраксина!

Она закрыла беззвучно открывшуюся дверь шкафа, коснулась рукой жилета и фрака Коцюбинского...

Апраксина касалась маятников и останавливала движение времени...

Апраксина вынимала белые крахмальные простыни... разрывала их бесшумно и завешивала зеркала, отражающие ее в голубом платье с голубой полосатой коробкой для шляп...

Михайло Коцюбинский лежал на широкой никелированной варшавской кровати... Варшавские никелированные кровати — звенят!!! Лампа была потушена... и все утонуло в черном мраке...

Голос Коцюбинского... (в темноте).

— Может быть, и я превращусь в неодушевленный, ничего не чувствующий предмет, в ничто. Так хорошо быть ничем, безгласным, ненарушенным покоем. Однако там, за стеной, что-то есть. Я знаю, если войти внезапно в темные комнаты и чиркнуть спичкой, все сразу бы бросилось на свои места — стулья, кушетки, окна и даже корзины. Почему знать, не удалось ли бы моему взору уловить образы людей, бледные, неясные, как на гобеленах, всех тех, кто оставил свои отражения в зеркалах, свои голоса в щелях и закоулках, формы — в мягких волосяных матрасах, а тени — по стенам. Кто знает, что делается там, где человеку не дано видеть.

Разыгранное представление!

Коцюбинский в белом костюме сидел за

квадратным обеденным столом в квадратной комнате...

Квадратная комната была белая...

На глазах Коцюбинского квадратная комната стала круглой, квадратный стол — округлился... В центре круглого стола стоял фаянсовый супник с серебряной разливной ложкой...

Двенадцать фаянсовых тарелок...

Коцюбинский кого-то ждал...

И медленно разливал в фаянсовые белые тарелки холодный молочный суп.

Белая дверь отворилась, и в круглую белую комнату вошли две белые процессии. Процессия японцев несла на плечах умирающего, в бинтах и гипсе, русского солдата...

Умирающие солдаты стонали...

Голос Коцюбинского...

— Вот я вас вижу: как вас много... Это вы, чья кровь вытекала в маленькую дырочку от солдатской пульки, а это вы, сухие препараты: вас завертывали в белые мешки, качали на веревках в воздухе, а потом складывали в едва засыпанные ямы, откуда вас вырывали псы... Вы смотрите на меня с укоризной — и вы правы. Вы видите, я даже не краснею, лицо мое бело, как и у вас, так как ужас высосал из меня всю кровь... Подходите ближе... кушайте... Я устал...

Обе процессии подходили ближе к столу...

Все тянулись к белым тарелкам с холодным молочным супом...

Солдатам мешали гипс и бинты... Они не могли держать ложки...

Они только шевелили пальцами рук...

Коцюбинский кормил солдат... Он пытался найти рты... солдат...

Рты солдат были замурованы гипсом...

Белый суп стекал по гипсовым подбородкам солдат...

Умирающий японский солдат с жадностью держал в гипсовой руке белый фаянсовый супник и бил разливательной ложкой по пустому дну...

Японский солдат грозился...

— Сия... Сиу... сука! Няо!.. Оя... Си!

Солдат ожесточенно кричал от боли... И бил по супнику... Бил, пока не выбил дно...

Расколотый фаянсовый супник издал человеческий крик...

Коцюбинский внимательно рассматривал свои руки, медленно шевелил пальцами, пытался согнуть ногу под одеялом.

УТРО!

«Добрый день»...

В просветах окон голубое небо и ветви берез.

...Кукует кукушка... Тикают часы... в гостиной, столовой, библиотеке...

В столовой на квадратном столе белый
фаянсовый супник с серебряной ложкой...
Солнце просвечивает сквозь кружева занавесей,
и тени вытканых роз колышутся на...
На портретах детей...
Много неба!
Много солнца!!
Много зелени!!!

Колодец... Еще сонная вода колодца!
Пустое ведро с плеском ударяется донцем
о ее грудь, разбивает отражение Коцюбинского
в зеркале колодца и лениво вливается
в ведро...

Вода дрожала в ведре, сверкала разбитыми
осколками солнца...

Коцюбинский пил воду, свежую, холодную,
еще полную снов. Коцюбинский плескал ее
себе в лицо... Плескался на грудь... Заливал
воду за спину... дергался от озноба... и вы-
сасывал воду из усов...

Голос Коцюбинского:

— Никогда раньше так ясно я не ощу-
щал своей связи с землей, как здесь. В го-
родах земля одета в камень и железо и
недоступна. Здесь я стал близок ей. Я здесь
чувствую себя богатым, хотя у меня ни-
чего нет. Ибо помимо всяких партий и про-
грамм земля принадлежит мне. Она моя!!!
Всю ее, огромную, роскошную, сотворенную
уже,— всю я вмещаю в себе. Так я творю
ее заново, вторично,— и тогда кажется мне,
что у меня на нее еще больше прав...

МОЛОКО

Белая корова с коричневыми пятнами, или
точнее — коричневая корова с белыми пятна-
ми паслась на лугу...

Крепко держала земля корни фиолетовых
цветов...

Корова ощипывала только фиолетовые цве-
ты, закидывала высоко морду, махала перед
собой охапкой фиолетовых цветов... разгоняя
облачко мошек, преследующих корову...

Налитое розовое вымя коровы...

Простое крестьянское деревянное ведро...

Женские крестьянские руки...

Дойка коровы...

Ведро молока!.. Пена!

Потом руки из крестьянского ведра льют
молоко в фаянсовый белый кувшин, прик-
рывают лиловой крахмальной салфеткой...

НАТЮРМОРТ

Белая скатерть... Белый фаянсовый сосуд...
стакан из стекла... Черный хлеб из непро-
сеянной муки...

ХЛЕБ

Медленно, выгибая спину, словно дикий

комнатный зверь... бежит поле...

Точно капканы, ветряки скалят зубы, чтобы
протереть зерно в белую муку...

Грохочут жернова, опыленные белой
мукой.

Рука Коцюбинского сломала хлеб...

Голос Коцюбинского:

— Она моя... земля! Она принад-
лежит мне!..

ТРИ БЕЛЫЕ ОВЧАРКИ

Трепов! Оверко! Пала!.. Три белые овчар-
ки — как три белых медведя!

Лязгает железная цепь, и неистово бес-
нуются прикованные собаки...

Прыгают овчарки... Прыгает длинная кос-
матая шерсть... Прыгают красные глаза...
Прыгает собачий страх и собачья ненависть.

Должно быть, цепь! Должно быть, цепь
обрекла собак хватать передними лапами
воздух... Это цепь душит собак за горло
и накапливает огненную собачью ярость...

Голос Коцюбинского:

— Подожди немного... Сейчас будешь на
воле... Ну стой же спокойно... не беснуй-
ся... пока я снимаю цепь... А теперь айда!..

Наступила тишина... Молчали цепи!..

Испуганные, освобожденные собаки, поте-
ряв ощущение цепей на шее, прильнули к
земле и не двигались... настороженно под-
жимались обрезанные уши... Глаза застигал
розовый туман...

Голос Коцюбинского:

— Понятно! Вам дороже неудовлетворен-
ная злоба, чем свобода...

Коцюбинский вложил в рот четыре паль-
ца — и дикий степной свист... плыл над
полями...

КОНОНИВСКИЕ ПОЛЯ, ИЛИ ПОЛЯ В ИЮНЕ!!!

В тени белого сарая молодой рыбак дол-
бил белую колоду.

Еще немного усилий, и еще не смазан-
ный черной жирной смолой челнок обрел
бы сказочную форму и цвет...

Челнок плыл среди долины, по краям до-
лины, налитой зелеными хлебами...

Нивы катят и катят зеленые волны и
доплескивают их до самого горизонта...

Вымысленный белый челн плыл в особом
мире...

Челн — подобие розовой жемчужины!..

И две створки раковины, одна зеленая,
а другая голубая...

Коцюбинский рукой гладил соболей мех
ячменя, шелк колосистой волны...

Ветер перемешивал в одно целое разнооб-
разные звуки степи...

Голубой рекой вливается в степь — лен. Поля ячменя колышутся и ткнут, ткнут из тонких своих усов — зеленую кисею...

Потом проплывает пшеница, все пшеница и пшеница...

Она бежит по ветру, как стаи лис, и блестят на солнце волнистые спины...

А прибой колосистого моря катится куда-то в неизвестность... бьется о белый челнок — белая пена гречихи, душистая, легкая, точно взбитая крыльями пчел...

Овес, пшеница, ячмень — все это слилось в одну могучую волну; она все заливает, все забирает в плен... Молодая сила дрожит, трепещет и рвется из каждой жилки стебля; клокочет в соках надежда и та великая жажда, чье имя — плодородие!!

На дне белого челнока с закрытыми глазами лежал Коцюбинский...

Воображаемые волны... качали белый челнок, как колыбель...

Коцюбинский открыл глаза... Трещал и дымился в хлебах костер...

Белый челнок был обтянут черным траурным крепом!..

Черная прозрачная тучка перекрыла солнце!

Жандармы отнимали у семинаристов черниговской семинарии венки из живых цветов и бросали в костер...

Костер от свежих ветвей хвои и пальм дымился и охватывался пламенем...

Студенты несли белый челн, обтянутый черным крепом, и прятали на груди красную розу...

Голос Коцюбинского:

— Так будет в 1913 году, в день моих похорон, 17 апреля. Так должно быть! Это неминуемо! Это наказание! За то, что я живу... вижу... думаю!.. и пишу!

ЖАВОРОНОК

Как комок земли, серая маленькая птичка низко висела над полем... Напряженно, часто трепыхала на месте крыльями и тяжело тянула вверх невидимую струну от земли до самого неба.

Невидимая струна дрожала и звенела...

Затем, закончив, падала тихо вниз, тянула вторую — с неба на землю! Соединяла небо с землей струнами и играла на этой звучной арфе симфонию поля...

Движение воображаемого белого челна — остановилось... Остановилось течение полей. Внизу был обрыв... Под обрывом теснились кучи соломенных крыш с осевшими прелыми плетнями...

Девушки в облаке пыли возвращались с работы на чужом поле, грязные, некраси-

вые, с обвислыми грудями, костлявыми спинами, бледные женщины в черных порванных юбках клонились, как тени, над коноплей... сифилитические дети вперемежку с голодными псами кушали шелковицу в пыли...

Все лаяло!.. мычало голодом! Стонало горем!..

На колоде сидел лирник с лирой и пел украинскую думу...

Зеленый жандарм на цыпочках подкрадывался к лирнику и вежливо закрывал ему рот... Исчезали слова думы... продолжала играть только лира...

Мальчик-поводырь продолжал петь думу... Зеленый жандарм вежливо затыкал рот и поводырю...

Четыре жандарма несли на плечах черный рояль...

Вежливо жандармы сажали старика-лирника за рояль... и тыкали пальцы лирника в клавиши рояля...

Коцюбинский медленно отходил от обрыва, от театра, разыгранного в куче черных соломенных крыш...

Плакал слепой лирник на клавишах рояля.

Зеленые вежливые жандармы, звеня шпорами, отходили от рояля и низко кланялись женщине в голубом...

Апраксина стояла у рояля!

Апраксина продолжала петь украинскую думу на французском языке.

Плакал лирник...

Мальчик-поводырь подошел к покоющей женщине с лирой, и они втроем — Апраксина, лирник и песня — ушли в степь.

Коцюбинский резко отвернулся лицом...

Кто-то резко присел в колосьях ячменя...

Снова на Коцюбинского шли четыре зеленых жандарма, сопровождающие высокого печального еврея...

Еврей смотрел себе под ноги, закованные в кандалы...

Коцюбинский смотрел вслед удаляющимся. Чей-то голос в ячмене сказал:

— Это Мендель Бейлис... его обвиняет охранка в убийстве с ритуальной целью православного мальчика — Андрея Ющинского...

Голос Коцюбинского:

— С целью оправдания — еврейских погромов?!

Голос ответил:

— Как знать... Вам виднее...

Коцюбинский шел в степи на голос, раздвигая колоски...

Среди ячменя сидел простой, обыкновенный крестьянин... Он, должно быть, присел в ячмене, чтобы не быть замеченным жандармами.

Крестьянин исподлобья смотрел на Коцюбинского и откровенно напильником распиливал кандалы на ногах...

— Говори! Говори! Что еще...

— Люди хотели голыми руками землю взять и вот добились: кто давится в могиле сырой землей, а кто копает ее в Сибири. Мне еще ничего, год бил вшей в тюрьме, а теперь раз в неделю становой бить по морде будет...

«Раз в неделю человека бьют по морде», — подытожил Коцюбинский. — Говори, говори...

— Ходишь среди людей, как среди волков. Знаешь одно — остерегаться. Везде настороженные уши. Везде протянутые руки. Бедный у нищего рубаху с плетней ворует, сосед у соседа, отец у сына.

«Среди людей, как среди волков!» — подытожил Коцюбинский. — Говори, говори...

— Людей едят сифилис, нужда, водка, а они в темноте пожирают друг друга. Как нам еще светит солнце и не погаснет? Как мы можем так жить?

Беглый крестьянин молча снял кандалы, раскопал голыми руками землю и захоронил кандалы... потом расправил руки и ноги и лег на сырую землю... и заснул.

Коцюбинский сжал кулаки...

— Говори, говори!.. Растопи гневом небесный купол. Заволоки его тучами твоего горя... чтобы грянули молнии и гром... Говори... Говори!.. Я требую!!!

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СЦЕНА — ПРОЩАНИЕ РАТНИКА...

На весь экран новая пластинка фирмы «Экстафон», изготовленная фабрикой «Общества Экстафон» в Киеве.

(Сцена под аккомпанемент оркестра Д. А. Богенского).

Бесконечная сырая украинская степь... Замерли свинцовые облака над сырой степью...

Лабиринты, свастика, трапеции траншей изрыли, испахали украинскую степь... Природа и люди ждут очередной трагедии, очередной войны...

Среди сырой украинской степи, среди тысячи траншей стоит бамбуковая золоченая этажерка с новеньким граммофоном, с трубой в образе никелированной лилии...

Юный прапорщик с золотыми усами тщательно, до отказа завел пружину граммофона... Закрепил иглу в мембране и спустил «ход».

Медленно двинулись свинцовые облака... Зашипела пластинка, истощно декламируя стихи...

Команду слушай!

Полк, вперед... Шаг-о-о-м марш!

Прощай, семья родная,

Меня зовет война,

Прощай же, дорогая, милая жена...

Теперь уже, быть может,

назад я не вернусь

И костями я лягу за родную Русь.

Если же от пули или от штыка

Умирать придется — беда не велика!

Смело в бой я рвался —

не знаком мне страх...

И умру спокойно с молитвой на устах.

Если ж отличуся смелостью в бою

И домой вернуся я в свою семью,

То открою в детской новую зарю!

Расскажу, как надо

всем служить царю.

Прощайте, солдаты!.. Увидимся в Берлине!!!

Прощайте... Пошли, пошли, ребяташки!..

Пошли, солдатики!!

На фоне патриотических стихов «юный прапорщик» со знаменем полка... бежал в степи. В «смелого прапорщика» целились немецкие солдаты в кайзеровских касках...

«Юный прапорщик» попадал в оптический прицел ружья, в оптический прицел артиллерии...

На «юного прапорщика» в степи аэроплан бросал баллоны со слезоточивыми газами...

«Прапорщик... бежал со знаменем и плакал...

«Юный прапорщик» проваливался в траншеи, в лужи, бежал от аэроплана, от облака газа...

В этой же сырой степи возникал, как мираж, золоченый киевский Владимирский собор... Зажигались люстры... Хор пел: «Вечная память... Вечный покой».

К Владимирскому собору подходили тысячи вдов в черных вуалях... и собор поглощал их...

ГИМН СОЛНЦУ!

Навстречу друг другу шли Человек и Солнце!

Солнце обжигало грудь, лицо и руки человека... Человек шел к горизонту...

Голос Коцюбинского:

— Солнце... Я полон благодарности к тебе и потому иду прямо на тебя... Иду к тебе лицом к лицу... Я полон счастья, встречаясь с тобой на просторе. Солнце! Я благодарен тебе. Ты бросаешь в мою душу золотой посев — кто знает, что взойдет из этих семян? Может быть, огни? Ты дорого мне. Я пью тебя, Солнце, твой теплый целительный напиток, пью, как ребенок молоко из материнской груди, такой же теплой и дорогой. Даже когда ты жжешь, охотно вливаю в себя огненный напиток и пьянею от него...

По дороге к Солнцу Коцюбинский снимал сюртук, жилет... сорочку.

Коцюбинский ощущал лучи Солнца на груди, втирал лучи Солнца в грудь и глубоко дышал...

— Я тебя люблю... потому что... слушай!!! Из тьмы неведомого появился я на свет, и первый вздох и первое движение мое — во мраке материнского лона. И этот мрак властвует надо мной — все ночи, половину моей жизни, — стоит он между мной и тобой. Его слуги-тучи, горы-темницы закрывают тебя от меня, и все трое мы знаем твердо, что неминуемо наступит время, когда я, как соль в воде, растворюсь в нем навеки. Ты лишь гость в жизни моей, Солнце, желанный гость, и, когда ты уходишь, я стараюсь удержать тебя. Ловлю последний луч на тучах, продолжаю тебя в огне, в лампе, в фейерверке, собираю с цветов, со смеха ребенка, из глаз любимой. Когда же ты гаснешь и убегаешь от меня, творю «твое подобие», даю ему имя «идеал» и прячу в своем сердце.

И оно мне светит!!!

Солнце, я обращаюсь к тебе, как к живому существу...

Солнце, опали мою душу, чтобы она стала недоступной...

Солнце палило землю и человека на земле...

Со стороны голый человек, идущий к Солнцу, казался пророком!!!

В степи среди хлебов стояли двенадцать типографских станков фирмы «Херман Мауэр»...

Оголенные до пояса семинаристы черниговской семинарии клали чистые листы бумаги на шиферные доски...

Семинаристы тянули на себя печатную ручку станка...

Ручка станка издавала звон косы...

На белом листе бумаги отпечаток золота — Солнца.

Белый лист — золото Солнца!

Звон косы...

Белый лист — золото Солнца!

Звон косы...

Белый лист — золото Солнца!

5 июня 1970 г.

Публикация Е. Левина

Из книги «Мир Сергея Параджанова», подготовленной Благотворительным Фондом некоммерческого искусства имени Сергея Параджанова.

© Фонд им. С. Параджанова



Валерий Подорога

ЗНАКИ ВЛАСТИ (ЗАПИСИ НА ПОЛЯХ)

Редакция начинает печатать серию эссе философа Валерия Подороги, публикация которых продолжится в следующих номерах.

1929—1937—1953—1964—1985...— всего лишь отдельные фрагменты тоталитарной власти, встающие перед глазами, словно титры в немом кинематографе. Эти знаки-цифры колеблются, смещаются, ведут хоро-вод, то усиливают, то ослабляют страх, но не в силах уничтожить память о нем. У того, кто ведет им счет, неестественная поза: жест устремлен в будущее, но голова развернута на 180 градусов; невзирая на боль от смещенных шейных позвонков, он продолжает ожидать наступления новой роковой цифры. Он обречен в силу избранной позы встречать впереди себя то, что уже видел в прошлом. Он пленник этого *deja vu* власти. Несоотносимая с историческим, календарным или биографическим временем, эта власть обладает своим временем, временем страха. Структура страха может быть воссоздана в динамике вечного возврата того, что неизменно равно себе в любом порядке времени. Страх лишь повторяет в себе структуру времен власти. Поэтому так необходимо понять само повторение. Власть, если она претендует на то, чтобы выступать от лица диктатора и быть тоталитарной, действует посредством механизма повторения, или того, что я буду называть *сдваиванием* того же самого. Расширяя свое господство, она движется посредством перескоков от одной необратимой оппозиции к другой: свой — чужой, враг — друг, черное — белое, хорошее — плохое, живой — мертвый. Можно сказать, древние оппозиции, — что здесь особенного? Особенность же использования деспотической властью этих оппозиций состоит в технологиях их означивания, перекодировке. *Сдваивается* лишь то, что подтверждает бесконечную мощь власти, не *сдваивается* то, что ее ослабляет. Знаки тоталитарной власти представляют собой такие знаки, которые нельзя выбрать или произвольно отменить, ибо они повторяются в нас, перед нами, даже ради нас, они давно стали нашим образом мира. Между знаками оппозиций существует та-

кой способ обмена значениями, при котором один знак переходит в другой настолько «естественно», что никакой наблюдатель, если он вовлечен в механизм *сдваивания-повтора*, не может засечь момент перехода. Обнаруженный переход разрывает схему властных повторов, различает по времени остатки их значений, которые они в себе скрывали. Переход — это то место, где мы вдруг видим то, что с нами сделала или делает власть, но именно это-то и устраняется ею в первом же повторе. Это истечение знаков тоталитаризма по схеме *повтора-сдваивания*, где убрана возможность обнаружения перехода, я и буду называть *семиозисом* власти. Мертвый не противостоит живому, враг — другу, а черное — белому, власть принуждает их к *сдваиванию*, чтобы добиться их взаимопрозрачности, чтобы растворить их друг в друге до неразличимости. В мертвом не найти следов живого, ибо мертвое в механике повторения и есть, быть может, для нее самое живое; так ленинская или сталинская мумия в силу погружения в чистую прозрачность могилы или саркофага выходит за пределы мертвого, в другое время, более «живое», чем время живых.

Голос власти

Гитлер — человек речи, и поэтому он требует, чтобы его слушали; Сталин — человек письма, и поэтому он требует, чтобы его читали. Две различные стратегии. Известна мегаломания Гитлера: безумие архитектурных замыслов, которое преследовало его с юности, не только ограниченная деталь биографии — *циклопизм* гитлеровских фантастических сооружений совпадает у него с глубокой верой в величие массы (Э. Канетти). Те архитектурные пространства, которые он изобретал со Шпеером, главным архитектором третьего рейха, играли роль мест обитания новой массы. Но, конечно, одно архитектурное пространство не в силах открыть массу самой себе, упорядочить и подвинуть на движение в нужном направлении. Чтобы масса образовалась и пришла в движение, требуется голос Вождя, причем голос особый, скорее животный, нежели человеческий или божественный. Но что такое масса? Вероятно, масса или массивное тело — это предельный случай нарушения устойчивых, повторяемых социально-жизненных связей; она не возникает в хорошо стратифицированном социуме, где множественные связи между индивидами регулируются с помощью различных дистанций, обеспечивающих национально-территориальную, антропологическую или личностную идентичность. Масса социально экстерриториальна,

она не терпит внутри себя никаких стратификаций и соответствующих дистанций между своими элементами, в противном случае она распадается. Можно сказать, что для ее образования необходимо чистое социальное пространство. Чистое в том смысле, в каком чиста поверхность, гладкая поверхность стола, на которой растекается пролитое нами масло. Так растекается массивидное тело. В толпе и в очереди мы одиноки, боимся касаний, больше стремимся успеть, оттолкнуться, опередить, сохраняя надежду на свободу индивидуального движения; нас ничто не притягивает друг к другу. Касание всегда нетерпимо, ибо нарушает дистанционную границу, очерчивающую территорию каждого отдельного тела. Масса же образуется лишь тогда, когда отпадает потребность в развитии чувства дистанции и нарастает желание слиться с другими телами. «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной». Индивидуальное выраженное тело, переходя в массивидные телесные образования, исчезает без следа: массивидная телесность не имеет ни ног, ни рук, ни глаз, она текуча, полиморфна, плазматична, все ее стабилизирующие и удерживающие от распада формы-кости находятся вне ее, сама же она не в силах, подобно первым беспозвоночным, генерировать их в своем теле. Масса или массивидное тело любит плотность, нарастающую плотность: разрастаясь, увеличиваясь в числе, оно приобретает все большую плотность. Но плотность — это не что иное, как интенсивность. Чем плотнее массивидное тело, тем оно интенсивнее, тем в большей степени оно способно развить в своем движении к цели предельную быстроту. То, что я пытаюсь описать как массивидное тело, Канетти называл «массой», а Ж.-П. Сартр «группой в слиянии» (*groupe en fusion*). Он же говорил, ссылаясь на исторические свидетельства очевидцев захвата Бастилии, что восставшая масса двигалась с другой быстротой, которую было невозможно ни понять, ни предсказать. Дальняя цель замедляет движение массы, ближайшая — ускоряет, поэтому необходимо дробить дальнюю цель достижимостью ближайших, чтобы мощь массы и ее быстрота не переставали нарастать. Конечно, масса Гитлера — это особая масса, это, если хотите, радиомасса, масса, имеющая слух, а пока речь разносится, умножая число слушателей, масса все время растет. Если прибегнуть в данном случае к аналогии, то следует сравнить воздействие голоса Вождя на массу с воздействием звуковых волн на мягкие поверхности, когда в зависимости от высоты звука на них отпечатывается сложный и причудливый рисунок, звуко-

вое письмо. Нечто близкое к этому мы должны искать и здесь. Вот почему архитектурные пространства, изобретаемые Гитлером, создающие места обитания слушающей массы, как бы они ни были величественны и торжественны, как бы они ни восхищали и ни подавляли воображение, не в силах упорядочить массу, придать ей должное направление к желанной цели. Архитектура Гитлера — Шпеера — это объемные записи голоса Вождя на теле массы. Именно голос вождя заполняет внутренние полости имперской архитектуры, формирует массивидные тела. Следует повторить, что так же важно и с коммуникативной точки зрения: этот голос (Вождя, Нации, Родины и т. п.) благодаря эффекту глубокой резонанции действительно «делает» массивидные социальные тела, и они живут ровно столько, сколько времени звучит голос. Естественно, что голосовые вибрации Вождя воздействуют не на «душу» или «сознание» массы (нелепо предполагать наличие таких качеств у массы, если знать, что она образуется в результате их устранения), а на область ее распространения, объем и плотность, на рост ее тела. Массивидное тело рождается из голоса Вождя. Схема достаточно очевидна: голос — архитектурная форма — индивидуальное тело.

Голос становится голосом Вождя, когда получает для себя резонирующее, закрытое или полуоткрытое, но предельно обширное пространство, массивидное тело рождается со своей стороны только в момент непосредственного переживания голоса Вождя. В этом срединном пункте, где господствует архитектурная форма, каждый из двух становится собой: голос — голосом Вождя, отдельное тело, сливаясь с другим сверхтелом, телом массы. Хотелось бы отметить еще, что масса Гитлера есть масса захвата, она рождается, чтобы осуществить движение высшей быстроты, ее направление — всегда вовне.

Но так ли самодостаточен сам Голос, не является ли он чем-то вынужденно вторичным, претендуя на неоспариваемую первичность. Гитлер как архитектор мира (а может быть, как кинематографист?) рисует, набрасывает грандиозные схемы зданий — проектирующие безумие мирового захвата. Итак, сначала графический проект. Не об этом ли предупреждают Ж. Делез и Ф. Гваттари, когда указывают на несвободу варварских глоссолий от случайных порывов графического видения? Однако в гитлеровском архитектурном опыте графический росчерк может быть оживлен только голосом. Удвоенная сила графического и голосового выходит за свои грани-

цы: графический проект перестройки центра Берлина может быть реализован в совершенно иной политической карте мира, с архитектурной точки зрения он столь же фантастичен, как и видения Пиранези, и тем не менее находит реальное воплощение в речи Вождя, в вибрации его голосовых истоков, обтекающих массу и дающих ей направление. Масса или массовидное тело движется к своей цели через смерть. Поэтому гитлеровская архитектура представляет собой не только места, где масса рождается, но и где одновременно мертвет, где живое смешивается с мертвым, что увеличивает ее плотность, а следовательно, и быстроту. Набрасывается проект Триумфальной арки, превосходящей наполеоновскую в два раза. Для чего?

«Арка, поскольку стоять ей вечно, будет сооружена из твердого камня. Однако на самом деле она сложена из кое-чего более ценного — из 1,8 миллиона погибших. Имя каждого из павших будет высечено в граните. Так им будет воздана честь, но кроме того, так они окажутся все вместе, сомкнутые более плотно, чем это могло бы произойти в какой бы то ни было массе. Своей огромной численностью они образуют Триумфальную арку Гитлера...

Ощущение массы мертвецов для Гитлера — решающее. Это и есть его истинная масса. Без этого ощущения его не понять вообще, не понять ни его начала, ни его власти, ни того, что он с этой властью предпринял, ни к чему его предприятия вели. Его одержимость, проявлявшая себя с жуткой активностью, и есть эти мертвецы» (Э. Канетти).

Эта арка мне представляется чудовищным по размерам своим фонографом. Только он один в силах из этих высеченных миллионов букв породить во всех возможных регистрах голос Вождя.

Экран и число массы (С. Эйзенштейн)

Сталин не любил революционной массы: террор должен был воспрепятствовать ее возможному зарождению и непредсказуемым движениям. Это не значит, что он не хотел иметь свою массу, но эта масса должна быть другая, открытая террористическому перекодированию в любой момент времени и в любой точке пространства, застывшая, легко проницаемая для страха, казни и перемещения. Однако до того времени, когда сталинская машина террора приступила к своей «работе», мифология восставшей массы переживала свой триумф, Великим триумфатором был С. Эйзенштейн. Трудно не заметить, что архитектурная мегаломания Гитлера выглядит анах-

ронизмом по сравнению с кинематографической мегаломанией Эйзенштейна. Изобретается новый способ производства массовидных тел, в потенции ничем не ограничиваемый, — с помощью экрана. Экранизировать массу — это создавать ее. Эйзенштейна волновало, как примут его «Ивана Грозного». В интервью с Юзовским он поясняет, как сделать фильм понятным миллионам.

— Интересно, как примут, — непрерывно повторял он. — Надо будет сделать много просмотров — историки, писатели, художники и массовые просмотры. Массовые, чтобы тысячи и тысячи одновременно смотрели, лучше будут воспринимать, в тысячу и в десять тысяч раз лучше: если я один из ста тысяч — я лучше восприму, чем один из десяти тысяч.

— Значит, если я один стотысячный, я больше пойму, чем один из десяти тысяч?

— Обязательно! Такой расчет.

— И точка зрения?

— Вероятно, я так воспринимаю — с точки зрения миллионов, которые говорят через меня одного...

Возможности экрана для Эйзенштейна определяются лишь тем, что он словно не имеет своей техногенной плотности, не обладает ни сопротивлением, ни собственной точкой зрения, он визуальное ничто и поэтому может быть всем. Экран — великая проективная утопия, настольно тотальная, что в состоянии поглотить любые образы реальности, даже те, которые не выдерживают натиска со стороны массовидного и распадаются. Только экран способен создать пространство, которое могло бы выдержать любое возрастание массы, как бы ни был бесконечен ее рост. Смотрящая масса нарастает в чудовищной прогрессии: 1—100, 1—1000, 1—10 000, 1—100 000, 1—1 000 000. «Галлопирующее движение цифр», как говорит Канетти. Воздействие экрана только тогда достигнуто, когда оно включает цепную реакцию массового восприятия, последнее регулируется ритмом растущего числа. И здесь нет ничего парадоксального: экран «собирает» смотрящих, но это собиранье не остается внешним, ибо все те, кто перед экраном, должны устремляться в него, так как то, что представляет этот экран, и будет жизнью самой массы. С той интенсивностью, с какой экран осуществляет свое воздействие, и в том же порядке нарастания числа зрителей и движется само экранное изображение, которое теперь становится местом действия массовидных тел. Одинокое индивидуальное тело со всеми «переживаниями» должно начать новое движение по ритмической кривой возрастающих чисел, стать массовидным

телом, чья быстрота уничтожает всякую память о «я», «субъективности» или «сознании». Поэтому число — не количественная мера, объединяющая инертное множество дискретных единиц, не калькуляция. Число — качественно, оно есть ритм, оно или уменьшается, или растет, но никогда не может застыть, совпасть с нейтральной единицей, не им управляют, а оно управляет. Вот почему число — «душа» массы, именно его ритмическая вибрация дезинтегрирует наши телесные схемы, нашу психомиметическую обособленность от великих движений мира. Видеть — это быть числом огня, вод, пустынь, ветра. Другими словами, становление в массовидном всегда предполагает иное существование человеческого, там, в тех слоях бытия, где больше не существует ничего, кроме чистых движений, вибраций, абстракций, где нет места человеческому. Вот почему изобретательское искусство Эйзенштейна движется гораздо дальше привычного представления об экране, вот почему так нужен полиэкран, тотальный экран, чья сила захвата параллельной ему реальности была бы бесконечной, и ни одно пространство и время не могло бы устоять перед ней.

Письмо власти

Сталин как идиома...
(Из беседы с Ж. Деррида)

Некто, которого мы привыкли отождествлять с человеком по имени Сталин, говорит о самом себе в третьем лице, «товарищ Сталин...». Деспот не знает себя в первом лице, не признает себя в человеческом облике. Больше нет ни Сосо Джугашвили, ни Кобы, есть только товарищ Сталин. Человеческий образ полностью переходит в запись имени. Человеческое поглощается письмом власти. Вера в подобную самоидентификацию, сколько бы она ни казалась страстью параноидального сознания, подкрепляется данностью изначального текста власти, прототекста, где действия власти уже свершились и могут быть только повторены. Повторение действия власти есть его запись на всем том, что должно быть введено в ее текст: на человеческом теле, вещах, пространствах, денежных знаках, художественных образах. Сталин — великий творец повторных записей: с одной стороны, он претендует на роль первотолкователя этого текста и одновременно, с другой стороны, — на роль того, кто его непрерывно воссоздает, воссоздает неустанным переписыванием. Вероятно, еще с семинарских времен Сталин хорошо усвоил мистику записанного слова: то, что записано в святом тексте, выше частного разумения

и не может быть произвольно истолковано, я бы сказал, не может быть произнесено, оно может быть только переписано вновь; в данном случае не важно, на каком материале будет сделана каждая последующая запись. Текст абсолютной власти облагает достаточной силой лишь до того момента, пока его неустанно переписывают. Его же самого словно не существует. Так, ленинский текст, распадаясь на множество отдельных цитируемых кусочков, сам как бы исчезает, в виде единого канонического текста его никогда не существовало, ибо цитация для Сталина — это не авторитетное подтверждение того, что было высказано Лениным, а импульс власти, который впечатывает цитируемое в тело оппонента, корпус профанных текстов, природные объекты. Цитата как месть.

По тем скудным сведениям, которыми мы сегодня располагаем о частной жизни Сталина, мы знаем, что он был «поэтом», «переводчиком» поэтических текстов (известно о его желании перенести на русский язык образы «Витязя в тигровой шкуре»), наконец, мы изрядно наслышаны о его литературных способностях, о том, что он был «великим читателем», «великим знатком ленинских цитат», что он — автор ряда канонических текстов, ставших для других малых переписчиков бесконечным полем повторения того же самого. Нельзя отказать этим текстам в определенной последовательной процедуре, которая как бы задает сам стиль переписывания святого текста абсолютной власти.

Как же создается сталинское письмо? Основной принцип — это проведение прямой линии. Но что значит «провести линию»? Казалось бы, нет ничего проще. Следует установить точку на листе бумаги, а затем соединить ее с другой непрерываемым движением руки. Собственно, прямая линия проводится лишь в том случае, если не имеет эмпирического значения каждая из этих точек. Но если власть абсолютна, а таково начальное условие сталинского письма, то все линии ее воздействия будут прямыми. Проведение линии власти вообще не нуждается в каком-либо соотношении с эмпирической значимостью точек. Как мне кажется, образ прямой линии следует держать в памяти, но ему не следует, однако, придавать тот смысл, который навязывается школьной геометрией. Провести линию (а это значит ввести в действие письмо власти) — это не значит соединить две точки, проведение линии вообще не нуждается в каком-либо соотношении с набором существующих точек. Иными словами, в сталинском опыте власти линия проводится не от

точки к точке, а от линии к линии, то есть линия проводится всегда между любым множеством точек. Линия всегда реальна, точки же исчезающи; как линия власти, она трансцендента по отношению к любой точке, через которую она проходит, но каждая из точек должна быть имманентна. Линия реальна в высшем смысле, точки лишь возможны, но нереальны. Я бы сказал и так: линия сталинского письма выявляет или актуализует виртуальные точки, но одновременно в силу своего движения стирает их, устраняет из политической и социальной памяти. Для Сталина, так любившего проводить прочерки красного цвета на военных картах, литературных и научных текстах, было бы нелепым предполагать, что существуют некие реальные точки без линии или даже чреватые собственной линейностью, которые способны не только ограничить, завершить или прервать движение линии, но и увести в сторону действия других властных сил. Образы террористической геометрии, такие как «генеральная линия», «линия партии», «стратегическая линия», «линия на» — кстати, очень милитаристические по своему происхождению, — разом соединяют всю совокупность точек, отсекая все их случайные, автономные, сопротивляющиеся эмпирические конфигурации.

Легко усмотреть в сталинской машине письма основной принцип «работы», опирающийся на крайне упрощенные, если не примитивные сопоставления: «да — нет», «свой — чужой», «враг — друг», «коммунизм — капитализм» и т. п. Этому, казалось, соответствует и катехизисная форма сталинских речей. Используется как бы единственный режим аргументации: если есть некая начальная точка «да», то последующие точки, с ней соединяемые, уже никогда не могут быть точками «нет», иначе говоря, от точки, где утверждается «да», нет перехода по прямой линии к другой точке, где утверждается «нет»: в одном и том же высказывании власти или все должно утверждаться, или все должно отрицаться. Высказывание дублирует линию письма. Для сталинской геометрии недопустимо предположение о том, что в одном и том же высказывании возможно присутствие множества противодействующих друг другу смысловых точек «да» и «нет». Линия письма не может быть искривлена диалогически, она отрицает хоть какую-нибудь власть над собой гражданского многоголосья. Власть письма — в бесконечных повторных утверждениях: да, да, да... нет, нет, нет... И логика высказываний, строящихся от лица абсолютной власти, совершенно иная. Как только высказывание завершено (и действие власти тоже), может возникнуть следующее высказывание, которое будет не столько

отрицать, сколько стирать предыдущее. Власть, если она абсолютна, если нет ничего, что может ее ограничить, каждый раз начинается снова, как если бы каждый раз она возникала из социального и правового ничто. Поэтому бессмысленно проследить логику в действиях и речах деспота, как бессмысленно и обсуждать ее, используя возможности Голоса: в полном молчании, невидимо пишется письмо власти, движется ее линия, которую нельзя судить по геометрическому стандарту, ибо она движется через нас самих, через все, что мы любим или ненавидим, на что надеемся или от чего приходим в отчаяние. Поэтому эта линия не является прямой; вероятно, она имеет более сложные траектории, чем те, которые представляются разуму, и в то же время она всегда есть прямая, как может быть прямым террористическое действие, уничтожающее жертву всегда именно в тот момент, когда она уже исполнена надежд. Эта линия не является проектом будущего действия власти, она и есть само действие власти. Или, говоря несколько иначе: она есть всегда осуществляемая проекция, в которой настоящее действие власти совпадает с любым ее будущим действием.

Другой важный компонент коммуникативной структуры сталинского режима — чтение. Раз письмо движется, помогая разрастаться тексту власти, то должно быть и чтение как признание силы письма. Однако письмо не «звонит» голос, не открывает ему пространство, оно существует до любой возможной речи о власти и поэтому способно уничтожить ее или сводить к допустимому минимуму. Речь вторична и случайна. Отбор и формирование сталинского человека проходит через процедуры «правильного чтения». Святой текст выступает перед ним в блистании мертвой буквы, и он вновь и вновь читается, но только по правилам, не совпадающим с теми правилами чтения, которыми мы овладели в детстве. Тезис: необходимо читать правильно. Антитезис: правильное чтение невозможно. Синтез: страх. В силу того что правильное чтение невозможно (ведь в таком случае могла исчезнуть потребность как в самом тексте, так и в вожде-первотолкователе), тот, кто пытается не только правильно читать, но вообще читать, подвергается большой опасности быть обвиненным в искажении буквы и духа этой власти. Следует не читать, а повторять написанное. Повтор отдельных слов и даже букв святого текста дает относительную гарантию правильности самого чтения. Хотя и этого может оказаться недостаточно. Террор линии уходит в быт. Не то сказал, там

сболтнул лишнее, тут оговорился, здесь совершил языковую ошибку, обмолвку, опisku, опечатку и т. п., — короче, вся эта совокупность «легкой» социальной патологии не признавалась сталинской машиной террора за нечто «случайное», а истолковывалась как подлинные знаки-следы политического бессознательного, как очевидное проявление вины каждого человека перед властью. (Замечательна сцена «опечатки» из фильма А. Тарковского «Зеркало».) Было бы ошибкой полагать, что чтение текстов власти — это такое же чтение, как чтение любой книги. Иначе говоря, чтобы любая возможная ошибка в чтении текста или его недопонимание были сняты, необходимо, чтобы текст власти был нечитаем. По мере чтения тело читающего становится поверхностью, на которой власть пишет свои знаки; не ты, а она тебя читает. Не мы читаем, судим, размышляем над прочитанным, а нас читают. Читаемое вписывается в наши тела, мы — отдельные строчки, буквы книги власти, кстати, и самого властителя, тело которого, как известно, первым проходит обработку письмом абсолютной власти.

Классическим примером подобного типа вписывания деспотических знаков власти является машина наказания из новеллы Кафки «В исправительной колонии»: в зависимости от настройки она пишет на теле осужденного острыми зубьями бороны ту или иную властную формулу (вроде «чи начальника своего»). Причем диапазон действия ее письма таков, что по мере нарастания невыносимой боли у осужденного должен наступить предсмертный миг «просветления», когда он вдруг начинает читать приговор собственным телом. Письмо власти господствует над человеческим голосом, голос же деспотического закона появляется из скрежета рабочих частей машин. Машина Кафки диктует телу, каким оно должно быть, чтобы власть не замечала его. Характернейший признак тоталитаризма — абсолютное безразличие к самим материальным объектам записи: она с равным успехом и с одной и той же утомляющей монотонностью пишет себя как на живых, так и на мертвых телах, как на твердом, так и на податливом материале. Но повсюду «пишет» одно и то же: лик деспота. Свое клеймо. В плакате сталинской эпохи красным томиком Конституции СССР, географической или политической картой страны задан всеобщий коммуникативный код деспотической власти: текст, пространство и то, что их вписывает друг в друга, — профиль диктатора. Если это соотношение выразить на языке психологии, то тогда вопрос о том, что первично — фон или фигура и что называть фоном, а что фигурой, становится лишенным смысла. Пер-

вична не карта, не «красный томик» сакрального текста, первичен профиль, можно сказать, мировая линия письма этой власти. Профиль первичен, потому что он всегда «между»; он так же легко «постигает» пространство карты, как легко переходит на обложку «красного томика», он — и то и другое, он лишь повторяет себя в фигурных и фоновых проекциях. Линия письма власти собирает в деспотическом его контуре все вещи и события мира. Читается не текст (он не может быть правильно прочитан), читается профиль сил террора, накладываемый письмом на все то, что может быть видимо, слышимо или представляемо, и поэтому чтение есть повторное письмо.

Накопление сталинской массы идет через непрерывное профилирование социального пространства, где индивид лишается всех индивидуальных ниш существования, ибо он или уже стал, или становится профильным существом и видит мир, себя и других благодаря набору террористических профилей. Профиль — это первоначальный гиб письма власти, ее первый росчерк. В сущности, линия письма и состоит из таких вот профилей, которые, сцепляясь или переходя друг в друга, делают ее бесконечной. Тела, которые не поддаются репрофилированию, исчезают в линии, вне ее остаются лишь те, кто запечатлел в себе ее прошлый или будущий след. Поэтому чтение текста власти — это своего рода мнемоническое упражнение: читая, ты вспоминаешь, за что был наказан и за что еще будешь наказан, ты вспоминаешь и те следы террористического письма, которые оно оставило на твоём теле, на всем живом и мертвом вокруг тебя. Один выход: повторять букву за буквой, имитируя в каждое мгновение новую встречу с властью, возможно, тогда она не тронет тебя, будь автоматом, муляжом, овладевай авангардными пролетарскими позами и жестами, исчезай. Вот действительно выход.

Есть и другой выход, более рискованный: если предугадать будущее действие власти чтением невозможно, тогда учись слушать. «Слушай, страна!» Но что значит учиться слушать, если голос власти неслышим, стерт бесконечными линиями террористического письма? Речевые импровизации уходят из политической жизни, уничтожаются ее наиболее яркие представители, прежде всего старая партийная прослойка революционных трибунов и полемистов. Революционный голос остывает, пространство митинга замещается иерархическими пространствами парадного, музейно-выставочного и кабинетного, причем последнее начинает господствовать: в этом укрытом от глаз, секретном месте власть составляет свои

комментарии к святому тексту. Ей не нужно более что-либо говорить, ей не нужны слушатели, все эти читатели-неудачники. Слушать власть, быть к ней прислушным — это значит писать, повторять ее письмо. Одна из самых замечательных форм массового психоза повторения — донос. Действительно, донос рождается из прислушивания. Если власть отвергла собственный голос как средство выражения, совершенно несоизмерное ее могуществу, то любые голоса, вся бытовая речь умаляют значение письма власти. Донос и переводит в микрописьмо власти все эти случайные продукты прислушивания. Слушать все и всех: отца, мать, сестру, брата и т. п. В доносе, может быть, как ни в каком другом свидетельстве тоталитарной эпохи отражается сущность самой деспотической власти. Ведь доносить — это всего лишь давать письму власти проникать в самые удаленные от нее ниши социального организма, делать его вездесущим и неотвратимым, способным к переписыванию всего, даже мимолетного вздоха.

Вина in potentio

Патетическая масса, послушная нацистскому режиму, возникает на фоне отказа от чувства национальной вины (Версальский договор). Представление о территориальной, этнической и биогенетической целостности нации формируется одновременно с тотальной милитаризацией общественной жизни. «Желать войны» — вот лозунг, создающий терапевтический эффект для массового сознания. Направление террористических акций строго локализуется, их острое действует во вневенальных пространствах. Если использовать термины психиатрии, то вина нации смещается на другие национальные общности и объединения (евреи, цыгане, славяне и т. п.). Создается культ Внешнего Врага. Сталинский террор скорее следует определить как диффузный, он был направлен на борьбу с Внутренним Врагом, чей образ в зависимости от распространения волн террора постоянно менялся, поглощая ту или иную часть населения. Диффузность как раз и заключается в том, что враг «овнутряется» в социальном пространстве и не может быть локализован ни в какой нации, страте, группе или личности раз и навсегда. Это открытый тип террора, чувствительного к эскалации, точки приложения его сил, направленных против жизни, постоянно смещались, и их смещение не было ограничено ничем, разве что самим человеческим материалом, его сопротивляемостью и числом. Насаждение образа внутреннего врага — это разворачивание чувства ви-

ны. «Если ты невиновен сегодня, то будешь виновен завтра», — говорит власть. На сцену выступает прогностика вины. Но осознать вину — это значит признать не свою актуальную вину, а потенциальную. Личная, актуализованная виновность навязывалась с трудом, под пытками и угрозой смерти близких, но зато общепризнанной оказалась вина in potentio: «Я не виноват, это правда, но Другой ведь может быть виновен! Не поэтому ли я арестован?» Знакомое смещение: всегда существует некто Третий (шпион, диверсант, бандит, троцкист, изменник), из-за которого приходится страдать «честным и преданным людям». Вина смещается на анонимно, но чувство страха растет, ведь потенциальная вина — это вина всех, «круговая порука» виновности, древний и испытанный институт заложников. Каждый оказывается заложником другого. Можно сказать и иначе: страх рождается в тот момент, когда будущая жертва вдруг сознает тот факт, что потенциальная виновность кого-либо не зависит совершенно от какого-либо поступка. Актуализация вины каждого отчуждается в пользу репрессивного института.

Страх омассовляет. Потенциальная виновность является активнейшим ферментом создания послушной массы. В эпоху Сталина страх был непосредственно локализован в каждом человеке, вина же его была смежной, но они друг друга подпитывали, никогда не совпадая.

Две сверхреальности: ГУЛАГ — ВДНХ

Из двух сверхреальностей одна исчезающая, предел ее невидимого существования — ГУЛАГ; другая же, компенсирующая исчезновение первой, дается в лучезарном представлении монументальных сталинских декораций, достигающих своего наивысшего выражения в сталинском «диснейленде» — ВДНХ. Магия выставки — это магия сверхпродуктивности власти. Во имя этой второй, декоративной, фасадно-лицевой, прямолинейной реальности идет тотальный отбор все новых и новых воображаемых тел-манекенов власти: скульптурных, архитектурных, театральных, литературных, кинематографических, парадных, физкультурных. Сталинский человек — не более чем муляж. Все эти тела-манекены, все эти «милые» и «торжествующие» сюжеты изобилия и имперской гордыни, пространство, выходящее в перспективную даль, в котором они выставляются, весь этот странный ландшафт сталинской эпохи в виде «мертвой природы» и представляет собой сверхреальность, то есть реальность, которая реальнее самой реальности. Для реальности остается узкий клочок социума,

где еще задержались некоторые знаки межчеловеческих, не искаженных деспотией отношений, но они постоянно под угрозой. Их право указывать на реальность и ее освидетельствовать минимально.

ГУЛАГ — не меньшая сверхреальность, чем ВДНХ. Поль Вирилио замечает в одном из эссе: «Что такое ГУЛАГ? Это разновидность антигорода, который существует на невидимой территории». ВДНХ и ГУЛАГ — это действительно два уникальных антигорода, причем если первый как бы еще не заселен, то второй уже заселен. Оба города, конечно, обладают всей мощью сверхреальности. В частности, разве ГУЛАГ не является полигоном уникального социального эксперимента, где имперско-авторитарный тип власти может бесконечно утверждать себя? ГУЛАГ — ее сбывшийся сон. Вот почему я склонен считать, что все, что существовало до ГУЛАГа, было всего лишь «предпространство», и оно не только не имело силы противостоять гулаговому, но и являлось по отношению к нему случайным, аморфным и настолько податливым для действий власти, что обнаруживало способность мгновенно переходить в гулаговое. Это удивительное колебание друг в друге антигородов (ВДНХ и ГУЛАГа) многое может открыть анализу: пространство ВДНХ, предельно сжатое в себе, театральное, вообще не нуждается в каком-либо человеческом участии; другое же, гулаговое, напротив, предельно расширено и не имеет ни направлений, ни границ. Одно — видимо, другое — невидимо. Одно патетико-героическое, другое — пространство наказания. Когда мы говорим об Освенциме или Дахау, то имеем в виду нацистские лагеря уничтожения, когда же говорим о ГУЛАГе, то нам приходится говорить не столько о самой технологии «уничтожения», сколько о таком месте на территории СССР, которое не существовало как социально маркированное, оно отсутствует. Рабы ГУЛАГа строят каналы, заводы, фабрики, железные дороги, высотные дома, но их нет, они не существуют. Успешно выполняются пятилетние планы, а эти живые-мертвые продолжают быть невидимыми. Великие сети коммуникации и промышленные гиганты появляются из экономического и географического «ничто». В этом заключается сталинское чудо сверхпродуктивной власти, которая способна как породить мир во всем великолепии лучезарных манекенов и муляжей, так и заставить его исчезнуть в чистом пространстве лагерей ГУЛАГа. Третьего, видимо, для этой власти не дано.

Каждая власть требует для себя определенного пространства, которое присваивает и захватывает. Возможно, уникальность

отечественной истории определяется тем, что территориальные границы (то есть границы, указывающие на сам тип власти) никогда и вплоть до настоящего времени не соответствовали культурно освоенному пространству. Существовал разрыв между территорией и жизненным пространством. «История России, — писал Ключевский, — это история страны, которая колонизируется». Сталинская колонизация опиралась на ГУЛАГ, именно эта невидимая колонизация являлась главной прямой линией всей индустриализации. Этот способ колонизации никак нельзя свести к цивилизованному освоению новых пространств и территорий. Лагерь ГУЛАГа не создавали необходимой для освоения культурной инфраструктуры, да она и не требовалась, ибо всякое стратифицированное пространство опасно для имперской и тем более авторитарной власти: оно становится непрозрачным для надзирающих и карательных институтов. Громадная масса искусственно переселенных людей, потерявших всякую социальную опору и культурную память, не могла освоить эти колоссальные пространства с суровым климатом. Но сама сталинская колонизация Севера, Сибири и Дальнего Востока была самоцелью, определялась террористическим механизмом функционирования власти. Власть создавала для себя особые пространства, «чистые пространства», которые оставались невидимыми, даже несуществующими и могли быть в любой момент перемещены или вообще изъяты из процесса выкачивания материальных богатств.

Секретность как воля к власти

Неубереженность перед лицом власти, а отсюда чувства страха и тревоги стали в нашем обществе великим мифом. Но самое обескураживающее то, что этот миф и есть сама реальность. Пока еще между социальной активной и творческой личностью, отдельными инициативными группами населения и властью как системой запретов и сегодня не отыскать промежуточного социального пространства (то есть того, что обычно называют гражданским обществом). Ничто пока не ограничивает действие властных структур до демократически разумного предела, благодаря которому их действия могут осуществляться исключительно в рамках законности и легальности, ибо власть, чьи механизмы прозрачны, видимы и доступны для всех членов общества, это уже другая власть. Напротив, власть, которая претендует на имя абсолютной, по своей природе не может быть законной. Этот тип власти в несравненно большей степени, чем какой-либо другой, стремится к тайне секретности, закрытости.

В эпоху становления абсолютных монархий (особенно во времена Людовика XIV) управление общественными и политическими делами осуществлялось по принципу «секретных писем» (*lettres de cachet*). Такого рода письма имели силу административных указов и исполнялись немедленно, без санкции со стороны парламента. Как тут не вспомнить сталинские списки приговоров, рекомендации, советы, приказы и захватившую население страсть к доносительству, особенно во времена террора. Секретное письмо и донос невозможно отделить друг от друга, и то и другое — важнейшие элементы секретности властных функций. Даже сегодня не эти ли секретные письма повторяются с гротескным подобием в логике административных инструкций и телефонном праве, в подзаконных актах, тайных решениях, комитетах спасения? Долгие годы продолжающееся сближение тайны и власти в конечном итоге превратило саму власть в дело, которое своим существованием ставит под сомнение закон. То есть видимые формы деспотической власти не являются формами самой власти и никоим образом не объясняют того, как эта власть реально действует. Они морализируют, мифологизируют, рассказывают историю этой власти (кстати, обычную историю о «гадком утенке»), но не имеют никакого отношения к конкретному технологическому процессу самого властвования. Именно он окутан тайной, бдительно и ревниво охраняемой. Этот тип власти как бы колеблется на двух уровнях, переходя с одного на другой: один образует то, что можно назвать трансценденцией власти («светлое будущее», «жертвы не напрасны», «есть такая партия» и т. п.), другой — имманенцией власти («действовать не по закону, а по совести»). На одном уровне власть заявляет о себе как о сверхсоциальной силе, вне- и надобщественной инстанции «последнего суда»; на другом уровне ее конкретных действий она оказывается имманентной всему невидимому пространству асоциальных и антигосударственных сил. Иначе, она и без закона и вне закона, она либо неподотчетна любому возможному гражданскому обществу, либо направлена прямо против него и никогда не даст ему сложиться. В сферу социально видимого попадает, как ни странно, трансцендентная функция власти, все эти внешние знаки власти, ее реквизиции, полномочия и символика. Ширмой для этой власти становится вся государственная система. Все то, что мы приписываем власти, и говорим, указывая на нее: «Вот она, посмотрите, как она действует!», является не более чем оптической ошибкой, ибо она всегда действует так, чтобы в мо-

мент действия никто не мог сказать, что это действует власть, и приписывать ей ответственность за свершенное. Тайна и есть то безвоздушное пространство власти, где задыхается правовое общество, но где власти дышится легко.

Суицид. Две политики террора

Достаточно сделать небольшой исторический экскурс в наше ближайшее прошлое, чтобы увидеть, насколько еще мы остаемся пайщиками становления неоимперской власти. Очевидно, что в сталинскую эпоху террористические акции были непосредственно локализованы на человеческом теле: оно подвергалось пытке, дознанию, устранению, казни, голоду, насильственному перемещению и т. п. Изобретались все новые и новые карательные средства для того, чтобы сделать индивидуальное тело его памятью, интимной жизнью, судьбой) социально-политически и национально невидимым. Во имя чего? Во имя создания нового типа тела, коллективной телесности как основного ресурса тоталитарной власти. Пространство повседневной жизни и образы «светлого будущего» определялись тем, что оставалось социально невидимым, — бериевской картой лагерей. Власть действительно казалась чудом сверхпродуктивности, во всяком случае так представлялась ей самой (невидимые рабы ГУЛАГа как создатели материального богатства, самый дешевый труд как труд самый продуктивный). Единственным препятствием для этого типа власти оставалась лишь Природа. Можно даже сказать, что деспотическая власть во всех ее возможных схемах тоталитарности или авторитарности существует только до тех пор, пока существуют людские и природные ресурсы, пока существует бесконечная по своим ресурсам Природа, то есть Природа как Миф. И эта власть космократична, ибо решительно отрицает Историю.

В последующие годы произошла явная трансформация террористической направленности власти, она как бы стала иной, но от этого не менее, а даже более деструктивной. Деструктивной в силу изощренности и присущей ей с самого начала политической слепоты. Террор сталинского типа со всеми его массовыми эксцессами уходит в тень; власть не столько утрачивает интерес к непосредственному насилию над человеческим телом, сколько понимает, что вся область существования и выживания человеческого тела уже достаточно деформирована непрерывностью многолетнего террора и поэтому является продуктом этого типа властвования. Однако террор не прекращается, он лишь меняет точки приложе-

ния своих деструктивных сил. ТERRORИСТИЧЕСКОМУ освоению подвергается весь горизонт природной материи, окружающей, дающей и поддерживающей его жизнь: воздух, вода, питание, лечение, рождение, детство, смерть. Стратегия дефицита жизни все в большей степени становится содержанием власти. Теперь она, уже превратившая человека в один из природных объектов, может бесконечно наращивать свое могущество, политическое и экономическое, становясь главным и, пожалуй, единственным потребителем природной материи, всех ресурсов жизни: еще больше металла, еще больше зерна, еще больше электроэнергии и нефти, — всего больше, еще больше, еще... Эскалация, параноидальная идея — потрясти, разрушить, захватить Природу становится великим символом бесконечности власти, который лишен качества западной государственности, ибо и не пытается охранять жизнь и собственные основания, а бессознательно соизмеряет себя лишь с бесконечными ресурсами Природы. И естественно, что с истощением последних она гибнет. Более того, она существует как определенный и крайний вид властных отношений. Она введена этой волей к самоуничтожению, инстинктом смерти, который не устает обесценивать жизнь. Не Жизнь, а Смерть является ее сутью, ее символом. Сама технология этой власти эффективна только в той степени, в какой она способна превращать живое в мертвые объекты природы. Антиэкологический пафос созидания массовидного, великого, бесконечного — это все тот же пафос смерти. Смерть все чаще предстает перед нами в качестве банального события повседневности. Государственная политика становится политикой суицидального, самоубийственного, политикой уничтожения национальных ресурсов жизни.

Наконец, наступает время, когда подобный тип власти натывается на предел собственного существования и именно в силу этого не находит способов контролировать процессы собственного воспроизводства, ибо они ограничены возможными природными ресурсами. Собственно, можно говорить о двух видах политики имперского толка. Первый можно было бы назвать макрополитикой, так как она в основном базировалась на избыточности видимых природных и людских ресурсов; она даже достигла неких форм спонтанной искусности в разработке стратегий дефицита как политических стратегий (особенно эффективной оказалась политическая и идеологическая манипуляция продуктами первой необходимости). Эта власть дарует своему подданному право на жизнь, но только в той мере, в какой он остается ее вечным

должником, что вполне закономерно, ибо в жизни она не видит ничего сверхценного и не умеет ее поддерживать и охранять. Но второй вид — это уже та политика, что осуществляет власть как бы за пределами собственного существования. Что значит «производить хлопок»? Это значит уничтожить природно-жизненные ресурсы тех, кто хлопок собирает. Но одновременно уничтожать и то, что составляет основу существования самой власти.

Иначе говоря, такую политику можно определить как микрополитику, или, еще точнее, как молекулярную политику, которая захватывает и разрушает, истощает и распыляет ресурсы жизни уже на микроуровнях существования природной материи (вырождение населения, частота заболеваемости и смертность, вплоть до угрозы возвращения эпидемий древности, экологическая катастрофа). Но если на уровне макрополитики еще было возможно управление процессами жизни через террор и угрозу насилием, то в микрополитику включаются такие процессы, которые делают саму власть игрушкой в руках будущей катастрофы. Микрополитика и показывает нам, что для того, чтобы тоталитарной тип власти еще мог продлить свое существование, нужно в неограниченном объеме возобновлять природные и людские ресурсы, ибо эта власть есть патология природы. Она природна только в негативном смысле, ибо считает себя историей, а все, что вне ее, всего лишь природой. Вероятно, об этом типе властвования нужно говорить не на языке исторических событий, а на языке природы, причем природы инфицированной. Поэтому эта власть в своем предельном образе является не столько бюрократичной, сколько космократичной; цель ее бесконечной агрессии — Природа. Молекулярная политика конца империи и имперского сознания. Найдем ли мы в себе силы вырвать труд и мысль из деспотического капкана, сдвоенных до неразличимости структур макро- и микрополитики?

Стена

Ф. Кафка в притче-исследовании «Как строилась китайская стена» попытался доказать, что эта великая стройка велась не только ради защиты Китая от набегов кочевников Севера и не для того, чтобы в конечном счете завершить обустройство империи: сначала построить стену, а затем башню (стена будет основанием башни). Стена возводилась ради пустых проемов. Она строилась непрерывно многими поколениями (во всяком случае уже мало кто помнит, что было до стены). Сооружалась она фрагментарно, отдельными сдвоен-

ными блоками по 500 метров. После соединения двух блоков рабочие перемещались на другое место и вновь начинали строительство. Если каждый труженик ежедневно размышлял о возможности завершения строительства стены (а он действительно испытывал радость победы после завершения постройки каждой ее части), то в «дальних укрытых» покоях императорского дворца мудрые зодчие думали о «пустоте» межстенных проемов. Поэтому рост стены-башни у Кафки определялся планированием «пустых пространств». Они не должны исчезнуть, ибо завершение строительства — гибель самой космократической модели императорской власти, которая родилась одновременно с началом строительства и с его окончанием должна умереть. Власть озабочена созданием брешей и их заполнением, причем если одна заполняется, то другая обязательно зияет, но никогда и ни в какой момент времени заполнение не совпадает с брешами, они независимы друг от друга, хотя и смежны. Так власть правит благодаря брешам, разломам, пропускам, пустотам — ведь через них проникают враги, которые в силу этих межстенных проемов становятся вечной угрозой империи и вечной основой власти.

Кафка отмечает странную зависимость между беспредельностью императорской власти (власть как понятие) и ее бессилием (власть как весть). Из императорского дворца, расположенного в сердце империи, отправляется гонец с императорской вестью. Но ему никогда не достичь ждущих этой вести провинций, и не столько из-за великой протяженности империи, обширности императорского дворца, перепутанности его внутренних переходов или из-за множества толп придворных, сквозь которые он вынужден пробираться к выходу, сколько из-за того, что императорский дворец остается единственным местом, где власть еще соединяет себя с обликом императора, где император-человек еще неотделим от императора-божества, словно власть, как только она покидает пределы дворца, перестает существовать. Другими словами, власть императора реальна лишь в те моменты, когда она может себя демонстрировать подданным непосредственно в сиянии императорского облика. Власть — это то, что сияет. Так же как строится стена, движется и гонец с вестью в пределах императорского дворца. Весть, исходящая от власти, подобна новому проему в стене, ибо весть — это такая эманация власти, которая потребляется самой императорской властью. Важно не то, что она достигнет ушей и глаз подданных, важно, что она отправлена, следовательно, жив император,

жива его власть. Конечно, это не значит, что весть не достигает провинций империй (правда, приходится ждать иногда тысячу лет). Она достигает... и каждый житель хранит образ императора. Гонец прибывает на дальние окраины империи, как свет далекой звезды, всегда с запозданием, и поэтому в империи всегда правят давно умершие императоры (о них слагают песни, рассказывают анекдоты, от их имени ведут сражения). В этом запоздывании вести нет ничего удивительного, как нет ничего удивительного в том, что стена так и не будет построена, ибо бессилие и величие власти регулируется порядком космоса, а не порядком человеческого усилия. Неуслышанная весть и незаполненный проем неустанно резонируют друг в друге, повторяют себя вновь и вновь. Вот почему облик императора — всегда в сердце подданных, как образ завершенной стены — в сердце каждого строителя.

Глаз власти. Помнить М. Фуко

Нет нужды прибегать к армии, физическому насилию, материальным принуждениям. Достаточно одного глаза.

М. Фуко

Абсолютистская архитектура не испытывала интереса к частному пространству подданных. Все, что было вне досягаемости интересов абсолютистского видения мира, оставалось лишь природным явлением, годным лишь к тому, чтобы быть изымаемым. Для просвещенного идеолога XVIII века нет ничего более сомнительного по своему назначению, чем эти громадные, подобные мрачным глыбам на офортах Пиранези архитектуры старых тюрем с их узилницами-подвалами, романтикой подземного дьявольского колорита, которым окрашивает народное предание упрятанных в тьму преступников; эти цепи, запоры, каменные блоки, ряды решеток и «секреты» тайных дознаний — знаки суверенного могущества. Старая тюремная архитектура полна мифологии; ее величие зиждется на исполнении трех условий: закрывать, лишать света, утаивать. Чистое отражение абсолютистского могущества. Постепенно, но еще в стороне от абсолютистской геометрии, обожествляющей вертикальные сечения и тяжесть иерархии, начинают складываться иные принципы контроля за социальным пространством. Как добиться рациональной организации человеческих множеств власти, основанной не на крови и страхе со всем мрачным величием видимых знаков ее мощи, а власти невидимой, но еще более телесной, способной предотвращать катастрофы, эпидемии, бунты, быть гарантом более эффективного производства,

новой экономии послушания и полезности? Возникающие в это время утопии «общественного счастья», «прогресса», «идеального общества» — результат просветительских надежд на возможную перестройку социального и политического пространства по законам разума и «прозрачности» человеческих отношений. Подобные утопии не перестают появляться в течение XVII—XIX веков (Бентам, Руссо, Сад, Фурье). Среди них выделяется своей аналитической простотой дисциплинарная утопия И. Бентама — паноптикум.

Паноптикум Бентама сменяет королевский зверинец, впервые сконструированный в Версале для Людовика XIV, и представляет собой не только первообраз будущей тюремной архитектуры в своем идеальном масштабе и не просто совершенную утопию тюрьмы-государства, но и универсальную модель власти познания, чья геометрия, простота технологического решения и эффективность в организации человеческих множеств преобразовали всю конкретную практику надзора, наказания и обучения и т. п. Другими словами, возникающий тип властвования — дисциплинарный — стремится, не в пример прежней практике королевских судов и магистратур, получать для всей области социальных и межчеловеческих отношений «гомогенные эффекты власти».

Примечательно устройство паноптикума. Надзиратель, находящийся в центре, в башне надзора, благодаря широким окнам внутренних стен камер в состоянии следить за поведением любого из заключенных. Более того, наблюдение осуществляется таким образом, что наблюдаемый не должен и не может знать, когда, кто и по какой причине за ним наблюдает. Здесь действует принцип «нарушенной коммуникации» (коммуникация без обратной связи), эффективность которой зависит от выполнения двух необходимых условий: власть в лице великого надзирателя должна видеть, но сама оставаться невидимой; видимость является ловушкой. Для этой анонимной власти совершенно безразлично, кто осуществляет функции надзора и управления, она становится тем более эффективной, чем менее зависит от индивидуальных, персонифицированных свойств ее носителей. Таков замысел проекта Бентама, с которым он обратился к Конвенту Великой французской революции.

Идея паноптикума — идея универсальной «прозрачности». Руссо видел совершенное общество как абсолютно прозрачное для его представителей: ни одно отношение, ни один процесс, элемент или событие не может образовать неясную, непрони-

цаемую для наблюдения сферу, но темное тело абсолютистской власти, блистающее своей видимостью, ввергает общество в хаос случайных решений и репрессии. Но кто обеспечивает и контролирует эту прозрачность и кто размещается в башне надзора? Если это закон, то нас вновь возвращают к старой архитектуре абсолютистской власти. Башня вздымается все выше, а периферия уходит в неясную тень, отбрасываемую башней, и тогда закон открывает себя в суверенном лике: тот, кто видим всеми, никого не видит. Закон действует посредством прерывистых эманаций, спорадически, поэтому пространство быстро иерархизируется, наделяется качественно различными знаками дальности и т. п. Поскольку закон всегда трансцендентен, ему необходим временной интервал для собственного исполнения (или бесконечно малый, или бесконечно большой, — сам закон эту разницу во времени не «ощущает»). В любом случае закон трансценденции будет мало эффективен даже тогда, когда кажется, что он осуществляется имманентным образом, например, прибегая к террору (казнь как запись закона на теле преступника). Взор суверена ослепляет и его самого. Другое дело — взор из башни надзора, циркулирующий, динамичный, всепроникающий. Именно этот взор, не принадлежащий никому и одновременно принадлежащий всем, способен, делая все видимым, сам отсутствовать, или точнее, присутствовать только в порядке пространства, которое он сам освещает и одновременно создает. В отличие от Бентама, которому так и не стало ясно, кто должен размещаться в центральной башне, Фуко постулирует в этом пространстве всенаблюдения отсутствие лика центральной инстанции, но присутствие «чистого взора». Только разрушив башню, но удержав взор, можно придать власти имманентный характер, и не Власти, а властям. Только тогда это пространство станет предельно динамично, совокупностью противоборств и взаимного надзора. Ни один из пунктов наблюдения не в силах завоевать или «присвоить» себе позицию, равную трансцендентности старого Закона; и любая позиция, так как она всегда существует одновременно как смежная по отношению к другой, имеет законоподобный характер, оставаясь имманентной проявлению собственных беззаконий. Фуко уточняет: «В паноптикуме каждый, располагаясь в своем месте, наблюдаем всеми или некоторыми из них. Мы обладаем здесь аппаратом тотального и циркулирующего недоверия, так как отсутствует абсолютный пункт наблюдения». Это власть, которая

сама себе ставит пределы, сама себя наблюдает.

Паноптическая машина наблюдения диссоциирует отношение между «видеть — быть видимым»: если некто видит, то сам он невидим; если некто видим, то он не видит того, кто за ним наблюдает. Сходным образом действует и дисциплинарная власть: она безразлична к наличному материалу истории, не «работает» с законченными структурами и извлекает из социальной реальности лишь то, что находится «под рукой» в данный момент времени: остатки и клочки разнообразных технологий, ритуалов, элементов исторической психологии, вводя все это в определенный вид игры, которую Леви-Строс описал под именем бриколажа. Дисциплина — разновидность бриколажа власти. И не только потому, что она без устали фабрикует все новые и новые причудливые сочетания гетерогенных элементов (политических, познавательных, воспитательных и т. п.), но и потому, что не имеет никакой другой цели, кроме создания для власти пространства бесконечных операций с человеческим телом. Контроль за «живым» (а не «мертвым») телом требует чувствительных средств, тем более что контроль более не осуществляется прямым насилием или угрозой смерти. Стигма накладывается на человека не прямым «затрагиванием», а организацией окружающего пространства.

В идеале дисциплина должна образовать такое пространство, закрытое «пространство в себе», которое было бы максимально, вплоть до мельчайших деталей дифференцировано, просматривалось со всех возможных пунктов наблюдения, где индивиды располагаются в определенных местах, где даже незначительные движения контролируются, а все события подлежат регистрации, где непрерывная работа сегментов-канцелярий связывает центр и периферию (причем так, что отпадает необходимость в этой оппозиции), где каждый индивид постоянно проверяем, повторяем и распределен среди подобных. Для безумия, преступления, труда и войны создаются особые дисциплинарные геометрии со своей особой, но близкой друг другу по основным принципам наблюдения и коррекции с размещением камер, учебных залов, палат по кругу или по обе стороны нескончаемых коридоров или в виде пирамиды. Важно лишь то, что любое пространственное размещение человеческого тела, если оно сулит победу над его упорством и аффектами, может быть использовано. Дисциплинарный контроль устремляется все дальше в глубь телесной практики, и как бы ни была сложна

и закрыта она от вторжения, он ждет своего часа, чтобы разложить наиболее спонтанные и сложные функции тела на ряд контролируемых и повторяемых операций, которые уже можно комбинировать таким образом, чтобы рациональное постоянно увеличивало свою власть над естественным в человеческом поведении: дисциплина «увеличивает силы тела (в экономических терминах полезности) и уменьшает те же самые силы (в политических терминах послушания)».

Поэтому (раз задача состоит в том, чтобы «диссоциировать власть тела») не только схема паноптикума (центр — периферия по кругу), но и всевозможные типы иерархий, новые виды пространственного контроля, которые открывают современные науки, играют роль пространственных ловушек для тела. Дисциплинарная власть овладевает временем, заставляет его проявляться в ущерб другим своим измерениям, например, в качестве лишь линейного времени, которое затем находит свое выражение в идеях «прогресса» и гармонического развития индивида. Или напротив, способна дробить время, предельно убыстрять, смещать и «тормозить» его течение в пространственных структурах и т. п. Все это следует учитывать, когда мы пытаемся понять, как работает европейская дисциплинарная машина, использующая подручный материал знания (оптику, механику, геометрию, психологические, психиатрические, медицинские параметры и т. д.) в той мере, в какой он служит или еще может служить в качестве «физической» поддержки глобальной стратегии власти: обучить человеческое тело послушанию и полезности.

После великих европейских реформ XVIII века власть более не ограничивается пределами, поставленными ей могуществом суверена; она обретает свое новое могущество в технике дисциплинарного анализа, становясь «невидимой», «неощутимой», так как проникает все глубже в поры социального организма ради одной цели: упорядочить время и типы пространственных локализаций в самых мельчайших событиях и процессах социальности, там, где нет ничего, кроме тела (никакого «сознания», «души», «субъекта»). Но человеческое тело теперь не просто пассивный объект, «сжатый» в пространство точки, а живое единство разнообразных функций. Вот почему невозможно подавить, придать с помощью контроля, нормы, упражнения, экзамена необходимые социальные функции отдельным телам (их жестах, скорости, экономии сил). Однако благодаря возникновению дисциплинарных пространств формируется

новая политическая анатомия, открываются прежде невиданные возможности для обучения, наказания, надзора. С тех пор как практика дисциплинарного анализа завладела человеческим телом, поставив себе целью вести индивида от одной дисциплинарной инстанции к другой, причем так, чтобы ни в какой из моментов жизни и деятельности он не покидал это великое пространство дисциплин,— с тех пор, как утверждает Фуко, мы и получили право рассуждать о психиатрии, педагогике, психологии, криминологии, то есть о той области человеческого познания, которую сегодня называют науками о духе.

Долг тела

Первое, на чем деспотическая власть пишет свой закон, есть человеческое тело. Власть «выслеживает» и организует удобным для себя образом форму караемых тел, стигматизирует, как говорят юристы, то есть помечает отрицательными знаками: «Теперь ты вне закона, теперь ты тот, кто приговаривается, устраняется, расчленяется, подвергается обследованию и т. п.» Стигма-печать власти. Процесс стигматизации располагается всегда в этой системе жестокости на уровне телесного прямого контакта. В «Генеалогии морали» Ф. Ницше отвергает наивную телеологию права и наказания и придает решающее значение архаическим процедурам стигматизации, которые обеспечивают воспроизводство особой социальной памяти — памяти через боль, через кровавую мнемотехнику наказания. «Можно даже сказать, что повсюду, где еще сегодня сохраняются на земле торжественность, серьезность, тайна, неясные отсветы в жизни человека и народа, там действует нечто подобное ужасу, к которому когда-то повсюду зывали на земле, который оправдывали, прославляли: прошлое — длительное, глубочайшее, устойчивейшее прошлое — дышит нам в затылок и появляется в нашем сознании, когда мы хотим стать серьезными. Оно никогда не уходит без крови, страданий, жертв, когда человек понуждается к тому, чтобы сделать себя памятью: страшная жертва и заложничество (куда относят первичную жертву), удивительные извращения (например, кастрации), исполненные злости ритуальные формы всех религиозных культов (а на начальных ступенях все религии являются системами жестокости) — все это имеет свой первоисток в каждом инстинкте, который могущественными вспомогательными средствами мнемоники угадывается в боли». Видеть, «чувствовать», наслаждаться

ся болью другого человеческого тела. Ницше говорит о «наслаждении в насилии». Тело Другого, вступающее в контакт с властью-деспота, обременено вечным долгом, это тело должника власти, и долг бесконечен, он имеет тенденцию только расти. Отдание долга «включает» в работу первую систему жестокости: отдается то, что невозможно отдать, само тело должника, оно режется, фрагментируется, перерубается, короче, участвует в обмене с властью деспота на неравных условиях.

Могущество деспота настолько велико, что на теле должника может быть разыграна практически любая фигура террора. Избыток силы открывает путь к наслаждению болью другого. Однако существует и опасность. Подчас вся система террора может перейти в фазу беспорядочного насилия, если будет полностью подчинена садистской паре: наслаждение деспота — в боли другого. Террористические процедуры, охваченные стремлением деспота к наслаждению, превращают относительно регламентированное насилие в разнородность праздника, а это значит — в свободу насилия для всех. Подымающийся от крови пар вдыхает не только деспот и его ближайшее окружение. Во времена сталинского террора наслаждение болью других то тут, то там пробивалось на поверхность карательной системы. Последние ругательства, которые писал Сталин и его подручные на списках приговоренных к смерти, или та же эпидемия доносительства, когда стукач, выписывая последние строчки доноса, словно вступал в недоступную сферу высшего наслаждения — наслаждения неограниченной властью. Увидеть боль другого, услышать, как его «берут», — разве это не означает пережить себя в какое-то мгновение равным деспотической воле, обрести статус палача и перестать быть потенциальной жертвой? Ухо и глаз становятся теми органами, где рождаются картины чужой боли, органами наслаждения. Чудовищная эскалация террора в конце 30-х годов в немалой степени определилась этим массовым наслаждением от тайного насилия. Террор, однако, не может развешиваться в недопустимых прогрессиях; как только запись деспотического закона становится наслаждением для всех, кто ей так или иначе способствует, так тут же она теряет свой нейтральный, систематический характер, свое великое безразличие, точность повторения, страх, становится уязвимой, обнаруживая тела всех тех, кто испытывает наслаждение и кто испытывает боль.

НАШИ АВТОРЫ

АКИМОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1938 г.). Закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1969 г. (мастерская М. И. Ромма). По своему сценарию поставил фильм «Нам некогда ждать» (1971 г.). Автор сценариев фильмов «Прости-прощай» (1977 г., реж. Е. Кузнецов), «Точка отсчета» (1978 г., реж. В. Туров), «Дым Отечества» (1980 г., совм. с Э. Володарским, реж. Я. Лапшин), «Демидовы» (1983 г., совм. с Э. Володарским, реж. Я. Лапшин), «Мир вашему дому» (1983 г., реж. Т. Сабиров), «Родники Минг-Булака» (1984 г., реж. Э. Хачатуров), «Семь часов до гибели» (1984 г., реж. А. Вехотко), «Капкан для шакалов» (1985 г., реж. М. Махмудов), «Сержант» (1986 г., реж. С. Гайдук), «Отряд специального назначения» (1987 г., совм. с Э. Володарским, реж. Е. Кузнецов), «Случай в аэропорту» (1987 г., реж. Ю. Юсупов), «Зов родственного томления» (1989 г., реж. В. Сивак), «Приказ» (1988 г., реж. Ю. Оксанченко). Автор новеллы «Володя» («Киносценарии», № 4, 1989 г.), сценария «Четвертая сторона треугольника» (1990 г.).

ВОРОНКОВ ДМИТРИЙ СПАРТАКОВИЧ (род. в 1955 г.). Закончил философский факультет Уральского государственного университета в 1983 г. и сценарный факультет ВГИКа в 1989 г. (мастерская К. Парамоновой и И. Кузнецова). Дипломная работа — сценарий «Мemento мори» (опубл. в журнале «Киносценарии» № 6, 1989 г.). Автор сценария короткометражного фильма «Лопух» (1987 г., реж. В. Поздняков), а также сценариев «Комсомольский секретарь» (1987 г.), «Муэдзин» (1989 г.). С 1990 г. — слушатель Высших режиссерских курсов (мастерская В. Мотыля).

КОЗЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АНТОНИЕВИЧ (род. в 1946 г.). Закончил Омский политехнический институт в 1967 г., школу-студию МХАТ в 1976 г. Автор сценариев фильмов «Руфь» (1990 г., реж. В. Ахатов), «Квартира» (1990 г., реж. А. Курбанов), «Старуха» (снимается на киностудии «Мосфильм», реж. В. Гемс), а также сценариев «Гувернантка» (1990 г.), «Я обещала, и я уйду...» (1990 г.), «Четыре листа фанеры» (1991 г.). Фильм по сценарию «Как жуеет, караси?...» снимают реж. М. Швейцер и С. Милькина.

ЛЕОНТЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1927 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1952 г. Автор сценариев художественных фильмов «713-й просит посадку» (1962 г., совм. с А. Донатовым, реж. Г. Никулин), «Доктор Вера» (1965 г., совм. с Б. Полевым, реж. Д. Вятч-Бережных), «Нежданный гость» (1966 г., совм. с В. Железниковым, реж. В. Монахов), «Серебряные трубы» (1968 г., совм. с В. Железниковым, реж. Э. Бочаров), «Улица без конца» (1972 г., совм. с И. Герасимовым, реж. И. Добролюбов), «Братушка» (1975 г., совм. с С. Дудовым, реж. И. Добролюбов), «Очная ставка» (1987 г., совм. с реж. В. Кремневым), телевизионных фильмов «Белая земля» (1971 г., реж. А. Карпов), «Нежность к ревущему зверю» (1985 г., совм. с А. Бахваловым, реж. В. Попков), «Люди и дельфины» (1986 г., совм.

с Ю. Аликовым, реж. В. Хмельницкий), «Джамайка» (1988 г., реж. М. Орлов) и др.

МАЛАХОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ (род. в 1961 г.). Закончил факультет экономики и права Университета дружбы народов в 1984 г. и исторический факультет МГПУ в 1991 г. Старший научный сотрудник Института экономической политики. Автор статей по проблемам политической и экономической психологии.

МУСАКОВ ЗУЛЬФИКАР (род. в 1958 г.). Закончил режиссерский факультет Ташкентского театрального института в 1981 г. и режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров Госкино СССР (мастерская В. Грамматикова) в 1989 г. По своим сценариям поставил короткометражные фильмы «Судный день» (1983 г.), «Ласточка» (1987 г.), «Солдатская сказка» (1989 г.). Автор сценария фильма «Романс-уркаганс» (1991 г., реж. Ю. Сабитов). Совместно с Р. Мухамеджановым написал сценарии фильмов «Абдуллажан, или посвящается Стивену Спилбергу» (1989 г., реж. З. Мусаков), «Бедолаги» (1990 г., реж. Д. Касымов), «Первый поцелуй» (1990 г., реж. Б. Адыков).

МУХАМЕДЖАНОВ РИХСИВОЙ (род. в 1940 г.). Закончил филологический факультет Ташкентского государственного университета в 1962 г. и сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров Госкино СССР (мастерская И. Ольшанского, О. Агишева) в 1972 г. Автор сценариев фильмов «Баллада о белогривой» (1975 г., реж. Т. Акрамов), «Дуэль под чинарой» (1978., реж. М. Абзалов), «Суюнчи» (1980 г., реж. М. Абзалов), «Чантримори» (1990 г., реж. Ф. Хайдаров). Совместно с З. Мусаковым написаны сценарии фильмов «Бедолаги» (1990 г., реж. Д. Касымов), «Первый поцелуй» (1990 г., реж. Б. Адыков), «Абдуллажан, или посвящается Стивену Спилбергу» (1989 г., реж. З. Мусаков).

ОНОПРИЕНКО ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ (род. в 1925 г.). Закончил сценарный факультет ВГИКа в 1954 г. (мастерская Е. Габриловича и И. Вайсфельда). Автор сценариев фильмов «Гори, моя звезда» (1958 г., реж. А. Слесаренко), «Разведчики» (1960 г., реж. Л. Швачко), «Молчат только статуи» (1962 г., реж. В. Денисенко), «Катя-Катюша» (1963 г., реж. Г. Липшиц), «В бой идут одни старики» (1973 г., реж. Л. Быков), «Если рядом мужчина» (1975 г., реж. В. Гажну), «За твою судьбу» (1977 г., реж. Т. Золоев), «Праздник печеной картошки» (1978 г., реж. Ю. Ильенко), «Если враг не сдается» (1980 г., реж. Т. Левчук), «Поезд чрезвычайного назначения» (1982 г., реж. В. Шевченко), «Кодовое название «Южный гром» (1984 г., реж. Н. Гибу), «Женские радости и печали» (1983 г., реж. Ю. Черный), «Завтра жить» (1987 г., реж. В. Пидпальный) и др. Сценарий «Чаклун и Румба» опубликован в журнале «Киносценарии», № 2, 1990 г.

ПАРАДЖАНОВ СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ (1924—1990 гг.). Закончил режиссерский факультет ВГИКа в 1951 г. (мастерская И. А. Савченко и А. П. Дов-

женко). Постановщик художественных фильмов «Андреш» (1955 г., реж. совм. с Я. Базеляном, авт. сцен. Е. Буков и Г. Колтунов), «Первый парень» (1959 г., сцен. П. Любецкого и Б. Безбудько), «Украинская рапсодия» (1961 г., сцен. А. Леванды), «Тени забытых предков» (1964 г., реж. и сцен. совм. с И. Шендей), «Саят-Нова» (1968 г., сцен. опубликован в журнале «Киносценарии», № 1, 1990 г.), «Сурамская крепость» (1985 г., сцен. В. Гигашвили и Д. Абашидзе), «Ашик-Кериб» (1988 г., сцен. Г. Бадриадзе), а также документальных фильмов «Акоп Овнатян» (1965 г., реж. и авт. сцен.), «Арабески на тему Пиромани» (1986 г., сцен. К. Церетели и др. Автор сценариев «Киевские фрески» (1965 г.), «Ара Прекрасный и Семирамида» (1968 г.), «Давид Сасунский» (1969 г.), «Исповедь» (1969 г., опубликован в журнале «Киносценарии», № 1, 1990 г.), «Золотой обрез» (1970 г.), «Дремлющий дворец», «Чудо в Одессе» (1971 г., оба совм. с В. Б. Шкловским), «Лебединое озеро — зона» (1988 г., опубликован в журнале «Киносценарии», № 1, 1990 г.) и др.

ПОДороГА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.). Закончил философский факультет МГУ в 1970 г. Заведующий лабораторией постклассических исследований в философии (литература, искусство, политика) Института философии АН СССР. Автор статей по проблемам философии.

ПОТАПОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ (род. в 1953 г.). Закончил Фрунзенский политехнический институт в 1975 г. и Литературный институт им. А. М. Горького в 1991 г. Автор пьес «Сезон улиток» (1986 г.), «Дурный угол» (1987 г.), «Допрос», «Очередь» (1988 г.), «Лав стори» по-русски (1989 г.), «Нищие духом» (1990 г.).

ФИЛАТОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ (род. в 1948 г.). Закончил физический факультет МГУ в 1972 г. Редактор отдела журнала «Вопросы философии». Автор книги «Научное познание и мир человека» и статей по проблемам философии.

**В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ЧИТАЙТЕ:**

**Р. Кушнерович, А. Ибрагимбеков «Четыре легенды об
Омаре Хайяме»**

Ю. Арабов «Присутствие»

Л. Петрушевская «Куплю тебе бабу»

В. Чиков «Русская рулетка»

В. Сухоревый «Кино в кино»

Е. Митько «Зеленый чай...»

Е. Козловский «Голос Америки»

2р.00к.
70434

3

КИНОСЦЕНАРИИ

1991